The book cover is dark green with intricate gold-embossed patterns. The background is filled with a dense, repeating floral and foliate motif. Four distinct figures are integrated into the design: an angel with wings and a crown in the upper left; a bearded man with a long staff in the upper right; a winged cherub in the lower left; and a seated woman in the lower right. A central rectangular panel is divided into two horizontal sections. The top section is dark blue with white text, and the bottom section is red with white text.

СКАЗКИ
НАРОДОВ
МИРА

СКАЗКИ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

СКАЗКИ
НАРОДОВ
МИРА




ТОМ
VIII



МОСКВА
«Детская литература»
1989



A decorative border with a repeating floral and vine pattern surrounds the central text area.

СКАЗКИ
НАРОДОВ
МИРА

*в
десяти
томах*

— ◉ —
ТОМ
VIII

СКАЗКИ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ



ББК 84Р1
С42

Редакционный совет издания

«СКАЗКИ
НАРОДОВ
МИРА»

Аникин В. П.	Никулин Н. И.
Ващенко А. В.	Путилов Б. Н.
Кор-оглы Х. Г.	Рифтин Б. Л.
Михалков С. В.	Шатунова Т. М.
Налепин А. Л.	



Научный руководитель издания, составитель тома,
автор вступительной статьи и примечаний

В. П. АНИКИН



Оформление серии
Б. А. ДИОДОРОВА

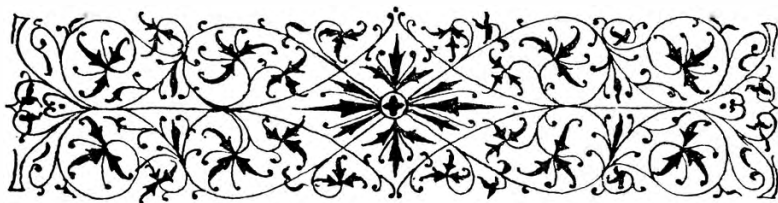


Иллюстрации
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

С $\frac{4803010101-528}{M101(03)-89}$ Подписн. изд.

ISBN 5—08—001997—2

© В. П. Аникин. Составление,
вступительная статья и примечания. 1989
© Б. А. Диодоров. Оформление серии. 1989
© Б. А. Дехтерев. Иллюстрации. 1989



*Русские
писатели-классики
и сказка*

Русская классическая литература — это бесценная кладовая национальной культуры. В ней ревностным трудом писателей-гениев и просто талантливых художников накоплено много сокровищ. И может быть, среди книг самые удивительные — сказки. Они не знают над собой власти времени.

Очарование сказочного вымысла во всей силе первый ощутил Александр Сергеевич Пушкин. Он вывел сказку из разряда второстепенной литературы, какой она была до него. Из Михайловского он писал брату: «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма». Собственные сказки, сочиненные поэтом по образцу народных, удержали в себе главное — свободу сказочного чуда.

Пушкин последовал принципам фольклорной сказки. Как в народных сказках, у поэта соседствуют красота земного бытия и горечь чувств терпящих бедствие людей:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица...

От этих строк нам передается ощущение морского простора, блеска высоких небес, но не менее трогает и печаль человеческого страдания.



Добрый гений, Пушкин ведет своих героев к счастью. Пройдет немного времени — и Гвидон увидит перед собой большой златоглавый город, стены с частыми зубцами. Здесь Гвидона увенчают княжьей шапкой. В сказке открывается мир несказанных чудес. Есть в возникшем на пустынном острове-граде затейливая белка, выходит из моря стража — тридцать три богатыря с Черномором. Но всего удивительнее царевна Лебедь:

Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Перед нами не просто невеста в богатом наряде. Это осуществление мечты о прекрасном человеке:

А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.

Как естественно согласуется в сказках поэта фантастическое действие с приметам русского быта, русской жизни. Мы читаем о царице, ждущей царя:

Смотрит в поле, инда очи
Разболелись гляючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьется выюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.

Бескрайнее заснеженное поле — это Русь, и слова взяты поэтом из обихода русского человека, живущего во выюжной стороне под суровым зимним небом.

Или еще вот описание, как, блуждая, царевна набрела в глухом лесном краю на терем; Пушкин не забывает ни одной подробности — он глядит на терем глазами своей героини: вот она поднялась на крыльцо, вот взялась за кольцо, тихонько отворила дверь и оказалась в горнице:

...Кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.

Это настоящий старинный терем, хотя и в сказке.

Пушкин открыл для литературы поэзию сказочных чудес, ввел сказку в литературу на правах не гостя, а полноправной хозяйки. От «Сказки о попе и о работнике его Балде», «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказки о золотом петушке» и других творений поэта далеко протянулись нити к творчеству последующих писателей-сказочников вплоть до нашего времени.

Склад народной сказки, усвоенной литературой благодаря Пушкину, с новым блеском воплотил молодой поэт, почти мальчик, студент Петр Павлович Ершов. В сказке «Конек-горбунок» он подражал своему великому современнику. «Пушки с пристани палат»,— сказано у Пушкина. «Пушки с крепости палат»,— писал Ершов.

«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?» —

вопрошает Салтан корабельщиков.

«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?» —

спрашивает Рыба-кит у Ивана и конька. При всем том Ершов остался самим собой — мастером, по-своему передавшим крестьянский склад сказки. Царь в его сказке, как и в сказках народа,— деспот, злой, вздорный, смешной. Его так забавляет перо Жар-птицы, что он играет с ним, как дитя,— тянет в рот: «Гладил бороду, смеялся и скусил пера конец». Совсем иной Иван: хотя и его поразило Жар-птицево перо, а еще больше — сами жар-птицы, но он потрясен только их множеством да светом, разливавшимся окрест:

«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!»

Ивана никогда не оставляет здравый смысл.

Сказка Ершова была опубликована еще при жизни Пушкина и удостоилась его похвалы.

Другой современник Пушкина Василий Андреевич Жуковский тоже последовал творческому опыту своего великого



друга и придал иронический склад сказке «Война мышей и лягушек» — пародии на величавую древнегреческую эпопею:

Было прекрасное майское утро. Квакун двадцатый,
Царь знаменитой породы, властитель ближней трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный блестящей
Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались на пригорок...

О простом факте — вылезли лягушки из болота — говорится как о царском выходе. Стих Жуковского — типичный русский гекзаметр, перемежающий дактиль с хореем. Весь художественный эффект этой сказки в полном несоответствии торжественного склада стиха и его смысла. Написанная в один год с пушкинской сказкой о Салтане, она выгодно отличается от прочих сказок Жуковского: в них поэту не удалось правильно соединить высокий стиль и всепроникающую иронию.


В остальных отношениях «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери», как и «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке», некоторые другие сказки остаются замечательными образцами художественного творчества Жуковского. Он явил блеск разных граней своего художественного гения. В сказках оказалась запечатленной красота русской природы — и это при том, что место действия отнесено к таинственному сказочному миру. Вот Иван-царевич подъезжает к озеру, где его на каждом шагу подстерегает опасность, — как несказанно прекрасен простор озерных вод с отраженной в них вечерней зарей, как тихо и мирно все вокруг:

...Солнце

Только успело зайти — подъезжает он к озеру; гладко
Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами,
Всё в окрестности пусто, румяным вечерним сияньем
Воды покрытые гаснут, и в них отразился зеленый
Берег и частый тростник — и всё как будто бы дремлет;
Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха в струйках
Светлых не слышно.

Жуковский оставался лириком и при воспроизведении сюжета, исполненного динамики.

«Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке» в отличие от сказки о царе Берендее, его сыне, Кощее бессмертном и Марье-царевне, в отличие от «Войны мышей и лягушек»



написана не гекзаметром, а ямбом, размером более подходящим для передачи разговорного стиля народной сказки. Но дело не только в размере — сказка написана белым (без рифмы) стихом, а в структуре строк передан свободный склад сказочной прозы: по этой причине начатая в одном стихе фраза заканчивается в следующем или даже только продолжается в нем, чтобы завершиться в последующем, — прием, который именуется «переносом».

...Да еще был у него
Прекрасный сад, и чудная росла
В саду том яблоня: все золотые
Родились яблоки на ней. Но вдруг
В тех яблоках царевых оказался
Великий недочет...

Произведение Жуковского замечательно и другим свойством — это не одна сказка, а целая сюита: в сюжете соединено несколько самостоятельных сказок. Дочитав историю царевича до того момента, как Серый Волк оживляет его, каждый, кто знаком с фольклором, знает, что действие приблизилось к концу: Иван-царевич должен вернуться в свое царство, чтобы наказать братьев и жениться на Елене Прекрасной. У Жуковского, оживив Ивана-царевича, Серый Волк рассказывает, что Елену похитил Кощей, братьев Ивана-царевича убил, а на царство Демьяна Даниловича, отца Ивана, навел непробудный сон. Начинаются новые похождения Ивана-царевича: он попадает к Бабе Яге и узнает от нее, где скрыта смерть Кощея, побеждает его, а затем будит всех уснувших в отцовском царстве, заставив играть гусли-самогуды. Жуковский включил в свою сказочную историю также и несколько уже более мелких эпизодов из других сказок. Творческий опыт Жуковского, соединявшего несколько сказок в одну, нашел продолжение у ряда других писателей.


Сказку об Ашик-Керибе Михаил Юрьевич Лермонтов, как полагают историки литературы, записал в Тифлисе осенью 1837 года. Сказка была широко распространена на Кавказе. Ее знали и на всем Ближнем Востоке, в Средней Азии, а современные сказковеды усматривают сходство ее со сказаниями самых разных народов. Это знаменитый международ-



ный фольклорный сюжет, именуемый «Муж на свадьбе у своей жены». В русском фольклоре он представлен былинной о Добрыне и Алеше Поповиче. Однако записанная поэтом сказка была особенной. Предполагают, что Лермонтов узнал ее от Мирзы Фатали Ахундова, азербайджанского поэта-просветителя. Только в Закавказье могли рассказывать так: «Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиса». Исполненная романтики сказка пленяет нас роскошью вымысла, чарует прелестью выдумки и высотой поэтической мысли. Русский поэт нашел близкие себе художественные мотивы, и усвоенная им сказка кажется творением его самого. Ощущение свободного переложения оригинала на русский язык не обманывает: Лермонтов записал сказку по-русски — она прошла через его воображение. Поэт на свой манер пояснил каждое незнакомое слово: сааз — балалайка, ашик — балалаечник, ага — господин и другие. Восточная сказка в переложении поэта стала прекрасным творением русской сказочной литературы.

«Аленький цветочек» Сергея Тимофеевича Аксакова близок сказкам Пушкина мыслью о силе духовной стойкости человека перед лицом испытаний. Околдованного королевича — лесного зверя спасла девичья любовь. Не безобразное чудище, а молодой прекрасный принц в золототканых одеждах предстал перед девицей, его любившей. На ее месте были и другие, но только она одна оценила добрую душу королевича — и добродетель оказалась вознагражденной. Судьба благоволит людям стойким в своих привязанностях. Это надежда народа. Сказка народна и по форме. Стиль выдержан в манере сказочницы ключницы Пелагеи, жившей в семье Аксаковых. Певучий говорок ощутим в речах королевича, обращенных к молодой дочери «купецкой, красавице писаной»: «Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угощения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем».

Ключнице Пелагее, пожившей «внаймах» по купеческим домам, принадлежат и слова, усвоенные в городе: «туалет», часы «аглицкие», «музыка согласная», «сукно кармазинное» — тонкое, багряного цвета и пр.



Богатство и своеобразие живой народной речи, явленные в сказках Пушкиным, пленили такого великого ее знатока, каким был Владимир Иванович Даль, писатель-беллетрист, составитель знаменитого «Толкового словаря живого великорусского языка». Он и в сказках своих оставался языковедом-филологом. Только Даль мог написать: «Дятел красноголовый лазил день-деньской по пням и дуплам и все стучал роговым носом своим в дерево, все доспрашивался, где гниль, где червоточина, где подстой, где дрябло, где дупло, а где живое место». Без пояснений теперь такую фразу и не понять. Что такое «подстой»? Оказывается, болезнь дерева, когда оно подсыхает от корня. Слово «доспрашивался» хотя и понятно, но мы сейчас бы сказали по-другому: «спрашивал себя», «хотел узнать». Однако без этих редких слов, а также таких, как «день-деньской», «роговой нос», «живое место», пропало бы очарование бытовой речи, на которой густо замешаны сказки Даля.

Конечно, в сказках писателя привлекательны не только народные слова. Даль сохранял смысл и толк народных приговоров, мораль пословиц. Этим он тоже продолжал традицию Пушкина. Известно, что поэт закончил сказку о золотом петушке поученьем:

Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

А сказка о Балде заканчивается стихом:

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

И у Даля сказка о глупой овце названа: «У тебя у самого свой ум». А сказка о воровке и лгунье вороне, засаженной в острог, кончается осуждением: «Там она сидит и по сей день!» Словом, по делам вору и мұка!

Часто острие социальной критики в сказке Даля направлено против начальственного суда и расправы. Это касается «Сказки о баранах», о которых В. Г. Белинский заметил, что это «коротенький, но исполненный глубокого значения восточный аполог» (аполог — иносказательная история).

Сказки создавались в потоке движущейся литературы: на каждую из них ложилась печать времени. Послепушкинская литература развила начала глубокого реализма, заложенные творчеством великого зачинателя, но не повторила уже достигнутое.




Писатель Владимир Федорович Одоевский, «дедушка Ириной», в сказке «Городок в табакерке» воссоздал иной быт и иную жизнь по сравнению с другими писателями. Современник Крылова и Жуковского, декабристов и Пушкина, Лермонтова и Гоголя, Одоевский одним из первых стал писать сказки для детей. Тогда это было еще очень большой редкостью. Одоевский изобразил жизненный быт, близкий пониманию благовоспитанного мальчика, живущего в благополучии и достатке. Папенька принес музыкальную табакерку, пеструю, из черепахи. На крышке — городок с домами, с башенками, с воротами. Из табакерки раздается мелодичный звон. Мальчику захотелось заглянуть внутрь диковинной вещицы. Из сказки можно узнать, как устроена табакерка. Нужно беречь, если хочешь долго пользоваться и любоваться ею. Герой сказки был рад, что не испортил табакерку — ему только приснилось, что он поломал ее. Как прежде, звенят колокольчики, движется валик — всходит и заходит солнышко, сверкают на крышке звезды.

Сказка о Морозе Ивановиче и двух девочках — Рукодельнице и Ленивице — вся вышла из народной русской сказки, а сказка-притча о четырех глухих взята из индийского фольклора, но и в той и в другой сказке есть и новизна: в мир писательской сказки вошли быт современного городского дома, семьи, жизнь ребенка — воспитанника пансиона и школы.

Большая сказочная повесть о Черной курице переносит нас в старинный Петербург, в пансион, в его дортуары — спальни, к строгим учителям. Автор сказки Алексей Алексеевич Перовский, писавший под литературным именем Антония Погорельского, обнаружил много знания жизни рыцарей, церемоний их королевского двора. Подземное королевство живет по своим законам — здесь честно и верно служат истине. Волшебный мир открыл свои тайны Алеше — герою Погорельского. Чудесное семечко освободило Алешу от труда — все стало ему даваться без усилий, и мало-помалу мальчик стал заносчивым и надменным. Тем самым он причинил много бед подземному народу. Свободный вымысел писателя сопряжен с мыслью: прочно только то, что дается трудом, прилежанием, а главное — успехи не должны мешать человеку оставаться добрым и скромным.

Влечение писателей к дидактике легко объяснить: по всей России в середине и во второй половине XIX века откры-



вались массовые школы. Сказки стали писать педагоги. Среди них был великий реформатор школы Константин Дмитриевич Ушинский. Автор двухтомного труда «Человек как предмет воспитания», учебных книг «Родное слово», «Детский мир» был недюжинным писателем-художником.

Плачет заяц под кустом: «И кто только не точит зубов на меня? Охотники, собаки, волк, лиса и хищная птица: кривоносый ястреб, пучеглазая сова, даже глупая ворона и та таскает своими кривыми лапами моих малых детушек — сереньких зайчат». Ушинский, однако, не превращал своих сказок в слезливую литературу. В мире его сказок все свершается, как в жизни, а в ней немало сурового. Педагог считал самым важным будить в человеке добрые чувства: благородство, справедливость, верность, сочувствие к попавшим в беду. Этим и прекрасны его сказки. Мораль Ушинского не навязчива. В этом писатель следовал «природным русским педагогам» — бабушкам, дедам, матерям, которые, по его словам, «понимали инстинктивно и знали по опыту, что моральные сентенции приносят детям больше вреда, чем пользы, и что мораль заключается не в словах, а в самой жизни семьи, охватывающей ребенка со всех сторон и отовсюду ежеминутно проникающей в его душу».


Демократическая педагогика направлением своих усилий сомкнулась с литературой революционного движения 60-х и 70-х годов. Писатель Михаил Ларионович Михайлов был участником освободительной борьбы. Его мужеством восхищался Некрасов: царское правительство сослало Михайлова на каторгу за распространение прокламации «К молодому поколению». Писатель написал несколько сказок, в которых выражены мысли, волновавшие его как революционера. Кому не известен сюжет «Теремка». В кузове, оброненном прохожим, поселились муха-громотуха, комар-пискун, оса-пеструха и слепень-жигун. И вот когда пришла к ним общая беда, случился спор. Сначала никто не хотел полететь и узнать, что за невежа стал в кузовке сверху свет заслонять, а когда догадались, что это паук свою сеть заплел, заспорили, кому первому из кузовка выбираться. Тем временем паук паутину доплел и всех изловил. Конечно, сказка «Лесные хоромы» вследствие широты заключенной в ней мысли не может быть прямо соотнесена с событиями шестидесятых годов, но она несла в себе актуальную идею о неразумии тех, кто пренебрегает согласными действиями.



Писатель-демократ Михайлов усвоил склад народных сказок. Великолепен его язык. Он лишен какой бы то ни было искусственности. В нем очевидно следование особенностям народного поэтического стиля: «Гуляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали» — так начинается сказка «Два Мороза». Характерная сказочная интонация с обычными для фольклора поэтическими определениями: «чистое поле», «родные братья» — сочетается с живой передачей примет зимней стужи: братцы скачут, поколачивают руку об руку.

Николай Алексеевич Некрасов любил сказку и передал ряд сказочных сцен в «Прологе» к поэме «Кому на Руси жить хорошо», да и общий замысел знаменитой поэмы фольклорен — это сюжет поиска счастливого человека. «Сказка о добром царе, злом воеводе и бедном крестьянине» восходит к записи, опубликованной А. Н. Афанасьевым. Чтобы получить цензурное разрешение на публикацию, поэт перенес действие сказки во времена правления библейского царя Аарона, но цензура и в таком виде не пропустила сказку в печать. «Генерал Топтыгин» вошел в цикл «Стихотворений, посвященных русским детям». Цикл глубоко народен, фольклорность «Генерала Топтыгина» доказана сопоставлением с многочисленными вариантами, известными в народе, — в частности, существует и костромской вариант истории. Некрасов насытил сказочную историю многообразными чертами станционного и ямщицкого быта Ярославского края.

На вершину политической публицистики поднял сказку великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жил помещик, рассказывает он, тело имел «мягкое, белое и рассыпчатое»; всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов, и стал опасаться помещик, что много мужиков развелось. А вдруг они все добро его съедят. И стал помещик «стараться» — штрафовать мужиков. Совет так поступать он вычитал из газеты «Весть»: «золотое» это слово — «старайся!». Невмоготу стало крестьянам, и взмолились они богу: «Господи! Легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Внял бог мужицкой мольбе — унесло их вихрем от помещика. Не стало еды, не



стало слуг у помещика. Одичал он — оброс волосами, утратил способность произносить членораздельные звуки, усвоил себе какой-то особенный победный крик, среднее между свистом, шипением и рывканьем. Стал помещик зверем. И вот власть, обеспокоенная непоступлением в казначейство податей, вернула мужиков, а помещику «наиделикатнейше» внушила, «дабы он фанфаронства свои прекратил».

Сатирик обнажил сущность помещичьих стремлений, помещичьей ненависти к мужику. Если в народных сказках хищные звери только сопоставляются с людьми, то в сказках Салтыкова-Щедрина происходит нечто обратное: помещик выразил себя полностью, когда превратился в зверя — стал ходить на четвереньках «и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный».

Первым читателям сказок без пояснений была понятна политическая конкретность выведенного типа помещика. «Сократил он их так, что некуда носа высунуть...» — пишет Салтыков-Щедрин о притеснениях крестьян. Царское Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, и так называемые «уставные грамоты», составленные самими помещиками, все предусмотрели: размежевание земель произвели так, что выделенная крестьянам земля была уменьшена до предела. Так и у крестьян в сказке Салтыкова-Щедрина: «...Куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!» Курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — всё его стало!»


В «Повести о том, как один мужик двух генералов прокормил» Салтыков-Щедрин развил мысль о том, что источником благополучия общественных верхов является труд мужика. В «Самоотверженном зайце» определяющим стало осуждение народной покорности властям. В каждой сказке своя политическая мысль. Салтыков-Щедрин писал сказки не для детей, но с течением времени некоторые из них — в том числе и сказка о диком помещике — стали детским чтением. Сказки сатирика ясны по замыслу, легки для восприятия, понятна ирония, в них заключенная.

Всеволод Михайлович Гаршин разделил революционные тревоги своего времени. В иносказательной истории пальмы писатель поведал о трагедии освободительного движения, о



гибели лучших людей эпохи. Современники усматривали особый смысл в каждом повороте сюжета, в каждой детали сказки, да и сам автор придал своим словам двойной смысл. «Сквозь толстые прозрачные стекла,— говорится об оранжеее «из железа и стекла»,— виднелись заключенные растения». Почти так же можно писать и о тюрьме. Г. И. Успенский писал о Гаршине: «Вот крошечная сказка: «То, чего не было». В ней всего пять-шесть страниц, но попробуйте сосчитать по пальцам, каких сторон жизни хотел коснуться в ней Гаршин: все, что составляет для всего общества насущнейшую заботу переживаемого им времени,— все стремится Гаршин затронуть, поставить на свое место, указать связь между всею цепью явлений текущей действительности». Сказки Гаршина не были детскими, но у него есть специально для детей написанная сказка о лягушке-путешественнице. Исполненная шутливости и доброй иронии, сказка свидетельствовала о духовном здоровье писателя. Творение ничем не предвещало грозного часа, когда Гаршин, отчаявшийся в надеждах на будущее, покончил с собой — бросился в пролет лестницы. Лицо «героическое, изумительной искренности и великой любви живой» — такими словами сказал М. Горький о типе писателя, к которому отнес и Гаршина.

Великий знаток народной крестьянской жизни и человеческой души Лев Николаевич Толстой в разные периоды своей долгой жизни обращался к писанию сказок. Сначала он писал их для «Азбуки» и «Русских книг для чтения». Книги предназначались для школ. Тут много сказок, взятых из фольклора разных народов и пересказанных писателем, но есть и собственные сказки писателя. Во всех сказках Толстой постоянно является строгим моралистом. Такова и сказка о двух братьях. Один из них, меньший, поверил в свое счастье и добыл его отвагой: вошел в лес, говорится в сказке, переплыл реку, увидел спящую медведицу, унес у нее медвежат, вбежал с ними на гору — тут ему навстречу вышел народ и сделал над собой царем. И процарствовал меньший брат целых пять лет, пока не пришел другой царь, сильнее, и, завоевав город, прогнал меньшего брата. А старший брат прожил свою жизнь ни богато, ни бедно. Старший сказал меньшему, когда они встретились: «Вот и вышла моя правда: я всё время жил тихо и хорошо, а ты хоть и был царем, зато много горя видел». На это меньший брат ответил: «Я не тужу,



что пошел тогда в лес на гору, хоть мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и помянуть-то нечем». Сказка похожа на притчу. У нее своя мораль, свой вывод, сделанный писателем в пользу жизни, полной волнения и борьбы за счастье.

Льву Толстому очень нравилась форма небольшой сказки басенного, притчевого характера. На это нередко указывает соответствующая помета в их подзаголовке. Да и в фольклоре нет принципиальной разницы между сказкой и басней: басня — сокращенная сказка. В форме самой подачи жизненного содержания писатель следовал за народным творчеством.

Более сложны сказки с развернутым сюжетом — в том числе сказка об Иване-дураке и его братьях — Семене-воине и Тарасе-брюхане, их немой сестре Маланье, о старом дьяволе и трех чертенятах. Лев Толстой поведал историю трех царств: военной державы, богатой золотом империи и утопического царства мнимых дураков. У дураков один порядок: ест только тот, у кого мозоли на руках, а у кого их нет — тому объедки. И вышло так, что разорилось царство Семена-воина, погибла империя Тараса-брюхана, а царство Ивана-дурака устояло. Лев Толстой учил, что труд составляет единственно верное средство жизни, что общество работающих на себя сохранится во всех испытаниях. По убеждению Льва Толстого жизнь «простого рабочего народа» только и есть настоящая жизнь. Писатель взывал к людской совести, убеждал всех взяться за устройство такой жизни. Симпатии и антипатии высказаны писателем с полной определенностью. Он с неприязнью относился к царям, чиновникам, ко всем тем, кто жил чужим трудом. Побыл Иван царем, а потом снял с себя царское платье — отдал жене в сундук спрятать, надел простую рубаху, портки, обул лапти и принялся за работу. Ему сказали: «Да ведь ты царь!» — «Ну что ж,— ответил он,— и царю жрать надо». Лев Толстой не побоялся грубого слова: оно хорошо передало презрение народа и его собственное к тунеядству. В каждой сказке, подобной сказке об Иване-дураке, Лев Толстой защищал человеческие права угнетенного люда, критиковал социальную несправедливость, устои антинародного государства, официальную казенную религию, ложные законы и порядки.


К исходу XIX века казалось, что гений и талант писателей исчерпали возможности дальнейшего развития литературной

сказки, но жизнь подсказывала новые темы, новые образы, новый стиль. Новизной оказались затронуты все стороны художественного творчества, но у разных писателей в разной степени и по-своему. Писатели последних двух десятилетий XIX века охотно стали обращаться к разработке иноземных сказочных сюжетов. Но русские писатели глядели на жизнь и быт других народов глазами собственного народа. Это в полной мере выразилось и в превосходных сказках Николая Георгиевича Гарина-Михайловского. В 1898 году Гарин совершил кругосветное путешествие, побывал во многих странах, в том числе в Корее. Писатель рассказывал: «Двадцать — тридцать корейцев... окружали нас, присаживаясь на корточках, и лучший сказочник рассказывал, а остальные курили свои тонкие трубочки и внимательно слушали». Писателю переводил сказки кореец Ким, учитель. Гарин быстро, фразу за фразой, записывал, как он сам заметил, «стараясь сохранить простоту речи, никогда не прибавляя ничего своего».

Сказки, записанные Гариным, сохранили самобытность корейского сказочного фольклора, но они запечатлены и своеобразием работы Гарина как писателя-редактора, отобравшего для своих читателей те сказки, которые могли более всего нравиться. Такова насмешливая сказка о муже и жене — хороших людях, но слишком торопливых: «Никогда никого до конца не дослушивали и всегда кричали: «Знаем, знаем!» Попал к ним чудесный халат: застегнешь на одну пуговицу — поднимешься на один аршин от земли, на две пуговицы — до полунеба улетишь, на три — совсем на небо улетишь. Муж сразу застегнулся на все три пуговицы и полетел на небо. А жена бежала и кричала: «Смотрите! Смотрите: мой муж летит!» Бежала-бежала и упала в реку. Муж превратился в орла, а жена — в рыбку. «И это, конечно, еще очень хорошо,— кончает сказку Гарин,— для таких разинь, как они».

Корейская сказка в тонкой передаче Гарина, сохранившего корейский юмор, вместе с тем очень напоминает русские сказки о дураках. Писатель-редактор внес в свой пересказ и типичные для русских людей понятия и слова: «аршин», «разиня» и др.

В небольшой сказке «Три брата» писатель поведал о гибельном стремлении к богатству и народном отвращении к жадности, а в сказке «Волмай» — о царствовании короля «в интересах своего народа». На творчестве Гарина словно



лежит печать предчувствия грозных социальных потрясений ближайшего будущего.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк вошел в сказочную литературу книгой, полной очарования и поэзии. «Аленушкины сказки» — так назвал ее писатель. Она была написана для дочери, но этот факт семейной жизни писателя обрел общественный смысл. В годы «рenegатства, поголовного воровства и вообще тяготения вернуться назад к дореформенным порядкам», как сам Мамин-Сибиряк охарактеризовал девяностые годы, он жил помыслом о новом поколении людей. Детям, новому поколению, и были предназначены «Аленушкины сказки». Отсюда проистекает и особый характер книги: писатель любит детей безмерной отцовской любовью, но его любовь не слепа. «Сказка про Воробья Воробейча, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу» завершается многозначительной концовкой. «Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички», — сказала Аленушка, выслушав сказку о том, как поссорились птицы и рыбки из-за червячка да из-за украденной у трубочиста краюшки хлеба. А потом рассудила: «А я бы разделила всё — и червячка, и краюшку, и никто бы не ссорился». Ребенок должен научиться преодолевать в себе эгоистические склонности. Мамин-Сибиряк облекал свои замыслы художника и воспитателя в шутку — он осуждал пороки смехом. Веселое воодушевление нашло выражение в прозвищах, которые писатель дает птицам, насекомым, зверям: «Храбрый заяц — длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Комар Комарович — длинный нос», «Воронушка — черная головушка» и пр. Шуткой сопровождается и рассказывание: «Раз Воробей Воробейч чуть не погиб благодаря своему лучшему другу — трубочисту. Пришел трубочист да как спустит в трубу свою чугунную гирию с помелом — чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробейчу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас браниться: «Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить...» — «А я почем же знал, что ты в трубе сидишь?» — «А будь вперед осторожнее... Если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул, — разве это хорошо?» И действительно, чего хорошего?!

Прекрасна сказка-рассказ «Серая Шейка». Писатель неоднократно правил ее текст: изменил окончание — Серая Шейка не гибнет, как было первоначально, а спаслась. Мрач-

ная концовка не соответствовала природе сказки, предназначенной детям.

Мамин-Сибиряк написал помимо «Аленушкиных сказок» и другие сказки. «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку» напоминает народные сказки балагурством: «Спасибо, славный царь Горох! — кричали подданные, когда царь Горох катался по улицам своей столицы. — Мы за тобой, как тараканы за печкой, живем... Два спасибо тебе, славный царь Горох!» Сказкой про славного царя Гороха Мамин-Сибиряк открыл в литературе целый ряд сказок, у которых сложный авантюрный сюжет.

Блистательное в русской художественной культуре XIX столетие ознаменовано созданием литературных сказок непреходящей ценности. От десятилетия к десятилетию шло непрерывное нарастание творческой мощи социально активной, педагогически ценной и эстетически безупречной демократической сказочной литературы. Ее вечный причал и образец — Пушкин. Литературные сказки XIX века и сегодня служат людям и еще долго будут оставаться непревзойденными образцами истинного вкуса и деятельной любви к детям, родине, народу.

В. П. Аникин





СКАЗКИ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ



Александр Сергеевич
Пушкин

СКАЗКА
О ЦАРЕ САЛТАНЕ,
О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ
И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ
КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ
И О ПРЕКРАСНОЙ
ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ



ри девицы
под окном

Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».—
«Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».—
«Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.



Во всё время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица,—
Говорит он,— будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простясь,
На добра коня садясь,



Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем, как он далёко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребенком,
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой*¹
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой

¹ Пояснения слов, отмеченных звездочкой, см. в Примечаниях на стр. 683.



Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую —
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:
«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатали
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел, царица вопит...
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,



Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу;
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?
Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелкóвый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой заострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...



Видно, на́ море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вокруг мутит и хлещет...
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый наострил...
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршун в море тонет
И не птичьим криком стонет,
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит —
И царевичу потом
Молвит русским языком:
«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе — всё не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Дёвицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Век тебя я не забуду:
Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».



Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натошак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? —
Говорит он,— вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых*
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают
Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;



Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острове
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой —
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Чернобурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окиану
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?



Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице;



А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право,—
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит,—
Город у моря стоит!



Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра
С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» А он в окошко
Да спокойно в свой удел*
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесь
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка —
Белка песенки поет,



Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий —
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
Во саду ли, в огороде.
Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо, — молвил он, —
Ай да лебедь — дай ей боже,
Что и мне, веселье то же».
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;



Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь — а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит...
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,



Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль — и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана —
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет:
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;



Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,
Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный*
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые да под спуд*;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;



Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...
Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» — и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вот ужо! постой немножко,
Погоди...» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!



Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —

Говорит она ему.

Князь Гвидон ей отвечает:

«Грусть-тоска меня съедает —

Диво б дивное хотел

Перенести я в мой удел». —

«А какое ж это диво?» —

«Где-то вздуется бурливо

Окиян, подымет вой,

Хлынет на берег пустой,

Расплеснется в шумном беге,

И очутятся на бреге,

В чешуе, как жар горя,

Тридцать три богатыря,

Все красавцы молодые,

Великаны удалые,

Все равны, как на подбор,

С ними дядька Черномор».

Князю лебедь отвечает:

«Вот что, князь, тебя смущает?

Не тужи, душа моя,

Это чудо знаю я.

Эти витязи морские

Мне ведь братья все родные.

Не печалься же, ступай,

В гости братцев поджидай».

Князь пошел, забывши горе,

Сел на башню, и на море

Стал глядеть он; море вдруг

Всколыхалось вокруг,

Расплескалось в шумном беге

И оставило на бреге

Тридцать три богатыря;

В чешуе, как жар горя,



Идут витязи четами*,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежедневно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли». —
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:



«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом*,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.



Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит



И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу — но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвести:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —



А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится —
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу». —
«А кого же на примете
Ты имеешь?» — «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвести.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит.



А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.
Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далёко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулася, отряхнулася
И царевной обернулася:
Месяц под косою блестит,
А во лбу звезда горит;



А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит



И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром*;
А лежит нам путь далек:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой



Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет:
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,



Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? царь или дитя? —
Говорит он не шутя.—
Нынче ж еду!» — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва-едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:



По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольных зазвонили;
К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повел царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,



Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотую скорлупой.
Гости дале — торопливо
Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Под косою луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет*.
Царь глядит — и узнает...
В нем взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?
Как!» — и дух в нем занялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой
Разбежались по углам;
Их ~~нашли~~ ^{нашли} насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.



СКАЗКА
О ПОПЕ
И О РАБОТНИКЕ
ЕГО БАЛДЕ



ил-был поп,

Толоконный лоб*,
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу*».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье».
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;



Дó светла всё у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, всё заготовит, закупит,
Яичко испечет, да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь,
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;




Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?» —
«Да вот веревкой хочу море мёрщить,
Да вас, проклятое племя, корчить».
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?» —
«Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха». —
«Бáлдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слышали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков да в мешок.



К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку;
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! Догоняй-ка».
Пустились бесенок и заяка:
Бесенок по берегу морскому,
А заяка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,
Весь мокрешенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел.
На братца поглядывает боком.
«Погоди,— говорит,— схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшей Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что всё море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любую мету*.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.



Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — «Да жду вон этой тучки;
Зашвырну туда твою палку
Да и начну с вами, чертями, свалку». —
Испугался бесенок да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,
А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь...» —
«Нет,— говорит Балда,—
Теперь моя чередка,
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженку, задачу,
Посмотрим, какова у тебя сила.
Видишь, там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой». —
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног». —
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Делать нечего — черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.



Идет Балда, побрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».



СКАЗКА
О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ



Мать с царицею
простился,

В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись гляючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!



Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь*,
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издаlechа наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелехонько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
Царь женился на другой.

Правду молвить, молодлица*
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:



Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться, подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов.

На девичник собираясь*,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».



Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди всё царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке* своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Черт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,



И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
Та, в душе ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, бог с тобой».
А сама пришла домой.
«Что? — сказала ей царица. —
Где красавица девица?»
«Там, в лесу, стоит одна, —
Отвечает ей она, —
Крепко связаны ей локти;
ПопадетсЯ зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть».

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем всё шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,



На подворье* тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Всё так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названный.



Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полную наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она*;
Пирожок лишь разломила,
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Всё в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,



Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить*,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.
А хозяйюшкой она
В терему меж тем одна
Приберет и приготовит.
Им она не прекословит,
Не перечат ей они.
Так идут за днями дни.

Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы ради,
Да нельзя, так бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сestroю.
Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»*

«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные,—
Им царевна говорит,—
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.



Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».

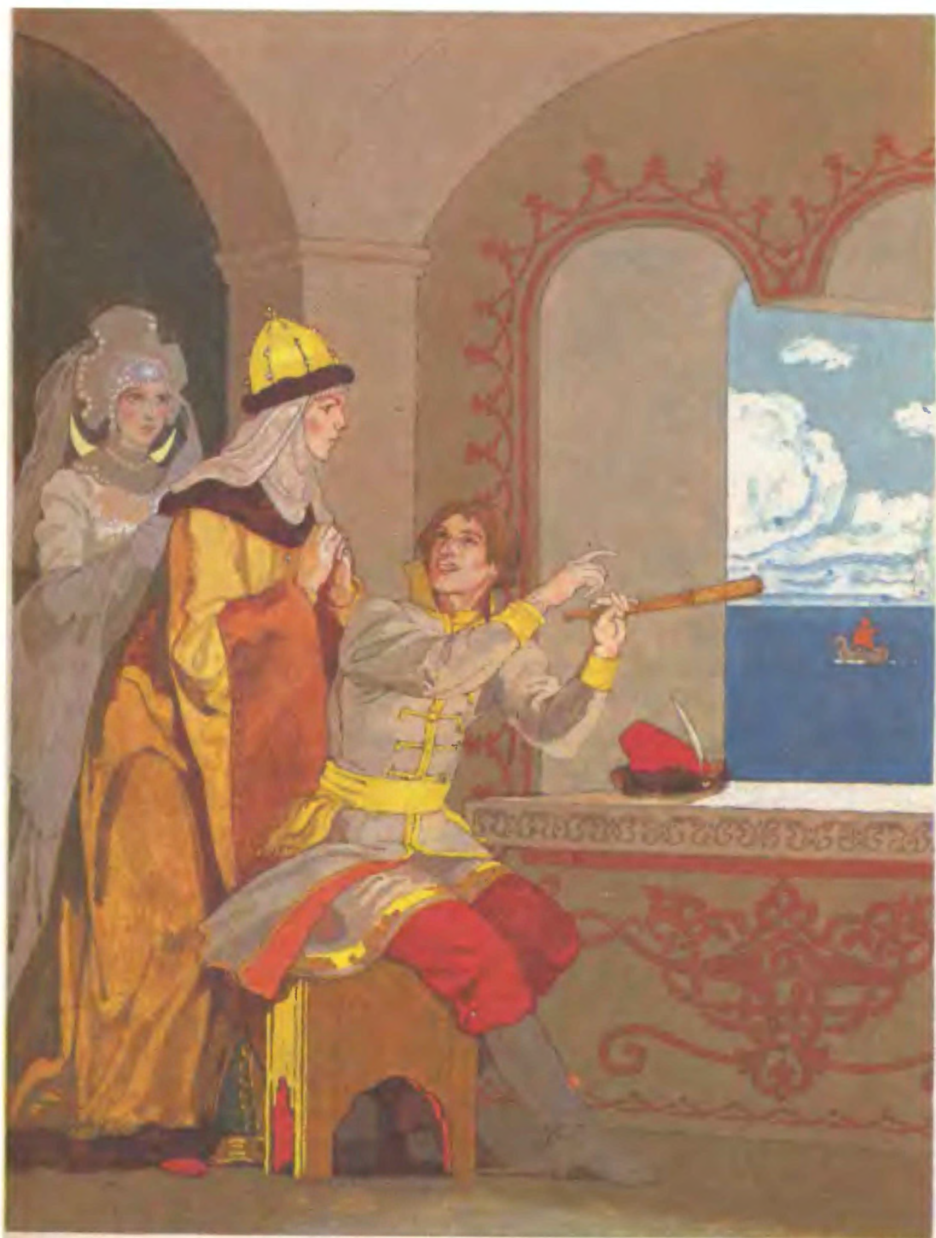
Братья молча постояли
Да в затылке почесали.
«Спрос не грех. Прости ты нас,—
Старший молвил, поклонясь,—
Коли так, не заикнуса
Уж о том». — «Я не сержуся,—
Тихо молвила она,—
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее,
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;



Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что всё ж тебя милей».
И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой* угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица
Видит: нищая черница*
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко,—
Ей кричит она в окошко,—
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пес проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне». Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пес ей под ноги — и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,





А. С. Пушкин.
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
царевне Лебеди».



Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выпался он худо,—
Ей царевна говорит,—
На ж, лови!» — и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала;
«Благодарствую,— сказала.—
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пес как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хватъ — поймала. «Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет,
Благодарствуй за обед»,—
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала...
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! — Она его ласкать,
Треплет нежною рукою;
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» — и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Всё на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!



Видны семечки насквозь...
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила...
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...

Братья в ту пору домой
Возвращались толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,
Пес бежит и ко двору
Путь им кажется. «Не к добру! —
Братья молвили, — печали
Не минует». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели



И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили — и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили
И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе;
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,



Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». — «Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил».

Темной ночью Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,



И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». — «Братец мой, —
Отвечает месяц ясный, —
Не видал я девы красной.
На сторо́же я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала». — «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее». — «Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,



Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он ее берет
И на свет из тьмы несет,
И, беседея приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!



Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна всё ж милее,
Всё румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.



СКАЗКА
О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ



Золотой петушок,
где,
в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.



Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить;
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь,—
Ан с востока лезет рать.
Справят здесь,— лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
Что и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помощи
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу*.
Шлет за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадонем
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу,—
Молвил он царю,— на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом всё будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;



Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолжение,—
Говорит он в восхищенье,—
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож, как со сна,
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лежа на боку!»
И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит всё смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода.—
Государы! проснись! беда!» —
«Что такое, господа? —



Говорит Дадон, зевая.—
А? Кто там?.. беда какая?»
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку — ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на конь! Эй, живее!»

Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.

Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей;
Было ль, не было ль сраженья,—
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них!
Снова восемь дней проходят;
Люди в страхе дни проводят;
Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку —
Сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь;
Им становится невмочь.
Ни побоища, ни стана*,



Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» — мыслит он.
Вот осьмой* уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шоломов* и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...*
Царь завыл: «Ох, дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадонем,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслось. Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица*,
Вся сияя, как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыновей.
И она перед Дадонем



Улыбнулась — и с поклоном
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,
Всяким яством угощала,
Уложила отдыхать
На парчовую кровать.
И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей, близ ворот,
С шумом встретил их народ —
Все бегут за колесницей,
За Дадонем и царицей;
Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской* шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.
«А, здорово, мой отец,—
Молвил царь ему,— что скажешь?
Подь поближе. Что прикажешь?» —
«Царь! — отвечает мудрец.—
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.



Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу».
Крайне царь был изумлен.
«Что ты? — старцу молвил он, —
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего». —
«Не хочу я ничего!
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу», —
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: «Так лих же: нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!»
Старичок хотел заспорить,
Но с иным накладно вздорить;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. — Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи-хи-хи да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.
Вот — въезжает в город он...
Вдруг раздался легкий звон,



И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон —
Охнул раз,— и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.



СКАЗКА
О РЫБАКЕ
И РЫБКЕ



ил старик
со своею старухой

У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,
Пришел невод с одною тиною.
Он в другой раз закинул невод,—
Пришел невод с травой морской.
В третий раз закинул невод,—
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой — золотою.
Как взмолится золотая рыбка!



Голосом молвит человеческим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо:
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;
По нашему говорила рыбка,
Домой в синее море просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась, чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем расколось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит — море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:



«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем расколосось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».

Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ли корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж йзбу».

Вот пошел он к синему морю
(Помутилось синее море),
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».

Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой*,
С кирпичною, беленою трубою,



С дубовыми, тесовыми ворота.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает:
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, йзбу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой*.
Хочу быть столбовою дворянкой»*.

Пошел старик к синему морю
(Не спокойно синее море);
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уж не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик к старухе,
Что ж он видит? Высокий терем;
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке*.
Парчевая на маковке кичка*,
Жемчуги огрузили шею*,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун* таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».



На него прикрикнула старуха,
На конюшню служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась;
Опять к рыбке старика посылает:
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа:
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою?
Ступай к морю, говорят тебе честью:
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю
(Почернело синее море);
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился,
Что ж? пред ним царские палаты.



В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вина;
Заедает она пряником печатным*;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик, испугался;
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».
На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашей затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила;
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке,
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.



Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтоб жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А перед нею разбитое корыто.



Василий Андреевич
Жуковский

ВОЙНА МЫШЕЙ
И ЛЯГУШЕК

(Отрывок)



лушайте: я расскажу вам,
друзья, про мышей и лягушек.
Сказка ложь, а песня былъ, говорят нам; но в этой
Сказке моей найдется и правда. Милости ж просим
Тех, кто охотник в досужный часок пошутить,
посмеяться,
Сказки послушать; а тех, кто любит смотреть
исподлобья,
Всякую шутку считая за грех, мы просим покорно
К нам не ходить и дома сидеть да высиживать
скуку.

Было прекрасное майское утро. Квакун
двадесѳатый*,
Царь знаменитой породы, властитель ближней
трясины,
Вышел из мокрой столицы своей, окруженный
блестящей

Свитой придворных. Вприпрыжку они взобрались
на пригорок,
Сочной травой покрытый, и там, на кочке усевшись,
Царь приказал из толпы его окружавших почетных
Стражей вызвать бойцов, чтоб его, царя, забавляли
Боем кулачным. Вышли бойцы; началось; уж много
Было лягушечьих морд царю в угожденье разбито;
Царь хохотал; от смеха придворная квакала свита
Вслед за его величеством; солнце взошло уж на
полдень.
Вдруг из кустов молодец в прекрасной беленькой
шубке,
С тоненьким хвостиком, острым, как стрелка, на
тоненьких ножках
Выскочил; следом за ним четыре таких же, но в
шубах
Дымного цвета. Рысцой они подбежали к болоту.
Белая шубка, носик в болото уткнув и поднявши
Правую ножку, начал воду тянуть, и, казалось,
Был для него тот напиток приятнее меда; головку
Часто он вверх подымал, и вода с усастого рыльца
Мелким бисером падала; вдоволь напившись и
лапкой
Рыльце обтерши, сказал он: «Какое раздолье
студеной
Выпить воды, утомившись от зноя! Теперь понимаю
То, что чувствовал Дарий*, когда он, в бегстве из
мутной
Лужи напившись, сказал: я не знаю вкуснее
напитка!»
Эти слова одна из лягушек подслушала; тотчас
Скачет она с донесеньем к царю: из леса-де вышли
Пять каких-то зверьков, с усами турецкими, уши
Длинные, хвостики острые, лапки как руки;
в осоку
Все они побежали и царскую воду в болоте

Пьют. А кто и откуда они, неизвестно. С десятком
Стражей Квакун посылает хорунжего Пышку*

проведать,
Кто незваные гости; когда неприятели — взять их,
Если дадутся; когда же соседи, пришедшие с
миром,—
Дружески их пригласить к царю на беседу.

Сошедши
Пышка с холма и увидя гостей, в минуту узнал их:
«Это мыши, неважное дело! Но мне не случилось
Белых меж ними видать, и это мне чудно.

Смотрите ж,—
Спутникам тут он сказал,— никого не обидеть. Я с
ними
Сам на словах объяснюся. Увидим, что скажет мне
Белый».

Белый меж тем с удивленьем великим смотрел,
приподнявши
Уши, на скачущих прямо к нему с пригорка
лягушек;

Слуги его хотели бежать, но он удержал их,
Выступил бодро вперед и ждал скакунов; и как
скоро

Пышка с своими к болоту приблизился:
«Здравствуй, почтенный

Воин,— сказал он ему,— прошу не взыскать, что
без спросу

Вашей воды напился я; мы все от охоты устали;
В это же время здесь никого не нашлось;

благодарны
Очень мы вам за прекрасный напиток; и сами

готовы
Равным добром за ваше добро заплатить:

благодарность
Есть добродетель возвышенных душ». Удивленный
такою



Умною речью, ответствовал Пышка: «Милости просим

К нам, благородные гости; наш царь, о прибытии
вашем

Сведав, весьма любопытен узнать: откуда вы родом,
Кто вы и как вас зовут. Я послан сюда пригласить
вас

С ним на беседу. Рады мы очень, что вам
показалась

Наша по вкусу вода; а платы не требуем: воду
Создал господь для всех на потребу, как воздух
и солнце».

Белая шубка учтиво ответствовал: «Царская воля
Будет исполнена; рад я к его величеству с вами
Вместе пойти, но только сухим путем, не водою;
Плавать я не умею; я царский сын и наследник
Царства мышиноного». В это мгновенье, спустившись
с пригорка,

Царь Квакун со свитой своей приближался.
Царевич

Белая шубка, увидя царя с такою толпою,
Несколько струсил, ибо не ведал, доброе ль,
злое ль

Было у них на уме. Квакун отличался зеленым
Платьем, глаза навывкат сверкали, как звезды, и
пузом

Громко он, прядая, шлепал. Царевич Белая шубка,
Вспомнивши, кто он, робость свою победил.
Величаво

Он поклонился царю Квакуну. А царь,
благосклонно

Лапку подавши ему, сказал: «Любезному гостю
Очень мы рады; садись, отдохни; ты из дальнего,
верно,

Края, ибо до сих пор тебя нам видать не
случалось».

Белая шубка, царю поклоняся опять, на зеленой
Травке уселся с ним рядом; а царь продолжал:

«Расскажи нам,
Кто ты? кто твой отец? кто мать? и откуда пришел
к нам?

Здесь мы тебя угостим дружелюбно, когда, не
таяся,

Правду всю скажешь: я царь и много имею
богатства;

Будет нам сладко почтить дорогого гостя
дарами».

«Нет никакой мне причины,— отвечив Белая
шубка,—

Царь-государь, утаивать истину. Сам я породы
Царской, весьма на земле знаменитой; отец мой
из дома

Древних воинственных Бубликов, царь Долгохвост
Иринарий

Третий; владеет пятью чердаками, наследием
славных

Предков, но область свою он сам расширил
войнами:

Три подполья, один амбар и две трети ветчинни*
Он покорил, победивши соседних царей; а в супруги

Взявши царевну Прасковью-Пискуню белую
шкурку,

Целый овин получил он за нею в приданое. В свете
Нет подобного царства. Я сын царя Долгохвоста,

Петр Долгохвост, по прозванию *Хват*. Был я
воспитан

В нашем столичном подполье премудрым Онуфрием
крысой.

Мастер я рыться в муке, таскать орехи; вскребаюся
В сыр и множество книг уж изгрыз, любя

просвещение.
Хватом же прозван я вот за какое смелое дело:



Раз случилось, что множество нас, молодых
мышеняток,
Бегало по полю взапуски; я как шальной,
раззадорясь,
Вспрыгнул с разбегу на льва, отдыхавшего в поле,
и в пышной
Гриве запутался; лев проснулся и лапой огромной
Стиснул меня; я подумал, что буду раздавлен, как
мошка.
С духом собравшись, я высунул нос из-под лапы;
«Лев-государь,— ему я сказал,— мне и в мысль не
входило
Милость твою оскорбить; пощади, не губи; не ровён
час,
Сам я тебе пригожуся». Лев улыбнулся (конечно,
Он уж покушать успел) и сказал мне: «Ты, вижу,
забавник.
Льву услужить ты задумал. Добро, мы посмотрим,
какую
Милость окажешь ты нам? Ступай». Тогда он
раздвинул
Лапу; а я давай бог ноги; но вот что случилось:
Дня не прошло, как все мы испуганы были в
подпольях
Наших львиным рыканьем: смутилась, как будто от
бури,
Вся сторона; я не струсил; выбежал в поле и
что же
В поле увидел? Царь Лев, запутавшись в крепких
тенётах,
Мечется, бьется как бешеный; кровью глаза
налились,
Лапами рвет он веревки, зубами грызет их; и было
Всё то напрасно; лишь боле себя он запутывал.
«Видишь,
Лев-государь,— сказал я ему,— что и я пригодился.

Будь спокоен: в минуту тебя мы избавим».

И тотчас

Созвал я дюжину ловких мышат; принялись мы
работать

Зубом; узлы перегрызли тенет, и Лев распутлялся.
Важно кивнув головою косматой и нас допустивши
К царской лапе своей, он гриву расправил, ударил
Сильным хвостом по бедрам и в три прыжка

очутился

В ближнем лесу, где вмиг и пропал. По этому делу
Прозван я *Хватом*, и славу свою поддержать я

стараюсь;

Страшного нет для меня ничего; я знаю, что

смелым

Бог владеет. Но должно, однако, признаться, что

всюду

Здесь мы встречаем опасность; так бог уж землю
устроил.

Всё здесь воюет: с травкою Овца, с Овцой голодный
Волк, Собака с Волком, с Собакой Медведь, а с

Медведем

Лев; Человек же и Льва, и Медведя, и всех

побеждает.

Так и у нас, отважных Мышей, есть много опасных,
Сильных гонителей: Совы, Ласточки, Кошки,

а всех их

Злее козни людские. И тяжко подчас нам приходит.

Я, однако, спокоен; я помню, что мне мой

наставник

Мудрый, крыса Онуфрий, твердил: беды нас

смиренью

Учат. С верой такую ничто не беда. Я доволен

Тем, что имею: счастию рад, а в несчастье не

хмурюсь».

Царь Квакун со вниманием слушал Петра

Долгохвоста.



«Гость дорогой,— сказал он ему,— признаюсь
откровенно:
Столь разумные речи меня в изумленье приводят.
Мудрость такая в такие цветущие лета! Мне сладко
Слушать тебя: и приятность и польза! Теперь
опиши мне
То, что случилось когда с мышиным вашим
народом,
Что от врагов вы терпели и с кем когда воевали». —
«Должен я прежде о том рассказать, какие нам
козни
Строит наш хитрый двуногий злодей, Человек. Он
ужасно
Жаден; он хочет всю землю заgrabить один и с
Мышами
В вечной вражде. Не исчислить всех выдумок
хитрых, какими
Наше он племя избыть замышляет. Вот,
например, он
Домик затеял построить: два входа, широкий и
узкий;
Узкий заделан решеткой, широкий с подъемною
дверью.
Домик он этот поставил у самого входа в подполье.
Нам же сдуру на мысли взбрело, что, поладить
С нами желая, для нас учредил он гостиницу.
Жирный
Кус ветчины там висел и манил нас; вот целый
десяток
Смелых охотников вызвались в домик забраться,
без платы
В нем отобедать и верные вести принести нам.
Входят они, но только что начали дружно висячий
Кус ветчины тормозить, как подъемная дверь с
превеликим
Стуком упала и всех их захлопнула. Тут поразило

Страшное зрелище нас: увидели мы, как злодеи
Наших героев таскали за хвост и в воду бросали.
Все они пали жертвой любви к ветчине и
к отчизне.

Было нечто и хуже. Двуногий злодей наготовил
Множество вкусных для нас пирожков и
расклат их,
Словно как добрый, по всем закоулкам; народ наш
Очень доверчив и ветрен; мы лакомки; бросилась
жадно
Вся молодежь на добычу. Но что же случилось? Об
этом
Вспомнить — мороз подирает по коже! Открылся в
подполье
Мор: отравой злодей угостил нас. Как будто
шалые

С пиру пришли удалцы: глаза навыкат, разинув
Рты, умирая от жажды, взад и вперед по подполью
Бегали с писком они, родных, друзей и знакомых
Боле не зная в лицо; наконец, утомясь, обессилев,
Все попадали мертвые лапками вверх; запустела
Целая область от этой беды; от ужасного смрада
Трупов ушли мы в другое подполье, и край наш
родимый

Надолго был обезмышен. Но главное бедствие наше
Ныне в том, что губитель двуногий крепко
сдружился,
Нам ко вреду, с сибирским котом, Федотом
Мурлыкой.

Кошачий род давно враждует с мышиним. Но этот
Хитрый котище Федот Мурлыка для нас наказанье
Божие. Вот как я с ним познакомился. Глупым
мышонком
Был я еще и не знал ничего. И мне захотелось
Высунуть нос из подполья. Но мать-царица
Прасковья



С крысой Онуфрием крепко-накрепко мне.

запретили

Норку мою покидать; но я не послушался, в щелку
Выглянул: вижу камнем высланный двор;

освещало

Солнце его, и окна огромного дома светились;
Птицы летали и пели. Глаза у меня разбежались.
Выйти не смея, смотрю я из щелки и вижу, на

дальнем

Крае двора зверок усастый, сизая шкурка,
Розовый нос, зеленые глазки, пушистые уши,
Тихо сидит и за птичками смотрит; а хвостик, как
змейка,

Так и виляет. Потом он своею бархатной лапкой
Начал усастое рыльце себе умыть. Облилося
Радостью сердце мое, и я уж собирался покинуть
Щелку, чтоб с милым зверьком познакомиться.

Вдруг зашумело

Что-то вблизи; оглянувшись, так я и обмер.

Какой-то

Страшный урод ко мне подходил; широко шагая,
Черные ноги свои подымал он, и когти кривые
С острыми шпорами были на них; на уродливой шее
Длинные косы висели змеями; нос крючковатый;
Под носом трясся какой-то мохнатый мешок, и как
будто

Красный с зубчатой вершушкой колпак, с головы
перегнувшись,


По носу бился, а сзади какие-то длинные крючья,
Разного цвета, торчали снопом. Не успел я от
страха

В память прийти, как с обоих боков поднялись у
урода

Словно как парусы, начали хлопать, и он,

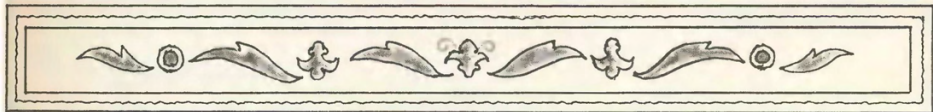
раздвоивши

Острый нос свой, так заорал, что меня как дубиной




Треснуло. Как прибежал я назад в подполье, не
помню.
Крыса Онуфрий, услышав о том, что случилось со
мною,
Так и ахнул. «Тебя помиловал бог,— он сказал
мне,—
Свечку ты должен поставить уроду, который так
кстати
Криком своим тебя испугал; ведь это наш добрый
Сторож петух; он горлан и с своими большой
забияка;
Нам же, мышам, он приносит и пользу: когда
закричит он,
Знаем мы все, что проснулись наши враги; а
приятель,
Так обольстивший тебя своей лицемерною харей,
Был не иной кто, как наш злодей записной,
объедало
Кот Мурлыка; хорош бы ты был, когда бы с
знакомством
К этому плуту подъехал: тебя б он порядком
погладил
Бархатной лапкой своею; будь же вперед
осторожен».
Долго рассказывать мне об этом проклятом
Мурлыке;
Каждый день от него у нас недочет. Расскажу я
Только то, что случилось недавно. Разнесся в
подполье
Слух, что Мурлыку повесили. Наши лазутчики
сами
Видели это глазами своими. Вскружилось подполье;
Шум, беготня, пискотня, скаканье, кувыркание,
пляска,—
Словом, мы все одурели, и сам мой Онуфрий
премудрый

С радости так напился, что подрался с царицей
 и в драке
 Хвост у нее откусил, за что был и высечен больно.
 Что же случилось потом? Не разведавши дела
 порядком,
 Вздумали мы kota погребать, и надгробное слово
 Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
 Клим, по прозванию Бешеный Хвост; такое
 прозвание
 Дали ему за то, что, стихи читая, всегда он
 В меру вилял хвостом, и хвост, как маятник, стукал.
 Всё изготовив, отправились мы на поминки к
 Мурлыке;
 Вылезло множество нас из подполья; глядим мы,
 и вправду
 Кот Мурлыка в ветчинне висит на бревне, и
 повешен
 За ноги, мордою вниз; оскалены зубы; как палка,
 Вытянут весь; и спина, и хвост, и передние лапы
 Словно как мерзлые; оба глаза глядят не моргая.
 Все запищали мы хором: «Повешен Мурлыка,
 повешен
 Кот окаянный; довольно ты, кот, погулял;
 погуляем
 Нынче и мы». И шесть смельчаков тотчас
 взобрались
 Вверх по бревну, чтоб Мурлыкины лапы распутать,
 но лапы
 Сами держались, когтями вцепившись в бревно; а
 веревки
 Не было там никакой, а лишь только к ним
 прикоснулись
 Наши ребята, как вдруг распустилися когти, и на
 пол
 Хлопнулся кот, как мешок. Мы все по углам
 разбежались





А. С. Пушкин.
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».



В страхе и смотрим, что будет. Мурлыка лежит
и не дышит,
Ус не тронется, глаз не моргнет; мертвец, да и
только.
Вот, ободрясь, из углов мы к нему подступать
понемногу
Начали; кто посмелее, тот дернет за хвост, да и тягу
Даст от него; тот лапкой ему погрозит; тот
подразнит
Сзади его языком; а кто еще посмелее,
Тот, подкравшись, хвостом в носу у него пощекочет.
Кот ни с места, как пень. «Берегитесь,— тогда нам
сказала
Старая мышь Степанида, которой Мурлыкины
когти
Были знакомы (у ней он весь зад ободрал, и насилу
Как-то она от него уплела),— берегитесь: Мурлыка
Старый мошенник; ведь он висел без веревки, а это
Знак недобрый; и шкурка цела у него». То услыша,
Громко мы все засмеялись. «Смейтесь, чтоб после
не плакать,—
Мышь Степанида сказала опять,— а я не товарищ
Вам». И поспешно, созвав мышеняток своих,
убралася
С ними в подполье она. А мы принялись как
шальные
Прыгать, скакать и кота тормошить. Наконец,
поуоставши,
Все мы уселись в кружок перед мордой его, и
поэт наш
Клим, по прозванию Бешеный Хвост, на
Мурлыкино пузо
Взлезши, начал оттуда читать нам надгробное
слово,
Мы же при каждом стихе хохотали. И вот что
прочел он:

«Жил Мурлыка; был Мурлыка кот сибирский,
Рост богатырский, сизая шкурка, усы как у турка;
Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен,
Радуйся, наше подполье!..» Но только успел
проповедник
Это слово промолвить, как вдруг наш покойник
очнулся.
Мы бежать... Куда ты! Пошла ужасная травля.
Двадцать из нас осталось на месте; а раненых втрое
Более было. Тот воротился с ободренным пузом,
Тот без уха, другой с отъеденной мордой; иному
Хвост был оторван; у многих так страшно искусаны
были
Спины, что шкурки мотались, как тряпки; царицу
Прасковью
Чуть успели в нору уволочь за задние лапки;
Царь Иринарий спасся с рубцом на носу; но
премудрый
Крыса Онуфрий с Климом-поэтом достались
Мурлыке
Прежде других на обед. Так кончился пир наш
бедою».

.....



СКАЗКА О ЦАРЕ
БЕРЕНДЕЕ,
О СЫНЕ ЕГО
ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ,
О ХИТРОСТЯХ
КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО
И О ПРЕМУДРОСТИ
МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ,
КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ



ил-был царь Берендей
до колен борода. Уж три года
Был он женат и жил в согласье с женою;
но всё им
Бог детей не давал, и было царю то прискорбно.
Нужда случилась царю осмотреть свое
государство;
Он простился с царицей и восемь месяцев ровно
Пробыл в отлучке. Девятый был месяц в
исходе, когда он,
К царской столице своей подъезжая, на поле
чистом
В знойный день отдохнуть рассудил; разбили
палатку;
Душно стало царю под палаткой, и смерть
захотелось
Выпить студеной воды. Но поле было
безводно...
Как быть, что делать? А плохо приходит;
вот он решил
Сам объехать всё поле: авось, попадет
на счастье

Где-нибудь ключ. Поехал и видит колодезь.
Поспешно
Спрянув с коня, заглянул он в него: он полон
водою
Вплоть до самых краев; золотой на поверхности
ковшик
Плавает. Царь Берендей поспешно за ковшик — не
тут-то
Было: ковшик прочь от руки. За янтарную ручку
Царь с нетерпеньем то правой рукою, то левой
хватает
Ковшик; но ручка, проворно виляя и вправо,
и влево,
Только что дразнит царя и никак не дается.
Что за причина? Вот он, выждавши время, чтоб
ковшик
Стал на место, хватъ его разом справа и слева —
Как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка
нырнул он
Прямо на дно колодца и снова потом на
поверхность
Выплыл, как будто ни в чем не бывал. «Постой
же! (подумал
Царь Берендей) я напьюсь без тебя», и, недолго
сбираясь,
Жадно прильнул он губами к воде и струю
ключевую
Начал тянуть, не заботясь о том, что в
воде утонула
Вся его борода. Напившись вдоволь,
поднять он
Голову хочет... ан нет, погоди! не пускают;
и кто-то
Царскую бороду держит. Упершись в ограду
колодца,
Силится он оторваться, трясет, вертит головою —

Держат его, да и только. «Кто там?
пустите!» — кричит он.

Нет ответа; лишь страшная смотрит со
дна образина:

Два огромные глаза горят, как два изумруда;
Рот разинутый чудным смехом смеется; два ряда
Крупных жемчужин светятся в нем, и язык,
меж зубами

Выставясь, дразнит царя; а в бороду
впутались крепко

Вместо пальцев клешни. И вот наконец
сиповатый

Голос сказал из воды: «Не трудися, царь,
понапрасну;

Я тебя не пущу. Если же хочешь на волю,
Дай мне то, что есть у тебя и чего ты не

знаешь».
Царь подумал: «Чего ж я не знаю? Я, кажется,
знаю

Всё!» И он отвечал образине: «Изволь,
я согласен».

«Ладно! — опять сиповатый послышался
голос.— Смотри же,

Слово сдержи, чтоб себе не нажать ни попрека,
ни худа».

С этим словом исчезли клешни; образина пропала.
Честную выручив бороду, царь отряхнулся,

как гоголь,
Всех придворных обрызгал, и все царю

поклонились.

Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало
ли ехал,

Только уж вот он близко столицы; навстречу
толпами

Сыплет народ, и пушки палят, и на всех
колокольнях

Звон. И царь подъезжает к своим златоверхим
 пала́там —
 Там царица стоит на крыльце и ждет; и с
 царицей
 Рядом первый министр; на руках он своих
 парчевую
 Держит подушку; на ней же младенец,
 прекрасный как светлый
 Месяц, в пеленках копышется. Царь
 догадался и ахнул.
 «Вот оно то, чего я не знал! Уморил ты,
 проклятый
 Демон*, меня!» Так он подумал и горько,
 горько заплакал;
 Все удивились, но слова никто не промолвил.
 Младенца
 На руки взявши, царь Берендей любовался им
 долго,
 Сам его взнес на крыльцо, положил в колыбельку
 и, горе
 Скрыв про себя, по-прежнему царствовать начал.
 О тайне
 Царской никто не узнал; но все примечали, что
 крепко
 Царь был печален — он всё дожидался; вот придут
 за сыном;
 Днем он покоя не знал, и сна не ведал он ночью.
 Время, однако, текло, а никто не являлся.
 Царевич
 Рос не по дням — по часам; и сделался чудо-
 красавец.
 Вот наконец и царь Берендей о том, что
 случилось,
 Вовсе забыл... но другие не так забывчивы были.
 Раз царевич, охотой в лесу забавляясь, в густую
 Чашу заехал один. Он смотрит: всё дико; поляна,

Черные сосны кругом; на поляне дуплистая липа.
Вдруг зашумело в дупле; он глядит: вылезает



оттуда
Чудный какой-то старик, с бородою зеленой,

с глазами
Также зелеными. «Здравствуй, Иван-царевич,—
сказал он.—

Долго тебя дожидались мы; пора бы нас
вспомнить».—

«Кто ты?» — царевич спросил. «Об этом после;
теперь же

Вот что ты сделай: отцу своему, царю Берендею,
Мой поклон отнеси да скажи от меня: не

пора ли,
Царь Берендей, должок заплатить? Уж давно

миновалось
Время. Он сам остальное поймет. До свиданья».

И с этим
Словом исчез бородатый старик. Иван же

царевич
В крепкой думе поехал обратно из темного леса.

Вот он к отцу своему, царю Берендею, приходит.
«Батюшка царь-государь,— говорит он,— со

мною случилось
Чудо». И он рассказал о том, что видел

и слышал.
Царь Берендей побледнел как мертвец. «Беда,

мой сердечный
Друг, Иван-царевич! — воскликнул он, горько

заплакав.—
Видно, пришло нам расстаться!..» И страшную

тайну о данной
Клятве сыну открыл он. «Не плачь, не крушися,

родитель,—
Так отвечал Иван-царевич,— беда невелика.

Дай мне коня; я поеду; а ты меня дожидайся;



Тайну держи про себя, чтоб о ней здесь никто
не проведал,

Даже сама государыня-матушка. Если ж назад я
К вам по прошествии целого года не буду,

тогда уж
Знайте, что нет на свете меня». Снарядили

как должно

В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен*;
Нежно потом обнялися, поплакали... с богом!

Поехал
В путь Иван-царевич. Что-то с ним будет?

Уж едет
День он, другой и третий; в исходе

четвертого — солнце
Только успело зайти — подъезжает он к озеру;

гладко
Озеро то, как стекло; вода наравне с берегами;

Всё в окрестности пусто; румяным вечерним
сияньем

Воды покрытые гаснут, и в них отразился
зеленый

Берег и частый тростник — и всё как будто
бы дремлет;

Воздух не веет; тростинка не тронется; шороха
в струйках


Светлых не слышно. Иван-царевич смотрит,
и что же

Видит он? Тридцать хохлатых сереньких уток
подле

Берега плавают; рядом тридцать белых сорочек
Подле воды на травке лежат. Осторожно поодаль

Слез Иван-царевич с коня; высокой травкою
Скрытый, подполз и одну из белых сорочек

тихонько



Взял; потом угнездился в кусте дожидаться,
что будет.
Уточки плавают, плещутся в струйках, играют,
ныряют...
Вот наконец, поиграв, поныряв, поплескавшись,
подплыли
К берегу; двадцать девять из них, побежав с
перевалкой
К белым сорочкам, оземь ударились, все
обратились
В красных девиц, нарядились, порхнули и разом
исчезли.
Только тридцатая уточка, на берег выйти не
смея,
Взад и вперед одна-одинешенька с жалобным
криком
Около берега бьется; с робостью вытянув шейку,
Смотрит туда и сюда, то вспорхнет, то снова
присядет...
Жалко стало Ивану-царевичу. Вот он выходит
К ней из-за кустика; глядь, а она ему
человечьим
Голосом вслух говорит: «Иван-царевич,
отдай мне
Платье мое, я сама тебе пригожуся». Он с нею
Спорить не стал, положил на травку сорочку
и, скромно
Прочь отошедши, стал за кустом. Вспорхнула
на травку
Уточка. Что же вдруг видит Иван-царевич?
Девушка
В белой одежде стоит перед ним, молода
и прекрасна
Так, что ни в сказке сказать, ни пером описать,
и, краснея,
Руку ему подает и, потупив стыдливые очи,



Стены из мрамора, окна хрустальные, вокруг
регулярный
Сад*, и в саду пруды с карасями; если
построишь
Этот дворец, то нашу царскую милость
заслужишь;
Если же нет, то прошу не пенять... головы
не удержишь!» —
«Ах ты, Кощей окаянный,— Иван-царевич
подумал,—
Вот что затеял, смотри пожалуй!» С тяжелой
кручиной
Он возвратился к себе и сидит пригорюнясь;
уж вечер;
Вот блестящая пчелка к его подлетела окошку,
Бьется об стекла — и слышит он голос:
«Впусти!» Отворил он
Дверку окошка, пчелка влетела и вдруг
обернулась
Марьей-царевной. «Здравствуй, Иван-царевич;
о чем ты
Так призадумался?» — «Нехотя будешь
задумчив,— сказал он.—
Батюшка твой до моей головы добирается». —
«Что же
Сделать решился ты?» — «Что? Ничего. Пускай
его снимет
Голову; двух смертей не видать, одной не
минуешь». —
«Нет, мой милый Иван-царевич, не должно
терять нам
Бодрости. То ли беда? Беда впереди; не
печалься;
Утро вечера, знаешь ты сам, мудренее: ложися
Спать; а завтра поране встань; уж дворец твой
построен

Будет; ты ж только ходи с молотком да постукивай
в стену».

Так всё и сделалось. Утром, ни свет ни заря,
из каморки

Вышел Иван-царевич... глядит, а дворец уж
построен.

Чудный такой, что сказать невозможно. Кощей
изумился;

Верить не хочет глазам. «Да ты хитрец не на
шутку,—

Так он сказал Ивану-царевичу,— вижу, ты ловок
На руку; вот мы посмотрим, так же ли будешь
догадлив.

Тридцать есть у меня дочерей, прекрасных
царевен.

Завтра я всех их рядом поставлю, и должен
ты будешь

Три раза мимо пройти и в третий мне раз
без ошибки

Младшую дочь мою, Марью-царевну, узнать;
не узнаешь —

С плеч голова. Поди». — «Уж выдумал, чучела,
мудрость,—

Думал Иван-царевич, сидя под окном. — Не
узнать мне

Марью-царевну... какая ж тут трудность?» —
«А трудность такая,—

Молвила Марья-царевна, пчелкой влетевши,—
что если


Я не вступлюся, то быть беде неминуемой.
Всех нас

Тридцать сестер, и все на одно мы лицо; и такое
Сходство меж нами, что сам отец наш только

по платью
Может нас различать». — «Ну что же мне

делать?» — «А вот что:

Буду я та, у которой на правой щеке ты
 заметишь
 Мошку. Смотри же, будь осторожен, взглядишь
 хорошенько,
 Сделать ошибку легко. До свиданья». И пчелка
 исчезла.
 Вот на другой день опять Ивана-царевича кличет
 Царь Кощей. Царевны уж тут, и все в одинаком
 Платье рядом стоят, потупив глаза. «Ну,
 искусник,—
 Молвил Кощей,— изволь-ка пройтись три
 раза мимо
 Этих красавиц, да в третий раз потрудись
 указать нам
 Марью-царевну». Пошел Иван-царевич; глядит он
 В оба глаза: уж подлинно сходство! И вот
 он проходит
 В первый раз — мошки нет; проходит в другой
 раз — всё мошки
 Нет; проходит в третий и видит — крадется
 мошка,
 Чуть заметно, по свежей щеке, а щека-то под
 нею
 Так и горит; загорелось и в нем, и с трепещущим
 сердцем:
 «Вот она, Марья-царевна!» — сказал он Кощею,
 подавши
 Руку красавице с мошкой. «Э! э! да тут,
 примечаю,
 Что-то нечисто,— Кощей проворчал, на царевича
 с сердцем
 Выпучив оба зеленые глаза.— Правда, узнал ты
 Марью-царевну, но как узнал? Вот тут-то и
 хитрость;
 Верно, с грехом пополам. Погоди же, теперь
 доберуся



Я до тебя. Часа через три ты опять к нам
пожалуй;
Рады мы гостю, а ты нам свою премудрость
на деле
Здесь покажи; зажгу я соломинку; ты же, покуда
Будет гореть та соломинка, здесь, не трогаясь
с места,
Сшей мне пару сапог с оторочкой; не диво;
да только
Знай наперед: не сошьешь — долой голова;
до свиданья».
Зол возвратился к себе Иван-царевич, а пчелка
Марья-царевна уж там. «Отчего опять так
задумчив,
Милый Иван-царевич?» — спросила она.
«Поневоле
Будешь задумчив,— он ей отвечал.— Отец твой
затеял
Новую шутку: шей я ему сапоги с оторочкой;
Разве какой я сапожник? Я царский сын; я не
хуже
Родом его. Кощей он бессмертный! видали мы
много
Этих бессмертных». — «Иван-царевич, да что же
ты будешь
Делать?» — «Что мне тут делать? Шить сапогов
я не стану.
Снимет он голову — черт с ним, с собакой!
какая мне нужда!» —
«Нет, мой милый, ведь мы теперь жених и
невеста;
Я постараюсь избавить тебя; мы вместе спасемся
Или вместе погибнем. Нам должно бежать; уж
другого
Способа нет». Так сказав, на окошко
Марья-царевна

Плюнула; слюнки в минуту примерзли к стеклу;
из каморки
Вышла она потом с Иваном-царевичем вместе,
Двери ключом заперла и ключ далеко
зашвырнула,
За руки взявшись потом, они поднялись и мигом
Там очутились, откуда сошли в подземельное
царство:
То же озеро, низкий берег, муравчатый, свежий
Луг, и, видят, по лугу свежему бодро гуляет
Конь Ивана-царевича. Только почуял могучий
Конь седока своего, как заржал, заплясал и
помчался
Прямо к нему и, примчавшись, как вкопанный
в землю
Стал перед ним. Иван-царевич, не думая долго,
Сел на коня, царевна за ним, и пустились
стрелою.
Царь Кощей в назначенный час посылает
придворных
Слуг доложить Ивану-царевичу: что-де
так долго
Мешкать изволите? Царь дожидается. Слуги
приходят;
Заперты двери. Стук! стук! и вот из-за
двери им слюнки,
Словно как сам Иван-царевич, ответствуют: *буду*.
Этот ответ придворные слуги относят к Кощею;
Ждать-подождать — царевич *нейдет*; посылает
в другой раз
Тех же послов рассержённый Кощей, и та же
всё песня:
Буду; а нет никого. Взбесился Кощей.
«Насмехаться,
Что ли, он вздумал? Бегите же; дверь разломать
и в минуту

За ворот к нам притащить неучтивца!» Бросились
слуги...

Двери разломаны... вот тебе раз; никого там, а
слюнки

Так и хохочут. Кощей едва от злости не лопнул.

Ах! он вор окаянный! люди! люди! скорее

Все в погоню за ним!.. я всех перевешаю, если
Он убежит!..» Помчалась погоня... «Мне слышится
топот»,—

Шепчет Ивану-царевичу Марья-царевна,
прижавшись

Жаркою грудью к нему. Он слезает с коня и,
припавши

Ухом к земле, говорит ей: «Скачут, и близко».—
«Так медлить

Нечего»,— Марья-царевна сказала, и в ту же
минуту

Сделалась речкой сама, Иван-царевич железным
Мостиком, черным вороном конь, а большая дорога
На три дороги разбилась за мостиком. Быстро
погоня

Скачет по свежему следу; но, к речке примчавшись,
стали

В пень Кошеевы слуги: след до мостика виден;
Дале ж и след пропадает и делится на три дорога.
Нечего делать — назад! Воротились разумники.

Страшно
Царь Кощей разозлился, о их неудаче услышав.

«Черти! ведь мостик и речка были они! догадаться
Можно бы вам, дуралеям! Назад! чтоб был

непременно
Здесь он!..» Опять помчалась погоня... «Мне
слышится топот»,—

Шепчет опять Ивану-царевичу Марья-царевна.
Слез он с седла и, припавши ухом к земле, гово-
рит ей:

«Скачут, и близко». И в ту же минуту Марья-
царевна
Вместе с Иваном-царевичем, с ними и конь их,
дремучим
Сделались лесом; в лесу том дорожек, тропинок
числа нет;
По лесу ж, кажется, конь с двумя седоками,
несется.
Вот по свежему следу гонцы примчались к лесу;
Видят в лесу скакунов и пустились вдогонку за
ними.
Лес же раскинулся вплоть до входа в Кощеево
царство.
Мчатся гонцы, а конь перед ними скачет да скачет;
Кажется, близко? ну только б схватить; ан нет, не
дается.
Глядь! очутились они у входа в Кощеево царство,
В самом том месте, откуда пустились в погоню;
и скрылось
Всё: ни коня, ни дремучего лесу. С пустыми руками
Снова явились к Кощею они. Как цепная собака,
Начал метаться Кощей. «Вот я ж его, плута! Коня
мне!
Сам поеду, увидим мы, как от меня отвертится!»
Снова Ивану-царевичу Марья-царевна тихонько
Шепчет: «Мне слышится топот»; и снова он ей
отвечает:
«Скачут, и близко». — «Беда нам! Ведь это Кощей,
мой родитель
Сам; но у первой церкви граница его государства;
Далее ж церкви скакать он никак не посмеет.
Подай мне
Крест твой с мощами». Послушавшись
Марьи-царевны, снимает
С шеи свой крест золотой Иван-царевич и в руки
Ей подает, и в минуту она обратилась в церковь,

Он в монаха, а конь в колокольню — и в ту же
минуту
С свитою к церкви Кощей прискакал. «Не видал ли
проезжих,
Старец честной?» — он спросил у монаха. «Сейчас
проезжали
Здесь Иван-царевич с Марьей-царевной; входили
В церковь они — святым помолились да мне
приказали
Свечку поставить за здравье твое и тебе
поклониться,
Если ко мне ты заедешь». — «Чтоб шею сломить им,
проклятым!» —
Крикнул Кощей и, коня повернув, как безумный
помчался
С свитой назад, а примчавшись домой, пересек
беспощадно
Всех до единого слуг. Иван же царевич с своею
Марьей-царевной поехали дале, уже не бояся
Боле погони. Вот они едут шажком; уж склонялось
Солнце к закату, и вдруг в вечерних лучах перед
ними
Город прекрасный. Ивану-царевичу смерть
захотелось
В этот город заехать. «Иван-царевич, — сказала
Марья-царевна, — не езди; недаром вешее сердце
Ноет во мне: беда приключится». — «Чего ты
боишься,
Марья-царевна? Заедем туда на минуту; посмотрим
Город, потом и назад». — «Заехать нетрудно, да
трудно
Выехать будет. Но быть так! ступай, а я здесь
останусь
Белым камнем лежать у дороги; смотри же, мой
милый,
Будь осторожен: царь, и царица, и дочь их царевна



Выдут навстречу тебе, и с ними прекрасный
младенец

Будет; младенца того не целуй; поцелуешь —
забудешь

Тотчас меня; тогда и я не останусь на свете,
С горя умру, и умру от тебя. Вот здесь, у дороги,
Буду тебя дожидаться я три дни; когда же на
третий

День не придешь... но прости, поезжай». И в город
поехал,

С нею простясь, Иван-царевич один. У дороги
Белым камнем осталась Марья-царевна. Проходит
День, проходит другой, напоследок проходит и
третий —

Нет Ивана-царевича. Бедная Марья-царевна!

Он не исполнил ее наставленья: в городе вышли
Встретить его и царь, и царица, и дочь их царевна;
Выбежал с ними прекрасный младенец, мальчик-
кудряшка,

Живчик, глазенки как ясные звезды; и бросился
прямо

В руки Ивану-царевичу; он же его красотой
Так был пленен, что, ум потерявши, в горячие щеки
Начал его целовать; и в эту минуту затмилась
Память его, и он позабыл о Марье-царевне.

Горе взяло ее. «Ты покинул меня, так и жить мне
Незачем боле». И в то же мгновенье из белого
камня

Марья-царевна в лазоревый цвет полевой
превратилась.

«Здесь, у дороги, останусь, авось мимоходом
затопчет

Кто-нибудь в землю меня», — сказала она, и
росинки

Слез на листках голубых заблестали. Дорогой в то
время

Шел старик; он цветок голубой у дороги увидел;
Нежной его красотой пленясь, осторожно он вырыл
С корнем его, и в избушку свою перенес, и в

корытце

Там посадил, и полил водой, и за милым цветочком
Начал ухаживать. Что же случилось? С той самой

минуты

Всё не по-старому стало в избушке; чудесное что-то
Начало деяться в ней: проснется старик — а в

избушке

Всё уж как надобно прибрано; нет нигде ни

пылинки.

В полдень придет он домой — а обед уж

состряпан, и чистой

Скатертью стол уж накрыт: садися и ешь на

здоровье.

Он дивился, не знал, что подумать; ему напоследок

Стало и страшно, и он у одной ворожейки-старушки

Начал совета просить, что делать. «А вот что ты

сделай, —

Так отвечала ему ворожейка, — встань ты до первой

Ранней зари, пока петухи не пропели, и в оба

Глаза гляди: что начнет в избушке твоей

шевелиться,

То ты вот этим платком и накрой. Что будет,

увидишь».

Целую ночь напролет старик пролежал на постеле,

Глаз не смыкая. Заря занялася, и стало в избушке

Видно, и видит он вдруг, что цветок голубой

встрепенулся,

С тонкого стебля спорхнул и начал летать по

избушке;

Всё между тем по местам становилось, повсюду

сметалась

Пыль, и огонь разгорался в печурке. Проворно с

постели

Прянул старик и накрыл цветочек платком, и
явилась
Вдруг пред глазами его красавица Марья-царевна.
«Что ты сделал? — сказала она. — Зачем возвратил
ты
Жизнь мне мою? Жених мой, Иван-царевич
прекрасный,
Бросил меня, и я им забыта». — «Иван твой царевич
Женится нынче. Уж свадебный пир приготовлен,
и гости
Съехались все». Заплакала горько Марья-царевна;
Слезы потом отерла; потом, в сарафан
нарядившись,
В город крестьянкой пошла. Приходит на царскую
кухню;
Бегают там повара в колпаках и фартуках белых;
Шум, возня, стукотня. Вот Марья-царевна,
приблизась
К старшему повару, с видом умильным и сладким,
как флейта,
Голосом молвила: «Повар, голубчик, послушай,
позволь мне
Свадебный спечь пирог для Ивана-царевича».
Повар,
Занятый делом, с досады хотел огрызнуться; но
слово
Замерло вдруг у него на губах, когда он увидел
Марью-царевну; и ей отвечал он с приветливым
взглядом:
«В добрый час, девица-красавица; всё что угодно
Делай; Ивану-царевичу сам поднесу я пирог твой».
Вот пирог испечен; а званые гости, как должно,
Все уж сидят за столом и пируют. Услужливый
повар
Важно огромный пирог на узорном серебряном
блюде

Ставит на стол перед самым Иваном-царевичем;

гости

Все удивились, увидя пирог. Но лишь только

верхушку

Срезал с него Иван-царевич — новое чудо!

Сизый голубь с белой голубкой порхнули оттуда.

Голубь по столу ходит; голубка за ним и воркует:

«Голубь, мой голубь, постой, не беги; обо мне ты

забудешь

Так, как Иван-царевич забыл о Марье-царевне!»

Ахнул Иван-царевич, то слово голубки услышав;

Он вскочил как безумный и кинулся в дверь, а

за дверью

Марья-царевна стоит уж и ждет. У крыльца же

Конь вороной с нетерпенья, оседланный,

взнузданный, пляшет.

Нечего медлить; поехал Иван-царевич с своею

Марьей-царевной; едут да едут, и вот приезжают

В царство царя Берендея они. И царь и царица

Приняли их с весельем таким, что такого веселья

Видом не видано, слухом не слыхано. Долго не

стали

Думать, честным пирком да за свадебку; съехались

гости,

Свадьбу сыграли; я там был, там мед я и пиво

Пил; по усам текло, да в рот не попало. И всё тут.



СКАЗКА
О ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ
И СЕРОМ ВОЛКЕ



авным-давно был
в некотором царстве


Могучий царь, по имени Демьян
Данилович. Он царствовал премудро;
И было у него три сына: Клим-
Царевич, Петр-царевич и Иван-
Царевич. Да еще был у него
Прекрасный сад, и чудная росла
В саду том яблоня; всё золотые
Родились яблоки на ней. Но вдруг
В тех яблоках царевых оказался
Великий недочет; и царь Демьян
Данилович был так тем опечален,
Что похудел, лишился аппетита
И впал в бессонницу. Вот наконец,
Призвав к себе своих трех сыновей,
Он им сказал: «Сердечные друзья
И сыновья мои родные, Клим-
Царевич, Петр-царевич и Иван-
Царевич, должно вам теперь большую
Услугу оказать мне; в царский сад мой
Повадился таскаться ночью вор;
И золотых уж очень много яблок
Пропало; для меня ж пропажа эта
Тошнее смерти. Слушайте, друзья:
Тому из вас, кому поймать удастся
Под яблоней ночного вора, я
Отдам при жизни половину царства;



Когда ж умру, и всё ему оставлю
В наследство». Сыновья, услышав то,
Что им сказал отец, уговорились
Поочередно в сад ходить, и ночь
Не спать, и вора сторожить. И первый
Пошел, как скоро ночь настала, Клим-
Царевич в сад, и там залег в густую
Траву под яблоней, и с полчаса
В ней пролежал, да и заснул так крепко,
Что полдень был, когда, глаза продрав,
Он поднялся, во весь зевая рот.
И, возвратясь, царю Демьяну он
Сказал, что вор в ту ночь не приходил.
Другая ночь настала; Петр-царевич
Сел сторожить под яблонею вора;
Он целый час крепился, в темноту
Во все глаза глядел, но в темноте
Всё было пусто; наконец и он,
Не одолев дремоты, повалился
В траву и захрапел на целый сад.
Давно был день, когда проснулся он.
Пришед к царю, ему донес он так же,
Как Клим-царевич, что и в эту ночь
Красть царских яблок вор не приходил.
На третью ночь отправился Иван-
Царевич в сад по очереди вора
Стеречь. Под яблоней он притаился,
Сидел не шевелясь, глядел прилежно
И не дремал; и вот, когда настала
Глухая полночь, сад весь облеснуло*
Как будто молнией; и что же видит
Иван-царевич? От востока быстро
Летит жар-птица, огненной звездой
Блестя и в день преобращая ночь.
Прижавшись к яблоне, Иван-царевич
Сидит, не движется, не дышит, ждет,



Что будет? Сев на яблоню, жар-птица.
За дело принялась и нарвала
С десяток яблок. Тут Иван-царевич,
Тихохонько поднявшись из травы,
Схватил за хвост воровку; уронив
На землю яблоки, она рванулась
Всей силою и вырвала из рук
Царевича свой хвост и улетела;
Однако у него в руках одно
Перо осталось, и такой был блеск
От этого пера, что целый сад
Казался огненным. К царю Демьяну
Пришед, Иван-царевич доложил
Ему, что вор нашелся и что этот
Вор был не человек, а птица; в знак же,
Что правду он сказал, Иван-царевич
Почтительно царю Демьяну подал
Перо, которое он из хвоста
У вора вырвал. С радости отец
Его расцеловал. С тех пор не стали
Красть яблок золотых, и царь Демьян
Развеселился, пополнел и начал
По-прежнему есть, пить и спать. Но в нем
Желанье сильное зажглось: добыть
Воровку яблок, чудную жар-птицу.
Призвав к себе двух старших сыновей,
«Друзья мои,— сказал он,— Клим-царевич
И Петр-царевич, вам уже давно
Пора людей увидеть и себя
Им показать. С моим благословеньем
И с помощью господней поезжайте
На подвиги и наживите честь
Себе и славу; мне ж, царю, достаньте
Жар-птицу; кто из вас ее достанет,
Тому при жизни я отдам полцарства,
А после смерти всё ему оставлю



В наследство». Поклонясь царю, немедля
Царевичи отправились в дорогу.
Немного времени спустя пришел
К царю Иван-царевич и сказал:
«Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович, позволь мне ехать
За братьями; и мне пора людей
Увидеть, и себя им показать,
И честь себе нажить от них и славу.
Да и тебе, царю, я угодить
Желал бы, для тебя достав жар-птицу.
Родительское мне благословенье
Дай и позволь пуститься в путь мой с богом».
На это царь сказал: «Иван-царевич,
Еще ты молод, погоди; твоя
Пора придет; теперь же ты меня
Не покидай; я стар, уж мне недолго
На свете жить; а если я один
Умру, то на кого покину свой
Народ и царство?» Но Иван-царевич
Был так упрям, что напоследок царь
И нехотя его благословил.
И в путь отправился Иван-царевич;
И ехал, ехал, и приехал к месту,
Где разделялася дорога на три.
Он на распутье том увидел столб,
А на столбе такую надпись: «*Кто
Поедет прямо, будет всю дорогу
И голоден и холоден; кто вправо
Поедет, будет жив, да конь его
Умрет, а влево кто поедет, сам
Умрет, да конь его жив будет*». Вправо,
Подумавши, поворотить решил
Иван-царевич. Он недолго ехал;
Вдруг выбежал из леса Серый Волк
И кинулся свирепо на коня;



И не успел Иван-царевич взяться
За меч, как был уж конь заеден,
И Серый Волк пропал. Иван-царевич,
Повесив голову, пошел тихонько
Пешком; но шел недолго; перед ним
По-прежнему явился Серый Волк
И человеческим голосом сказал:
«Мне жаль, Иван-царевич, мой сердечный,
Что твоего я доброго коня
Заел, но ты ведь сам, конечно, видел,
Что на столбу написано; тому
Так следовало быть; однако ж ты
Свою печаль забудь и на меня
Садись; тебе я верою и правдой
Служить отныне буду. Ну, скажи же,
Куда теперь ты едешь и зачем?»
И Серому Иван-царевич Волку
Всё рассказал. А Серый Волк ему
Ответствовал: «Где отыскать жар-птицу,
Я знаю; ну, садися на меня,
Иван-царевич, и поедем с богом».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком, и с ним он в полночь
У каменной стены остановился.
«Приехали, Иван-царевич! — Волк
Сказал, — но слушай, в клетке золотой
За этою оградю висит
Жар-птица; ты ее из клетки
Достань тихонько, клетки же отнюдь
Не трогай: попадешь в беду». Иван-
Царевич перелез через ограду;
За ней в саду увидел он жар-птицу
В богатой клетке золотой, и сад
Был освещен, как будто солнцем. Вынув
Из клетки золотой жар-птицу, он
Подумал: «В чем же мне ее везти?»



И, позабыв, что Серый Волк ему
Советовал, взял клетку; но отвсюду
Проведены к ней были струны; громкий
Поднялся звон, и сторожа проснулись,
И в сад сбежались, и в саду Ивана-
Царевича схватили, и к царю
Представили, а царь (он назывался
Далматом) так сказал: «Откуда ты?
И кто ты?» — «Я Иван-царевич; мой
Отец, Демьян Данилович, владеет
Великим, сильным государством; ваша
Жар-птица по ночам летать в наш сад
Повадилась, чтоб золотые красть
Там яблоки: за ней меня послал
Родитель мой, великий государь
Демьян Данилович». На это царь
Далмат сказал: «Царевич ты иль нет,
Того не знаю я; но, если правду
Сказал ты, то не царским ремеслом
Ты промышляешь; мог бы прямо мне
Сказать: отдай мне, царь Далмат, жар-птицу,
И я тебе ее руками б отдал
Во уважение того, что царь
Демьян Данилович, столь знаменитый
Своей премудростью, тебе отец.
Но слушай, я тебе мою жар-птицу
Охотно уступлю, когда ты сам
Достанешь мне коня Золотогрива;
Принадлежит могучему царю
Афрону он. За тридевять земель
Ты в тридесятое отправься царство
И у могучего царя Афрона
Мне выпроси коня Золотогрива
Иль хитростью какой его достань.
Когда ж ко мне с конем не возвратишься,
То по всему расславлю свету я,



Что ты не царский сын, а вор; и будет
Тогда тебе великий срам и стыд».
Повесив голову, Иван-царевич
Пошел туда, где был им Серый Волк
Оставлен. Серый Волк ему сказал:
«Напрасно же меня, Иван-царевич,
Ты не послушался; но пособить
Уж нечем; будь вперед умней; поедем
За тридевять земель к царю Афрону».
И Серый Волк быстрее всякой птицы
Помчался с седоком; и к ночи в царство
Царя Афрона прибыли они
И у дверей конюшни царской там
Остановились. «Ну, Иван-царевич,
Послушай,— Серый Волк сказал,— войди
В конюшню; конюха спят крепко; ты
Легко из стойла выведешь коня
Золотогрива; только не бери
Его уздечки; снова попадешь в беду».
В конюшню царскую Иван-царевич
Вошел, и вывел он коня из стойла;
Но на беду взглянувши на уздечку,
Прельстился ею так, что позабыл
Совсем о том, что Серый Волк сказал,
И снял с гвоздя уздечку. Но и к ней
Проведены отвсюду были струны;
Всё зазвенело; конюха вскочили;
И был с конем Иван-царевич пойман.
И привели его к царю Афрону.
И царь Афрон спросил сурово: «Кто ты?»
Ему Иван-царевич то ж в ответ
Сказал, что и царю Далмату. Царь
Афрон отвечивал: «Хороший ты
Царевич! Так ли должно поступать
Царевичам? И царское ли дело
Шататься по ночам и воровать



Коней? С тебя я буйную бы мог
Снять голову; но молодость твою
Мне жалко погубить; да и коня
Золотогрива дать я соглашусь,
Лишь поезжай за тридевять земель
Ты в тридесятое отсюда царство
Да привези оттуда мне царевну
Прекрасную Елену, дочь царя
Могучего Касима; если ж мне
Ее не привезешь, то я везде расславлю,
Что ты ночной бродяга, плут и вор».
Опять, повесив голову, пошел
Туда Иван-царевич, где его
Ждал Серый Волк. И Серый Волк сказал:
«Ой ты, Иван-царевич! Если б я
Тебя так не любил, здесь моего бы
И духу не было. Ну, полно охать,
Садися на меня, поедем с богом
За тридевять земель к царю Касиму;
Теперь мое, а не твое уж дело».
И Серый Волк опять скакать с Иваном-
Царевичем пустился. Вот они
Проехали уж тридевять земель,
И вот они уж в тридесятом царстве;
И Серый Волк, ссадив с себя Ивана-
Царевича, сказал: «Недалеко
Отсюда царский сад, туда один
Пойду я; ты ж меня дождись под этим
Зеленым дубом». Серый Волк пошел,
И перелез через ограду сада,
И закопался в куст, и там лежал
Не шевелясь. Прекрасная Елена
Касимовна — с ней красные девицы,
И мамушки, и нянюшки — пошла
Прогуливаться в сад; а Серый Волк
Того и ждал: заметив, что царевна,



От прочих отделяя, шла одна,
Он выскочил из-под куста, схватил
Царевну, за спину ее свою
Закинул и давай бог ноги. Страшный
Крик подняли и красные девицы,
И мамушки, и нянюшки; и весь
Сбежался двор, министры, камергеры*
И генералы; царь велел собрать
Охотников и всех спустить своих
Собак борзых и гончих — всё напрасно:
Уж Серый Волк с царевной и с Иваном-
Царевичем был далеко, и след
Давно простыл; царевна же лежала
Без всякого движенья у Ивана-
Царевича в руках (так Серый Волк
Ее, сердечную, перепугал).
Вот понемногу начала она
Входить в себя, пошевелилась, глазки
Прекрасные открыла и, совсем
Очнувшись, подняла их на Ивана-
Царевича и покраснела вся,
Как роза алая; и с ней Иван-
Царевич покраснел, и в этот миг
Она и он друг друга полюбили
Так сильно, что ни в сказке рассказать,
Ни описать пером того не можно.
И впал в глубокую печаль Иван-
Царевич: крепко, крепко не хотелось
С царевною Еленюю ему
Расстаться и ее отдать царю
Афрону; да и ей самой то было
Страшнее смерти. Серый Волк, заметив
Их горе, так сказал: «Иван-царевич,
Изволишь ты кручиниться напрасно;
Я помогу твоей кручине: это
Не служба — службишка; прямая служба



Ждет впереди». И вот они уж в царстве
Царя Афрона. Серый Волк сказал:
«Иван-царевич, здесь должны умненько
Мы поступить: я превращусь в царевну;
А ты со мной явись к царю Афрону.
Меня ему отдай и, получив
Коня Золотогрива, поезжай вперед
С Еленюю Касимовной; меня вы
Дождитесь в скрытном месте; ждать же вам
Не будет скучно». Тут, ударясь оземь,
Стал Серый Волк царевною Еленюю
Касимовной. Иван-царевич, сдав
Его с рук на руки царю Афрону
И получив коня Золотогрива,
На том коне стрелой пустился в лес,
Где настоящая его ждала
Царевна. Во дворце ж царя Афрона
Тем временем готовилась свадьба:
И в тот же день с невестой царь к венцу
Пошел; когда же их перевенчали
И молодой был должен молодую
Поцеловать, губами царь Афрон
С шершавую столкнулся волчьей мордой,
И эта морда за нос укусила
Царя, и не жену перед собой
Красавицу, а волка царь Афрон
Увидел; Серый Волк недолго стал
Тут церемониться: он сбил хвостом
Царя Афрона с ног и прынул в двери.
Все принялись кричать: «Держи, держи!
Лови, лови!» Куда ты! Уж Ивана-
Царевича с царевною Еленюю
Давно догнал проворный Серый Волк;
И уж, сошед с коня Золотогрива,
Иван-царевич пересел на Волка,
И уж вперед они опять, как вихри,



Летели. Вот приехали и в царство
Далматово они. И Серый Волк
Сказал: «В коня Золотогрива
Я превращусь, а ты, Иван-царевич,
Меня отдав царю и взяв жар-птицу,
По-прежнему с царевною Еленой
Ступай вперед; я скоро догоню вас».
Так всё и сделалось, как Волк устроил.
Немедленно велел Золотогрива
Царь оседлать, и выехал на нем
Он с свитою придворной на охоту;
И впереди у всех он поскакал
За зайцем; все придворные кричали:
«Как молодецки скачет царь Далмат!»
Но вдруг из-под него на всем скаку
Юркнул шершавый Волк, и царь Далмат,
Перекувырнувшись с его спины,
Вмиг очутился головою вниз,
Ногами вверх, и, по плечá ушедши
В распаханную землю, упирался
В нее руками, и, напрасно сясь
Освободиться, в воздухе болтал
Ногами; вся к нему тут свита
Скакать пустилася; освободили
Царя; потом все принялися громко
Кричать: «Лови! лови! Трави, трави!»*
Но было некого травить; на Волке
Уже по-прежнему сидел Иван-
Царевич; на коне ж Золотогриве
Царевна, и под ней Золотогрив
Гордился и плясал; не торопясь,
Большой дорогою они шажком
Тихонько ехали; и мало ль, долго ль
Их длилася дорога — наконец
Они доехали до места, где Иван-
Царевич Серым Волком в первый раз



Был встречен; и еще лежали там
Его коня белеющие кости;
И Серый Волк, вздохнув, сказал Ивану-
Царевичу: «Теперь, Иван-царевич,
Пришла пора друг друга нам покинуть;
Я верою и правдою донине
Тебе служил, и ласкою твоею
Доволен, и, покуда жив, тебя
Не позабуду; здесь же на прощанье
Хочу тебе совет полезный дать:
Будь осторожен, люди злы; и братьям
Родным не верь. Молю усердно бога,
Чтоб ты домой доехал без беды
И чтоб меня обрадовал приятным
Известьем о себе. Прости, Иван-
Царевич». С этим словом Волк исчез.
Погоревав о нем, Иван-царевич,
С царвною Еленой на седле,
С жар-птицей в клетке за плечами, дале
Поехал на коне Золотогриве,
И ехали они дня три, четыре;
И вот, подъехавши к границе царства,
Где властвовал премудрый царь Демьян
Данилович, увидели богатый
Шатер, разбитый на лугу зеленом;
И из шатра к ним вышли... кто же? Клим
И Петр-царевичи. Иван-царевич
Был встречею такую несказанно
Обрадован; а братьям в сердце зависть
Змеей вползла, когда они жар-птицу
С царвною Еленой у Ивана-
Царевича увидели в руках:
Была им мысль несносна показаться
Без ничего к отцу, тогда как брат
Меньшой воротится к нему с жар-птицей,
С прекрасною невестой и с конем



Золотогривом и еще получит
Полцарства по приезде; а когда
Отец умрет, и всё возьмет в наследство.
И вот они замыслили злодейство:
Вид дружеский принявши, пригласили
Они в шатер свой отдохнуть Ивана-
Царевича с царевною Еленой
Прекрасною. Без подозренья оба
Вошли в шатер. Иван-царевич, долгой
Дорогой утомленный, лег и скоро
Заснул глубоким сном; того и ждали
Злодеи братья: мигом острый меч
Они ему вонзили в грудь, и в поле
Его оставили, и, взяв царевну,
Жар-птицу и коня Золотогрива,
Как добрые, отправились в путь.
А между тем, недвижим, бездыханен,
Облитый кровью, на поле широком
Лежал Иван-царевич. Так прошел
Весь день; уже склоняться начинало
На запад солнце; поле было пусто;
И уж над мертвым с черным вороненком
Носился, каркая и распутивши
Широко крылья, хищный ворон. Вдруг,
Откуда ни возьмись, явился Серый
Волк: он, беду великую почуяв,
На помощь подоспел; еще б минута,
И было б поздно. Угадав, какой
Был умысел у ворона, он дал
Ему на мертвое спуститься тело;
И только тот спустился, разом цап
Его за хвост; закаркал старый ворон.
«Пусти меня на волю, Серый Волк»,—
Кричал он. «Не пущу,— тот отвечал,—
Пока не принесет твой вороненок
Живой и мертвой мне воды!» И ворон



Велел лететь скорее вороненку
За мертвою и за живой водою.
Сын полетел, а Серый волк, отца
Порядком скомкав, с ним весьма учтиво
Стал разговаривать, и старый ворон
Довольно мог ему порассказать
О том, что он видал в свой долгий век
Меж птиц и меж людей. И слушал
Его с большим вниманьем Серый Волк
И мудрости его необычайной
Дивился, но, однако, всё за хвост
Его держал и иногда, чтоб он
Не забывался, мял его легонько
В когтистых лапах. Солнце село; ночь
Настала и прошла; и занялась
Заря, когда с живой водой и мертвой
В двух пузырьках проворный вороненок
Явился. Серый Волк взял пузырьки
И ворона-отца пустил на волю.
Потом он с пузырьками подошел
К лежавшему недвижимо Ивану-
Царевичу: сперва его он мертвой
Водою впрыснул — и в минуту рана
Его закрылася, окостенелость
Пропала в мертвых членах, заиграл
Румянец на щеках; его он впрыснул
Живой водой — и он открыл глаза,
Пошевелился, потянулся, встал
И молвил: «Как же долго прósпал я!» —
«И вечно бы тебе здесь спать, Иван-
Царевич,— Серый Волк сказал,— когда б
Не я; теперь тебе прямую службу
Я отслужил; но эта служба, знай,
Последняя, отныне о себе
Заботься сам. А от меня прими
Совет и поступи, как я тебе скажу.



Твоих злодеев братьев нет уж боле
На свете; им могучий чародей
Кощей бессмертный голову обоим
Свернул, и этот чародей навел
На ваше царство сон; и твой родитель
И подданные все его теперь
Непробудимо спят; твою ж царевну
С жар-птицей и конем Золотогривом
Похитил вор Кощей; все трое
Заключены в его волшебном замке.
Но ты, Иван-царевич, за свою
Невесту ничего не бойся; злой
Кощей над нею власти никакой
Иметь не может: сильный талисман
Есть у царевны; выйти ж ей из замка
Нельзя; ее избавит только смерть
Кощеева; а как найти ту смерть, и я
Того не ведаю; об этом Баба
Яга одна сказать лишь может. Ты,
Иван-царевич, должен эту Бабу
Ягу найти; она в дремучем, темном лесе,
В седом, глухом бору живет в избушке
На курьих ножках; в этот лес еще
Никто следа не пролагал; в него
Ни дикий зверь не заходил, ни птица
Не залетала. Разъезжает Баба
Яга по целой поднебесной в ступе,
Пестом железным погоняет, след
Метлою замечает. От нее
Одной узнаешь ты, Иван-царевич,
Как смерть Кощееву тебе достать.
А я тебе скажу, где ты найдешь
Коня, который привезет тебя
Прямой дорогой в лес дремучий к Бабе
Яге. Ступай отсюда на восток;
Придешь на луг зеленый; посреди



Его растут три дуба; меж дубами
В земле чугунная зарыта дверь
С кольцом; за то кольцо ты подыми
Ту дверь и вниз по лестнице сойди;
Там за двенадцатью дверями заперт
Конь богатырский; сам из подземелья
К тебе он выбежит; того коня
Возьми и с богом поезжай; с дороги
Он не собьется. Ну, теперь прости,
Иван-царевич; если бог велит
С тобой нам свидеться, то это будет
Не иначе, как у тебя на свадьбе».
И Серый Волк помчался к лесу; вслед
За ним смотрел Иван-царевич с грустью;
Волк, к лесу подбежавши, обернулся,
В последний раз махнул издалика
Хвостом и скрылся. А Иван-царевич,
Оборотившись на восток лицом,
Пошел вперед. Идет он день, идет
Другой; на третий он приходит к лугу
Зеленому; на том лугу три дуба
Растут; меж тех дубов находит он
Чугунную с кольцом железным дверь;
Он подымает дверь; под тою дверью
Крутая лестница; по ней он вниз
Спускается, и перед ним внизу
Другая дверь, чугунная ж, и крепко
Она замком висячим заперта.
И вдруг, он слышит, конь заржал; и ржанье
Так было сильно, что, с петлей сорвавшись,
Дверь наземь рухнула с ужасным стуком;
И видит он, что вместе с ней упало
Еще одиннадцать дверей чугунных.
За этими чугунными дверями
Давным-давно конь богатырский заперт
Был колдуном. Иван-царевич свистнул;




Почуяв седока, на молодецкий
Свист богатырский конь из стойла прынул
И прибежал, легок, могуч, красив,
Глаза как звезды, пламенные ноздри,
Как туча грива, словом, конь не конь,
А чудо. Чтоб узнать, каков он силой,
Иван-царевич по спине его
Повел рукой, и под рукой могучей
Конь захрапел и сильно пошатнулся,
Но устоял, копыта втиснув в землю;
И человеческим голосом Ивану-
Царевичу сказал он: «Добрый витязь,
Иван-царевич, мне такой, как ты,
Седок и надобен; готов тебе
Я верою и правдою служить;
Садися на меня, и с богом в путь наш
Отправимся; на свете все дороги
Я знаю; только прикажи, куда
Тебя везти, туда и привезу».
Иван-царевич в двух словах коню
Всё объяснил и, севши на него,
Прикрикнул. И взвился могучий конь,
От радости заржавши, на дыбы;
Бьет по крутым бедрам его седок;
И конь бежит, под ним земля дрожит;
Несется выше он дерев стоячих,
Несется ниже облаков ходячих,
И прядает через широкий дол,
И застиляет узкий дол хвостом,
И грудью все заграды пробивает,
Летя стрелой и легкими ногами
Былиночки к земле не пригибая,
Пылиночки с земли не подымая.
Но, так скакав день целый, наконец
Конь утомился, пот с него бежал
Ручьями, весь был окружен, как дымом,



Горячим паром он. Иван-царевич,
Чтоб дать ему вздохнуть, поехал шагом;
Уж было под вечер; широким полем
Иван-царевич ехал и прекрасным
Закатом солнца любовался. Вдруг
Он слышит дикий крик; глядит... и что же?
Два Лешая дерутся на дороге,
Кусаются, брыкаются, друг друга
Рогами тычут. К ним Иван-царевич
Подъехавши, спросил: «За что у вас,
Ребята, дело стало?» — «Вот за что, —
Сказал один. — Три клада нам достались:
Драчун-дубинка, скатерть-самобранка
Да шапка-невидимка — нас же двое;
Как поборвну нам разделиться? Мы
Заспорили, и вышла драка; ты
Разумный человек; подай совет нам,
Как поступить?» — «А вот как, — им Иван-
Царевич отвечал. — Пущу стрелу,
А вы за ней бегите; с места ж, где
Она на землю упадет, обратно
Пуститесь взапуски ко мне; кто первый
Здесь будет, тот возьмет себе на выбор
Два клада; а другому взять один.
Согласны ль вы?» — «Согласны», — закричали
Рогатые; и стали рядом. Лук
Тугой свой натянув, пустил стрелу
Иван-царевич: Лешие за ней
Помчались, выпуча глаза, оставив
На месте скатерть, шапку и дубинку.
Тогда Иван-царевич, взяв под мышку
И скатерть и дубинку, на себя
Надел спокойно шапку-невидимку,
Стал невидимым и сам и конь и дале
Поехал, глупым Лешаям оставив
На произвол, начать ли снова драку



Иль помириться. Богатырский конь
Поспел еще до захождения солнца
В дремучий лес, где обитала Баба
Яга. И, въехав, в лес, Иван-царевич
Дивится древности его огромных
Дубов и сосен, тускло освещенных
Зарей вечернею; и всё в нем тихо:
Деревья все как сонные стоят,
Не колыхнется лист, не шевельнется
Былинка; нет живого ничего
В безмолвной глубине лесной, ни птицы
Между ветвей, ни в травке червяка;
Лишь слышится в молчанье повсеместном
Гремучий топот конский. Наконец
Иван-царевич выехал к избушке
На курьих ножках. Он сказал: «Избушка,
Избушка, к лесу стань задóm, ко мне
Стань передóm». И перед ним избушка
Перевернулась; он в нее вошел;
В дверях остановясь, перекрестился
На все четыре стороны, потом,
Как должно, поклонился и, глазами
Избушку всю окинувши, увидел,
Что на полу ее лежала Баба
Яга, уперши ноги в потолок
И в угол голову. Услышав стук
В дверях, она сказала: «Фу! фу! фу!
Какое диво! Русского здесь духу
До этих пор не слыхано слыхóm,
Не видано видóm, а нынче русский
Дух уж в очах свершается. Зачем
Пожаловал сюда, Иван-царевич?
Неволею иль волею? Доныне
Здесь ни дубравный зверь не проходил,
Ни птица легкая не пролетала,
Ни богатырь лихой не проезжал;



Тебя как бог сюда занес, Иван-Царевич?» — «Ах, безмозглая ты ведьма! — Сказал Иван-царевич Бабе Яге. — Сначала накорми, напои Меня ты, мóлодца; да постели Постелю мне, да выпасться мне дай, Потом расспрашивай». И тотчас Баба Яга, поднявшись на ноги, Ивана-Царевича как следует обмыла И выпарила в бане, накормила И напоила, да и тотчас спать В постелю уложила, так примолвив: «Спи, добрый витязь; утро мудренее, Чем вечер; здесь теперь спокойно Ты отдохнешь; нуждú ж свою расскажешь Мне завтра; я, как знаю, помогу». Иван-царевич, богу помолясь, В постелю лег и скоро сном глубоким Заснул и прóспал до полудня. Вставши, Умывшись, одевшись, он Бабе Яге подробно рассказал, зачем Заехал к ней в дремучий лес; и Баба Яга ему ответствовала так: «Ах! добрый молодец Иван-царевич, Затеял ты нешуточное дело; Но не кручинься, всё уладим с богом; Я научу, как смерть тебе Кощея Бессмертного достать; изволь меня Послушать: нá море на Окиане, На острове великом на Буяне Есть старый дуб; под этим старым дубом Зарыт сундук, окованный железом; В том сундуке лежит пушистый заяц; В том зайце утка серая сидит; А в утке той яйцо; в яйце же смерть Кощеева. Ты то яйцо возьми



И с ним ступай к Кощею, а когда
В его приедешь замок, то увидишь,
Что змей двенадцатиголовый вход
В тот замок стережет; ты с этим змеем
Не думай драться, у тебя на то
Дубинка есть; она его уймет.
А ты, надевши шапку-невидимку,
Иди прямой дорогою к Кощею
Бессмертному; в минуту он издохнет,
Как скоро ты при нем яйцо раздавишь.
Смотри лишь не забудь, когда назад
Поедешь, взять и гусли-самогуды:
Лишь их игрою только твой родитель
Демьян Данилович и всё его
Заснувшее с ним вместе государство
Пробуждены быть могут. Ну, теперь
Прости, Иван-царевич; бог с тобою;
Твой добрый конь найдет дорогу сам;
Когда ж свершишь опасный подвиг свой,
То и меня, старуху, помани
Не лихом, а добром». Иван-царевич,
Простившись с Бабою Ягою, сел
На доброго коня, перекрестился,
По-молодецки свистнул, конь помчался,
И скоро лес дремучий за Иваном-
Царевичем пропал вдали, и скоро
Мелькнуло впереди чертою синей
На крае неба море Окиан.
Вот прискакал и к морю Окиану
Иван-царевич. Осмотрясь, он видит,
Что у моря лежит рыбачий невод
И что в том неводе морская щука
Трепещется. И вдруг ему та щука
По-человечьи говорит: «Иван-
Царевич, вынь из невода меня
И в море брось; тебе я пригожуся».



Иван-царевич тотчас просьбу шуки
Исполнил, и она, хлестнув хвостом
В знак благодарности, исчезла в море.
А на море глядит Иван-царевич
В недоумении; на самом крае,
Где небо с ним как будто бы слилось,
Он видит, длинной полосой остров
Буян чернеет; он и недалек;
Но кто туда перевезет? Вдруг конь
Заговорил: «О чем, Иван-царевич,
Задумался? О том ли, как добраться
Нам до Буяна острова? Да что
За трудность? Я тебе корабль; сиди
На мне, да крепче за меня держись,
Да не робей, и духом доплывем».
И в гриву конскую Иван-царевич
Рукою впутался, крутые бедра
Коня ногами крепко стиснул; конь
Рассвирепел и, расскакавшись, прынул
С крутого берега в морскую бездну;
На миг и он и всадник в глубине
Пропали; вдруг раздвинулася с шумом
Морская зыбь, и вынырнул могучий
Конь из нее с отважным седоком;
И начал конь копытами и грудью
Бить по водам и волны пробивать,
И вокруг него кипела, волновалась,
И пенилась, и брызгами взлетала
Морская зыбь, и сильными прыжками,
Под крепкие копыта загребая
Кругом ревшую волну, как легкий
На парусах корабль с попутным ветром,
Вперед стремился конь, и длинный след
Шипящею бежал за ним змеею;
И скоро он до острова Буяна
Доплыл и на берег его отлогий



Из моря выбежал, покрытый пеной.
Не стал Иван-царевич медлить; он,
Коня пустив по шелковому лугу
Ходить, гулять и травку медовую
Щипать, пошел поспешным шагом к дубу,
Который рос у берега морского
На высоте муравчатого холма.
И, к дубу подошед, Иван-царевич
Его шатнул рукою богатырской,
Но крепкий дуб не пошатнулся; он
Опять его шатнул — дуб скрипнул; он
Еще шатнул его и посильнее,
Дуб покачнулся, и под ним коренья
Зашевелили землю; тут Иван-царевич
Всей силою рванул его — и с треском
Он повалился, из земли коренья
Со всех сторон, как змеи, поднялися,
И там, где ими дуб впивался в землю,
Глубокая открылась яма. В ней
Иван-царевич кованный сундук
Увидел; тотчас тот сундук из ямы
Он вытащил, висячий сбил замок,
Взял за уши лежавшего там зайца
И разорвал; но только лишь успел
Он зайца разорвать, как из него
Вдруг выпорхнула утка; быстро
Она взвилась и полетела к морю;
В нее пустил стрелу Иван-царевич,
И метко так, что пронизал ее
Насквозь; закрикав, кувырнулась утка;
И из нее вдруг выпало яйцо
И прямо в море; и пошло, как ключ,
Ко дну. Иван-царевич ахнул; вдруг,
Откуда ни возьмись, морская щука
Сверкнула на воде, потом юркнула,
Хлестнув хвостом, на дно, потом опять



Всплыла и, к берегу с яйцом во рту
Тихохонько приближась, на песке
Яйцо оставила, потом сказала:
«Ты видишь сам теперь, Иван-царевич,
Что я тебе в час нужный пригодилась».
С сим словом щука уплыла. Иван-
Царевич взял яйцо; и конь могучий
С Буяна острова на твердый берег
Его обратно перенес. И далее
Конь поскакал и скоро прискакал
К крутой горе, на высоте которой
Кощеев замок был; ее подошва
Обведена была стеной железной;
И у ворот железной той стены
Двенадцатиголовый змей лежал;
И из его двенадцати голов
Всегда шесть спали, шесть не спали, днем
И ночью по два раза для надзора
Сменяясь; а в виду ворот железных
Никто и вдалеке остановиться
Не смел; змей подымался, и от зуб
Его уж не было спасенья — он
Был невредим и только сам себя
Мог умертвить; чужая ж сила сладить
С ним никакая не могла. Но конь
Был осторожен; он подвез Ивана-
Царевича к горе со стороны,
Противной воротам, в которых змей
Лежал и караулил; потихоньку
Иван-царевич в шапке-невидимке
Подъехал к змею; шесть его голов
Во все глаза по сторонам глядели,
Разинув рты, оскалив зубы; шесть
Других голов на вытянутых шеях
Лежали на земле, не шевелясь,
И, сном объятые, храпели. Тут



Иван-царевич, подтолкнув дубинку,
Висевшую спокойно на седле,
Шепнул ей: «Начинай!» Не стала долго
Дубинка думать, тотчас прыг с седла,
На змея кинулась и ну его
По головам и спящим и неспящим
Гвоздить. Он зашипел, озлился, начал
Туда, сюда бросаться; а дубинка
Его себе колотит да колотит;
Лишь только он одну разинет пасть,
Чтоб ее схватить — ан нет, прощу
Не торопиться, уж она
Ему другую чешет морду; все он
Двенадцать ртов откроет, чтоб ее
Поймать,— она по всем его зубам,
Оскаленным как будто напоказ,
Гуляет и все зубы чистит; взвывает
И все носы наморщив, он зажмет
Все рты и лапами схватить дубинку
Попробует — она тогда его
Честит по всем двенадцати затылкам;
Змей в исступлении, как одурелый,
Кидался, выл, кувыркался, от злости
Дышал огнем, грыз землю — всё напрасно!
Не торопясь, отчетливо, спокойно,
Без промахов, над ним свою дубинка
Работу продолжает и его,
Как на току усердный цеп*, молотит;
Змей наконец озлился так, что начал
Грызть самого себя и, когти в грудь
Себе вдруг запустив, рванул так сильно,
Что разорвался надвое и, с визгом
На землю грянувшись, издох. Дубинка
Работу и над мертвым продолжать
Свою, как над живым, хотела; но
Иван-царевич ей сказал: «Довольно!»



И вмиг она, как будто не бывала
Ни в чем, повисла на седле. Иван-
Царевич, у ворот коня оставив
И разостлавши скатерть-самобранку
У ног его, чтоб мог усталый конь
Наестся и напиться вдоволь, сам
Пошел, покрытый шапкой-невидимкой,
С дубинкою на всякий случай и с яйцом
В Кощеев замок. Трудновато было
Карабкаться ему на верх горы;
Вот, наконец, добрался и до замка
Кощеева Иван-царевич. Вдруг
Он слышит, что в саду недалекó
Играют гусли-самогуды; в сад
Вошедши, в самом деле он увидел,
Что гусли на дубу висели и играли
И что под дубом тем сама Елена
Прекрасная сидела, погрузившись
В раздумье. Шапку-невидимку снявши,
Он тотчас ей явился и рукою
Знак подал, чтоб она молчала. Ей
Потом он на ухо шепнул: «Я смерть
Кощееву принес; ты подожди
Меня на этом месте; я с ним скоро
Управлюся и возвращусь; и мы
Немедленно уедем». Тут Иван-
Царевич, снова шапку-невидимку
Надев, хотел идти искать Кощея
Бессмертного в его волшебном замке,
Но он и сам пожаловал. Приблизась,
Он стал перед царевною Еленой
Прекрасною и начал попрекать ей
Ее печаль и говорить: «Иван-
Царевич твой к тебе уж не придет;
Его уж нам не воскресить. Но чем же
Я не жених тебе, скажи сама,



Прекрасная моя царевна? Полно ж
Упрямитесь, упрямяство не поможет;
Из рук моих оно тебя не вырвет;
Уж я...» Дубинке тут шепнул Иван-
Царевич: «Начинай!» И принялась
Она трепать Кощею спину. С криком,
Как бешеный, коверкаться и прыгать
Он начал, а Иван-царевич, шапки
Не сняв, стал приговаривать: «Прибавь,
Прибавь, дубинка; поделом ему,
Собаке: не воруй чужих невест;
Не докучай своею волчьей харей
И глупым сватовством своим прекрасным
Царевнам; злого сна не наводи
На царства! Крепче бей его, дубинка!» —
«Да где ты! Покажись! — кричал Кощей. —
Кто ты таков?» — «А вот кто!» — отвечал
Иван-царевич, шапку-невидимку
Сняв с головы своей, и в то ж мгновенье
Ударил оземь он яйцо; оно
Разбилось вдребезги; Кощей бессмертный
Перекувырнулся и околел.
Иван-царевич из сада с царевной
Еленюю прекрасной вышел, взять
Не позабывши гусли-самогуды,
Жар-птицу и коня Золотогрива.
Когда ж они с крутой горы спустились
И, севши на коней, в обратный путь
Поехали, гора, ужасно затрещав,
Упала с замком, и на месте том
Явилось озеро, и долго черный
Над ним клубился дым, распространяясь
По всей окрестности с великим смрадом.
Тем временем Иван-царевич, дав
Коням на волю их везти, как им
Самим хотелось, весело с прекрасной



Невестой ехал. Скатерть-самобранка
Усердно им дорогою служила,
И был всегда готов им вкусный завтрак,
Обед и ужин в надлежащий час:
На мураве душистой утром, в полдень
Под деревом густовершинным, ночью
Под шелковым шатром, который был
Всегда из двух отдельных половин
Составлен. И за каждой их трапезой
Играли гусли-самогуды; ночью
Светила им жар-птица, а дубинка
Стояла на часах, перед шатром;
Кони же, подружась, гуляли вместе,
Каталися по бархатному лугу,
Или траву росистую щипали,
Иль, голову кладя поочередно
Друг другу на спину, спокойно спали.
Так ехали они путем-дорогой
И наконец приехали в то царство,
Которым властвовал отец Ивана-
Царевича, премудрый царь Демьян
Данилович. И царство всё, от самых
Его границ до царского дворца,
Объято было сном непробудимым;
И где они ни проезжали, всё
Там спало; на поле перед сохой
Стояли спящие волы; близ них
С своим бичом, взмахнутым и заснувшим
На взмахе, пахарь спал; среди большой
Дороги спал ездок с конем, и пыль
Поднявшись, сонная, недвижным клубом
Стояла; в воздухе был мертвый сон;
На деревьях листья дремали молча;
И в ветвях сонные молчали птицы;
В селеньях, в городах всё было тихо,
Как будто в гробе: люди по домам,



На улицах, гуляя, сидя, стоя,
И с ними всё: собаки, кошки, куры,
В конюшнях лошади, в закутах овцы,
И мухи на стенах, и дым в трубах —
Все спало. Так в отцовскую столицу
Иван-царевич напоследок прибыл
С царевною Еленою прекрасной.
И, на широкий въехав царский двор,
Они на нем лежавшие два трупа
Увидели: то были Клим и Петр
Царевичи, убитые Кощеем.
Иван-царевич, мимо караула,
Стоявшего в параде сонным строем,
Прошед, по лестнице повел невесту
В покои царские. Был во дворце,
По случаю прибытия двух старших
Царевых сыновей, богатый пир
В тот самый час, когда убил обоих
Царевичей и сон на весь народ
Навел Кощей: весь пир в одно мгновенье
Тогда заснул, кто как сидел, кто как
Ходил, кто как плясал; и в этом сне
Еще их всех нашел Иван-царевич;
Демьян Данилович спал стоя; подле
Царя храпел министр его двора
С открытым ртом, с неконченным во рту
Докладом; и придворные чины,
Все вытянувшись, сонные стояли
Перед царем, оставив на него
Свои глаза, потухшие от сна,
С подобострастием на сонных лицах,
С заснувшею улыбкой на губах.
Иван-царевич, подошед с царевной
Еленою прекрасною к царю,
Сказал: «Играйте, гусли-самогуды»;
И заиграли гусли-самогуды...



Вдруг всё очнулось, всё заговорило,
Запрыгало и заплясало; словно
Ни на минуту не был прерван пир.
А царь Демьян Данилович, увидя,
Что перед ним с царевною Еленой
Прекрасною стоит Иван-царевич,
Его любимый сын, едва совсем
Не обезумел: он смеялся, плакал,
Глядел на сына, глаз не отводя,
И целовал его, и миловал,
И напоследок так развеселился,
Что руки в боки и пошел плясать
С царевною Еленюю прекрасной.
Потом он приказал стрелять из пушек,
Звонить в колокола и бирючам*
Столице возвестить, что возвратился
Иван-царевич, что ему полцарства
Теперь же уступает царь Демьян
Данилович, что он наименован
Наследником, что завтра брак его
С царевною Еленюю свершится
В придворной церкви и что царь Демьян
Данилович весь свой народ зовет
На свадьбу к сыну, всех военных, статских*,
Министров, генералов, всех дворян
Богатых, всех дворян мелкопоместных*,
Купцов, мещан, простых людей и даже
Всех нищих. И на следующий день
Невесту с женихом повел Демьян
Данилович к венцу; когда же их
Перевенчали, тотчас поздравленья
Им принесли все знатные чины
Обоих полов; а народ на площади
Дворцовой той порой кипел, как море;
Когда же вышел с молодыми царь
К нему на золотой балкон, от крика:



«Да здравствует наш государь Демьян
Данилович с наследником Иваном-
Царевичем и с дочерью царевной
Еленюю прекрасною!» все зданья
Столицы дрогнули и от взлетевших
На воздух шапок божий день затмился.
Вот на обед все званные царем
Сошлись гости — вся его столица;
В домах остались одни больные
Да дети, кошки и собаки. Тут
Свое проворство скатерть-самобранка
Явила: вдруг она на целый город
Раскинулась; сама собою площадь
Уставилась столами, и столы
По улицам в два ряда протянулись;
На всех столах сервиз был золотой,
И не стекло, хрусталь; а под столами
Шелковые ковры повсюду были
Разостланы; и всем гостям служили
Гейдуки в золотых ливреях*. Был
Обед такой, какого никогда
Никто не слыхивал: уха, как жидкий
Янтарь, сверкавшая в больших кастрюлях;
Огромножирные, длиною в сажень
Из Волги стерляди на золотых
Узорных блюдах; кулебяка с сладкой
Начинкою, с груздями гуси, каша
С сметаною, блины с икрою свежей
И крупной, как жемчуг, и пироги
Подовые*, потопленные в масле;
А для питья шипучий квас в хрустальных
Кувшинах, мартовское пиво, мед
Душистый и вино из всех земель:
Шампанское, венгерское, мадера,
И ренское, и всякие наливки —
Короче молвить, скатерть-самобранка



Так отличилась, что было чудо.
Но и дубинка не лежала праздно:
Вся гвардия была за царской стол
Приглашена, вся даже городская
Полиция — дубинка молодецки
За всех одна служила: во дворце
Держала караул; она ж ходила
По улицам, чтоб наблюдать везде
Порядок: кто ей пьяный нападался,
Того она толкала в спину прямо
На съезжую*; кого ж в пустом где доме
За кражею она ловила, тот
Был так отшлепан, что от воровства
Навеки отрекался и вступал
В путь добродетели — дубинка, словом,
Неимоверные во время пира
Царю, гостям и городу всему
Услуги оказала. Между тем
Всё во дворце кипело, гости ели
И пили так, что с их румяных лиц
Катился пот; тут гусли-самогуды
Явили всё усердие свое:
При них не нужен был оркестр, и гости
Уж музыки слышались такой,
Какая никогда им и во сне
Не грезилась. Но вот, когда, наполнив
Вином заздравный кубок, царь Демьян
Данилович хотел провозгласить
Сам многолетье новобрачным, громко
На площади раздался трубный звук;
Все изумились, все оторопели;
Царь с молодыми сам идет к окну,
И что же их является очам?
Карета в восемь лошадей (трубач
С трубою впереди) к крыльцу дворца
Сквозь улицу толпы народной скачет;



И та карета золотая; козлы
С подушкою и бархатным покрыты
Наметом; назади шесть гейдуков;
Шесть скороходов по бокам; ливреи
На них из серого сукна, по швам
Басоны*; на каретных дверцах герб:
В червленом поле волчий хвост под графской*
Короною. В карету заглянув,
Иван-царевич закричал: «Да это
Мой благодетель Серый Волк!» Его
Встречать бегом он побежал. И точно,
Сидел в карете Серый Волк; Иван-
Царевич, подскочив к карете, дверцы
Сам отворил, подножку сам откинул
И гостя высадил; потом он, с ним
Поцеловавшись, взял его за лапу,
Ввел во дворец и сам его царю
Представил. Серый Волк, отдав поклон
Царю, осанисто на задних лапах
Всех обошел гостей, мужчин и дам,
И всем, как следует, по комплименту
Приятному сказал; он был одет
Отлично: красная на голове
Ермолка с кисточкой, под морду лентой
Подвязанная; шелковый платок
На шее; куртка с золотым шитьем;
Перчатки лайковые* с бахромою;
Перепоясанные тонкой шалью
Из алого атласа шаровары;
Сафьянные* на задних лапах туфли,
И на хвосте серебряная сетка
С жемчужной кистью — так был Серый Волк
Одет. И всех своим он обхождением
Очаровал; не только что простые
Дворяне маленьких чинов и средних,
Но и чины придворные, статс-дамы*



И фрейлины* все были от него
Как без ума. И, гостя за столом
С собою рядом посадив, Демьян
Данилович с ним кубком в кубок стукнул
И возгласил здоровье новобрачным,
И пушечный задравный грянул залп.
Пир царский и народный продолжался
До темной ночи; а когда настала
Ночная тьма, жар-птицу на балконе
В ее богатой клетке золотой
Поставили, и весь дворец, и площадь,
И улицы, кипевшие народом,
Яснее дня жар-птица осветила.
И до утра столица пировала.
Был ночевать оставлен Серый Волк;
Когда же на другое утро он,
Собравшись в путь, прощаться стал с Иваном-
Царевичем, его Иван-царевич
Стал уговаривать, чтоб он у них
Остался на житье, и уверял,
Что всякую получит почесть он,
Что во дворце дадут ему квартиру,
Что будет он по чину в первом классе*,
Что разом все получит ордена,
И прочее. Подумав, Серый Волк
В знак своего согласия Ивану-
Царевичу дал лапу, и Иван-
Царевич так был тронут тем, что лапу
Поцеловал. И во дворце стал жить
Да поживать по-царски Серый Волк.
Вот наконец, по долгом, мирном, славном
Владычестве, премудрый царь Демьян
Данилович скончался, на престол
Взошел Иван Демьянович; с своей
Царицей он до самых поздних лет
Достигнул, и господь благословил



Их многими детьми; а Серый Волк
Душою в душу жил с царем Иваном
Демьяновичем, нянчился с его
Детьми, сам, как дитя, резвился с ними,
Меньшим рассказывал нередко сказки,
А старших выучил читать, писать
И арифметике, и им давал
Полезные для сердца наставленья.
Вот напоследок, царствовав премудро,
И царь Иван Демьянович скончался;
За ним последовал и Серый Волк
В могилу. Но в его нашлись бумагах
Подробные записки обо всем,
Что на своем веку в лесу и свете
Заметил он, и мы из тех записок
Составили правдивый наш рассказ.



Михаил Юрьевич
Лермонтов

АШИК-КЕРИБ



авно тому назад, в городе Тифлизе* жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золота, но дороже золота была ему единственная дочь Магуль-Мегери. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше, так и Магуль-Мегери была лучше всех девушек Тифлиза.

Был также в Тифлизе бедный Ашик-Кериб. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен; играя на саазе (балалайка турецкая) и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам увеселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидел Магуль-Мегери, и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кериба получить ее руку,— и он стал грустен, как зимнее небо.

Вот раз он лежал в саду под виноградником и наконец заснул. В это время шла мимо Магуль-

Мегери с своими подругами; и одна из них, увидав спящего ашика (балалаечник), отстала и подошла к нему.

— Что ты спишь под виноградником,— запела она,— вставай, безумный, твоя газель* идет мимо.

Он проснулся — девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль-Мегери слышала ее песню и стала ее бранить.

— Если б ты знала,— отвечала та,— кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашик-Кериб.

— Веди меня к нему,— сказала Магуль-Мегери.

И они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утешать.


— Как мне не грустить,— отвечал Ашик-Кериб,— я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею.

— Проси мою руку у отца моего,— говорила она,— и отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет.

— Хорошо,— отвечал он,— положим, Аяк-Ага* ничего не пожалеет для своей дочери; но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и тебе всем обязан. Нет, милая Магуль-Мегери, я положил зарок на свою душу: обещаю семь лет странствовать по свету и нажать себе богатство либо погибнуть в дальних пустынях; если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею.

Она согласилась, но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, то она сделается женою Куршуд-бека, который давно уж за нее сватается.

Пришел Ашик-Кериб к своей матери; взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо сумку, оперся на посох



странничий и вышел из города Тифлиза. И вот догоняет его всадник,— он смотрит: это Куршуд-бек.

— Добрый путь! — кричал ему бек.— Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ.

Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе, наконец завидели перед собою реку. Ни моста, ни броду.

— Плыви вперед,— сказал Куршуд-бек,— я за тобою последую.

Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад — о горе! о всемогущий Аллах! — Куршуд-бек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тифлиз, только пыль вилась за ним змеею по гладкому полю.

Прискакав в Тифлиз, несет бек платье Ашик-Кериба к его старой матери.

— Твой сын утонул в глубокой реке,— говорит он,— вот его одежда.

В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливаться их жаркими слезами; потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль-Мегери.

— Мой сын утонул,— сказала она ей.— Куршуд-бек привез его одежды; ты свободна.

Магуль-Мегери улыбнулась и отвечала:

— Не верь, это всё выдумки Куршуд-бека; прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем.

Она взяла со стены свою сааз и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кериба.

Между тем странник пришел бос и наг в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили; он за это пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город, и слава его разнеслась повсюду. Прибыл он наконец

в Халаф. По обыкновению, взошел в кофейный дом, спросил сааз и стал петь. В это время жил в Халафе паша́, большой охотник до песельников. Многих к нему приводили,— ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда.

— Иди с нами к великому паше,— закричали они,— или ты отвечаешь нам головою!

— Я человек вольный, странник из города Тифлиза,— говорит Ашик-Кериб,— хочу пойду, хочу нет; пою, когда придется,— и ваш паша мне не начальник.

Однако, несмотря на то, его схватили и привели к паше.


— Пой,— сказал паша.

И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую Магуль-Мегери; и эта песня так понравилась гордому паше, что он оставил у себя бедного Ашик-Кериба.

Посыпалось к нему серебро и золото, заблестали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить Ашик-Кериб и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль-Мегери или нет, не знаю, только срок истекал. Последний год скоро должен был кончиться, а он и не готовился к отъезду.

Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с караваном из Тифлиза с сорока верблюдами и восьмьюдесятью невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо.

— Возьми ты это блюдо,— говорит она,— и в какой бы ты город ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его и вдобавок вес его золотом.



Отправился купец, везде исполнял поручение Магуль-Мегери, но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халаф. Объяснил он везде поручение Магуль-Мегери. Услыхав это, Ашик-Кериб прибегает в караван-сарай*: и видит золотое блюдо в лавке тифлизского купца.

— Это мое! — сказал он, схватив его рукою.

— Точно, твое, — сказал купец, — я узнал тебя, Ашик-Кериб. Ступай же скорее в Тифлиз, твоя Магуль-Мегери велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого.

В отчаянии Ашик-Кериб схватил себя за голову: оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой суму с золотыми монетами — и поскакал, не жалея коня. Наконец измученный бегун упал бездыханный на Арзинган горе, что между Арзиньяном и Арзерумом. Что ему было делать: от Арзиньяна до Тифлиза два месяца езды, а оставалось только два дня.

— Аллах всемогущий! — воскликнул он. — Если ты уж мне не поможешь, то мне нечего на земле делать!

И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос:

— Оглан*, что ты хочешь делать?

— Хочу умереть, — отвечал Ашик.

— Слезай же сюда, если так, я тебя убью.

Ашик спустился кое-как с утеса.

— Ступай за мною, — сказал грозно всадник.

— Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощён сумою.



— Правда. Повесь же суму свою на седло мое и следуй.

Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать.

— Что ж ты отстаешь? — спросил всадник.

— Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен.

— Правда; садись же сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебе нужно ехать?

— Хоть бы в Арзерум поспеть нынче, — отвечал Ашик.

— Закрой же глаза.

Он закрыл.

— Теперь открой.

Смотрит Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты* Арзерума.

— Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс.

— То-то же, — отвечал всадник, — я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза... Теперь открой.

Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал:

— Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб; но ты сам знаешь, что если человек решил лгать с утра, то должен лгать до конца дня: мне по-настоящему надо в Тифлиз.

— Экой ты неверный! — сказал сердито всадник. — Но нечего делать, прощаю тебя: закрой же глаза. Теперь открой, — прибавил он по прошествии минуты.

Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою суму с седла, Ашик-Кериб сказал всаднику:

— Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше; если я теперь буду рассказы-

вать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлиз, мне никто не поверит; дай мне какое-нибудь доказательство.

— Наклонись,— сказал тот, улыбнувшись,— и возьми из-под копыта коня комок земли и положи себе за пазуху; и тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении, помажь ей глаза — она увидит.

Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову — всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был не кто иной, как Хадерилияз (св. Георгий).

Только поздно вечером Ашик-Кериб отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащею рукою, говоря:

— Ана, ана (мать), отвори: я божий гость; и холоден и голоден; прошу, ради странствующего твоего сына,пусти меня.

Слабый голос старухи отвечал ему:

— Для ночлега путников есть дома богатых и сильных; есть теперь в городе свадьбы — ступай туда! Там можешь провести ночь в удовольствии.

— Ана,— отвечал он,— я здесь никого знакомых не имею и потому повторяю мою просьбу: ради странствующего твоего сына,пусти меня!

Тогда сестра его говорит матери:

— Мать, я встану и отворю ему двери.

— Негодная! — отвечала старуха.— Ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что вот уже семь лет, как я от слез потеряла зрение.

Но дочь, не внимая ее упрекам, встала, отперла двери ипустила Ашик-Кериба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он, на стене висит, в пыль-

ном чехле, его сладкозвучная сааз. И стал он спрашивать у матери:

— Что висит у тебя на стене?

— Любопытный ты гость,— отвечала она,— будет и того, что тебе дадут кусок хлеба и завтра отпустят тебя с богом.

— Я уж сказал тебе,— возразил он,— что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене?

— Это сааз, сааз,— отвечала старуха сердито, не веря ему.

— А что значит сааз?

— Сааз то значит, что на ней играют и поют песни.

И просит Ашик-Кериб, чтоб она позволила сестре снять сааз и показать ему.

— Нельзя,— отвечала старуха,— это сааз моего несчастного сына; вот уже семь лет она висит на стене, и ничья живая рука до нее не дотрагивалась.

Но сестра его встала, сняла со стены сааз и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву:

— О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть до желаемой цели, то моя семиструнная сааз будет так же стройна, как в тот день, когда я в последний раз играл на ней! — И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили; и он начал петь: — Я бедный Кериб (нищий) — и слова мои бедны; но великий Хадерилиаз помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать, своего странника.

После этого мать его зарыдала и спрашивает его:

— Как тебя зовут?

— Рашид (храбрый),— отвечал он.

— Раз говори, другой раз слушай, Рашид,— сказала она,— своими речами ты изрезал сердце мое в куски. Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове моей волосы побелели, а вот уж семь лет, я ослепла от слез. Скажи мне ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет?

И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила. И спустя несколько времени просит он:

— Позволь мне, матушка, взять сааз и идти, я слышал, здесь близко есть свадьба: сестра меня проводит; я буду петь и играть, и всё, что получу, принесу сюда и разделю с вами.

— Не позволю,— отвечала старуха,— с тех пор, как нет моего сына, его сааз не выходила из дому.

Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны.

— А если хоть одна струна порвется,— продолжал Ашик,— то отвечаю моим имуществом.

Старуха ощупала его сумы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет.

В этом доме жила Магуль-Мегери, и в эту ночь она должна была сделаться женою Куршуд-бека. Куршуд-бек пировал с родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что пришел незнакомец, который говорил:

— Селям алейкум!* Вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и за то я спою вам песню.

— Почему же нет,— сказал Куршуд-бек.— Сю-

да должны быть впускаемы песельники и плясуны, потому что здесь свадьба: спой же что-нибудь, Ашик (певец), и я отпущу тебя с полной горстью золота.

Тогда Куршуд-бек спросил его:

— А как тебя зовут, путник?

— Шинды-Гёурсез (скоро узнаете).

— Что это за имя! — воскликнул тот со смехом. — Я в первый раз такое слышу.

— Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь бог ей дал; им отвечали — шинды-гёурсез (скоро узнаете). И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя. — После этого он взял сааз и начал петь: — В городе Халафе я пил мисирское вино, но бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день.

Брат Куршуд-бека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув:

— Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда?

— За что ж ты меня хочешь убить? — сказал Ашик. — Певцы обыкновенно со всех четырех сторон собираются в одно место; и я с вас ничего не беру, верьте мне или не верьте.

— Пускай продолжает, — сказал жених.

И Ашик-Кериб запел снова:

— Утренний намаз* творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзеруме; перед захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда; дай бог, чтоб я стал жертвою белого коня, он скакал быстро, как плясун по канату, с горы в ущелья, из ущелья на гору; Маулям (создатель) дал Ашику крылья, и он прилетел на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую.

— Так-то ты сдержала свою клятву, — сказали ее подруги. — Стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршуд-бека!

— Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, — отвечала Магуль-Мегери, и, взяв ножницы, она прорезала чапру. Когда же посмотрела и точно узнала своего Ашик-Кериба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств.

Брат Куршуд-бека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть обоих, но Куршуд-бек остановил его, промолвив:

— Успокойся и знай: что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует.

Придя в чувство, Магуль-Мегери покраснела от стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чапру.

— Теперь точно видно, что ты Ашик-Кериб, — сказал жених, — но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое пространство?

— В доказательство истины, — отвечал Ашик, — сабля моя перерубит камень; если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую, которая бы семь лет уж не видала света божьего, и я возвращу ей зрение.

Сестра Ашик-Кериба, стоявшая у двери, услышав такую речь, побежала к матери.

— Матушка! — закричала она. — Это точно брат, и точно твой сын Ашик-Кериб, — и, взяв ее под руку привела старуху на пир свадебный.

Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел его водою и намазал матери глаза, промолвив:

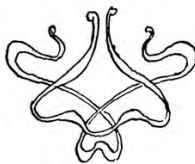
— Знайте все люди, как могущ и велик Хадерилиаз.



И мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршуд-бек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда в радости Ашик-Кериб сказал ему:

— Послушай, Куршуд-бек, я тебя утешу: сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат: у ней будет не менее серебра и золота; итак, возьми ее за себя — и будьте так же счастливы, как я с моей дорогою Магуль-Мегери.



Петр Павлович Ершов

КОНЕК-ГОРБУНОК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Начинается сказка сказываться



а горами,
за лесами,

За широкими морями,
Против неба — на земле
Жил старик в одном селе.
У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.
Братья сеяли пшеницу
Да возили в град-столицу:
Знать, столица та была
Недалече от села.
Там пшеницу продавали,
Деньги счетом принимали
И с набитою сумой
Возвращались домой.

В долгом времени аль вскоре
Приключилося им горе:



Кто-то в поле стал ходить
И пшеницу шевелить.
Мужички такой печали
Отродясь не видали;
Стали думать да гадать —
Как бы вора соглядать;
Наконец себе смекнули,
Чтоб стоять на карауле,
Хлеб ночью побережь,
Злого вора подстеречь.

Вот, как стало лишь смеркаться,
Начал старший брат собираться,
Вынул вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь ненастная настала;
На него боязнь напала,
И со страхов наш мужик
Закопался под сенник*.
Ночь проходит, день приходит;
С сенника дозорный сходит
И, облив себя водой,
Стал стучаться под избой:
«Эй вы, сонные тетери!
Отпирайте брату двери,
Под дождем я весь промок
С головы до самых ног».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И, прокашлявшись, сказал:
«Всю я ноченьку не спал;
На мое ж притом несчастье,



Было страшное ненастье:
Дождь вот так ливмя и лил,
Рубашонку всю смочил.
Уж куда как было скучно!..
Впрочем, всё благополучно».
Похвалил его отец:
«Ты, Данило, молодец!
Ты вот, так сказать, примерно,
Сослужил мне службу верно,
То есть, будучи при всем,
Не ударил в грязь лицом».

Стало сызнова смеркаться,
Средний брат пошел сбираться;
Взял и вилы и топор
И отправился в дозор.
Ночь холодная настала,
Дрожь на малого напала,
Зубы начали плясать;
Он ударился бежать —
И всю ночь ходил дозором
У соседки под забором.
Жутко было молодцу!
Но вот утро. Он к крыльцу:
«Эй вы, сони! Что вы спите!
Брату двери отоприте;
Ночью страшный был мороз —
До животиков промерз».
Братья двери отворили,
Караульщика впустили,
Стали спрашивать его:
Не видал ли он чего?
Караульщик помолился,
Вправо, влево поклонился
И сквозь зубы отвечал:
«Всю я ноченьку не спал,



Да к моей судьбе несчастной
Ночью холод был ужасный,
До сердец меня пробрал;
Всю я ночь проскакал;
Слишком было несподручно...
Впрочем, всё благополучно».
И ему сказал отец:
«Ты, Гаврило, молодец!»

Стало в третий раз смеркаться,
Надо младшему собираться;
Он и усом не ведет,
На печи в углу поет
Изо всей дурацкой мочи:
«Распрекрасные вы очи!»
Братья ну ему пенять,
Стали в поле погонять,
Но, сколь долго ни кричали,
Только голос потеряли:
Он ни с места. Наконец
Подошел к нему отец,
Говорит ему: «Послушай,
Побегай в дозор, Ванюша;
Я куплю тебе лубков*,
Дам гороху и бобов».
Тут Иван с печи слезает,
Малахай* свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет.

Ночь настала; месяц всходит;
Поле всё Иван обходит,
Озираючись кругом,
И садится под кустом;
Звезды на небе считает
Да краюшку уплетает.



Вдруг о полночь конь заржал...
Караульщик наш привстал,
Посмотрел под рукавицу
И увидел кобылицу.
Кобылица та была
Вся, как зимний снег, бела,
Грива в землю, золотая,
В мелки кольца завитая.
«Эхе-хе! так вот какой
Наш воришко!.. Но, постой,
Я шутить ведь не умею,
Разом сяду те на шею.
Вишь, какая саранча!»
И, минуто улуча,
К кобылице подбегает,
За волнистый хвост хватает
И прыгнул к ней на хребёт —
Только задом наперед.
Кобылица молодая,
Очью бешено сверкая,
Змеем голову свила
И пустилась как стрела.
Вьется кру́гом над полями,
Виснет пластью надо рвами*,
Мчится скоком по горам,
Ходит дыбом по лесам,
Хочет силой аль обманом,
Лишь бы справиться с Иваном;
Но Иван и сам не прост —
Крепко держится за хвост.

Наконец она устала.
«Ну, Иван,— ему сказала,—
Коль умел ты усидеть,
Так тебе мной и владеть.
Дай мне место для покою



Да ухаживай за мною,
Сколько смыслишь. Да смотри:
По три утренни зари
Выпущай меня на волю
Погулять по чисту полю.
По исходе же трех дней
Двух рожу тебе коней —
Да таких, каких поныне
Не бывало и в помине;
Да еще рожу конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабуку*.
На земле и под землей
Он товарищ будет твой:
Он зимой тебя согреет,
Летом холодом обвеет;
В голод хлебом угостит,
В жажду медом напоит.
Я же снова выйду в поле
Силы пробовать на воле».

«Ладно»,— думает Иван
И в пастуший балаган*
Кобылицу загоняет,
Дверь рогожей закрывает,
И лишь только рассвело,
Отправляется в село,
Напевая громко песню
«Ходил мблodeц на Пресню»*.

Вот он всходит на крыльцо,
Вот хватает за кольцо,



Что есть силы в дверь стучится,
Чуть что кровля не валится,
И кричит на весь базар,
Словно сделался пожар.
Братья с лавок поскакали,
Заикаясь, вскричали:
«Кто стучится сильно так?» —
«Это я, Иван-дурак!»
Братья двери отворили,
Дурака в избу впустили
И давай его ругать, —
Как он смел их так пугать!
А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь
Про ночное похождение,
Всем ушам на удивленье:
«Всю я ноченьку не спал,
Звезды на небе считал;
Месяц, ровно, тоже свѣтил, —
Я порядком не приметил.
Вдруг приходит дьявол сам,
С бородою и с усам;
Рожа словно как у кошки,
А глаза-то — что те плоски!
Вот и стал тот черт скакать
И зерно хвостом сбивать.
Я шутить ведь не умею —
И вскочи ему на шею.
Уж таскал же он, таскал,
Чуть башки мне не сломал.
Но и я ведь сам не промах,
Слышь, держал его, как в жѳмах*.
Бился, бился мой хитрец
И взмолился наконец:



«Не губи меня со света!
Целый год тебе за это
Обещаюсь смирно жить,
Православных не мутить».
Я, слышь, слов-то не померил*,
Да чертенку и поверил».
Тут рассказчик замолчал,
Позевнул и задремал.
Братья, сколько ни серчали,
Не смогли — захохотали,
Ухватившись под бока,
Над рассказом дурака.
Сам старик не мог сдержаться,
Чтоб до слез не посмеяться,
Хоть смеяться — так оно
Старикам уж и грешно.

Много ль времени аль мало
С этой ночи пробежало,—
Я про это ничего
Не слышал ни от кого.
Ну, да что нам в том за дело,
Год ли, два ли пролетело,—
Ведь за ними не бежать...
Станем сказку продолжать.
Ну-с, так вот что! Раз Данило
(В праздник, помнится, то было),
Натянувшись зельно пьян*,
Затащился в балаган.
Что ж он видит? — Прекрасивых
Двух коней золотогривых
Да игрушечку-конька
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
«Хм! теперь-то я узнал,



Для чего здесь дурень спал!» —
Говорит себе Данило...
Чудо разом хмель посбило;
Вот Данило в дом бежит
И Гавриле говорит:
«Посмотри, каких красивых
Двух коней золотогривых
Наш дурак себе достал:
Ты и слыхом не слыхал».
И Данило да Гаврило,
Что в ногах им мочи было,
По крапиве прямиком
Так и дуют босиком.

Спотыкнувшись три раза,
Починивши оба глаза,
Потирая здесь и там,
Входят братья к двум коням.
Кони ржали и храпели,
Очи яхонтом горели*;
В мелки кольца завитой,
Хвост струился золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты.
Любо-дорого смотреть!
Лишь царю б на них сидеть.
Братья так на них смотрели,
Что чуть-чуть не окривели.
«Где он это их достал? —
Старший среднему сказал,—
Но давно уж речь ведется,
Что лишь дурням клад дается,
Ты ж хоть лоб себе разбей,
Так не выбьешь двух рублей.
Ну, Гаврило, в ту седмицу*
Отведем-ка их в столицу;



Там боярам продадим,
Деньги ровно поделім.
А с деньжонками, сам знаешь,
И попьешь и погуляешь,
Только хлопни по мешку.
А благому дураку
Не достанет ведь догадки,
Где гостят его лошадки;
Пусть их ищет там и сям.
Ну, приятель, по рукам!»
Братья разом согласились,
Обнялись, перекрестились
И вернулись домой,
Говоря промеж собой
Про коней, и про пирушку,
И про чўдную зверушку.

Время катит чередом,
Час за часом, день за днем,—
И на первую седмицу
Братья едут в град-столицу,
Чтоб товар свой там продать
И на пристани узнать,
Не пришли ли с кораблями
Немцы в город за холстами
И нейдет ли царь Салтан
Басурманить христиан?*

Вот иконам помолились,
У отца благословились,
Взяли двух коней тайком
И отправились тишком.

Вечер к ночи пробирался;
На ночлег Иван собрался;
Вдоль по улице идет,
Ест краюшку да поет.



Вот он поля достигает,
Руки в боки подпирает
И с прискочкой, словно пан,
Боком входит в балаган.
Всё по-прежнему стояло,
Но коней как не бывало;
Лишь игрушка-горбунок
У его вертелся ног,
Хлопал с радости ушами
Да приплясывал ногами.
Как завоюет тут Иван,
Опершись о балаган:
«Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!
Я ль вас, други, не ласкал.
Да какой вас черт украл?
Чтоб пропасть ему, собаке!
Чтоб издохнуть в буераке!
Чтоб ему на том свету́
Провалиться на мосту!
Ой вы, кони буры-сивы,
Добры кони златогривы!»

Тут конек ему заржал.
«Не тужи, Иван,— сказал,—
Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю,
Ты на черта не клепли:
Братья коников свели.
Ну, да что болтать пустое,
Будь, Иванушка, в покое.
На меня скорей садись,
Только знай себе держись;
Я хоть росту небольшого,
Да сменю коня другого:



Как пушусь да побегу,
Так и беса настигу».

Тут конек пред ним ложится;
На конька Иван садится,
Уши в за́греби берет*,
Что есть мочушки ревет.
Горбунок-конек встряхнулся,
Встал на лапки, встрепенулся,
Хлопнул гривкой, захрапел
И стрелою полетел;
Только пыльными клубами
Вихорь вился под ногами,
И в два мига, коль не в миг,
Наш Иван воров настиг.

Братья, то есть, испугались,
Зачесались и замялись.
А Иван им стал кричать:
«Стыдно, братья, воровать!
Хоть Ивана вы умнее,
Да Иван-то вас честнее:
Он у вас коней не крал».
Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша!
Что переться, — дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот*.
Сколь пшеницы мы ни сеем,
Чуть насущный хлеб имеем.
А коли́ неурожай,
Так хоть в петлю полезай!
Вот в такой большой печали
Мы с Гаврилой толковали
Всю намеднишнюю ночь —
Чем бы горюшку помочь?



Так и этак мы решили,
Наконец вот так вершили*,
Чтоб продать твоих коньков
Хошь за тысячу рублей.
А в спасибо, молвить к слову,
Привезти тебе обнову —
Красну шапку с позвонком
Да сапожки с каблучком.
Да к тому ж старик неможет*,
Работать уже не может,
А ведь надо ж мыкать век,—
Сам ты умный человек!» —
«Ну, коль этак, так ступайте,—
Говорит Иван,— продайте
Златогривых два коня,
Да возьмите ж и меня».
Братья больно покосились,
Да нельзя же! согласились.

Стало на небе темнеть;
Воздух начал холодеть;
Вот, чтоб им не заблудиться,
Решено остановиться.
Под навесами ветвей
Привязали всех коней,
Принесли с естным лукошко,
Опохмелились немножко
И пошли, что боже даст,
Кто во что из них горазд.

Вот Данило вдруг приметил,
Что огонь вдали засвѣтил.
На Гаврилу он взглянул,
Левым глазом подмигнул
И прикашлянул легонько,
Указав огонь тихонько;



Тут в затылке почесал,
«Эх, как тёмно! — он сказал.—
Хоть бы месяц этак в шутку
К нам проглянул на минутку,
Всё бы легче. А теперь,
Право, хуже мы тетерь...
Да постой-ка... Мне сдаётся,
Что дымок там светлый вьётся...
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево развесть!
Чудо было б!.. А послушай,
Побегай-ка, брат Ванюша.
А, признаться, у меня
Ни огнива, ни кремня».
Сам же думает Данило:
«Чтоб тебя там задавило!»
А Гаврило говорит:
«Кто-петь знает, что горит!*Коль станичники пристали* —
Поминай его, как звали!»

Всё пустяк для дурака,
Он садится на конька,
Бьёт в круты бока ногами,
Теребит его руками,
Изо всех горланит сил...
Конь взвился, и след простыл.
«Буди с нами крестна сила! —
Закричал тогда Гаврило,
Оградясь крестом святым.—
Что за бес такой под ним!»

Огонек горит светлее,
Горбунок бежит скорее.
Вот уж он перед огнем.
Светит поле словно днем;



Чудный свет кругом струится,
Но не греет, не дымится,
Диву дался тут Иван.
«Что, — сказал он, — за шайтан!*

Шапок с пять найдется свету,
А тепла и дыму нету;
Эко чудо огонек!»

Говорит ему конек:
«Вот уж есть чему дивиться!
Тут лежит перо Жар-птицы,
Но для счастья своего
Не бери себе его.
Много, много непокою
Принесет оно с собою». —
«Говори ты! как не так!» —
Про себя ворчит дурак;
И, подняв перо Жар-птицы,
Завернул его в тряпицы,
Тряпки в шапку положил
И конька поворотил.
Вот он к братьям приезжает
И на спрос их отвечает:
«Как туда я доскакал,
Пень горелый увидал;
Уж над ним я бился, бился,
Так что чуть не надсадился;
Раздувал его я с час,
Нет ведь, черт возьми, угас!»
Братья целу ночь не спали,
Над Иваном хохотали;
А Иван под воз присел,
Вплоть до утра прохрапел.

Тут коней они впрягали
И в столицу приезжали,



Становились в конный ряд,
Супротив больших палат.

В той столице был обычай:
Коль не скажет городничий —
Ничего не покупать,
Ничего не продавать.
Вот обедня* наступает;
Городничий выезжает
В туфлях, в шапке меховой,
С сотней стражи городской.
Рядом едет с ним глашатый*,
Длинноусый, бородатый;
Он в злату трубу трубит,
Громким голосом кричит:
«Гости!* Лавки отпирайте,
Покупайте, продавайте;
А надсмотрщикам сидеть
Подле лавок и смотреть,
Чтобы не было содому*,
Ни давёжа, ни погрому,
И чтобы никой урод
Не обманывал народ!»
Гости лавки отпирают,
Люд крещеный закликают:
«Эй, честные господа,
К нам пожалуйте сюда!
Как у нас ли тары-бары,
Всяки разные товары!»
Покупальщики идут,
У гостей товар берут;
Гости денежки считают
Да надсмотрщикам мигают.

Между тем градской отряд
Приезжает в конный ряд;



Смотрят — давка от народу,
Нет ни выходу, ни входу;
Так кишма вот и кишат,
И смеются, и кричат.
Городничий удивился,
Что народ развеселился,
И приказ отряду дал,
Чтоб дорогу прочищал.
«Эй! вы, черти босоноги!
Прочь с дороги! Прочь с дороги!» —
Закричали усачи
И ударили в бичи.
Тут народ зашевелился,
Шапки снял и расступился.

Пред глазами конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой..
Наш старик, сколь ни был пылок,
Долго тер себе затылок.
«Чуден,— молвил,— божий свет,
Уж каких чудес в нем нет!»
Весь отряд тут поклонился,
Мудрой речи подивился.
Городничий между тем
Наказал престою всем,
Чтоб коней не покупали,
Не зевали, не кричали;
Что он едет ко двору
Доложить о всем царю.
И, оставив часть отряда,
Он поехал для доклада.



Приезжает во дворец,
«Ты помилуй, царь-отец! —
Городничий восклицает
И всем телом упадает.—
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить!»
Царь изволил молвить: «Ладно,
Говори, да только складно». —
«Как умею, расскажу:
Городничим я служу;
Верой-правдой исправляю
Эту должность...» — «Знаю, знаю!» —
«Вот сегодня, взяв отряд,
Я поехал в конный ряд.
Приезжаю — тьма народу!
Ну, ни выходу, ни входу.
Что тут делать?.. Приказал
Гнать народ, чтоб не мешал,
Так и сталось, царь-надёжа!
И поехал я,— и что же?..
Предо мною конный ряд:
Два коня в ряду стоят,
Молодые, вороные,
Вьются гривы золотые,
В мелки кольца завитой,
Хвост струится золотой,
И алмазные копыты
Крупным жемчугом обиты».

Царь не мог тут усидеть.
«Надо ко́ней поглядеть,—
Говорит он,— да не худо
И завесьть такое чудо.
Гей, повозку мне!» И вот
Уж повозка у ворот.
Царь умылся, нарядился



И на рынок покатился;
За царем стрельцов* отряд.

Вот он въехал в конный ряд.
На колени все тут пали
И «ура!» царю кричали.
Царь раскланялся и вмиг
Молодцом с повозки прыг...
Глаз своих с коней не сводит,
Справа, слева к ним заходит,
Словом ласковым зовет,
По спине их тихо бьет,
Треплет шею их крутую,
Гладит гриву золотую,
И, довольно насмотрясь,
Он спросил, оборотясь
К окружавшим: «Эй, ребята!
Чьи такие жеребята?
Кто хозяин?» Тут Иван,
Руки в боки, словно пан,
Из-за братьев выступает
И, надувшись, отвечает:
«Эта пара, царь, моя,
И хозяин — тоже я». —
«Ну, я пару покупаю;
Продаешь ты?» — «Нет, меняю». —
«Что в промен берешь добра?» —
«Два-пять шапок серебра»*. —
«То есть это будет десять».
Царь тотчас велел отвесить
И, по милости своей,
Дал в прибавок пять рублей.
Царь-то был великодушный!

Повели коней в конюшни
Десять конюхов седых,



Все в нашивках золотых,
Все с цветными кушаками
И с сафьянными бичами*.
Но дорóгой, как на смех,
Кони с ног их сбили всех,
Все уздечки разорвали
И к Ивану прибежали.

Царь отправился назад,
Говорит ему: «Ну, брат,
Пара нашим не дается;
Делать нечего, придется
Во дворце тебе служить;
Будешь в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Всю конюшенну* мою
Я в приказ тебе даю,
Царско слово в том порука.
Что, согласен?» — «Эка штука!
Во дворце я буду жить,
Буду в золоте ходить,
В красно платье наряжаться,
Словно в масле сыр кататься,
Весь конюшенный завод
Царь в приказ мне отдает;
То есть я из огорода
Стану царский воевода.
Чúдно дело! Так и быть,
Стану, царь, тебе служить.
Только, чур, со мной не драться
И давать мне высыпаться,
А не то я был таков!»

Тут он кликнул скакунов
И пошел вдоль по столице,



Сам махая рукавицей,
И под песню дурака
Кони пляшут трепака;
А конек его — горбатко —
Так и ломится вприсядку,
К удивленью людям всем.

Два же брата между тем
Деньги царски получили,
В опояски* их зашили,
Постучали ендовой*
И отправились домой.
Дома дружно поделились,
Оба враз они женились,
Стали жить да поживать,
Да Ивана поминать.

Но теперь мы их оставим,
Снова сказкой позабавим
Православных христиан,
Что наделал наш Иван,
Находясь во службе царской
При конюшне государственной;
Как в суседки* он попал,
Как перо свое проспал,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе послом,
Как он в Солнцевом селенье
Киту выпросил прощенье;
Как, к числу других затей,
Спас он тридцать кораблей;
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился;
Словом: наша речь о том,
Как он сделался царем.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Скоро сказка сказывается,
а не скоро дело делается

Зачинается рассказ
От Ивановых проказ,
И от сивка, и от бурка,
И от вещего каурка*
Козы на море ушли;
Горы лесом поросли;
Конь с золотой узды срывался,
Прямо к солнцу поднимался;
Лес стоячий под ногой,
Сбоку облак громовой;
Ходит облак и сверкает,
Гром по небу рассыпает.
Это присказка: пожди,
Сказка будет впереди.
Как на море-окияне
И на острове Буяне
Новый гроб в лесу стоит,
В гробе девица лежит;
Соловей над гробом свищет;
Черный зверь* в дубраве рыщет.
Это присказка, а вот —
Сказка чередом пойдет.

Ну, так видите ль, миряне*,
Православны христиане,
Наш удалый молодец
Затесался во дворец;
При конюшне царской служит
И нисколько не потужит
Он о братьях, об отце
В государевом дворце.
Да и что ему до братьев?
У Ивана красных платьев,



Красных шапок, сапогов
Чуть не десять коробов;
Ест он сладко, спит он столько,
Что раздолье, да и только!

Вот неделей через пять
Начал спальник* примечать...
Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшной надо всей,
Из боярских слыл детей;
Так не диво, что он злился
На Ивана и божился
Хоть пропасть, а пришлеца
Потурить вон из дворца.
Но, лукавство сокрывая,
Он для всякого случая
Притворился, плут, глухим,
Близоруким и немым;
Сам же думает: «Постой-ка,
Я те двину, неумойка!»
Так, неделей через пять,
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит;
Но при всем том два коня
Словно лишь из-под гребня:
Чисто-начисто обмыты,
Гривы в косы перевиты,
Челки собраны в пучок,
Шерсть — ну, лоснится, как шелк;
В стойлах — свежая пшеница,
Словно тут же и родится,
И в чанах больших сыта,
Будто только налита.
«Что за притча* тут такая? —



Спальник думает, вздыхая.—
Уж не ходит ли, постой,
К нам проказник домовой?
Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить,—
Лишь бы дурня уходить.
Донесу я в думе царской,
Что конюший государской —
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Что он с бесом хлеб-соль водит,
В церковь божию не ходит,
Католицкой держит крест*
И постами* мясо ест».
В тот же вечер этот спальник,
Прежний конюших начальник,
В стойлы спрятался тайком
И обсыпался овсом.

Вот и полночь наступила.
У него в груди заныло:
Он ни жив ни мертв лежит,
Сам молитвы всё творит,
Ждет суседки... Чу! всам-деле,
Двери глухо заскрипели,
Кони топнули, и вот
Входит старый коновод.
Дверь задвижкой запирает,
Шапку бережно скидает,
На окно ее кладет
И из шапки той берет
В три завернутый тряпицы
Царский клад — перо Жар-птицы*.
Свет такой тут заблестал,
Что чуть спальник не вскричал,



И от страху так забился,
Что овес с него свалился.
Но суседке невдомек!
Он кладет перо в сусек*,
Чистить кóней начинает,
Умывает, убирает,
Гривы длинные плетет,
Разны песенки поет.
А меж тем, свернувшись клубом,
Поколачивая зубом,
Смотрит спальник, чуть живой,
Что тут деет домовой.
Что за бес! Нешто нарочно
Прирядился плут полночный:
Нет рогов, ни бороды,
Ражий парень, хоть куды!
Волос гладкий, сбоку ленты,
На рубашке прозументы*,
Сапоги как ал сафьян*,—
Ну, точнехонько Иван.
Что за диво? Смотрит снова
Наш глазей на домового...
«Э! так вот что! — наконец
Проворчал себе хитрец.—
Ладно, завтра ж царь узнает,
Что твой глупый ум скрывает.
Подожди лишь только дня,
Будешь помнить ты меня!»
А Иван, совсем не зная,
Что ему беда такая
Угрожает, всё плетет
Гривы в косы да поет;
А убрав их, в оба чана
Нацедил сыты медвяной*
И насыпал дополна
Белоярова пшена*.



Тут, зевнув, перо Жар-птицы
Завернул опять в тряпицы,
Шапку под ухо — и лег
У коней близ задних ног.

Только начало зориться,
Спальник начал шевелиться,
И, услыша, что Иван
Так храпит, как Еруслан*,
Он тихонько вниз слезает
И к Ивану подползает,
Пальцы в шапку запустил,
Хватъ перо — и след простыл.

Царь лишь только пробудился,
Спальник наш к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не вели меня казнить,
Прикажи мне говорить». —
«Говори, не прибавляя, —
Царь сказал ему, зевая, —
Если ж ты да будешь врать,
То кнута не миновать».
Спальник наш, собравшись с силой,
Говорит царю: «Помилуй!
Вот те истинный Христос,
Справедлив мой, царь, донос:
Наш Иван, то всякий знает,
От тебя, отец, скрывает,
Но не золото, не серебро —
Жароптицево перо...» —
«Жароптицево?.. Проклятый!
И он смел такой богатый...



Погоди же ты, злодей!
Не минувешь ты плетей!..» —
«Да и то ль еще он знает! —
Спальник тихо продолжает,
Изогнувшись. — Добро!
Пусть имел бы он перо;
Да и самую Жар-птицу
Во твою, отец, светлицу,
Коль приказ изволишь дать,
Похвается достать».
И доносчик с этим словом,
Скрючась обручем таловым*,
Ко кровати подошел,
Подав клад — и снова в пол.

Царь смотрел и дивовался,
Гладил бороду, смеялся
И скусил пера конец.
Тут, уклав его в ларец,
Закричал (от нетерпенья),
Подтвердив свое веленье
Быстрым взмахом кулака:
«Гей! Позвать мне дурака!»

И посыльные дворяна*
Побежали по Ивана,
Но, столкнувшись все в углу,
Растянулись на полу.
Царь тем много любовался
И до кóлотья смеялся.
А дворяна, усмотря,
Что смешно то для царя,
Меж собой перемигнулись
И вдругóрядь растянулись.
Царь тем так доволен был,
Что их шапкой наградил.



Тут посыльные дворяна
Вновь пустились звать Ивана
И на этот уже раз
Обошлись без проказ.

Вот к конюшне прибегают,
Двери настежь отворяют
И ногами дурака
Ну толкать во все бока.
С полчаса над ним возились,
Но его не добудились,
Наконец уж рядовой*
Разбудил его метлой.

«Что за челядь тут такая? —
Говорит Иван, вставая.—
Как хвачу я вас бичом,
Так не станете потом
Без пути будить Ивана!»
Говорят ему дворяна:
«Царь изволил приказать
Нам тебя к нему позвать».—
«Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся
И тотчас к нему явлюся»,—
Говорит послам Иван.
Тут надел он свой кафтан,
Опояской подвязался,
Приумылся, причесался,
Кнут свой сбоку прицепил,
Словно утица поплыл.

Вот Иван к царю явился,
Поклонился, подбодрился,
Крякнул дважды и спросил:
«А пошто меня будил?»
Царь, прищурясь глазом левым,



Закричал к нему со гневом,
Приподнявшись: «Молчать!
Ты мне должен отвечать:
В силу коего указа
Скрыл от нашего ты глаза
Наше царское добро —
Жароптицево перо?
Что я — царь али боярин?
Отвечай сейчас, татарин!»
Тут Иван, махнув рукой,
Говорит царю: «Постой!
Я те шапки, ровно, не дал,
Как же ты о том проведал?
Что ты — ажно ты пророк?
Ну, да что, сади в острог,
Прикажи сейчас хоть в палки,—
Нет пера, да и шабалки!..»* —
«Отвечай же! Запорю!..» —
«Я те толком говорю:
Нет пера! Да, слышь, откуда
Мне достать такое чудо?»
Царь с кровати тут вскочил
И ларец с пером открыл.
«Что? Ты смел еще переться?
Да уж нет, не отвертеться!
Это что? А?» Тут Иван,
Задрожав, как лист в буран,
Шапку выронил с испуга.
«Что, приятель, видно, туго? —
Молвил царь. — Постой-ка, брат!..» —
«Ох, помилуй, виноват!
Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж врать не стану».
И, закутавшись в полу,
Растянулся на полу.
«Ну, для первого случаю



Я вину тебе прощаю,—
Царь Ивану говорит.—
Я, помилуй бог, сердит!
И с сердцов иной порою
Чуб сниму, и с головою.
Так вот, видишь, я каков!
Но, сказать без дальних слов,
Я узнал, что ты Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
Если б вздумал приказать,
Похваляешься достать.
Ну, смотри ж, не отпирайся
И достать ее старайся.
Тут Иван волчком вскочил.
«Я того не говорил! —
Закричал он, утираясь.—
О пере не запираюсь*,
Но о птице, как ты хошь,
Ты напраслину ведешь».
Царь, затряси бородою:
«Что! Рядиться* мне с тобою? —
Закричал он.— Но смотри!
Если ты недели в три
Не достанешь мне Жар-птицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой!
Ты поплатишься со мной:
На правёж — в решетку — на кол!*
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

Горбунок, его почуя,
Дрягнул было плясовую;
Но, как слезы увидал,
Сам чуть-чуть не зарыдал.



«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорил ему конек,
У его вертяся ног.—
Не утайся предо мною,
Всё скажи, что за душою;
Я помочь тебе готов.
Аль, мой милый, нездоров?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал.—
Царь велит достать Жар-птицу
В государскую светлицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.
Оттого беда твоя,
Что не слушался меня:
Помнишь, ехав в град-столицу,
Ты нашел перо Жар-птицы;
Я сказал тебе тогда:
«Не бери, Иван,— беда!
Много, много непокою
Принесет оно с собою».
Вот теперя ты узнал,
Правду ль я тебе сказал.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди.
Ты к царю теперь поди
И скажи ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.



Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».

Тут Иван к царю идет,
Говорит ему открыто:
«Надо, царь, мне два корыта
Белоярова пшена
Да заморского вина.
Да вели поторопиться:
Завтра, только зазорится,
Мы отправимся в поход».
Царь тотчас приказ дает,
Чтоб посыльные дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял корыта, и пшено,
И заморское вино;
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток —
Доставать тоё Жар-птицу.

Едут целую седмицу.
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой,
Тут сказал конек Ивану:



«Ты увидишь здесь поляну;
На поляне той гора,
Вся из чистого сребра;
Вот сюда-то до зарницы
Прилетают жары-птицы
Из ручья воды испить;
Тут и будем их ловить».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает на поляну.
Что за поле! Зелень тут
Словно камень изумруд;
Ветерок над нею веет,
Так вот искорки и сеет;
А по зелени цветы
Несказанной красоты.
А на той ли на поляне,
Словно вал на окияне,
Возвышается гора
Вся из чистого сребра.
Солнце летними лучами
Красит всю ее зарями,
В сгибах золотом бежит,
На верхах свечой горит.

Вот конек по косогору
Поднялся на эту гору,
Вёрсту, дру́гу пробежал,
Устоялся и сказал:
«Скоро ночь, Иван, начнется,
И тебе стеречь придется.
Ну, в корыто лей вино
И с вином мешай пшено.
А чтоб быть тебе закрыту,
Ты под то подлезь корыто,
Втихомолку примечай,
Да смотри же, не зевай.



До восхода, слышь, зарницы
Прилетят сюда жар-птицы
И начнут пшено клевать
Да по-своему кричать.
Ты, которая поближе,
И схвати ее, смотри же!
А поймашь птицу-жар —
И кричи на весь базар;
Я тотчас к тебе явлюся». —
«Ну, а если обожгуся? —
Говорит коньку Иван,
Расстилая свой кафтан. —
Рукавички взять придется,
Чай, плутовка больно жгется».
Тут конек из глаз исчез,
А Иван, кряхтя, подлез
Под дубовое корыто
И лежит там как убитый.

Вот полночную порой
Свет разлился над горой,
Будто полдни наступают:
Жа́ры-птицы налетают;
Стали бегать и кричать
И пшено с вином клевать.
Наш Иван, от них закрытый,
Смотрит птиц из-под корыта
И толкует сам с собой,
Разводя вот так рукой:
«Тьфу ты, дьявольская сила!
Эк их, дряни, привалило!
Чай, их тут десятков с пять.
Кабы всех переимать —
То-то было бы поживы!
Неча молвить, страх красивы!



Ножки красные у всех;
А хвосты-то — суший смех!
Чай, таких у куриц нету;
А уж сколько, парень, свету —
Словно батюшкина печь!»
И, скончав такую речь
Сам с собою под лазейкой,
Наш Иван ужом да змейкой
Ко пшену с вином подполз —
Хвать одну из птиц за хвост.
«Ой! Конечек-горбуночек!
Прибегай скорей, дружочек!
Я ведь птицу-то поймал!» —
Так Иван-дурак кричал.
Горбунок тотчас явился.
«Ай, хозяин, отличился! —
Говорит ему конек. —
Ну, скорей ее в мешок!
Да завязывай туже; —
А мешок привесь на шею,
Надо нам в обратный путь». —
«Нет, дай птиц-то мне пугнуть! —
Говорит Иван. — Смотри-ка,
Вишь, надселися от крика!»
И, схвативши свой мешок,
Хлещет вдоль и поперек.
Ярким пламенем сверкая,
Встрепенулася вся стая,
Кругом огненным свилась
И за тучи понеслась.
А Иван наш вслед за ними
Рукавицами своими
Так и машет и кричит,
Словно щелоком облит.
Птицы в тучах потерялись;
Наши путники собрались,



Уложили царский клад
И вернулись назад.

Вот приехали в столицу.
«Что, достал ли ты Жар-птицу?» —
Царь Ивану говорит,
Сам на спальника глядит.
А уж тот, нешто от скуки,
Искусал себе все руки.
«Разумеется, достал», —
Наш Иван царю сказал.
«Где ж она?» — «Постой немножко,
Прикажи сперва окошко
В почивальне затворить,
Знашь, чтоб темень сотворить».
Тут дворяна побежали
И окошко затворяли.
Вот Иван мешок на стол.
«Ну-ка, бабушка, пошел!»
Свет такой тут вдруг разлился,
Что весь люд рукой закрылся.
Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решеточных* сзывайте!
Заливайте! Заливайте!» —
«Это, слышь ты, не пожар,
Это свет от птицы-жар, —
Молвил ловчий, сам со смеху
Надрываясь. — Потеху
Я привез те, осударь!»
Говорит Ивану царь:
«Вот люблю дружка Ванюшу!
Взвеселил мою ты душу,
И на радости такой —
Будь же царский стремянной!*



Это видя, хитрый спальник,
Прежний конюших начальник,
Говорит себе под нос:
«Нет, постой, молокосос!
Не всегда тебе случится
Так канальски отличиться,
Я те снова подведу,
Мой дружок, под беду!»

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора,
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана*.
«Эх! — один слуга сказал,—
Как севодни я достал
От соседа чудо-книжку!
В ней страниц не так чтоб слишком,
Да и сказок только пять,
А уж сказки — вам сказать,
Так не можно надивиться;
Надо ж этак умудриться!»
Тут все в голос: «Удружи!
Расскажи, брат, расскажи!» —
«Ну, какую ж вы хотите?
Пять ведь сказок; вот смотрите:
Перва сказка *о бобре*,
А вторая *о царе*,
Третья... дай бог память... точно!
О боярыне восточной;
Вот в четвертой: *князь Бобыл*;
В пятой... в пятой... эх, забыл!
В пятой сказке говорится...
Так в уме вот и вертится...» —
«Ну, да брось ее!» — «Постой!..» —



«О красотке, что ль, какой?» —
«Точно! В пятой говорится
О прекрасной Царь-девице.
Ну, которую ж, друзья,
Расскажу сегодня я?» —
«Царь-девицу! — все кричали.—
О царях мы уж слышали,
Нам красоток-то скорей!
Их и слушать веселей».
И слуга, усевшись важно,
Стал рассказывать протяжно:

«У далеких немских стран*
Есть, ребята, окиян.
По тому ли окияну
Ездят только басурманы;
С православной же земли
Не бывали николи
Ни дворяне, ни миряне
На поганом окияне.
От гостей же слух идет,
Что девица там живет;
Но девица не простая,
Дочь, вишь, Месяцу родная,
Да и Солнышко ей брат.
Та девица, говорят,
Ездит в красном полушубке,
В золотой, ребята, шлюпке
И серебряным веслом
Самолично правит в нем;
Разны песни попевает
И на гусельцах играет...»

Спальник тут с полатей скок —
И со всех обеих ног
Во дворец к царю пустился



И как раз к нему явился,
Стукнул крепко об пол лбом
И запел царю потом:
«Я с повинной головою,
Царь, явился пред тобою,
Не веди меня казнить,
Прикажи мне говорить!» —
«Говори, да правду только
И не ври, смотри, нисколько!» —
Царь с кровати закричал.
Хитрый спальник отвечал:
«Мы сегодня в кухне были,
За твое здоровье пили,
А один из дворских слуг
Нас забавил сказкой вслух;
В этой сказке говорится
О прекрасной Царь-девице.
Вот твой царский стремянной
Поклялся твоей брадой,
Что он знает эту птицу —
Так он назвал Царь-девицу,—
И ее, изволишь знать,
Похваляется достать».
Спальник стукнул об пол снова.
«Гей, позвать мне стремяннова!» —
Царь посыльным закричал.
Спальник тут за печку стал;
А посыльные дворяна
Побежали до Ивана;
В крепком сне его нашли
И в рубашке привели.

Царь так начал речь: «Послушай,
На тебя донос, Ванюша.
Говорят, что вот сейчас
Похвалялся ты для нас



Отыскать другую птицу,
Сиречь молвить*, Царь-девицу...» —
«Что ты, что ты, бог с тобой! —
Начал царский стремянной.—
Чай, спросонков, я толкую,
Штуку выкинул такую.
Да хитри себе, как хошь,
А меня не проведешь».
Царь, затряси бородою:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он.— Но смотри,
Если ты недели в три
Не достанешь Царь-девицу
В нашу царскую светлицу,
То, клянуся бородой,
Ты поплатишься со мной:
На правёж — в решетку — на кол!
Вон, холоп!» Иван заплакал
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек.—
Аль, мой милый, занемог?
Аль попался к лиходею?»
Пал Иван коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал.—
Царь велит в свою светлицу
Мне достать, слышь, Царь-девицу.
Что мне делать, горбунок?»
Говорит ему конек:
«Велика беда, не спорю;
Но могу помочь я горю.



Оттого беда твоя,
Что не слушался меня.
Но, сказать тебе по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты к царю теперь поди
И скажи: «Ведь для поимки
Надо, царь, мне две ширинки*,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья* —
И сластей для прохлажденья».

Вот Иван к царю идет
И такую речь ведет:
«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор —
Весь заморского варенья —
И сластей для прохлажденья». —
«Вот давно бы так, чем нет», —
Царь с кровати дал ответ
И велел, чтобы дворяна
Всё сыскали для Ивана,
Молодцом его назвал
И «счастливый путь!» сказал.

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Гей! Хозяин! полно спать!
Время дело исправлять!»
Вот Иванушка поднялся,
В путь-дорожку собирался,
Взял ширинки и шатер
Да обеденный прибор —



Весь заморского варенья —
И сластей для прохладенья;
Всё в мешок дорожный склал
И веревкой завязал,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся,
Вынул хлеба ломоток
И поехал на восток
По тоё ли Царь-девицу.

Едут целую седмицу;
Напоследок, в день осьмой,
Приезжают в лес густой.
Тут сказал конек Ивану:
«Вот дорога к окияну,
И на нем-то круглый год
Та красавица живет;
Два разá она лишь сходит
С окияна и приводит
Долгий день на землю к нам.
Вот увидишь завтра сам».
И, окончив речь к Ивану,
Выбегает к окияну,
На котором белый вал
Одинешенек гулял.
Тут Иван с конька слезает,
А конек ему вещает:
«Ну, раскидывай шатер,
На ширинку ставь прибор
Из заморского варенья
И сластей для прохладенья.
Сам ложися за шатром
Да смекай себе умом.
Видишь, шлюпка вон мелькает...
То царевна подплывает.
Пусть в шатер она войдет,



Пусть покушает, попьет;
Вот, как в гусли заиграет —
Знай, уж время наступает.
Ты тотчас в шатер вбегай,
Ту царевну сохватай,
И держи ее сильнее,
Да зови меня скорее.
Я на первый твой приказ
Прибегу к тебе как раз,
И поедем... Да смотри же,
Ты гляди за ней поближе,
Если ж ты ее проспишь,
Так беды не избежишь».
Тут конек из глаз сокрылся,
За шатер Иван забился
И давай диру вертеть,
Чтоб царевну подсмотреть.

Ясный полдень наступает;
Царь-девица подплывает,
Входит с гуслиями в шатер
И садится за прибор.
«Хм! Так вот та Царь-девица!
Как же в сказках говорится,—
Рассуждает стремянной,—
Что куда красна собой
Царь-девица, так что диво!
Эта вовсе не красива:
И бледна-то и тонка,
Чай, в обхват-то три вершка;
А ножонка-то, ножонка!
Тьфу ты! Словно у цыпленка!
Пусть полюбится кому,
Я и даром не возьму».
Тут царица заиграла
И столь сладко припевала,



Что Иван, не зная как,
Прикорнулся на кулак,
И под голос тихий, стройный
Засыпает преспокойно.

Запад тихо догорал.
Вдруг конек над ним заржал
И, толкнув его копытом,
Крикнул голосом сердитым:
«Спи, любезный, до звезды!
Высыпай себе беды!
Не меня ведь вздернут на кол!»
Тут Иванушка заплакал
И, рыдаючи, просил,
Чтоб конек его простил.
«Отпусти вину Ивану,
Я вперед уж спать не стану».—
«Ну, уж бог тебя простит! —
Горбунок ему кричит.—
Всё поправим, может статья,
Только, чур, не засыпаться;
Завтра, рано поутру,
К златошвейному шатру
Приплывет опять девица —
Меду сладкого напиток.
Если ж снова ты заснешь,
Головы уж не снесешь».
Тут конек опять сокрылся;
А Иван собирать пустился
Острых камней и гвоздей
От разбитых кораблей
Для того, чтоб уколотся,
Если вновь ему вздремнется.

На другой день, поутру,
К златошвейному шатру



Царь-девица подплывает,
Шлюпку на берег бросает,
Входит с гусями в шатер
И садится за прибор...
Вот царевна заиграла
И столь сладко припевала,
Что Иванушке опять
Захотелось поспать.
«Нет, постой же ты, дрянная! —
Говорит Иван, вставая.—
Ты вдругорядь не уйдешь
И меня не проведешь».
Тут в шатер Иван вбегает,
Косу длинную хватает...
«Ой, беги, конек, беги!
Горбунок мой, помоги!»
Вмиг конек к нему явился.
«Ай, хозяин, отличился!
Ну, садись же поскорей!
Да держи ее плотней!»

Вот столицы достигает.
Царь к царевне выбегает.
За белы́ руки берет,
Во дворец ее ведет
И садит за стол дубовый
И под занавес шелковый,
В глазки с нежностью глядит,
Сладки речи говорит:
«Бесподобная девица!
Согласися быть царица!
Я тебя едва узрел —
Сильной страстью воскипел.
Соколины твои очи
Не дадут мне спать средь ночи



И во время бела дня,
Ох! измучают меня.
Молви ласковое слово!
Всё для свадьбы уж готово;
Завтра ж утром, светик мой,
Обвенчаемся с тобой
И начнем жить припевая».
А царевна молодая,
Ничего не говоря,
Отвернулась от царя.
Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы начал снова*:
«Молви ласковое слово!
Чем тебя я огорчил?
Али тем, что полюбил?
О, судьба моя плачевна!»
Говорит ему царевна:
«Если хочешь взять меня,
То доставь ты мне в три дня
Перстень мой из окияна!» —
«Гей! Позвать ко мне Ивана!» —
Царь поспешно закричал
И чуть сам не побежал.

Вот Иван к царю явился,
Царь к нему оборотился
И сказал ему: «Иван!
Поезжай на окиян;
В окияне том хранится
Перстень, слышь ты, Царь-девицы.
Коль достанешь мне его,
Задарю тебя всего». —



«Я и с первой-то дороги
Волочу насилу ноги —
Ты опять на окиян!» —
Говорит царю Иван.
«Как же, плут, не торопиться:
Видишь, я хочу жениться! —
Царь со гневом закричал
И ногами застучал.—
У меня не отпирайся,
А скорее отправляйся!»
Тут Иван хотел идти.
«Эй, послушай! По пути,—
Говорит ему царица,—
Заезжай ты поклониться
В изумрудный терем мой
Да скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик свой ясный от меня?
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?
Не забудь же!» — «Помнить буду,
Если только не забуду;
Да ведь надо же узнать,
Кто те братец, кто те мать,
Чтоб в родне-то нам не сбиться».
Говорит ему царица:
«Месяц — мать мне, Солнце — брат». —
«Да смотри, в три дня назад!» —
Царь-жених к тому прибавил.
Тут Иван царя оставил
И пошел на сеновал,
Где конек его лежал.



«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил?» —
Говорит ему конек.
«Помоги мне, горбунок!
Видишь, вздумал царь жениться,
Знашь, на тоненькой царице,
Так и шлет на окиян,—
Говорит коньку Иван,—
Дал мне сроку три дня только;
Тут попробовать изволь-ка
Перстень дьявольский достать!
Да велела заезжать
Эта тонкая царица
Где-то в терем поклониться
Солнцу, Месяцу, притом
И спросать кое об чем...»
Тут конек: «Сказать по дружбе,
Это — службишка, не служба;
Служба всё, брат, впереди!
Ты теперя спать поди;
А назавтра, утром рано,
Мы поедем к окияну».

На другой день наш Иван,
Взяв три луковки в карман,
Потеплее приоделся,
На коньке своем уселся
И поехал в дальний путь...
Дайте, братцы, отдохнуть!



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Доселева Макар огороды копал,
а нынече Макар в воеводы попал



Та-ра-ра-ли, та-ра-ра!
Вышли кони со двора;
Вот крестьяне их поймали
Да покрепче привязали.
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу;
Как во трубушку играет,
Православных потешает:
«Эй! Послушай, люд честной!
Жили-были муж с женой;
Муж-то примется за шутки,
А жена за прибаутки,
И пойдет у них тут пир,
Что на весь крещеный мир!»
Это присказка ведется,
Сказка по́слее начнется.
Как у наших у ворот
Муха песенку поет:
«Что дадите мне за вестку?
Бьет свекровь свою невестку:
Посадила на шесток*,
Привязала за шнурок,
Ручки к ножкам притянула,
Ножку правую разула:
«Не ходи ты по зарям!
Не кажися молодцам!»
Это присказка велася,
Вот и сказка началась.

Ну-с, так едет наш Иван
За кольцом на окиян.
Горбунок летит, как ветер,



И в почин на первый вечер
Верст сто тысяч отмахал
И нигде не отдыхал.

Подъезжая к окияну,
Говорит конек Ивану:
«Ну, Иванушка, смотри,
Вот минутки через три
Мы приедем на поляну —
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит;
Десять лет уж он страдает,
А доселева не знает,
Чем прощенье получить;
Он учнет тебя просить,
Чтоб ты в Солнцевом селенье
Попросил ему прощенье;
Ты исполнить обещаи,
Да, смотри ж, не забывай!»
Вот въезжает на поляну
Прямо к морю-окияну;
Поперек его лежит
Чудо-юдо Рыба-кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр-бор шумит,
На спине село стоит;
Мужички на губе пашут,
Между глаз мальчишки пляшут,
А в дубраве, меж усов,
Ищут девушки грибов.

Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит



Так проезжим говорит,
Рот широкий отворяя,
Тяжко, горько вздыхая:
«Путь-дорога, господа!
Вы откуда и куда?» —
«Мы послы от Царь-девицы,
Едем оба из столицы,—
Говорит киту конек,—
К Солнцу прямо на восток,
Во хоромы золотые». —
«Так нельзя ль, отцы родные,
Вам у Солнышка спросить:
Долго ль мне в опале быть,
И за кои прегрешенья
Я терплю беды-мученья?» —
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
«Будь отец мне милосердный!
Вишь, как мучуся я, бедный!
Десять лет уж тут лежу...
Я и сам те услужу!..» —
Кит Ивана умоляет,
Сам же горько вздыхает.
«Ладно, ладно, Рыба-кит!» —
Наш Иван ему кричит.
Тут конек под ним забился,
Прыг на берег и пустился;
Только видно, как песок
Вьется вихорем у ног.

Едут близко ли, далеко,
Едут низко ли, высоко
И увидели ль кого —
Я не знаю ничего.
Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно творится*.



Только, братцы, я узнал,
Что конек туда вбежал,
Где (я слышал стороною)
Небо сходится с землею,
Где крестьянки лен прядут,
Прялки на небо кладут.

Тут Иван с землей простился
И на небе очутился,
И поехал, будто князь,
Шапка набок, подбодрясь.
«Эко диво! Эко диво!
Наше царство хоть красиво,—
Говорит коньку Иван
Средь лазоревых полян,—
А как с небом-то сравнится,
Так под стельку не годится.
Что земля-то!.. Ведь она
И черна-то и грязна;
Здесь земля-то голубая,
А уж светлая какая!..
Посмотри-ка, горбунок,
Видишь, вон где, на восток,
Словно светится зарница...
Чай, небесная светлица...
Что-то больно высока!» —
Так спросил Иван конька.
«Это терем Царь-девицы,
Нашей будущей царицы,—
Горбунок ему кричит,—
По ночам здесь Солнце спит,
А полуденной порою
Месяц входит для покою».

Подъезжают; у ворот
Из столбов хрустальный свод:



Все столбы те завитые
Хитро в змейки золотые;
На верхушках три звезды,
Вокруг терема сады;
На серебряных там ветках,
В раззолоченных во клетках
Птицы райские живут,
Песни царские поют.
А ведь терем с теремами
Будто город с деревнями;
А на тереме из звезд —
Православный русский крест.

Вот конек во двор въезжает;
Наш Иван с него слезает,
В терем к Месяцу идет
И такую речь ведет:
«Здравствуй, Месяц Месяцович!
Я — Иванушка Петрович,
Из далеких я сторон
И привез тебе поклон». —
«Сядь, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
И поведай мне вину*
В нашу светлую страну
Твоего с земли прихода;
Из какого ты народа,
Как попал ты в этой край, —
Всё скажи мне, не утай». —
«Я с земли пришел Землянской,
Из страны ведь христианской, —
Говорит, садясь, Иван, —
Переехал окиян
С порученьем от царицы —
В светлый терем поклониться
И сказать вот так, стой!



«Ты скажи моей родной:
Дочь ее узнать желает,
Для чего она скрывает
По три ночи, по три дня
Лик какой-то от меня;
И зачем мой братец красный
Завернулся в мрак ненастный
И в туманной вышине
Не пошлет луча ко мне?»
Так, кажися? Мастерница
Говорить краснó царица;
Не припомнишь всё сполна,
Что сказала мне она». —
«А какая то царица?» —
«Это, знаешь, Царь-девица». —
«Царь-девица?.. Так она,
Что ль, тобой увезена?» —
Вскрикнул Месяц Месяцович.
А Иванушка Петрович
Говорит: «Известно, мной!
Вишь, я царский стремянной;
Ну, так царь меня отправил,
Чтобы я ее доставил
В три недели во дворец;
А не то меня отец
Посадить грозился на кол».
Месяц с радости заплакал,
Ну Ивана обнимать,
Целовать и миловать.
«Ах, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцович. —
Ты принес такую весть,
Что не знаю, чем и счесть!
А уж мы как горевали,
Что царевну потеряли!..
Оттого-то, видишь, я



По три ночи, по три дня
В темном облаке ходила,
Всё грустила да грустила,
Трое суток не спала,
Крошки хлеба не брала,
Оттого-то сын мой красный
Завернулся в мрак ненастный,
Луч свой жаркий погасил,
Миру божью не светил:
Всё грустил, вишь, по сестрице,
Той ли красной Царь-девице.
Что, здорова ли она?
Не грустна ли, не больна?» —
«Всем бы, кажется, красotka,
Да у ней, кажись, сухotka*:
Ну, как спичка, слышь, тонка*,
Чай, в обхват-то три вершка;
Вот как замуж-то поспеет,
Так небось и потолстеет:
Царь, слышь, женится на ней».
Месяц вскрикнул: «Ах, злодей!
Вздумал в семьдесят жениться
На молоденькой девице!
Да стою я крепко в том —
Просидит он женихом!
Вишь, что старый хрен затеял:
Хочет жать там, где не сеял!
Полно, лаком больно стал!»
Тут Иван опять сказал:
«Есть еще к тебе прошение,
То о китовом прощении...
Есть, вишь, море; Чудо-кит
Поперек его лежит:
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты...
Он, бедняк, меня прошал,



Чтобы я тебя спросал:
Скоро ль кончится мученье?
Чем сыскать ему прощенье?
И на что он тут лежит?»
Месяц ясный говорит:
«Он за то несет мученье,
Что без божия веленья
Проглотил среди морей
Три десятка кораблей.
Если даст он им свободу,
Снимет бог с него невзгоду.
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».

Тут Иванушка поднялся,
С светлым Месяцем прощался,
Крепко шею обнимал,
Трижды в щеки целовал.
«Ну, Иванушка Петрович! —
Молвил Месяц Месяцovich.—
Благодарствую тебя
За сынка и за себя.
Отнеси благословенье
Нашей дочке в утешенье
И скажи моей родной:
«Мать твоя всегда с тобой;
Полно плакать и крушиться:
Скоро грусть твоя решится,—
И не старый, с бородой,
А красавец молодой
Поведет тебя к налою»*,
Ну, прощай же! Бог с тобою!»
Поклонившись, как умел,
На конька Иван тут сел,
Свистнул, будто витязь знатный,
И пустился в путь обратный.



На другой день наш Иван
Вновь пришел на окян.
Вот конек бежит по киту,
По костям стучит копытом.
Чудо-юдо Рыба-кит
Так, вздохнувши, говорит:
«Что, отцы, мое прощенье?
Получу ль когда прощенье?» —
«Погоди ты, Рыба-кит!» —
Тут конек ему кричит.

Вот в село он прибегает,
Мужиков к себе сзывает,
Черной гривкою трясет
И такую речь ведет:
«Эй, послушайте, миряне,
Православны христиане!
Коль не хочет кто из вас
К водяному сесть в приказ*,
Убирайся вмиг отсюда.
Здесь тотчас случится чудо:
Море сильно закипит,
Повернется Рыба-кит...»
Тут крестьяне и миряне,
Православны христиане,
Закричали: «Быть бедám!»
И пустились по домам.
Все телеги собирали;
В них, не мешкая, поклали
Всё, что было живота,
И оставили кита.
Утро с полднем повстречалось,
А в селе уж не осталось
Ни одной души живой,
Словно шел Мамай войной!*



Тут конек на хвост вбегает,
К перьям близко прилегает
И что мочи есть кричит:
«Чудо-юдо Рыба-кит!
Оттого твои мученья,
Что без божия веленья
Проглотил ты средь морей
Три десятка кораблей.
Если дашь ты им свободу,
Снимет бог с тебя невзгоду,
Вмиг все раны заживит,
Долгим веком наградит».
И, окончив речь такую,
Закусил узду стальную,
Понатужился — и вмиг
На далекий берег прыг.

Чудо-кит зашевелился,
Словно холм поворотился,
Начал море волновать
И из челюстей бросать
Корабли за кораблями
С парусами и гребцами.

Тут поднялся шум такой,
Что проснулся царь морской:
В пушки медные палили,
В трубы кованы трубили;
Белый парус поднялся,
Флаг на мачте развился;
Поп с причетом всем служебным*
Пел на палубе молебны;
А гребцов веселый ряд
Грянул песню наподхват:
«Как по моречку, по морю,
По широкому раздолью,



Что по самый край земли,
Выбегают корабли...»

Волны моря закрубились,
Корабли из глаз сокрылись.
Чудо-юдо Рыба-кит
Громким голосом кричит,
Рот широкий отворяя,
Плесом волны разбивая:
«Чем вам, други, услужить?
Чем за службу наградить?
Надо ль раковин цветистых?
Надо ль рыбок золотистых?
Надо ль крупных жемчугов?
Всё достать для вас готов!» —
«Нет, кит-рыба, нам в награду
Ничего того не надо,—
Говорит ему Иван,—
Лучше перстень нам достань,—
Перстень, знаешь, Царь-девицы,
Нашей будущей царицы».—
«Ладно, ладно! Для дружка
И сережку из ушка!
Отыщу я до зарницы
Перстень красной Царь-девицы»,—
Кит Ивану отвечал
И, как ключ, на дно упал.

Вот он плесом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет:
«Вы достаньте до зарницы
Перстень красной Царь-девицы,
Скрытый в ящичке на дне.
Кто его доставит мне,



Награжу того я чином:
Будет думным дворянином*.
Если ж умный мой приказ
Не исполните... я вас!..»
Осетры тут поклонились
И в порядке удалились.

Через несколько часов
Двое белых осетров
К киту медленно подплыли
И смиренно говорили:
«Царь великий! Не гневись!
Мы всё море уж, кажись,
Исходили и изрыли,
Но и знаку не открыли.
Только Ерш один из нас
Совершил бы твой приказ:
Он по всем морям гуляет,
Так уж, верно, перстень знает;
Но его, как бы назло,
Уж куда-то унесло». —
«Отыскать его в минуту
И послать в мою каюту!» —
Кит сердито закричал
И усами закачал.

Осетры тут поклонились,
В земский суд* бежать пустились
И велели в тот же час
От кита писать указ,
Чтоб гонцов скорей послали
И Ерша того поймали.
Лещ, услыша сей приказ,
Именной писал указ;
Сом (советником он звался)
Под указом подписался;



Черный рак указ сложил
И печати приложил.
Двух дельфинов тут призвали
И, отдав указ, сказали,
Чтоб, от имени царя,
Обежали все моря
И того Ерша-гуляку,
Крикуна и забияку,
Где бы ни было, нашли,
К государю привели.
Тут дельфины поклонились
И Ерша искать пустились.

Ищут час они в морях,
Ищут час они в реках,
Все озера исходили,
Все проливы переплыли,
Не могли Ерша сыскать
И вернулись назад,
Чуть не плача от печали...

Вдруг дельфины услышали,
Где-то в маленьком пруде
Крик неслышанный в воде.
В пруд дельфины завернули
И на дно его нырнули, —
Глядь: в пруде, под камышом,
Ерш дерется с Карасем.
«Смирно! Черти б вас побрали!
Вишь, содом какой подняли,
Словно важные бойцы!» —
Закричали им гонцы.
«Ну, а вам какое дело? —
Ерш кричит дельфинам смело.—
Я шутить ведь не люблю,
Разом всех переколю!» —



«Ох ты, вечная гуляка,
И крикун, и забияка!
Всё бы, дрянь, тебе гулять,
Всё бы драться да кричать.
Дома — нет ведь, не сидится!..
Ну, да что с тобой рядиться,—
Вот тебе царев указ,
Чтоб ты плыл к нему тотчас».

Тут проказника дельфины
Подхватили за щетины
И отправились назад.
Ерш ну рваться и кричать:
«Будьте милосливы, братцы!
Дайте чуточку подраться.
Распроклятый тот Карась
Поносил меня вчерась
При честном при всем собрание
Неподобной разной бранью...»
Долго Ерш еще кричал,
Наконец и замолчал;
А проказника дельфины
Всё тащили за щетины,
Ничего не говоря,
И явились пред царя.

«Что ты долго не являлся?
Где ты, вражий сын, шатался?» —
Кит со гневом закричал.
На колени Ерш упал,
И, признавшись в преступленье,
Он молился о прощенье*.
«Ну, уж бог тебя простит! —
Кит державный говорит.—
Но за то твое прощенье
Ты исполни повеленье». —



«Рад стараться, Чудо-кит!» —
На коленях Ерш пищит.
«Ты по всем морям гуляешь,
Так уж, верно, перстень знаешь
Царь-девицы?» — «Как не знать!
Можем разом отыскать». —
«Так ступай же поскорее
Да сыщи его живее!»

Тут, отдав царю поклон,
Ерш пошел, согнувшись, вон.
С царской дворней побранился,
За плотвой поволочился
И салакушкам шести
Нос разбил он на пути.
Совершив такое дело,
В омут кинулся он смело
И в подводной глубине
Вырыл ящичек на дне —
Пуд по крайней мере во сто.
«О, здесь дело-то не просто!»
И давай из всех морей
Ерш скликать к себе сельдей.

Сельди духом собралися,
Сундучок тащить взялися,
Только слышно и всего —
«У-у-у!» да «О-о-о!».
Но сколь сильно ни кричали,
Животы лишь надорвали,
А проклятый сундучок
Не дался и на вершок.
«Настоящие селедки!
Вам кнута бы вместо водки!» —
Крикнул Ерш со всех сердцов
И нырнул по осетров.



Осетры тут приплывают
И без крика поднимают
Крепко ввязнувший в песок
С перстнем красный сундучок.
«Ну, ребяташки, смотрите,
Вы к царю теперь плывите,
Я ж пойду теперь ко дну
Да немножко отдохну:
Что-то сон одолевает,
Так глаза вот и смыкает...»
Осетры к царю плывут,
Ерш-гуляка прямо в пруд
(Из которого дельфины
Утащили за щетины).
Чай, додраться с Карасем,—
Я не ведаю о том.
Но теперь мы с ним простимся
И к Ивану возвратимся.

Тихо море-окиян.
На песке сидит Иван,
Ждет кита из синя моря
И мурлыкает от горя;
Повалившись на песок,
Дремлет верный горбунок.
Время к вечеру клонилось;
Вот уж солнышко спустилось;
Тихим пламенем горя,
Развернулася заря.
А кита не тут-то было.
«Чтоб те, вора, задавило!
Вишь, какой морской шайтан! —
Говорит себе Иван.—
Обещался до зарницы
Вынести перстень Царь-девицы,



А доселе не сыскал,
Окаянный зубоскал!
А уж солнышко-то село,
И...» Тут море закипело:
Появился чудо-кит
И к Ивану говорит:
«За твое благодеянье
Я исполнил обещанье».
С этим словом сундучок
Брякнул плотно на песок,
Только берег закачался.
«Ну, тепер я расквитался.
Если ж вновь принужусь я,
Позови опять меня;
Твоего благодеянья
Не забыть мне... До свиданья!»
Тут Кит-чудо замолчал
И, всплеснув, на дно упал.

Горбунок-конек проснулся,
Встал на лапки, отряхнулся,
На Иванушку взглянул
И четырежды прыгнул.
«Ай да Кит Китович! Славно!
Долг свой выплатил исправно!
Ну, спасибо, Рыба-кит! —
Горбунок-конек кричит. —
Что ж, хозяин, одевайся,
В путь-дорожку отправляйся;
Три денька ведь уж прошло:
Завтра срочное число*.
Чай, старик уж умирает».
Тут Ванюша отвечает:
«Рад бы радостью поднять;
Да ведь силы не занять!
Сундучишко больно плотен,



Чай, чертей в него пять сотен
Кит проклятый насажал.
Я уж трижды подымал:
Тяжесть страшная такая!»
Тут конек, не отвечая,
Поднял ящичек ногой,
Будто камышек какой,
И взмахнул к себе на шею.
«Ну, Иван, садись скорее!
Помни, завтра минет срок,
А обратный нуть далек».

Стал четвертый день зориться,
Наш Иван уже в столице.
Царь с крыльца к нему бежит,—
«Что кольцо мое?» — кричит.
Тут Иван с конька слезает
И преважно отвечает:
«Вот тебе и сундучок!
Да вели-ка скликать полк:
Сундучишко мал хоть нá вид,
Да и дьявола задавит».
Царь тотчас стрельцов позвал
И не медля приказал
Сундучок отнестъ в светлицу.
Сам пошел по Царь-девицу.
«Перстень твой, душа, найдён,—
Сладкогласно молвил он,—
И теперь, примолвить снова,
Нет препятства никакого
Завтра утром, светик мой,
Обвенчаться мне с тобой.
Но не хочешь ли, дружочек,
Свой увидеть перстенечек?
Он в дворце моем лежит».
Царь-девица говорит:



«Знаю, знаю! Но, признаться,
Нам нельзя еще венчаться». —
«Отчего же, светик мой?
Я люблю тебя душой,
Мне, прости ты мою смелость,
Страх жениться захотелось.
Если ж ты... то я умру
Завтра ж с горя поутру.
Сжался, матушка царица!»
Говорит ему девица:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед;
Мне пятнадцать только лет:
Как же можно нам венчаться?
Все цари начнут смеяться,
Дед-то, скажут, внуку взял!»
Царь со гневом закричал:
«Пусть-ка только засмеются —
У меня как раз свернутся:
Все их царства полоню!
Весь их род искореню!» —
«Пусть не станут и смеяться,
Всё не можно нам венчаться, —
Не растут зимой цветы:
Я красавица, а ты?..
Чем ты можешь похвалиться?» —
Говорит ему девица.
«Я хоть стар, да я удал! —
Царь царице отвечал. —
Как немножко приберуся,
Хоть кому так покажуся
Разудалым молодцом.
Ну, да что нам нужды в том?
Лишь бы только нам жениться».
Говорит ему девица:
«А такая в том нужда,
Что не выйду никогда



За дурного, за седого,
За беззубого такого!»
Царь в затылке почесал
И, нахмурясь, сказал:
«Что ж мне делать-то, царица?
Страх как хочется жениться;
Ты же, ровно на беду:
Не пойду да не пойду!» —
«Не пойду я за седого,—
Царь-девица молвит снова.—
Стань, как прежде, молодец,—
Я тотчас же под венец».—
«Вспомни, матушка царица,
Ведь нельзя переродиться;
Чудо бог один творит».
Царь-девица говорит:
«Коль себя не пожалеешь,
Ты опять помолодеешь.
Слушай: завтра на заре
На широком на дворе
Должен челядь* ты заставить
Три котла больших поставить
И костры под них сложить.
Первый надобно налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться —
Ты, без платья, налегке,
Искупайся в молоке;
Тут побудь в воде вареной,
А потом еще в студеной.
И скажу тебе, отец,
Будешь знатный молодец!»



Царь не вымолвил ни слова,
Кликнул тотчас стремяннова.
«Что, опять на окиян? —
Говорит царю Иван.—
Нет, уж дудки, ваша милость!
Уж и то во мне всё сбилось.
Не поеду ни за что!» —
«Нет, Иванушка, не то,
Завтра я хочу заставить
На дворе котлы поставить
И костры под них сложить.
Первый думаю налить
До краев водой студеной,
А второй — водой вареной,
А последний — молоком,
Вскипятя его ключом.
Ты же должен постараться,
Пробы ради, искупаться
В этих трех больших котлах,
В молоке и двух водах». —
«Вишь, откуда подъезжает! —
Речь Иван тут начинает.—
Шпарят только поросят,
Да индюшек, да цыплят;
Я ведь, глянь, не поросенок,
Не индюшка, не цыпленок.
Вот в холодной, так оно
Искупаться бы можно,
А подваривать как станешь,
Так меня и не заманишь.
Полно, царь, хитрить-мудрить
Да Ивана проводить!»
Царь, затрясши бороною:
«Что? Рядиться мне с тобою? —
Закричал он.— Но смотри!
Если ты в рассвет зари



Не исполнишь повеленье,—
Я отдам тебя в мученье,
Прикажу тебя пытаться,
По кусочкам разрывать.
Вон отсюда, бóлесть злая!»*
Тут Иванушка, рыдая,
Поплелся на сеновал,
Где конек его лежал.

«Что, Иванушка, невесел?
Что головушку повесил? —
Говорит ему конек.—
Чай, наш старый женишок
Снова выкинул затею?»
Пал Иван к коньку на шею,
Обнимал и целовал.
«Ох, беда, конек! — сказал.—
Царь вконец меня сбывает;
Сам подумай, заставляет
Икупаться мне в котлах,
В молоке и двух водах:
Как в одной воде студеной,
А в другой воде вареной,
Молоко, слышь, кипяток».
Говорит ему конек:
«Вот уж служба, так уж служба!
Тут нужна моя вся дружба.
Как же к слову не сказать:
Лучше б нам пера не брать;
От него-то, от злодея,
Столько бед тебе на шею...
Ну, не плачь же, бог с тобой!
Сладим как-нибудь с бедой.
И скорее сам я сгину,
Чем тебя, Иван, покину.
Слушай, завтра на заре



В те поры, как на дворе
Ты разденешься, как должно,
Ты скажи царю: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать,
Чтоб впоследствии с ним проститься».
Царь на это согласится.
Вот как я хвостом махну,
В те котлы мордбй макну,
На тебя два раза прысну,
Громким посвистом присвистну,
Ты, смотри же, не зевай:
В молоко сперва ныряй,
Тут в котел с водой вареной,
А оттудова в студеной.
А теперича молись
Да спокойно спать ложись».

На другой день, утром рано,
Разбудил конек Ивана:
«Эй, хозяин, полно спать!
Время службу исполнять».
Тут Ванюша почесался,
Потянулся и поднялся,
Помолился на забор
И пошел к царю во двор.

Там котлы уже кипели;
Подле них рядком сидели
Кучера и повара
И служители двора;
Дров усердно прибавляли,
Об Иване толковали
Втихомолку меж собой
И смеялись порой.



Вот и двери растворились,
Царь с царицей появились
И готовились с крыльца
Посмотреть на удальца.
«Ну, Ванюша, раздевайся
И в котлах, брат, покупайся!» —
Царь Ивану закричал.
Тут Иван одежду снял,
Ничего не отвечая.
А царица молодая,
Чтоб не видеть наготу,
Завернулася в фату.
Вот Иван к котлам поднялся,
Глянул в них — и зачесался.
«Что же ты, Ванюша, стал? —
Царь опять ему вскричал. —
Исполняй-ка, брат, что должно!»
Говорит Иван: «Не можно ль,
Ваша милость, приказать
Горбунка ко мне послать?
Я в последни б с ним простился».
Царь, подумав, согласился
И изволил приказать
Горбунка к нему послать.
Тут слуга конька приводит
И к сторонке сам отходит.

Вот конек хвостом махнул,
В те котлы мордбй макнул,
На Ивана дважды прыснул,
Громким посвистом присвистнул,
На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул,
Тут в другой, там в третий тоже,
И такой он стал пригожий,



Что ни в сказке не сказать,
Ни пером не написать!
Вот он в платье нарядился,
Царь-девице поклонился,
Осмотрелся, подбодрясь,
С важным видом, будто князь.

«Эко диво! — все кричали.—
Мы и слыхом не слыхали,
Чтобы лъзя похорошеть!»*

Царь велел себя раздеть,
Два разá перекрестился,—
Бух в котел — и там сварился!

Царь-девица тут встает,
Знак к молчанью подает,
Покрывало поднимает
И к прислужникам вещает:
«Царь велел вам долго жить!
Я хочу царицей быть.
Люба ль я вам? Отвечайте!
Если любя, то признайте
Володетелем всего —
И супруга моего!»
Тут царица замолчала,
На Ивана показала.

«Люба, любя! — все кричат.—
За тебя хоть в самый ад!
Твоего ради талана*
Признаем царя Ивана!»

Царь царицу тут берет,
В церковь божию ведет,
И с невестой молодою
Он обходит вокруг налюю.



Пушки с крепости палят;
В трубы кованы трубят;
Все подвалы отворяют
Бочки с фряжским выставляют*,
И, напившись, народ
Что есть мочушки дерет:
«Здравствуй, царь наш со царицей!
С распрекрасной Царь-девицей!»

Во дворце же пир горой:
Вина льются там рекой;
За дубовыми столами
Пьют бояре со князьями,
Сердцу любо! Я там был,
Мед, вино и пиво пил;
По усам хоть и бежало,
В рот ни капли не попало.



Сергей Тимофеевич
Аксаков

АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК


Сказка ключницы Пелагеи



неким царстве, в неким государстве жил-был богатый купец, именитый человек.

Много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных камней, золотой и серебряной казны; и было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех; и любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных камней, золотой и серебряной казны — по той причине, что он был вдовец и любить ему было некого; любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее.

Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за тридевять земель, в тридевятое царство, в тридесятое государство, и говорит он своим любезным дочерям:

 — Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за тридевять земель, в тридевятое царство, тридесятое государство, и мало ли, много ли времени проезжу — не ведаю, и наказываю я вам жить без меня честно и смирно, и коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите, и даю я вам сроку думать на три дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется.

Думали они три дня и три ночи и пришли к своему родителю, и стал он их спрашивать, каких гостинцев желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги да и говорит ему первая:


— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи*, ни мехов черного соболя, ни жемчуга бурмицкого*; а привези ты мне золотой венец из камениев самоцветных*, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого.

Честной купец призадумался и сказал потом:

— Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе таковой венец; знаю я за морем такого человека, который достанет мне таковой венец; а и есть он у одной королевишны заморской, а и спрятан он в кладовой каменной, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сажени, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая: да для моей казны супротивного нет*.

Поклонилась ему в ноги дочь середняя и говорит:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов собля сибирского, ни ожерелья жемчуга



бурмицкого, ни золотá венца самоцветного, а привези ты мне тувалет* из хрусталу восточного, цельного, беспорочного*, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную и чтоб, смотрясь в него, я не старилась и красота б моя девичья прибавлялася.

Призадумался честной купец и, подумав мало ли, много ли времени, говорит ей таковые слова:

— Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе таковой хрустальный тувалет; а и есть он у дочери короля персидского, молодой королевичны, красоты несказанной, неописанной и негаданной; и схоронен тот тувалет в терему каменном, высоком, и стоит он на горе каменной, высота той горы в триста сажень, за семью дверьми железными, за семью замками немецкими, и ведут к тому терему ступеней три тысячи, и на каждой ступени стоит по воину персидскому и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевична на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне таковой тувалет. Потяжеле твоя работа сестриной, да для моей казны супротивного нет.

Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит таково слово:

— Государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни тувалета хрустального, а привези ты мне *аленький цветочек*, которого бы краше не было на белом свете.

Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу; надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь, любимую, и говорит таковые слова:




— Ну, задала ты мне работу потяжеле сестриных: коли знаешь, что искать, то как не сыскать, а как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи.

И отпустил он дочерей своих, хороших, пригожих, в ихние терема девичьи. Стал он собираться в путь, во дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь, во дороженьку.

Вот ездит честной купец по чужим сторонам заморским, по королевствам невиданным; продает он свои товары втридорога, покупает чужие втридешева, он меняет товар на товар и того сходней, со придачею серебра да золота; золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери: венец с камнями самоцветными, а от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери: тувалет хрустальный, а в нем видна вся красота поднебесная, и, смотрясь в него, девичья красота не стареется, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшей, любимой дочери — аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете.

Находил он во садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать; да никто ему поруки не дает, что краше того цветка нет на белом свете; да и сам он того не думает. Вот едет он путем-дорогою со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим, и, откуда ни возьмись, налетели на него разбойники, бусур-



манские, турецкие да индейские, и, увидя беду неминуемую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугою своею верною и бежит в темные леса. «Пусть-де меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи, поганые и доживать свой век в плену во неволе».

Бродит он по тому лесу дремучему, непроезжаемому, непроходимому, и что дальше идет, то дорога лучше становится, словно деревья перед ним расступаются, а часты кусты раздвигаются. Смотрит назад — руки не просунуть, смотрит направо — пни да колоды, зайцу косому не проскочить, смотрит налево — а и хуже того. Дивуется честной купец, думает не придумает, что с ним за чудо совершается, а сам всё идет да идет: у него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера, не слышит он реву звериного, ни шипения змеиного, ни крику совиного, ни голоса птичьего: ровно около него всё померло. Вот пришла и темная ночь; кругом его хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он, почитай, до полуночи, и стал видеть впереди будто зарево, и подумал он: «Видно, лес горит, так зачем же мне туда идти на верную смерть, неминуемую?»

Поворотил он назад — нельзя идти, направо, налево — нельзя идти; сунулся вперед — дорога торная. «Дай постою на одном месте, — может, зарево пойдет в другую сторону, аль прочь от меня, аль потухнет совсем».


Вот и стал он, дожидается; да не тут-то было: зарево точно к нему навстречу идет, и как будто около него светлее становится; думал он, думал и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Перекрестился купец и пошел вперед. Чем дальше идет, тем светлее становится, и стало, почитай, как белый день, а не слышно

шуму и треску пожарного. Выходит он под конец на поляну широкую, и посередь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский, весь в огне, в серебре и золоте и в каменьях самоцветных, весь горит и светит, а огня не видать; ровно солнышко красное, инда* тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка согласная, какой никогда он не слыхивал.

Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные; дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны воды, высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланной кармазинным сукном*, со перилами позолоченными; вошел в горницу — нет никого; в другую, в третью — нет никого; в пятую, десятую — нет никого; а убранство везде царское, неслыханное и невиданное: золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая.

Дивится честной купец такому богатству несказанному, а вдвое того, что хозяина нет; не только хозяина, и прислуги нет; а музыка играет не смолкаючи; и подумал он в те поры про себя: «Всё хорошо, да есть нечего» — и вырос перед ним стол, убранный-разубранный: в посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медвяные. Сел он за стол без сумления*; напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые; кушанье такое, что и сказать нельзя, — того и гляди, что язык проглотишь, а он, по лесам и пескам ходючи, крепко проголодался; встал он из-за стола, а поклониться некому и сказать спасибо за хлеб за соль некому. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет не умолкаючи.

Дивуется честной купец такому чуду чюдному



и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным да любитесь, а сам думает: «Хорошо бы теперь соснуть да всхрапнуть» — и видит, стоит перед ним кровать резная, из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными; пуховик на ней как гора лежит, пуху мягкого, лебяжьего.

Дивится купец такому чуду новому, новому и чўдному; ложится он на высокую кровать, задерживает полог серебряный и видит, что он тонок и мягок, будто шёлковый. Стало в палате темно, ровно в сумерки, и музыка играет будто издали, и подумал он: «Ах, кабы мне дочерей хоть во сне увидеть!» — и заснул в ту же минуточку.

Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а вдруг опомниться не может: всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих, и видел он дочерей своих старших: старшую и среднюю, что они веселым-веселёхоньки, а печальна одна дочь меньшая, любимая; что у старшей и средней дочери есть женихи богатые и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского; меньшая же дочь любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно и не радостно.

Встал он со кровати высокой, платье ему всё приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную; он одевается, умывается и уж новому чуду не дивуется: чай и кофей на столе стоят, и при них закуска сахарная. Помолившись богу, он накушался, и стал он опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Всё показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна растворенные, что кругом

дворца разведены сады диковинные, плодовые и цветы цветут красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться.

Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными, сходит прямо в зеленые сады. Гуляет он и любуется: на деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся, инда, глядя на них, слюнки текут; цветы цветут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные; птицы летают невиданные: словно по бархату зеленому и пунцовому золотом и серебром выложенные, песни поют райские; фонтаны воды бьют высокие, инда глядеть на их вышину — голова запрокидывается; и бегут и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным.

Ходит честной купец, дивуется; на все такие диковинки глаза у него разбежались, и не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так много ли, мало ли времени — неведомо: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается; подходит он ко тому цветку; запах от цветка по всему саду ровно струя бежит; затряслись и руки и ноги у купца, и возговорил он голосом радостным:

— Вот аленький цветочек, какого нет краше на белом свете, о каком просила меня дочь меньшая, любимая.

И, проговорив таковы слова, он подошел и сорвал аленький цветочек. В ту же минуту, безо всяких туч, блеснула молния и ударил гром, инда земля зашаталась под ногами, — и вырос, как будто из земли, перед купцом зверь не зверь, человек не

человек, а так какое-то чудище, страшное и мохнатое, и заревел он голосом диким:


— Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый цветок? Я хоронил его паче зеницы ока* моего и всякий день утешался, на него глядячи, а ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада, я принял тебя, как дорогого гостя и званого, накормил, напоил и спать уложил, а ты эдак-то заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькую: умереть тебе за свою вину смертью безвременною!..

И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:

— Умереть тебе смертью безвременною!

У честного купца от страха зуб на зуб не приходил, он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли лезет к нему сила нечистая и несметная, все страшилища безобразные. Он упал на колени перед наибольшим хозяином, чудищем мохнатым, и возговорил голосом жалобным:

— Ох ты гой еси, господин честной, зверь лесной, чудо морское: как взвеличать тебя — не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою продерзость безвинную, не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить. А есть у меня три дочери, три дочери красавицы, хорошие и пригожие; обещал я им по гостинцу привезть: старшей дочери — самоцветный венец, средней дочери — тувалет хрустальный, а меньшей дочери — аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшей дочери гостинца отыскать не мог; увидел я такой гостинец у тебя в саду — аленький цветочек, какого краше нет на белом свете, и подумал я, что такому хозяину, богатому-богатому, славно-

 му и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне, неразумному и глупому, отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшей, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, что потребуешь.

Раздался по лесу хохот, словно гром загремел, и возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

— Не надо мне твоей золотой казны: мне своей девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасенье. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчётною, подарю цветочек аленький, коли дашь ты мне слово честное купецкое и запись своей руки, что пришлешь заместо себя одну из дочерей своих, хороших, пригожих; я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и приволье, как сам ты жил во дворце моем. Стало скучно мне жить одному, и хочу я залучить себе товарища.

Так и пал купец на сыру землю, горючими слезами обливается; а и взглянет он на зверя лесного, на чудо морское, а и вспомнит он своих дочерей, хороших, пригожих, а и пуще того завопит истошным голосом: больно страшен был лесной зверь, чудо морское. Много времени честной купец убивается и слезами обливается, и возговорит он голосом жалобным:

— Господин честной, зверь лесной, чудо морское! А и как мне быть, коли дочери мои, хорошие и пригожие, по своей воле не захотят ехать к тебе? Не связать же мне им руки и ноги да насильно прислать? Да и каким путем до тебя доехать?


Я ехал к тебе ровно два года, а по каким местам, по каким путям, я не ведаю.

Возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:

— Не хочу я невольницы: пусть приедет твоя дочь сюда по любви к тебе, своей волею и хотением; а коли дочери твои не поедут по своей воле и хотению, то сам приезжай, и велю я казнить тебя смертью лютою. А как приехать ко мне — не твоя беда; дам я тебе перстень с руки моей: кто наденет его на правый мизинец, тот очутится там, где пожелает, во единое ока мгновение. Сроку тебе даю дома пробыть три дня и три ночи.

Думал, думал купец думу крепкую и придумал так: «Лучше мне с дочерьми повидатися, дать им свое родительское благословение, и коли они избавить меня от смерти не захотят, то приготовиться к смерти по долгу христианскому и воротиться к лесному зверю, чуду морскому». Фальши у него на уме не было, а потому он рассказал, что у него было на мыслях. Зверь лесной, чудо морское, и без того их знал; видя его правду, он и записи с него заручной не взял, а снял с своей руки золотой перстень и подал его честному купцу.

И только честной купец успел надеть его на правый мизинец, как очутился он в воротах своего широкого двора; в ту пору в те же ворота въезжали его караваны богатые с прислугою верною, и привезли они казны и товаров втрое противу прежнего. Поднялся в доме шум и гвалт, повскакали дочери из-за пялец своих, а вышивали они серебром и золотом ширинки* шелковые; почали они отца целовать, миловать и разными ласковыми именами называть, и две старшие сестры лебезят пуще меньшей сестры. Видят они, что отец как-то нерадостен и что есть у него на сердце печаль потаённая. Стали старшие дочери его допрашивать, не потерял ли он

 своего богатства великого; меньшая же дочь о богатстве не думает, и говорит она своему родителю:

— Мне богатства твои ненадобны; богатство дело наживное, а открой ты мне свое горе сердешное.

И возговорит тогда честной купец своим дочерям родимым, хорошим и пригожим:


— Не потерял я своего богатства великого, а нажил казны втрое-вчетверо; а есть у меня другая печаль, и скажу вам об ней завтрашний день, а сегодня будем веселиться.

Приказал он принести сундуки дорожные, железом окованные; доставал он старшей дочери золотой венец, золота аравийского*, на огне не горит, в воде не ржавеет, со камнями самоцветными; достает гостинец средней дочери, тувалет хрустально восточного; достает гостинец меньшей дочери, золотой кувшин с цветочком аленьким. Старшие дочери от радости рехнулись, унесли свои гостинцы в терема высокие и там на просторе ими досыта потешались. Только дочь меньшая, любимая, увидав цветочек аленький, затряслась вся и заплакала, точно в сердце ее что ужалило. Как возговорит к ней отец таковы речи:

— Что же, дочь моя милая, любимая, не берешь ты своего цветка желанного? Краше его нет на белом свете.

Взяла дочь меньшая цветочек аленький ровно нехотя, целует руки отцовы, а сама плачет горючими слезами. Скоро прибежали дочери старшие, попытали они гостинцы отцовские и не могут опомниться от радости. Тогда сели все они за столы дубовые, за скатерти браные, за яства сахарные, за пития медвяные; стали есть, пить, прохлаждаться, ласковыми речами утешаться.

Вечеру гости понаехали, и стал дом у купца полнехонек дорогих гостей, сродников, угодников,



прихлебателей. До полуночи беседа продолжалась, и таков был вечерний пир, какого честной купец у себя в дому не видывал, и откуда что бралось, не мог догадаться он, да и все тому дивовались: и посуды золотой-серебряной, и кушаний диковинных, каких никогда в дому не видывали.

Заутра позвал к себе купец старшую дочь, рассказал ей всё, что с ним приключилось, всё от слова до слова, и спросил: хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, к чуду морскому? Старшая дочь наотрез отказалась и говорит:

— Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.

Позвал честной купец к себе другую дочь, среднюю, рассказал ей всё, что с ним приключилось, всё от слова до слова, и спросил, хочет ли она избавить его от смерти лютой и поехать жить к зверю лесному, чуду морскому? Средняя дочь наотрез отказалась и говорит:

— Пусть та дочь и выручает отца, для кого он доставал аленький цветочек.

Позвал честной купец меньшую дочь и стал ей всё рассказывать, всё от слова до слова, и не успел кончить речи своей, как стала перед ним на колени дочь меньшая, любимая, и сказала:

— Благослови меня, государь мой батюшка родимый: я поеду к зверю лесному, чуду морскому, и стану жить у него. Для меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя.

Залился слезами честной купец, обнял он свою меньшую дочь, любимую, и говорит ей таковые слова:

— Дочь моя милая, хорошая, пригожая, меньшая и любимая, да будет над тобою мое благословение родительское, что выручаешь ты своего


отца от смерти лютой и по доброй воле своей и хотению идешь на житье противное к страшному зверю лесному, чуду морскому. Будешь жить ты у него во дворце, в богатстве и приволье великом; да где тот дворец — никто не знает, не ведает, и нет к нему дороги ни конному, ни пешему, ни зверю прыскучему*, ни птице перелетной. Не будет нам от тебя ни слуха, ни весточки, а тебе от нас и подавно. И как мне доживать мой горький век, лица твоего не выдаючи, ласковых речей твоих не слышаючи? Расстаюсь я с тобою на веки вечные, ровно тебя живую в землю хороню.

И возговорит отцу дочь меньшая, любимая:

— Не плачь, не тоскуй, государь мой батюшка родимый; житье мое будет богатое, привольное: зверя лесного, чуда морского, я не испугаюсь, буду служить ему верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится. Не оплакивай ты меня живую, словно мертвую: может, бог даст, я и вернусь к тебе.

Плачет, рыдает честной купец, таковыми речами не утешается.

Прибегают сестры старшие, большая и середняя, подняли плач по всему дому: вишь, больно им жалко меньшей сестры, любимой; а меньшая сестра и виду печального не кажет, не плачет, не охает и в дальний путь неведомый собирается. Прошел третий день и третья ночь, пришла пора расставаться честному купцу, расставаться с дочерью меньшей, любимой; он целует, милует ее, горючими слезами обливает и кладет на нее крестное благословение свое родительское. Вынимает он перстень зверя лесного, чуда морского, из ларца кованого, надевает перстень на правый мизинец меньшей, любимой дочери — и не стало ее в ту же минуточку со всеми ее пожитками.



Очутилась она во дворце зверя лесного, чуда морского, во палатах высоких, каменных, на кровати из резного золота со ножками хрустальными, на пуховике пуха лебяжьего, покрытом золотой камкой*, ровно она и с места не сходила, ровно она целый век тут жила, ровно легла почивать да проснулась. Заиграла музыка согласная, какой отродясь она не слыхивала.

Встала она со постели пуховой и видит, что все ее пожитки и цветочек аленький в кувшине позолоченном тут же стоят, раскладены и расставлены на столах зеленых малахита медного, и что в той палате много добра и скарба всякого, есть на чем посидеть-полежать, есть во что приодеться, есть во что посмотреться. И была одна стена вся зеркальная, а другая стена золоченая, а третья стена вся серебряная, а четвертая стена из кости слоновой и мамонтовой, самоцветными яхонтами вся разубранная; и подумала она: «Должно быть, это моя опочивальня*».

Захотелось ей осмотреть весь дворец, и пошла она осматривать все его палаты высокие, и ходила она немало времени, на все диковинки любующись; одна палата была краше другой, и все краше того, как рассказывал честной купец, государь ее батюшка родимый. Взяла она из кувшина золоченого любимый цветочек аленький, сошла она в зеленые сады, и запели ей птицы свои песни райские, а деревья, кусты и цветы замахали своими верхушками и ровно перед ней преклонились; выше забили фонтаны воды и громче зашумели ключи родниковые; и нашла она то место высокое, пригорок муравчатый*, на котором сорвал честной купец цветочек аленький, краше которого нет на белом свете. И вынула она тот аленький цветочек из кувшина золоченого и хотела посадить на место

прежнее; но сам он вылетел из рук ее и прирос к стеблю прежнему и расцвел краше прежнего.

Подивилась она такому чуду чудному, диву дивному, порадовалась своему цветочку аленькому, заветному и пошла назад в палаты свои дворцовые; и в одной из них стоит стол накрыт, и только она подумала: «Видно, зверь лесной, чудо морское, на меня не гневается, и будет он ко мне господин милостивый», — как на белой мраморной стене появились слова огненные:

«Не господин я твой, а послушный раб. Ты моя госпожа, и всё, что тебе пожелается, всё, что тебе на ум придет, исполнять я буду с охотою».

Прочитала она слова огненные, и пропали они со стены белой мраморной, как будто их никогда не бывало там. И вспало ей на мысли написать письмо к своему родителю и дать ему о себе весточку. Не успела она о том подумать, как видит она, перед нею бумага лежит, золотое перо со чернильницей. Пишет она письмо к своему батюшке родимому и сестрицам своим любезным:

«Не плачьте обо мне, не горюйте, я живу во дворце у зверя лесного, чуда морского, как королевишна; самого его не вижу и не слышу, а пишет он ко мне на стене беломраморной словами огненными; и знает он всё, что у меня на мысли, и в ту же минуту всё исполняет, и не хочет он называться господином моим, а меня называет госпожой своей».

Не успела она письмо написать и печатью припечатать, как пропало письмо из рук и из глаз ее, словно его тут и не было. Заиграла музыка пуще прежнего, на столе явились яства сахарные, питья медвяные, вся посуда золота червонного. Села она за стол веселехонька, хотя сроду не обедала одна-одинешенька; ела она, пила, прохлаждалась, му-

зыкою забавлялася. После обеда, накушавшись, она опочивать легла; заиграла музыка потише и подалее — по той причине, чтоб ей спать не мешать.

После сна встала она веселешенька и пошла опять гулять по садам зеленым, потому что не успела она до обеда обходить и половины их, наглядеться на все их диковинки. Все деревья, кусты и цветы перед ней преклонялися, а спелые плоды — груши, персики и наливные яблочки — сами в рот лезли. Походив время немалое, почитай вплоть до вечера, воротилась она во свои палаты высокие, и видит она, стол накрыт, и на столе яства стоят сахарные и питья медвяные, и все отменные.

После ужина вошла она в ту палату беломраморную, где читала она на стене словеса огненные, и видит она на той же стене опять такие же словеса огненные:

«Довольна ли госпожа моя своими садами и палатами, угощением и прислугою?»

И возговорила голосом радостным молодая дочь купецкая, красавица писаная:

— Не зови ты меня госпожой своей, а будь ты всегда мой добрый господин, ласковый и милостивый. Я из воли твоей никогда не выступлю. Благодарствую тебе за всё твое угощение. Лучше твоих палат высоких и твоих зеленых садов не найти на белом свете: то и как же мне довольною не быть? Я отродясь таких чудес не видывала. Я от такого дива еще в себя не приду, только боюсь я почивать одна; во всех твоих палатах высоких нет ни души человеческой.

Появились на стене словеса огненные:


«Не бойся, моя госпожа прекрасная: не будешь ты почивать одна, дожидается тебя твоя девушка сенная*, верная и любимая; и много в палатах душ человеческих, а только ты их не видишь и не

Слышишь, и все они вместе со мною берегут тебя и день и ночь: не дадим мы на тебя ветру венути, не дадим и пылинке сесть».

И пошла почивать в опочивальню свою молодая дочь купецкая, красавица писаная, и видит: стоит у кровати ее девушка сенная, верная и любимая, и стоит она чуть от страха жива; и обрадовалась она госпоже своей, и целует ее руки белые, обнимает ее ноги резвые. Госпожа была ей также рада, принялась ее расспрашивать про батюшку родимого, про сестриц своих старших и про всю свою прислугу девичью; после того принялась сама рассказывать, что с нею в это время приключилось; так и не спали они до белой зари.

Так и стала жить да поживать молодая дочь купецкая, красавица писаная. Всякий день ей готовы наряды новые, богатые, и убранства такие, что цены им нет, ни в сказке сказать, ни пером написать; всякий день угощенья и веселья новые, отменные: катанье, гулянье с музыкою на колесницах без коней и упряжи по темным лесам; а те леса перед ней расступались и дорогу давали ей широкую, широкую и гладкую. И стала она рукодельями заниматься, рукодельями девичьими, вышивать ширинки серебром и золотом и низать бахромы частым жемчугом; стала посылать подарки батюшке родимому, а и самую богатую ширинку подарила своему хозяину ласковому, а и тому лесному зверю, чуду морскому; а и стала она день ото дня чаще ходить в залу белораморную, говорить речи ласковые своему хозяину милостивому и читать на стене его ответы и приветы словесами огненными.

Мало ли, много ли тому времени прошло: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается,— стала привыкать к своему житью-бытью молодая дочь



купецкая, красавица писаная; ничему она уже не дивуется, ничего не пугается; служат ей слуги невидимые, подают, принимают, на колесницах без коней катают, в музыку играют и все ее повеления исполняют. И возлюбляла она своего господина милостивого день óто дня, и видела она, что недаром он зовет ее госпожой своей и что любит он ее пуще самого себя; и захотелось ей его голоса послушати, захотелось с ним разговор повести, не ходя в палату беломраморную, не читая словесов огненных.


Стала она его о том молить и просить; да зверь лесной, чудо морское, не скоро на ее просьбу соглашается, испугать ее своим голосом опасается; упросила, умолила она своего хозяина ласкового, и не мог он ей супротивным быть, и написал он ей в последний раз на стене беломраморной словесами огненными:

«Приходи сегодня во зеленый сад, сядь во свою беседку любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и скажи так: «Говори со мной, мой верный раб».

И мало спустя времечка побежала молодая дочь купецкая, красавица писаная, во сады зеленые, вошла во беседку свою любимую, листьями, ветками, цветами заплетенную, и сядила на скамью парчовую; и говорит она задыхаючись, бьется сердечко у ней, как у пташки пойманной, говорит таковые слова:

— Не бойся ты, господин мой, добрый, ласковый, испугать меня своим голосом: после всех твоих милостей не убоюсь я и рёва звериного; говори со мной не опасаячись.

И услышала она, ровно кто вздохнул за беседкою, и раздался голос страшный, дикий и зычный, хриплый и сиплый, да и то говорил он еще впол-

 голоса. Вздрогнула сначала молодая дочь купецкая, красавица писаная, услышав голос зверя лесного, чуда морского, только со страхом своим совладала и виду, что испугалася, не показала, и скоро слова его ласковые и приветливые, речи умные и разумные стала слушать она и заслушалась, и стало у ней на сердце радостно.

С той поры, с того времечка пошли у них разговоры, почитай, целый день — во зеленом саду на гуляньях, во темных лесах на катаньях и во всех палатах высоких. Только спросит молодая дочь купецкая, красавица писаная:

— Здесь ли ты, мой добрый, любимый господин?


Отвечает лесной зверь, чудо морское:

— Здесь, госпожа моя прекрасная, твой верный раб, неизменный друг.

И не пугается она его голоса дикого и страшного, и пойдут у них речи ласковые, что конца им нет.

Прошло мало ли, много ли времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается,— захотелось молодой дочери купецкой, красавице писаной, увидеть своими глазами зверя лесного, чуда морского, и стала она его о том просить и молить. Долго он на то не соглашается, испугать ее опасается, да и был он такое страшилище, что ни в сказке сказать, ни пером написать; не только люди, звери дикие его завсегда устрасались и в свои берлоги разбегались. И говорит зверь лесной, чудо морское, таковые слова:

— Не проси, не моли ты меня, госпожа моя распрекрасная, красавица ненаглядная, чтобы показал я тебе свое лицо противное, свое тело без-



образное. К голосу моему попривыкла ты; мы живем с тобой в дружбе, согласии друг с другом, почитай, не разлучаемся, и любишь ты меня за мою любовь к тебе несказанную, а увидя меня, страшного и противного, возненавидишь ты меня, несчастного, прогонишь ты меня с глаз долой, а в разлуке с тобой я умру с тоски.

Не слушала таких речей молодая купецкая дочь, красавица писаная, и стала молить пуще прежнего, клясться, что никакого на свете страшилища не испугается и что не разлюбит она своего господина милостивого, и говорит ему таковые слова:

— Если ты стар человек — будь мне дедушка, если середович* — будь мне дядюшка, если же молод ты — будь мне названный брат, и поколь я жива — будь мне сердечный друг.

Долго, долго лесной зверь, чудо морское, не поддавался на такие слова, да не мог просьбам и слезам своей красавицы супротивным быть, и говорит ей таково слово:

— Не могу я тебе супротивным быть по той причине, что люблю тебя пуще самого себя; исполню я твое желание, хотя знаю, что погублю мое счастье и умру смертью безвременной. Приходи во зеленый сад в сумерки серые, когда сядет за лес солнышко красное, и скажи: «Покажись мне, верный друг!» — и покажу я тебе свое лицо противное, свое тело безобразное. А коли станет невольготу тебе больше у меня оставатися, не хочу я твоей неволи и мўки вечной: ты найдешь в опочивальне своей, у себя под подушкою, мой золот перстень. Надень его на правый мизинец — и очутишься ты у батюшки родимого и ничего обо мне николи не услышишь».

Не убоялась, не утрашила, крепко на себя понадеялась молодая дочь купецкая, красавица пи-

писаная. В те поры, не мешкая ни минуточки, пошла она во зеленый сад дожидаться часу урочного, и, когда пришли сумерки серые, опустилося за лес солнышко красное, проговорила она: «Покажись мне, мой верный друг!» — и показался ей издали зверь лесной, чудо морское: он прошел только поперек дороги и пропал в частых кустах; и невзвидела света молодая дочь купецкая, красавица писаная, всплеснула руками белыми, закричала истошным голосом и упала на дорогу без памяти. Да и страшен был зверь лесной, чудо морское: руки кривые, на руках когти звериные, ноги лошадиные, спереди-сзади горбы великие верблюжие, весь мохнатый от верху до низу, изо рта торчали кабаньи клыки, нос крючком, как у беркута, а глаза были совиные.

Полежавши долго ли, мало ли времени, опамятавалась молодая дочь купецкая, красавица писаная, и слышит: плачет кто-то возле нее, горючими слезами обливается и говорит голосом жалостным:

— Погубила ты меня, моя красавица возлюбленная, не видать мне больше твоего лица прекрасного, не захочешь ты меня даже слышати, и пришло мне умереть смертью безвременною.

И стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим и с своим сердцем робким девичьим, и заговорила она голосом твердым:

— Нет, не бойся ничего, мой господин добрый и ласковый, не испугаюсь я больше твоего вида страшного, не разлучусь я с тобой, не забуду твоих милостей; покажись мне теперь же в своем виде давешнем; я только впервые испугалась.

Показался ей лесной зверь, чудо морское, в своем виде страшном, противном, безобразном, только близко подойти к ней не осмелился, сколько она ни звала его; гуляли они до ночи темной и

вели беседы прежние, ласковые и разумные, и не чуяла никакого страха молодая дочь купецкая, красавица писаная. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское, при свете солнышка красного, и хотя сначала, разглядя его, испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Тут пошли у них беседы пуще прежнего: день-деньской, почитай, не разлучались, за обедом и ужином яствами сахарными насыщались, питьями медвяными прохлаждались, гуляли по зеленым садам, без коней катались по темным лесам.

И прошло тому немало времени: скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Вот однажды и привиделось во сне молодой купечкой дочери, красавице писаной, что батюшка ее нездоров лежит; и напала на нее тоска неусыпная, и увидел ее в той тоске и слезах зверь лесной, чудо морское, и сильно закручинился и стал спрашивать: отчего она во тоске, во слезах? Рассказала она ему свой недобрый сон и стала просить у него позволения повидать своего батюшку родимого и сестриц своих любезных. И возговорит к ней зверь лесной, чудо морское:

— И зачем тебе мое позволение? Золот перстень мой у тебя лежит, надень его на правый мизинец и очутишься в дому у батюшки родимого. Оставайся у него, пока не соскучишься, а и только я скажу тебе: коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу.

Стала она заверять словами заветными и клятвами, что ровно за час до трех дней и трех ночей

воротится во палаты его высокие. Простилась она с хозяином своим ласковым и милостивым, надела на правый мизинец золот перстень и очутилась на широком дворе честного купца, своего батюшки родимого. Идет она на высокое крыльцо его палат каменных; набежала к ней прислуга и челядь дворовая*, подняли шум и крик; прибежали сестрицы любезные и, увидевши ее, диву дались красоте ее девичьей и ее наряду царскому, королевскому; подхватили ее под руки белые и повели к батюшке родимому; а батюшка нездоров лежал, нездоров и нерадостен, день и ночь ее вспоминаючи, горячими слезами обливаясь; и не вспомнился он от радости, увидавши свою дочь милую, хорошую, пригожую, меньшую, любимую, и дивился он красоте ее девичьей, ее наряду царскому, королевскому.

Долго они целовались, миловались, ласковыми речами утешались. Рассказала она своему батюшке родимому и своим сестрам старшим, любезным, про свое житье-бытье у зверя лесного, чуда морского, всё от слова до слова, никакой крохи не скрываючи. И возвеселился честной купец ее житью богатому, царскому, королевскому, и дивился, как она привыкла смотреть на своего хозяина страшного и не боится зверя лесного, чуда морского; сам он, об нем вспоминаючи, дрожкой дрожал. Сестрам же старшим, слушая про богатства несметные меньшей сестры и про власть ее царскую над своим господином, словно над рабом своим, инда завистно стало.

День проходит, как единый час, другой день проходит, как минуточка, а на третий день стали уговаривать меньшую сестру сестры старшие, чтоб не ворочалась она к зверю лесному, чуду морскому. «Пусть-де околеет, туда и дорога ему...» И прогне-

валась на сестер старших дорогая гостья, меньшая сестра, и сказала им таковы слова:

— Если я моему господину доброму и ласковому за все его милости и любовь горячую, несказанную заплачу его смертью лютою, то не буду я стоить того, чтобы мне на белом свете жить, и стоит меня тогда отдать диким зверям на растерзание.

И отец ее, честной купец, похвалил ее за такие речи хорошие, и было положено, чтобы до срока ровно за час воротилась к зверю лесному, чуду морскому, дочь хорошая, пригожая, меньшая, любимая. А сестрам то в досаду было, и задумали они дело хитрое, дело хитрое и недоброе; взяли они да все часы в доме целым часом назад поставили, и не ведал того честной купец и вся его прислуга верная, челядь дворовая.

И когда пришел настоящий час, стало у молодой купецкой дочери, красавицы писаной, сердце болеть и щемить, ровно стало что-нибудь подмывать ее, и смотрит она то и дело на часы отцовские, английские*, немецкие,— а всё рано ей пускаться в дальний путь. А сестры с ней разговаривают, о том о сем спрашивают, позадерживают. Однако сердце ее не вытерпело; простилась дочь меньшая, любимая, красавица писаная, со честным купцом, батюшкой родимым, приняла от него благословение родительское, простилась с сестрами старшими, любезными, со прислугою верной, челядью дворовою, и, не дождавшись единой минуточки до часа урочного, надела золот перстень на правый мизинец и очутилась во дворце белокаменном, во палатах высоких зверя лесного, чуда морского, и, дивуючись, что он ее не встречает, закричала она громким голосом:

— Где же ты, мой добрый господин, мой вер-


ный друг? Что же ты меня не встречаешь? Я воротилась раньше срока назначенного целым часом со минуточкой.

Ни ответа, ни привета не было, тишина стояла мертвая; в зеленых садах птицы не пели песни райские, не били фонтаны воды и не шумели ключи родниковые, не играла музыка во палатах высоких. Дрогнуло сердечко у купецкой дочери, красавицы писаной, почувяла она нешто недоброе; обежала она палаты высокие и сады зеленые, звала зычным голосом своего хозяина доброго — нет нигде ни ответа, ни привета и никакого гласа послушания*. Побежала она на пригорок муравчатый, где рос, красовался ее любимый цветочек аленький, и видит она, что лесной зверь, чудо морское, лежит на пригорке, обхватив аленький цветочек своими лапами безобразными. И показалось ей, что заснул он, ее дожидающийся, и спит теперь крепким сном. Начала его будить потихоньку дочь купецкая, красавица писаная, — он не слышит; принялась будить покрепче, схватила его за лапу мохнатую — и видит, что зверь лесной, чудо морское, бездыханен, мертв лежит...

Помутились ее очи ясные, подкосились ноги резвые, пала она на колени, обняла руками белыми голову своего господина доброго, голову безобразную и противную, и завопила истощным голосом:

— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!..

И только таковы слова она вымолвила, как заблистели молнии со всех сторон, затряслась земля от грома великого, ударила громовá стрела каменная в пригорок муравчатый, и упала без памяти молодая дочь купецкая, красавица писаная. Много ли, мало ли времени она лежала без памяти — не ведаю; только, очнувшись, видит она себя во палате



высокой, беломраморной, сидит она на золотом престоле со камнями драгоценными, и обнимает ее принц молодой, красавец писанный, на голове со короною царскою, в одежде златокованой; перед ним стоит отец с сестрами, а кругом на коленях стоит свита великая, все одеты в парчах золотых, серебряных. И возговорит к ней молодой принц, красавец писанный, на голове со короною царскою:

— Полюбила ты меня, красавица ненаглядная, в образе чудища безобразного, за мою добрую душу и любовь к тебе; полюби же меня теперь в образе человеческого, будь моей невестой желанною. Злая волшебница прогневалась на моего родителя покойного, короля славного и могучего, украла меня, еще малолетнего, и сатанинским колдовством своим, силой нечистою, оборотила меня в чудище страшное и наложила таковое заклятие, чтобы жить мне в таком виде безобразном, противном и страшном для всякого человека, для всякой твари божией, пока найдется красная девица, какого бы роду и званья ни была она, и полюбит меня в образе страшилища и пожелает быть моей женою законною,— и тогда колдовство всё покончится, и стану я опять по-прежнему человеком молодым и пригожим. И жил я таким страшилищем и пугалом ровно тридцать лет, и залучал я в мой дворец заколдованный одиннадцать девиц красных, а ты была двенадцатая. Ни одна не полюбила меня за мои ласки и угождения, за мою душу добрую. Ты одна полюбила меня, чудище противное и безобразное, за мои ласки и угождения, за мою душу добрую, за любовь мою к тебе несказанную, и будешь ты за то женою короля славного, королевою в царстве могучем.

Тогда все тому подивились, свита до земли преклонилась. Честной купец дал свое благослове-

ние дочери меньшей, любимой, и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие и кавалеры ратные*, и нимало не медля принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать. Я сама там была, пиво-мед пила, по усам текло, да в рот не попало.



Владимир Федорович
Одоевский

МОРОЗ
ИВАНОВИЧ

Нам даром, без труда ничего не даётся,—
недаром исстари пословица ведётся.



одном доме жили две
девочки — Рукодельница да Ленивица, а при них
нянюшка.

Рукодельница была умная девочка: рано вставала, сама, без нянюшки, одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлеба месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила.

А Ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, с боку на бок переваливалась, уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки», а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать: сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку — да спать не хочется; ей бы поку-

шадь — да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать — да и то надоело. Сидит, горемычная, и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, а тут, смотришь, и вечер — день прошел.


Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись; упало ведро в колодец. Как тут быть?

Расплакалась бедная Рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье; а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

— Сама беду сделала, сама и поправляй; сама ведерко утопила, сама и доставай.

Нечего было делать: пошла бедная Рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет!



Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

— Мы, яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питались, студеной росой обмывались; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — валит густой пар.

— А! — сказал он.— Здрóво, Рукодельница! Спасибо, что ты мне пирожок принесла; давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

— Знаю я, зачем ты пришла,— говорит Мороз Иванович,— ты ведерко в мой студенец* опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь,— прибавил Мороз Иванович,— мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась... Пошли они в дсм. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко на них сияло, и всё в доме блестело, как брильянты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал

❧ снег пушистый; холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а между тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут: и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего — работают бедные люди.

— Ничего,— сказал Мороз Иванович,— только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.


Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травки.

— Вот ты говоришь,— сказала она,— что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь?

— Не выпускаю потому, что еще не время, еще трава в силу не вошла. Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла, и кабы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень мою снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выгянет и зерно, а зерно крестьянин соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.

— Ну, а скажи мне, Мороз Иванович,— сказала Рукодельница,— зачем ты в колодце-то сидишь?

— Я затем в колодце сижу, что весна подходит,— сказал Мороз Иванович.— Мне жарко ста-



новится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.

— А зачем ты, Мороз Иванович,— спросила Рукодельница,— зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?

— А я затем в окошки стучусь,— отвечал Мороз Иванович,— чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а от того в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель.

Рукодельница меж тем всё в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня.

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

— Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги

получают, так вот тебе твое ведро, а в ведро я всыпал целую горсть серебряных пяточков; да, сверх того, вот тебе на память брильянтик — косяночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола брильянтик, взяла ведро, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукареку, кукареки!
У Рукодельницы в ведре пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала всё, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

— Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают! Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай; в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пяточков заработаешь, а оно будет к стати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось и брильянтовую булавочку тоже.

Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да бух прямо ко дну. Смотрит — перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет.

А Ленивица ему в ответ:

— Да, как бы не так! Мне себя утомлять —

лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

— Мы яблочки наливные, созрелые; корнем дерева питались, студеной росой обмывались; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

— Да, как бы не так! — отвечала Ленивица. — Мне себя утомлять — ручки подымать, за сучья тянуть... Успею набрать, как сами нападают!

И прошла Ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки прикусывал.

— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.


— Пришла я к тебе, — отвечала Ленивица, — послужить да за работу получить.

— Дельно ты сказала, девочка, — отвечал старик, — за работу деньги следует, только посмотрим, какова еще твоя работа будет! Поди-ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает:

«Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас — всё по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мя-

 со и рыбу разрезала да, чтоб большого труда себе не давать, как всё было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще кваску подлила, а сама думает:

«Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке всё вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатертцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

— Хорошо ты готовишь,— заметил он, улыбаясь.— Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, а старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.


После обеда старик опять лег отдохнуть да припомнил Ленивице, что у него платье не почищено, да и бельё не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и бельё разбирать; да и тут беда: платье и бельё Ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал, да еще спать ее уложил.

А Ленивице то и любо; думает себе:

«Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать; старик добрый, он мне и так, задаром, пяточков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.



— Да какая же была твоя работа? — спросил старичок. — Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

— Да, как же! — отвечала Ленивица. — Я ведь у тебя целых три дня жила.

— Знаешь, голубушка, — отвечал старичок, — что я тебе скажу: жить и служить — разница, да и работа работе рознь; заметь это: вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С этими словами Мороз Иванович дал Ленинице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку — пребольшой брильянт.

Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

Пришла домой и хвастается.

— Вот, — говорит, — что я заработала; не сестре чета, не горсточку пяточков да не маленький брильянтик, а целый слиток серебряный, вишь, какой тяжелый, да и брильянт-то чуть не с кулак... Уж на это можно к празднику обнову купить...

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и брильянт. А петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукареку-кукарекулька,

У Ленивицы в руках ледяная сосулька!

А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шулки ради, что в наставленьи...



ГОРОДОК
В ТАБАКЕРКЕ




Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка»,— сказал он. Миша был послушный мальчик; тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый,— и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городок? — спросил Миша.

— Это городок Динь-Динь,— отвечал папенька и тронул пружинку...

И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять: он ходил и к дверям — не из другой ли комнаты? и к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок всё светлее и светлее; окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, всё ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звез-



дочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок протянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька! нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

— Мудрено, мой друг: этот городок тебе не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленький; только пустите меня туда; мне так бы хотелось узнать, что там делается...

— Право, мой друг, там и без тебя тесно.

— Да кто же там живет?

— Кто там живет? Там живут колокольчики.

С этими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса... Миша удивился. «Зачем эти колокольчики? зачем молоточки? зачем валик с крючками?» — спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал: «Не скажу тебе, Миша; сам посмотри попристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе всё изломается».

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел-сидел над нею, смотрел-смотрел, думал-думал, отчего звенят колокольчики?

Между тем музыка играет да играет; вот всё тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

«Да отчего же,— подумал Миша,— папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет,

видно, в нем живут хорошие люди, видите, зовут меня в гости».

— Извольте, с величайшею радостью!

С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

— Позвольте узнать,— сказал Миша,— с кем я имею честь говорить?


— Динь-динь-динь,— отвечал незнакомец,— я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решили просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь-динь-динь, динь-динь-динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше, потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие своды — чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение,— сказал ему Миша,— но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там, дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды,— там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите.

— Динь-динь-динь! — отвечал мальчик.— Пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мной.

Миша послушался. В самом деле, с каждым их шагом, казалось, своды подымались, и наши маль-



чки всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.

— Отчего это? — спросил он своего проводника.

— Динь-динь-динь! — отвечал проводник, смеясь. — Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели; вдали всё кажется маленьким, а подойдешь — большое.

— Да, это правда, — отвечал Миша, — я до сих пор не думал об этом, и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удавалось сделать: тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а всё на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит, а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня, у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что она правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил: «Динь-динь-динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь-динь-динь, динь-динь-динь!»

Мише показалось досадно, что мальчик-коло-

кольчик над ним так немилосердно насмеяется, и он очень вежливо сказал ему:

— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову всё говорите «динь-динь-динь»?

— Уж у нас поговорка такая,— отвечал мальчик-колокольчик.

— Поговорка? — заметил Миша.— А вот папенька говорит, что очень нехорошо привыкать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его, оно с неба сойдет, вокруг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждую крышечку сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.

— Нет, теперь уж меня не обманут,— сказал Миша.— Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

— Ан вот и неправда,— отвечал провожатый,— колокольчики не одинакие. Если бы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим. Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает, и можно от него кое-чему научиться.

Миша, в свою очередь, закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчи-

ки, теребили Мишу за платье; звенели, прыгали, бегали.

— Весело вы живете,— сказал им Миша,— век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете, у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.

— Динь-динь-динь! — закричали колокольчики.— Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно. Поверишь ли? Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко и золотые деревья; но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и всё это очень нам надоело; из городка мы — ни пяди*, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке, и даже в табакерке с музыкою.

— Да,— отвечал Миша,— вы говорите правду. Это и со мной случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день всё играешь да играешь, то к вечеру и делается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься — всё не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

— Да, сверх того, на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

— Какие же дядьки? — спросил Миша.

— Дядьки-молоточки,— отвечали колокольчики,— уж какие злые! то и дело что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже «тук-тук» бывает, а уж маленьким куда больно достается.



В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шептали между собой: «тук-тук-тук! тук-тук-тук! поднимай! задевай! тук-тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:

— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Всё ворочается, прицепляется. Тук-тук-тук! Тук-тук-тук!

— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.

— А это господин Валик,— зазвенели они,— предобрый человек, день и ночь с дивана не сходит; на него мы не можем пожаловаться.

Миша — к надзирателю. Смотрит: он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только всё лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки видимо-невидимо; только что попадетсЯ ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом спустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:

— Шуры-муры! кто здесь ходит? кто здесь бродит? Шуры-муры? кто прочь не идет? кто мне спать не дает? Шуры-муры! шуры-муры!

— Это я,— храбро отвечал Миша,— я — Миша...

— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.

— Да мне жаль бедных мальчиков-колоколь-

чиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...

— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь на́больший. Пусть себе дядьки стучают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, всё на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры...


— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша. — Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. «Экой злой! — думаю я. — Ведь он не папенька и не маменька; что ему за дело, что я шалю? Знал бы сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошел далее — и остановился. Смотрит, золотой шатер с жемчужною бахромою; наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна Пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

— Сударыня царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

— Зиц-зиц-зиц, — отвечала царевна. — Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На всё смотришь, ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, молоточки бы не стучали; кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц-зиц-зиц.

Мише захотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком — и что же?



В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Всё умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались... Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинку, испугался и... проснулся.

— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.

Миша долго не мог опаматоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна Пружинка? — спрашивал Миша. — Так это был сон?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи же нам по крайней мере, что тебе приснилось!

— Да видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне всё хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал, думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверка в табакерку растворилась... — Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

— Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты это еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.



ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА
О ЧЕТЫРЕХ
ГЛУХИХ



евдалеке от деревни пастух пас овец. Было уже за полдень, и бедный пастух очень проголодался. Правда, он, выходя из дому, велел своей жене принести себе в поле позавтракать, но жена, как будто нарочно, не приходила.

Призадумался бедный пастух: идти домой нельзя — как оставить стадо? Того и гляди, что раскрадут; остаться на месте — еще хуже: голод замучит. Вот он посмотрел туда, сюда, видит — тальяри* косит траву для своей коровы. Пастух подошел к нему и сказал:

— Одолжи, любезный друг: посмотри, чтобы мое стадо не разбрелось. Я только схожу домой позавтракать, а как позавтракаю, тотчас возвращусь и щедро награжу тебя за твою услугу.

Кажется, пастух поступил очень благоразумно; да и действительно он был малый умный и осторожный. Одно в нем было худо: он был глух, да так глух, что пушечный выстрел над ухом не заставил бы его оглянуться; а что всего хуже: он и говорил-то с глухим.

Тальяри слышал ничуть не лучше пастуха, и потому немудрено, что из пастуховой речи он не понял ни слова. Ему показалось, напротив, что пастух хочет отнять у него траву, и он закричал с сердцем:

— Да что тебе за дело до моей травы? Не ты ее косил, а я. Не подыхать же с голоду моей корове,

чтобы твое стадо было сыто? Что ни говори, а я не отдам этой травы. Убирайся прочь!

При этих словах тальяри в гневе потряс рукою, а пастух подумал, что он обещается защищать его стадо, и, успокоенный, поспешил домой, намереваясь задать жене своей хорошую головомойку, чтоб она впредь не забывала приносить ему завтрак.

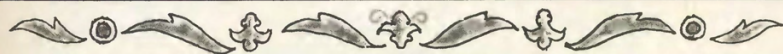
Подходит пастух к своему дому — смотрит: жена его лежит на пороге, плачет и жалуется. Надобно вам сказать, что вчера на ночь она неосторожно покушала, да говорят еще — сырого горошку, а вы знаете, что сырой горошек во рту слаще меда, а в желудке тяжелей свинца.

Наш добрый пастух постарался, как умел, помочь своей жене, уложил ее в постель и дал горькое лекарство, от которого ей стало лучше. Между тем он не забыл и позавтракать. За всеми этими хлопотами ушло много времени, и на душе у бедного пастуха стало беспокойно. «Что-то делается со стадом? Долго ли до беды!» — думал пастух. Он поспешил воротиться и, к великой своей радости, скоро увидел, что его стадо спокойно пасется на том же месте, где он его оставил. Однако же, как человек благоразумный, он пересчитал всех своих овец. Их было ровно столько же, сколько перед его уходом, и он с облегчением сказал самому себе: «Честный человек этот тальяри! Надо наградить его».

В стаде у пастуха была молодая овца; правда, хромая, но прекрасно откормленная. Пастух взвалил ее на плечи, подошел к тальяри и сказал ему:

— Спасибо тебе, господин тальяри, что поберег мое стадо! Вот тебе целая овца за твои труды.

Тальяри, разумеется, ничего не понял из того, что сказал ему пастух, но, видя хромую овцу, вскричал с сердцем:





А. С. Пушкин.
«Сказка о рыбаке и рыбке».

— А мне что за дело, что она хромает! Откуда мне знать, кто ее изувечил? Я и не подходил к твоему стаду. Что мне за дело?

— Правда, она хромает,— продолжал пастух, не слыша тальяри,— но все-таки это славная овца — и молода и жирна. Возьми ее, зажарь и скушай за мое здоровье с твоими приятелями.

— Отойдешь ли ты от меня наконец! — закричал тальяри вне себя от гнева.— Я тебе еще раз говорю, что я не ломал ног у твоей овцы и к стаду твоему не только не подходил, а даже и не смотрел на него.

Но так как пастух, не понимая его, всё еще держал перед ним хромую овцу, расхваливая ее на все лады, то тальяри не вытерпел и замахнулся на него кулаком.

Пастух, в свою очередь, рассердившись, приготовился к горячей обороне, и они, верно, подрались бы, если бы их не остановил какой-то человек, проезжавший мимо верхом на лошади.

Надо вам сказать, что у индийцев существует обычай, когда они заспорят о чем-нибудь, просить первого встречного рассудить их.

Вот пастух и тальяри и ухватились, каждый со своей стороны, за узду лошади, чтоб остановить верхового.

— Сделайте милость,— сказал всаднику пастух,— остановитесь на минуту и рассудите: кто из нас прав и кто виноват? Я дарю вот этому человеку овцу из моего стада в благодарность за его услуги, а он в благодарность за мой подарок чуть не прибил меня.

— Сделайте милость,— сказал тальяри,— остановитесь на минуту и рассудите: кто из нас прав и кто виноват? Этот злой пастух обвиняет меня в



том, что я изувечил его овцу, когда я и не подходил к его стаду.

К несчастью, выбранный ими судья был также глух и даже, говорят, больше, нежели они оба вместе. Он сделал знак рукою, чтобы они замолчали, и сказал:

— Я вам должен признаться, что эта лошадь точно не моя: я нашел ее на дороге, и так как я очень тороплюсь в город по важному делу, то, чтобы скорее поспеть, я и решился сесть на нее. Если она ваша, возьмите ее; если же нет, то отпустите меня поскорее: мне некогда здесь дольше оставаться.


Пастух и тальяри ничего не расслышали, но каждый почему-то вообразил, что ездок решает дело не в его пользу.

Оба они еще громче стали кричать и браниться, упрекая в несправедливости избранного ими посредника.

В это время по дороге проходил старый брамин.

Все три спорщика бросились к нему и стали наперебой рассказывать свое дело. Но брамин был так же глух, как они.

— Понимаю! Понимаю! — отвечал он им. — Она послала вас упросить меня, чтоб я воротился домой (брамин говорил про свою жену). Но это вам не удастся. Знаете ли вы, что во всем мире нет никого сварливее этой женщины? С тех пор как я на ней женился, она меня заставила наделать столько грехов, что мне не смыть их даже в священных водах реки Ганга. Лучше я буду питаться милостынею и проведу остальные дни мои в чужом краю. Я решился твердо; и все ваши уговоры не заставят меня переменить моего намерения и снова согласиться жить в одном доме с такою злою женою.



Шум поднялся больше прежнего; все вместе кричали изо всех сил, не понимая один другого. Между тем тот, который украл лошадь, завидя издали бегущих людей, принял их за хозяев украденной лошади, проворно соскочил с нее и убежал.

Пастух, заметив, что уже становится поздно и что стадо его совсем разбрелось, поспешил собрать своих овец и погнал их в деревню, горько жалуясь, что нет на земле справедливости, и приписывая все огорчения нынешнего дня змее, которая переползла через дорогу в то время, когда он выходил из дому, — у индийцев есть такая примета.

Тальяри возвратился к своей накошенной траве и, найдя там жирную овцу, невинную причину спора, взвалил ее на плечи и понес к себе, думая тем наказать пастуха за все обиды.

Брамин добрался до ближней деревни, где и остановился ночевать. Голод и усталость несколько утишили его гнев. А на другой день пришли приятели и родственники и уговорили бедного брамина воротиться домой, обещая усостыдить его сварливую жену и сделать ее послушнее и смиреннее.

Знаете ли, друзья, что может прийти в голову, когда прочитаешь эту сказку? Кажется, вот что: на свете бывают люди, большие и малые, которые хотя и не глухи, а не лучше глухих: что говоришь им — не слушают; в чем уверяешь — не понимают; сойдутся вместе — заспорят, сами не зная о чем. Ссорятся они без причины, обижаются без обиды, а сами жалуются на людей, на судьбу или приписывают свое несчастье нелепым приметам — просыпанной соли, разбитому зеркалу... Так, например, один мой приятель никогда не слушал того, что учитель говорил ему в классе, и сидел на скамейке

словно глухой. Что же вышло? Он вырос дурак дураком: за что ни примется, ничто ему не удается. Умные люди об нем жалеют, хитрые его обманывают, а он, видите ли, жалуется на судьбу, что будто бы несчастливым родился.

Сделайте милость, друзья, не будьте глухи! Уши нам даны для того, чтобы слушать. Один умный человек заметил, что у нас два уха и один язык и что, стало быть, нам надобно больше слушать, нежели говорить.



Антоний Погорельский

ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ




Дет сорок тому назад*, в С.-Петербурге на Васильевском острове, в Первой линии*, жил-был содержатель мужского пансиона*, который еще и до сих пор, вероятно, у многих остался в свежей памяти, хотя дом, где пансион тот помещался, давно уже уступил место другому, несколько не похожему на прежний. В то время Петербург наш уже славился в целой Европе своею красотою, хотя и далеко еще не был таким, каков теперь. Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей: деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров. Исаакиевский мост, узкий в то время и неровный, совсем иной представлял вид, нежели как теперь; да и самая площадь Исаакиевская вовсе не такова была. Тогда монумент Петра Великого от Исаакиевской церкви отделен был канавою; Адми-

ралтейство не было обсажено деревьями; манеж Конногвардейский не украшал площади прекрасным нынешним фасадом — одним словом, Петербург тогдашний не то был, что теперешний. Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с годами становятся красивее... Впрочем, не о том теперь идет дело. В другой раз и при другом случае я, может быть, поговорю с вами пространнее о переменах, происшедших в Петербурге в течение моего века, — теперь же обратимся опять к пансиону, который лет сорок тому назад находился на Васильевском острове, в Первой линии.

Дом, которого теперь — как уже вам сказывал — вы не найдете, был о двух этажах, крытый голландскими черепицами. Крыльцо, по которому в него входили, было деревянное и выдавалось на улицу... Из сеней довольно крутая лестница вела в верхнее жильё, состоявшее из восьми или девяти комнат, в которых с одной стороны жил содержатель пансиона, а с другой были классы. Дортуары, или спальные комнаты детей, находились в нижнем этаже, по правую сторону сеней, а по левую жили две старушки, голландки, из которой каждой было более ста лет и которые собственными глазами видали Петра Великого и даже с ним говаривали...

В числе тридцати или сорока детей, обучавшихся в том пансионе, находился один мальчик, по имени Алеша, которому тогда было не более девяти или десяти лет. Родители его, жившие далеко-далеко от Петербурга, года за два перед тем привезли его в столицу, отдали в пансион и возвратились домой, заплатив учителю условленную плату за несколько лет вперед. Алеша был мальчик умненький, миленький, учился хорошо, и все его любили и ласкали. Однако, несмотря на то, ему часто скучно бывало в пансионе, а иногда даже и грустно. Особ-



ливо сначала он никак не мог приучиться к мысли, что он разлучен с родными своими. Но потом мало-помалу он стал привыкать к своему положению, и бывали даже минуты, когда, играя с товарищами, он думал, что в пансионе гораздо веселее, нежели в родительском доме.

Вообще дни учения для него проходили скоро и приятно; но когда наставала суббота и все товарищи его спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой своей библиотеки. Учитель был родом немец, а в то время в немецкой литературе господствовала мода на рыцарские романы и на волшебные повести,— и библиотека, которою пользовался наш Алеша, большею частью состояла из книг сего рода.


Итак, Алеша, будучи еще в десятилетнем возрасте, знал уже наизусть деяния славнейших рыцарей, по крайней мере так, как они описаны были в романах. Любимым его занятием в длинные зимние вечера, по воскресеньям и другим праздничным дням, было мысленно переноситься в старинные, давно прошедшие века... Особливо в вакантное время*, когда он бывал разлучен надолго со своими товарищами, когда часто целые дни просиживал в уединении, юное воображение его бродило по рыцарским замкам, по страшным развалинам или по темным, дремучим лесам.

Я забыл сказать вам, что к дому этому принадлежал довольно пространный двор, отделенный от переулка деревянным забором из барочных досок*. Ворота и калитка, кои вели в переулок, всегда были заперты, и потому Алеше никогда не

удавалось побывать в этом переулке, который сильно возбуждал его любопытство. Всякий раз, когда позволяли ему в часы отдыха играть на дворе, первое движение его было — подбегать к забору. Тут он становился на цыпочки и пристально смотрел в круглые дырочки, которыми усеян был забор. Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде склочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки. Он всё ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман*, или письмоцо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу.


Другое занятие Алеши состояло в том, чтобы кормить курочек, которые жили около забора в нарочно для них выстроенном домике и целый день играли и бегали на дворе. Алеша очень коротко с ними познакомился, всех знал по имени, разнимал их драки, а забияк наказывал тем, что иногда несколько дней сряду не давал им ничего от крошек, которые всегда после обеда и ужина он собирал со скатерти. Между курами он особенно любил одну черную хохлатую, названную Чернушкою. Чернушка была к нему ласковее других; она даже иногда позволяла себя гладить, и потому Алеша лучшие кусочки приносил ей. Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу более, нежели подруг своих.

Однажды (это было во время зимних вакансий — день был прекрасный и необыкновенно теплый, не более трех или четырех градусов мороза) Алеше позволили поиграть на дворе. В тот день



учитель и жена его в больших были хлопотах. Они давали обед директору училищ, и еще накануне, с утра до позднего вечера, везде в доме мыли полы, вытирали пыль и вощили красного дерева столы и комоды. Сам учитель ездил закупать провизию для стола: белую архангельскую телятину, огромный окорок и киевское варенье. Алеша тоже по мере сил способствовал приготовлениям: его заставили из белой бумаги вырезать красивую сетку на окорок и украшать бумажною резьбою нарочно купленные шесть восковых свечей. В назначенный день рано поутру явился парикмахер и показал свое искусство над буклями, тупеем* и длинной косою учителя. Потом принялся за супругу его, напудрил и напудрил у ней локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов*, между которыми блистали искусным образом помещенные два бриллиантовые перстня, когда-то подаренные ее мужу родителями учеников. По окончании головного убора накинула она на себя старый, изношенный салоп* и отправилась хлопотать по хозяйству, наблюдая притом строго, чтоб как-нибудь не испортилась прическа; и для того сама она не входила в кухню, а давала приказания свои кухарке, стоя в дверях. В необходимых же случаях посылала туда мужа своего, у которого причёска не так была высока.

В продолжении всех этих забот Алешу нашего совсем забыли, и он тем воспользовался, чтоб на просторе играть на дворе. По обыкновению своему, он подошел сначала к дощатому забору и долго смотрел в дырочку; но и в этот день никто почти не проходил по переулку, и он со вздохом обратился к любезным своим курочкам. Не успел он присесть на бревно и только что начал манить их к себе, как вдруг увидел подле себя кухарку с

 большим ножом. Алеше никогда не нравилась эта кухарка — сердитая и бранчливая. Но с тех пор, как он заметил, что она-то и была причиною, что от времени до времени уменьшалось число его курочек, он еще менее стал ее любить. Когда же однажды нечаянно увидел он в кухне одного хорошенького, очень любимого им петушка, повешенного за ноги с перерезанным горлом, то возымел он к ней ужас и отвращение. Увидев ее теперь с ножом, он тотчас догадался, что́ это значит, и, чувствуя с горестию, что он не в силах помочь своим друзьям, вскочил и побежал далеко прочь.

— Алеша, Алеша! помоги мне поймать курицу! — кричала кухарка.

Но Алеша принялся бежать еще пуще, спрятавшись у забора за курятником и сам не замечал, как слезки одна за другою выкатывались из его глаз и упали на землю.

Довольно долго стоял он у курятника, и сердце в нем сильно билось, между тем как кухарка бегала по двору — то манила курочек: «Цып, цып, цып!», то бранила их.

Вдруг сердце у Алеши еще сильнее забилося: ему послышался голос любимой его Чернушки! Она кудахтала самым отчаянным образом, и ему показалось, что она кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Алеша, спаси Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!

Алеша никак не мог долее оставаться на своем месте. Он, громко всхлипывая, побежал к кухарке и бросился к ней на шею, в ту самую минуту, как она поймала уже Чернушку за крыло.

— Любезная, милая Тринушка! — вскричал он, обливаясь слезами, — пожалуйста, не тронь мою Чернуху!

Алеша так неожиданно бросился на шею к кухарке, что она упустила из рук Чернушку, которая, воспользовавшись этим, от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать.

Но Алеше теперь слышалось, будто она дразнит кухарку и кричит:

Куда́х, куда́х, куду́ху!
Не поймала ты Чернуху!
Куду́ху, куду́ху,
Чернуху, Чернуху!


Между тем кухарка вне себя была от досады и хотела бежать к учителю, но Алеша не допустил ее. Он прицепился к полам ее платья и так умильно стал просить, что она остановилась.

— Душенька, Тринушка! — говорил он, — ты такая хорошенькая, чистенькая, добренькая... Пожалуйста, оставь мою Чернушку! Вот посмотри, что я тебе подарю, если ты будешь добра!

Алеша вынул из кармана империал*, составивший все его имение*, который берег он пуще глаза своего, потому что это был подарок доброй его бабушки... Кухарка взглянула на золотую монету, окинула взором окошки дома, чтоб удостовериться, что никто их не видит, и протянула руку за империалом. Алеше очень, очень жаль было империала, но он вспомнил о Чернушке — и с твердостью отдал драгоценный подарок.

Таким образом Чернушка спасена была от жестокой и неминуемой смерти.

Лишь только кухарка удалилась в дом, Чернушка слетела с кровли и подбежала к Алеше. Она




как будто знала, что он ее избавитель: кружилась около него, хлопала крыльями и кудахтала веселым голосом. Все утро она ходила за ним по двору, как собачка, и казалось, будто хочет что-то сказать ему, да не может. По крайней мере, он никак не мог разобрать ее кудахтанья. Часа за два перед обедом начали собираться гости. Алешу позвали наверх, надели на него рубашку с круглым воротником и батистовыми манжетами с мелкими складками, белые шароварцы и широкий шелковый голубой кушак. Длинные русые волосы, висевшие у него почти до пояса, хорошенько расчесали, разделили на две равные части и переложили наперед по обе стороны груди.

Так наряжали тогда детей. Потом научили, каким образом он должен шаркнуть ногой, когда войдет в комнату директор, и что должен отвечать, если будут сделаны ему какие-нибудь вопросы.

В другое время Алеша был бы очень рад приезду директора, которого давно хотелось ему видеть, потому что, судя по почтению, с каким отзывались о нем учитель и учительша, он воображал, что это должен быть какой-нибудь знаменитый рыцарь в блестящих латах и в шлеме с большими перьями. Но на тот раз любопытство это уступило место мысли, исключительно тогда его занимавшей: о черной курице. Ему все представлялось, как кухарка за нею бегала с ножом и как Чернушка кудахтала разными голосами. Притом ему очень досадно было, что не мог он разобрать, что она ему сказать хотела, и его так и тянуло к курятнику... Но делать было нечего: надлежало дожидаться, пока кончится обед!

Наконец приехал директор. Приезд его возвестила учительша, давно уже сидевшая у окна, пристально смотря в ту сторону, откуда его ждали.



Все пришло в движение: учитель стремглав бросился из дверей, чтоб встретить его внизу, у крыльца; гости встали с мест своих, и даже Алеша на минуту забыл о своей курочке и подошел к окну, чтоб посмотреть, как рыцарь будет слезать с ретивого коня. Но ему не удалось увидеть его, ибо он успел уже войти в дом. У крыльца же вместо ретивого коня стояли обыкновенные извозчичьи сани. Алеша очень этому удивился! «Если бы я был рыцарь,— подумал он,— то никогда бы не ездил на извозчике, а всегда верхом!»

Между тем отворили настежь все двери, и учительша начала приседать* в ожидании столь почтенного гостя, который вскоре потом показался. Сперва нельзя было видеть его за толстою учительшею, стоявшею в самых дверях; но, когда она, окончив длинное приветствие свое, присела ниже обыкновенного, Алеша, к крайнему удивлению, из-за нее увидел... не шлем пернатый, но просто маленькую лысую головку, набело распудренную, единственным украшением которой, как после заметил Алеша, был маленький пучок! Когда вошел он в гостиную, Алеша еще более удивился, увидев, что, несмотря на простой серый фрак, бывший на директоре вместо блестящих лат, все обращались с ним необыкновенно почтительно.

Сколь, однако ж, ни казалось всё это странным Алеше, сколь в другое время он бы ни был обрадован необыкновенным убранством стола, но в этот день он не обращал большого на то внимания. У него в головке все бродило утреннее происшествие с Чернушкою. Подали десерт: разного рода варенья, яблоки, бергамоты*, финики, винные ягоды и грецкие орехи; но и тут он ни на одно мгновение не переставал помышлять о своей курочке. И только что встали из-за стола, как он с

трепещущим от страха и надежды сердцем подошел к учителю и спросил, можно ли идти поиграть на дворе.

— Подите, — отвечал учитель, — только не долго там будьте: уж скоро сделается темно.

Алеша поспешно надел свою красную бекешу на беличем меху* и зеленую бархатную шапочку с собольим околышком и побежал к забору. Когда он туда прибыл, курочки начали уже собираться на ночлег и, сонные, не очень обрадовались принесенным крошкам. Одна Чернушка, казалось, не чувствовала охоты ко сну: она весело к нему подбежала, захлопала крыльями и опять начала кудахтать. Алеша долго с нею играл; наконец, когда сделалось темно и настала пора идти домой, он сам затворил курятник, удостоверившись наперед, что любезная его курочка уселась на шесте. Когда он выходил из курятника, ему показалось, что глаза у Чернушки светятся в темноте, как звездочки, и что она тихонько ему говорит:

— Алеша, Алеша! Останься со мною!

Алеша возвратился в дом и весь вечер просидел один в классных комнатах, между тем как на другой половине часу до одиннадцатого пробыли гости. Прежде, нежели они разъехались, Алеша пошел в нижний этаж, в спальню, разделся, лег в постель и потушил огонь. Долго не мог он заснуть. Наконец сон его преодолел, и он только что успел во сне разговориться с Чернушкой, как, к сожалению, пробужден был шумом разъезжающихся гостей.

Немного погодя учитель, провожавший директора со свечкою, вошел к нему в комнату, посмотрел, всё ли в порядке, и вышел вон, замкнув дверь ключом.

Ночь была месячная, и сквозь ставни, неплотно затворявшиеся, упал в комнату бледный луч лу-

ны. Алеша лежал с открытыми глазами и долго слушал, как в верхнем жилье, над его головою, ходили по комнатам и приводили в порядок стулья и столы.

Наконец всё утихло... Он взглянул на стоявшую подле него кровать, немного освещенную месячным сиянием, и заметил, что белая простыня, висящая почти до полу, легко шевелилась. Он пристальнее стал всматриваться... ему послышалось, как будто что-то под кроватью царапается,— и немного погодя показалось, что кто-то тихим голосом зовет его:
— Алеша, Алеша!

Алеша испугался... Он один был в комнате, и ему тотчас пришло на мысль, что под кроватью должен быть вор. Но потом, рассудив, что вор не называл бы его по имени, он несколько ободрился, хотя сердце в нем дрожало.

Он немного приподнялся в постели и еще яснее увидел, что простыня шевелится... еще внятнее услышал, что кто-то говорит:

— Алеша, Алеша!

Вдруг белая простыня приподнялась, и из-под нее вышла... черная курица!

— Ах! Это ты, Чернушка! — невольно вскричал Алеша.— Как ты зашла сюда?

Чернушка захлопала крыльями, взлетела к нему на кровать и сказала человеческим голосом:

— Это я, Алеша! Ты не боишься меня, не правда ли?

— Зачем я тебя буду бояться? — отвечал он.— Я тебя люблю; только для меня странно, что ты так хорошо говоришь: я совсем не знал, что ты говорить умеешь!

— Если ты меня не боишься,— продолжала курица,— так поди за мною. Одевайся скорее!

— Какая ты, Чернушка, смешная! — сказал

Алеша.— Как мне можно одеться в темноте? Я платья своего теперь не сыщу; я и тебя насилу вижу!

— Постараюсь этому помочь,— сказала курочка.

Тут она закудаhtала странным голосом, и вдруг откуда ни взялись маленькие свечки в серебряных шандалах*, не больше как с Алешин маленький пальчик. Шандалы эти очутились на полу, на стульях, на окнах, даже на рукомоynике, и в комнате сделалось так светло, так светло, как будто днем. Алеша начал одеваться, а курочка подавала ему платье, и таким образом он вскоре совсем был одет.

Когда Алеша был готов, Чернушка опять закудаhtала, и все свечки исчезли.

— Иди за мною! — сказала она ему.

И он смело последовал за нею. Из глаз ее выходили как будто лучи, которые освещали всё вокруг них, хотя не так ярко, как маленькие свечки. Они прошли через переднюю...

— Дверь заперта ключом,— сказал Алеша.

Но курочка ему не отвечала: она хлопнула крыльями, и дверь сама собою отворилась... Потом, пройдя через сени, обратились они к комнатам, где жили столетние старушки голландки. Алеша никогда у них не бывал, но слышал, что комнаты у них убраны по-старинному, что у одной из них большой серый попугай, а у другой серая кошка, очень умная, которая умеет прыгать через обруч и подавать лапку. Ему давно хотелось всё это видеть, и потому он очень обрадовался, когда курочка опять хлопнула крыльями и дверь в покои старушек отворилась.

Алеша в первой комнате увидел всякого рода старинную мебель: резные стулья, кресла, столы и комоды. Большая лежанка была из голландских

изразцов, на которых нарисованы были синей муравой люди и звери*, Алеша хотел было остановиться, чтоб рассмотреть мебель, а особливо фигуры на лежанке, но Чернушка ему не позволила.

Они вошли во вторую комнату — и тут-то Алеша обрадовался! В прекрасной золотой клетке сидел большой серый попугай с красным хвостом. Алеша тотчас хотел подбежать к нему. Чернушка опять его не допустила.

— Не трогай здесь ничего,— сказала она.— Бегись разбудить старушек!

Тут только Алеша заметил, что подле попугая стояла кровать с белыми кисейными занавесками, сквозь которые он мог различить старушку, лежащую с закрытыми глазами: она показалась ему как будто восковая. В другом углу стояла такая же точно кровать, где спала другая старушка, а подле нее сидела серая кошка и умывалась передними лапами. Проходя мимо нее, Алеша не мог утерпеть, чтоб не попросить у ней лапки... Вдруг она громко замяукала, попугай нахохлился и начал громко кричать: «Дуррак! дуррак!» В то самое время видно было сквозь кисейные занавески, что старушки приподнялись в постели. Чернушка поспешно удалась, Алеша побежал за нею, дверь вслед за ними сильно захлопнулась... и еще долго слышно было, как попугай кричал: «Дуррак! дуррак!»

— Как тебе не стыдно! — сказала Чернушка, когда они удалились от комнат старушек.— Ты, верно, разбудил рыцарей...

— Каких рыцарей? — спросил Алеша.

— Ты увидишь,— отвечала курочка.— Не бойся, однако ж, ничего; иди за мною смело.

Они спустились вниз по лестнице, как будто в погреб, и долго-долго шли по разным переходам и коридорам, которых прежде Алеша никогда не

видывал. Иногда коридоры эти так были низки и узки, что Алеша принужден был нагибаться. Вдруг вошли они в залу, освещенную тремя большими хрустальными люстрами. Зала была без окошек, и по обеим сторонам висели на стенах рыцари в блестящих латах, с большими перьями на шлемах, с копьями и щитами в железных руках.

Чернушка шла вперед на цыпочках и Алеше велела следовать за собою тихонько-тихонько.

В конце залы была большая дверь из светлой желтой меди. Лишь только они подошли к ней, как соскочили со стен два рыцаря, ударили копьями об щиты и бросились на черную курицу.

Чернушка подняла хохол, распустила крылья... вдруг сделалась большая-большая, выше рыцарей, и начала с ними сражаться!

Рыцари сильно на нее наступали, а она защищалась крыльями и носом. Алеше сделалось страшно, сердце в нем сильно затрепетало, и он упал в обморок.

Когда пришел он опять в себя, солнце сквозь ставни освещало комнату и он лежал в своей постели: не видно было ни Чернушки, ни рыцарей. Алеша долго не мог опомниться. Он не понимал, что с ним было ночью: во сне ли всё то видел или в самом деле это происходило? Он оделся и пошел наверх, но у него не выходило из головы виденное им в прошлую ночь. С нетерпением ожидал он минуты, когда можно ему будет идти играть на двор, но весь тот день, как нарочно, шел сильный снег, и нельзя было и подумать, чтоб выйти из дому.

За обедом учительша между прочими разговорами объявила мужу, что черная курица непонятно куда спряталась.

— Впрочем, — прибавила она, — беда невелика, если бы она и пропала: она давно назначена была

на кухню. Вообрази себе, душенька, что с тех пор, как она у нас в доме, она не снесла ни одного яичка.

Алеша чуть-чуть не заплакал, хотя и пришло ему на мысль, что лучше, чтоб ее нигде не находили, нежели чтоб попала она на кухню.

После обеда Алеша остался опять один в классных комнатах. Он беспрестанно думал о том, что происходило в прошедшую ночь, и не мог никак утешиться в потере любезной Чернушки. Иногда ему казалось, что он непременно должен ее увидеть в следующую ночь, несмотря на то, что она пропала из курятника. Но потом ему казалось, что это дело несбыточное, и он опять погружался в печаль.

Настало время ложиться спать, и Алеша с нетерпением разделся и лег в постель. Не успел он взглянуть на соседнюю кровать, опять освещенную тихим лунным сиянием, как зашевелилась белая простыня — точно так, как накануне... Опять слышался ему голос, его зовущий: «Алеша, Алеша!» — и немного погодя вышла из-под кровати Чернушка и взлетела к нему на постель.

— Ах! здравствуй, Чернушка! — вскричал он вне себя от радости. — Я боялся, что никогда тебя не увижу. Здорова ли ты?

— Здорова, — отвечала курочка, — но чуть было не занемогла по твоей милости.

— Как это, Чернушка? — спросил Алеша, испугавшись.

— Ты добрый мальчик, — продолжала курочка, — но притом ты ветрен и никогда не слушаешься с первого слова, а это нехорошо! Вчера я говорила тебе, чтоб ты ничего не трогал в комнатах старушек, — несмотря на то, ты не мог утерпеть, чтоб не попросить у кошки лапку. Кошка разбудила попугая, попугай старушек, старушки рыцарей — и я насилу с ними сладила!



— Виноват, любезная Чернушка, вперед не буду! Пожалуйста, поведи меня сегодня опять туда. Ты увидишь, что я буду послушен.

— Хорошо,— сказала курочка,— увидим!

Курочка закудаhtала, как накануне, и те же маленькие свечки явились в тех же серебряных шандалах. Алеша опять оделся и пошел за курицею. Опять вошли они в покои старушек, но в этот раз он уж ни до чего не дотрагивался.

Когда они проходили через первую комнату, то ему показалось, что люди и звери, нарисованные на лежанке, делают разные смешные гримасы и манят его к себе, но он нарочно от них отвернулся. Во второй комнате старушки голландки, так же как накануне, лежали в постелях, будто восковые. Попугай смотрел на Алешу и хлопал глазами, серая кошка опять умывалась лапками. На убранном столе перед зеркалом Алеша увидел две фарфоровые китайские куклы, которых вчера он не заметил. Они кивали ему головою; но он помнил приказание Чернушки и прошел не останавливаясь, однако не мог утерпеть, чтоб мимоходом им не поклониться. Куколки тотчас соскочили со стола и побежали за ним, всё кивая головою. Чуть-чуть он не остановился — такими они показались ему забавными; но Чернушка оглянулась на него с сердитым видом, и он опомнился. Куколки проводили их до дверей и, видя, что Алеша на них не смотрит, возвратились на свои места.

Опять спустились они с лестницы, ходили по переходам и коридорам и пришли в ту же залу, освещенную тремя хрустальными люстрами. Те же рыцари висели на стенах, и опять — когда приблизились они к двери из желтой меди — два рыцаря сошли со стены и заступили им дорогу. Казалось, однако, что они не так сердиты были, как накануне;

они едва тащили ноги, как осенние мухи, и видно было, что они через силу держали свои копыя...

Чернушка сделалась большая и нахохлилась. Но только что ударила их крыльями, как они рассыпались на части, и Алеша увидел, что то были пустые латы! Медная дверь сама собою отворилась, и они пошли далее.

Немного погодя вошли они в другую залу, странную, но невысокую, так что Алеша мог достать рукою до потолка. Зала эта освещена была такими же маленькими свечками, какие он видел в своей комнате, но шандалы были не серебряные, а золотые.

Тут Чернушка оставила Алешу.

— Побудь здесь немного, — сказала она ему, — я скоро приду назад. Сегодня был ты умен, хотя неосторожно поступил, поклонясь фарфоровым куклам. Если б ты им не поклонился, то рыцари остались бы на стене. Впрочем, ты сегодня не разбудил старушек, и оттого рыцари не имели никакой силы. — После сего Чернушка вышла из залы.

Оставшись один, Алеша со вниманием стал рассматривать залу, которая очень богато была убрана. Ему показалось, что стены сделаны из мрамора, какой он видел в минеральном кабинете, имеющемся в пансионе. Панели и двери были из чистого золота. В конце залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте, стояли кресла из золота. Алеша очень любовался этим убранством, но странным показалось ему, что всё было в самом маленьком виде, как будто для небольших кукол.

Между тем как он с любопытством всё рассматривал, отворилась боковая дверь, прежде им не замеченная, и вошло множество маленьких людей, ростом не более как с пол-аршина, в нарядных разноцветных платьях. Вид их был важен: иные по

одеянию казались военными, другие — гражданскими чиновниками. На всех были круглые с перьями шляпы наподобие испанских. Они не замечали Алешу, прохаживались чинно по комнатам и громко между собою говорили, но он не мог понять, что они говорили.

Долго смотрел он на них молча и только что хотел подойти к одному из них с вопросом, как отворилась большая дверь и в конце залы... Все замолкли, стали к стенам в два ряда и сняли шляпы.

В одно мгновение комната сделалась еще светлее, все маленькие свечки еще ярче загорели, и Алеша увидел двадцать маленьких рыцарей в золотых латах, с пунцовыми на шлемах перьями, которые попарно входили тихим маршем. Потом в глубоком молчании стали они по обеим сторонам кресел. Немного погодя вошел в залу человек с величественною осанкою, на голове с венцом, блестящим драгоценными камнями. На нем была светло-зеленая мантия, подбитая мышьям мехом, с длинным шлейфом, который несли двадцать маленьких пажей* в пунцовых платьях.

Алеша тотчас догадался, что это должен быть король. Он низко ему поклонился. Король отвечал на поклон его весьма ласково и сел в золотые кресла. Потом что-то приказал одному из стоявших подле него рыцарей, который, подойдя к Алеше, объявил ему, чтоб он приблизился к креслам. Алеша повиновался.

— Мне давно было известно,— сказал король,— что ты добрый мальчик; но третьего дня ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду. Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти.

— Когда? — спросил Алеша с удивлением.

— Третьего дня на дворе, — отвечал король. — Вот тот, который обязан тебе жизнью.

Алеша взглянул на того, на которого указывал король, и тут только заметил, что между придворными стоял маленький человек, одетый весь в черное. На голове у него была особенного рода шапка малинового цвета, наверху с зубчиками, надетая немного набок; а на шее белый платок, очень накрахмаленный, отчего казался он немного синеватым. Он умильно улыбался, глядя на Алешу, которому лицо его показалось знакомым, хотя не мог он вспомнить, где его видал.

Сколь для Алеши ни было лестно, что приписывали ему такой благородный поступок, но он любил правду и потому, сделав низкий поклон, сказал:

— Господин король! Я не могу принять на свой счет того, чего никогда не делал. Третьего дня я имел счастье избавить от смерти не министра вашего, а черную нашу курицу, которую не любила кухарка за то, что не снесла она ни одного яйца...

— Что ты говоришь? — прервал его с гневом король. — Мой министр — не курица, а заслуженный чиновник!

Тут подошел министр ближе, и Алеша увидел, что в самом деле это была его любезная Чернушка. Он очень обрадовался и попросил у короля извинения, хотя никак не мог понять, что это значит.

— Скажи мне, чего ты желаешь? — продолжал король. — Если я в силах, то непременно исполню твое требование.

— Говори смело, Алеша! — шепнул ему на ухо министр.

Алеша задумался и не знал, чего пожелать. Если б дали ему более времени, то он, может быть,

и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.

— Я бы желал,— сказал он,— чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.

— Не думал я, что ты такой ленивец,— отвечал король, покачав головою.— Но делать нечего: я должен исполнить свое обещание.


Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко.

— Возьми это семечко,— сказал король.— Пока оно будет у тебя, ты всегда знать будешь урок свой, какой бы тебе ни задали, с тем, однако, условием, чтоб ты ни под каким предлогом никому не сказывал ни одного слова о том, что ты здесь видел или впредь увидишь. Малейшая нескромность лишит тебя навсегда наших милостей, а нам наделает множество хлопот и неприятностей.

Алеша взял конопляное зерно, завернул в бумажку и положил в карман, обещаясь быть молчаливым и скромным. Король после того встал с кресел и тем же порядком вышел из залы, приказав прежде министру угостить Алешу как можно лучше.

Лишь только король удалился, как окружили Алешу все придворные и начали его всячески ласкать, изъявляя признательность свою за то, что он избавил министра. Они все предлагали ему свои услуги: одни спрашивали, не хочет ли он погулять в саду или посмотреть королевский зверинец; другие приглашали его на охоту. Алеша не знал, на что решиться. Наконец министр объявил, что сам будет показывать подземные редкости дорогому гостю.

Сначала повел он его в сад. Дорожки усеяны были крупными разноцветными камешками, отражавшими свет от бесчисленных маленьких ламп,

которыми увешаны были деревья. Этот блеск  чрезвычайно понравился Алеше.

— Камни эти,— сказал министр,— у вас называются драгоценными. Это всё брильянты, яхонты, изумруды и аметисты.

— Ах, когда бы у нас этим усыпаны были дорожки! — вскричал Алеша.

— Тогда и у вас бы они так же были малоценны, как здесь,— отвечал министр.

Деревья также показались Алеше отменно красивыми, хотя притом очень странными. Они были разного цвета: красные, зеленые, коричневые, белые, голубые и лиловые. Когда посмотрел он на них со вниманием, то увидел, что это не что иное, как разного рода мох, только выше и толще обыкновенного. Министр рассказал ему, что мох этот выписан королем за большие деньги из дальних стран из самой глубины земного шара.

Из сада пошли они в зверинец. Там показали Алеше диких зверей, которые привязаны были на золотых цепях. Всматриваясь внимательнее, он, к удивлению своему, увидел, что дикие эти звери были не что иное, как большие крысы, кроты, хорьки и подобные им звери, живущие в земле и под полами. Ему это очень показалось смешно; но он из учтивости не сказал ни слова.

Возвратившись в комнаты после прогулки, Алеша в большой зале нашел накрытый стол, на котором расставлены были разного рода конфеты, пироги, паштеты и фрукты. Блюда все были из чистого золота, а бутылки и стаканы выточенные из цельных брильянтов, яхонтов и изумрудов.

— Кушай что угодно,— сказал министр,— с собою же брать ничего не позволяется.

Алеша в тот день очень хорошо поужинал, и потому ему вовсе не хотелось кушать.



— Вы обещались взять меня с собою на охоту,— сказал он.

— Очень хорошо,— отвечал министр.— Я думаю, что лошади уже оседланы.

Тут он свистнул, и вошли конюхи, ведущие в поводах палочки, у которых набалдашники были резной работы и представляли лошадиные головы. Министр с большою ловкостью вскочил на свою лошадь; Алеше подвели палку гораздо более других.

— Берегись,— сказал министр,— чтоб лошадь тебя не сбросила: она не из самых смиренных.

Алеша внутренне смеялся этому, но когда он взял палку между ног, то увидел, что совет министра был бесполезен. Палка начала под ним увертываться, как настоящая лошадь, и он насилу мог усидеть.

Между тем затрубили в рога, и охотники пустились скакать во всю прыть по разным переходам и коридорам. Долго они так скакали, и Алеша от них не отставал, хотя с трудом мог сдерживать бешеную палку свою...

Вдруг из одного бокового коридора выскочило несколько крыс, таких больших, каких Алеша никогда не видывал. Они хотели пробежать мимо, но когда министр приказал их окружить, то они остановились и начали защищаться храбро. Несмотря, однако, на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников. Восемь крыс легли на месте, три обратились в бегство, а одну, довольно тяжело раненную, министр велел вылечить и отвести в зверинец.

По окончании охоты Алеша так устал, что глазки его невольно закрывались... при всем том ему хотелось обо многом поговорить с Чернушкой, и он попросил позволения возвратиться в залу, из кото-

рой они выехали на охоту. Министр на то согласился.

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им стулья.

— Скажи, пожалуйста,— начал Алеша,— зачем вы убили бедных крыс, которые вас не беспокоят и живут так далеко от вашего жилища?

— Если б мы их не истребляли,— сказал министр,— то они вскоре бы нас выгнали из комнат наших и истребили бы все наши съестные припасы. К тому же мыши и крысы меха у нас в высокой цене по причине их легкости и мягкости. Одним знатным особам дозволено их у нас употреблять.

— Да расскажи мне, пожалуйста, кто вы таковы? — продолжал Алеша.

— Неужели ты никогда не слыхал, что под землю живет народ наш? — отвечал министр.— Правда, не многим удастся нас видеть, однако бывали примеры, особливо в старину, что мы выходили на свет и показывались людям. Теперь это редко случается, потому что люди сделались очень нескромны. А у нас существует закон, что если тот, кому мы показались, не сохранит этого в тайне, то мы принуждены бываем немедленно оставить местопребывание наше и идти далеко-далеко, в другие страны. Ты легко представить себе можешь, что королю нашему невесело было бы оставить все здешние заведения и с целым народом переселиться в неизвестные земли. И потому убедительно тебя прошу быть как можно скромнее. В противном случае ты нас всех сделаешь несчастными, а особливо меня. Из благодарности я упросил короля призвать тебя сюда; но он никогда мне не простит,

если по твоей нескромности мы принуждены будем оставить этот край...

— Я даю тебе честное слово, что никогда не буду ни с кем об вас говорить,— прервал его Алеша.— Я теперь вспомнил, что читал в одной книжке о гномах, которые живут под землю. Пишут, что в некотором городе очень разбогател один сапожник в самое короткое время, так, что никто не понимал, откуда взялось его богатство. Наконец как-то узнали, что он шил сапоги и башмаки на гномов, плативших ему за то очень дорого.

— Быть может, что это правда,— отвечал министр.

— Но,— сказал ему Алеша,— объясни мне, любезная Чернушка, отчего ты, будучи министром, являешься в свет в виде курицы и какую связь имеете вы со старушками голландками?

Чернушка, желая удовлетворить его любопытство, начала было рассказывать ему подробно о многом, но при самом начале ее рассказа глаза Алешины закрылись и он крепко заснул. Проснувшись на другое утро, он лежал в своей постели.

Долго не мог он опомниться и не знал, что ему думать... Чернушка и министр, король и рыцари, голландки и крысы — всё это смешалось в его голове, и он насилу мысленно привел в порядок всё, виденное им в прошлую ночь. Вспомнив, что король ему подарил конопляное зерно, он поспешно бросился к своему платью и действительно нашел в кармане бумажку, в которой завернуто было конопляное семечко. «Увидим,— подумал он,— сдержит ли слово свое король! Завтра начнутся классы, а я еще не успел выучить всех своих уроков».

Исторический урок особенно его беспокоил: ему задано было выучить наизусть несколько страниц

из всемирной истории, а он не знал еще ни одного слова!

Настал понедельник, съехались пансионеры, и начались уроки. От десяти часов до двенадцати преподавал историю сам содержатель пансиона.

У Алеши сильно билось сердце... Пока дошла до него очередь, он несколько раз ощупывал лежащую в кармане бумажку с конопляным зернышком... Наконец его вызвали. С трепетом подошел он к учителю, открыл рот, сам еще не зная, что сказать, и безошибочно, не останавливаясь, проговорил заданное. Учитель очень его хвалил; однако Алеша не принимал его хвалу с тем удовольствием, которое прежде чувствовал он в подобных случаях. Внутренний голос ему говорил, что он не заслуживает этой похвалы, потому что урок этот не стоил ему никакого труда.

В продолжение нескольких недель учителя не могли нахвалиться Алешей. Все уроки без исключения знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без ошибок, так, что не могли надивиться чрезвычайным его успехам. Алеша внутренне стыдился этих похвал: ему совестно было, что ставили его в пример товарищам, тогда как он вовсе того не заслуживал.

В течение этого времени Чернушка к нему не являлась, несмотря на то что Алеша, особенно в первые недели после получения конопляного зернышка, не пропускал почти ни одного дня без того, чтобы ее не звать, когда ложился спать. Сначала он очень о том горевал, но потом успокоился мыслию, что она, вероятно, занята важными делами по своему званию. Впоследствии же похвалы, которыми все его осыпали, так его заняли, что он довольно редко о ней вспоминал.

Между тем слух о необыкновенных его способ-


ностях разнесся вскоре по целому Петербургу. Сам директор училищ приезжал несколько раз в пансион и любовался Алешей. Учитель носил его на руках, ибо чрез него пансион вошел в славу. Со всех концов города съезжались родители и приставали к нему, чтоб он детей их принял к себе, в надежде, что и они такие же будут ученые, как Алеша.

Вскоре пансион так наполнился, что не было уже места для новых пансионеров, и учитель с учительшею начали помышлять о том, чтоб нанять дом гораздо просторнее того, в котором они жили.

Алеша, как сказал я уже выше, сначала стыдился похвал, чувствуя, что вовсе их не заслуживает, но мало-помалу он стал к ним привыкать, и наконец самолюбие его дошло до того, что он принимал, не краснея, похвалы, которыми его осыпали. Он много стал о себе думать, важничал перед другими мальчиками и вообразил себе, что он гораздо лучше и умнее всех их. Нрав Алешин от этого совсем испортился: из доброго, милого и скромного мальчика он сделался гордым и непослушным. Совесть часто его в том упрекала, и внутренний голос ему говорил: «Алеша, не гордись! Не приписывай самому себе того, что не тебе принадлежит; благодари судьбу за то, что она тебе доставила выгоды против других детей, но не думай, что ты лучше их. Если ты не исправись, то никто тебя любить не будет, и тогда ты, при всей своей учености, будешь самое несчастное дитя!»

Иногда он и принимал намерение исправиться; но, к несчастью, самолюбие так в нем было сильно, что заглушало голос совести, и он день ото дня становился хуже, и день ото дня товарищи менее его любили.

Притом Алеша сделался страшным шалуном. Не имея нужды твердить уроки, которые ему задавали,



он в то время, когда другие дети готовились к классам, занимался шалостями, и эта праздность еще более портила его нрав.

Наконец он так надоел всем дурным своим нравом, что учитель серьезно начал думать о средствах к исправлению такого дурного мальчика и для того задавал ему уроки вдвое и втрое бóльшие, нежели другим; но и это нисколько не помогало. Алеша вовсе не учился, а все-таки знал урок с начала до конца, без малейшей ошибки.

Однажды учитель, не зная, что с ним делать, задал ему выучить наизусть страниц двадцать к другому утру и надеялся, что он, по крайней мере, в этот день будет смиреннее.

Куда! Наш Алеша и не думал об уроке! В этот день он нарочно шалил более обыкновенного, и учитель тщетно грозил ему наказанием, если на другое утро не будет он знать урока. Алеша внутренне смеялся этим угрозам, будучи уверен, что конопляное семечко поможет ему непременно.

На следующий день, в назначенный час, учитель взял в руки книжку, из которой задан был урок Алеше, подозвал его к себе и велел проговорить заданное. Все дети с любопытством обратили на Алешу внимание, и сам учитель не знал, что подумать, когда Алеша, несмотря на то что вовсе накануне не твердил урока, смело встал со скамейки и подошел к нему. Алеша нимало не сомневался в том, что и этот раз ему удастся показать свою необыкновенную способность; он раскрыл рот... и не мог выговорить ни слова!

— Что ж вы молчите? — сказал ему учитель. — Говорите урок.

Алеша покраснел, потом побледнел, опять покраснел, начал мять свои руки, слезы у него от страха навернулись на глазах... всё тщетно! Он не

мог выговорить ни одного слова, потому что, надеясь на конопляное зерно, он даже и не заглядывал в книгу.

— Что это значит, Алеша? — закричал учитель. — Почему вы не хотите говорить?

Алеша сам не знал, чему приписать такую странность, всунул руку в карман, чтоб ощупать семечко... Но как описать его отчаяние, когда он его не нашел! Слезы градом полились из глаз его... он горько плакал и все-таки не мог сказать ни слова.

Между тем учитель терял терпение. Привыкнув к тому, что Алеша всегда отвечал безошибочно и не запинаясь, ему казалось невозможным, чтоб он не знал по крайней мере начала урока, и потому приписывал молчание его упрямству.

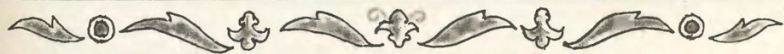
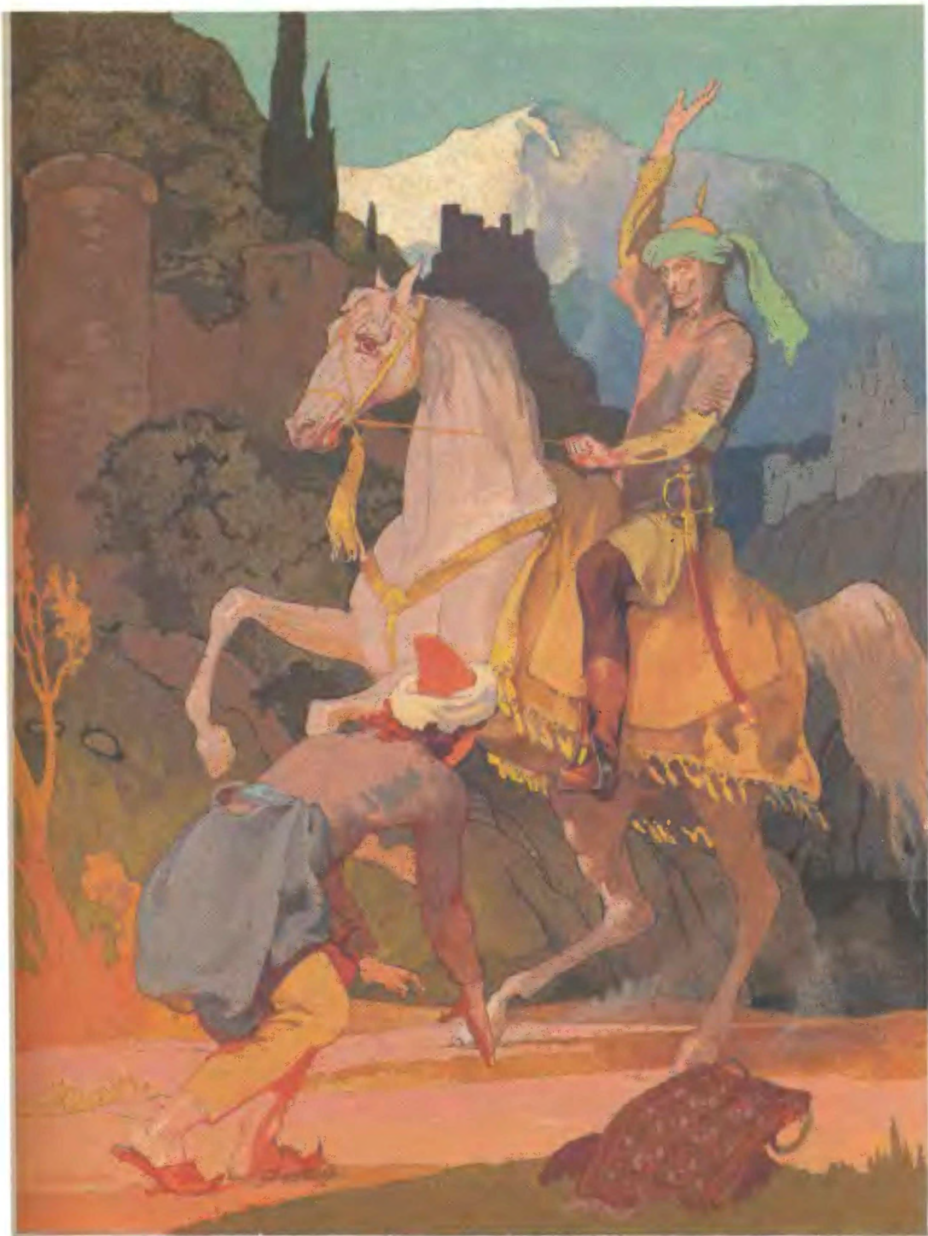
— Подите в спальню, — сказал он, — и оставайтесь там, пока совершенно будете знать урок.

Алешу отвели в нижний этаж, дали ему книгу и заперли дверь ключом.

Лишь только он остался один, как начал везде искать конопляное зернышко. Он долго шарил у себя в карманах, ползал по полу, смотрел под кроватью, перебирал одеяло, подушки, простыню — всё напрасно! Нигде не было и следов любезного зернышка! Он старался вспомнить, где он мог его потерять, и наконец уверился, что выронил его как-нибудь накануне, играя на дворе.

Но каким образом найти его? Он заперт был в комнате, а если б и позволили выйти на двор, так и это, вероятно, ни к чему бы не послужило, ибо он знал, что курочки лакомы на коноплю и зернышко его, верно, которая-нибудь из них успела склевать! Отчаявшись отыскать его, он вздумал призвать к себе на помощь Чернушку.

— Милая Чернушка! — говорил он, — любезный





М. Ю. Лермонтов.
«Ашик-Кериб».

министр! Пожалуйста, явись мне и дай другое зернышко! Я, право, вперед буду осторожнее...

Но никто не отвечал на его просьбы, и он наконец сел на стул и опять принялся горько плакать.

Между тем настала пора обедать; дверь отворилась, и вошел учитель.

— Знаете ли вы теперь урок? — спросил он у Алеши.

Алеша, громко всхлипывая, принужден был сказать, что не знает.

— Ну, так оставайтесь здесь, пока выучите! — сказал учитель, велел подать ему стакан воды и кусок ржаного хлеба и оставил его опять одного.

Алеша стал твердить наизусть, но ничего не входило ему в голову. Он давно отвык от занятий, да и как вытвердить двадцать печатных страниц! Сколько он ни трудился, сколько ни напрягал свою память, но, когда настал вечер, он не знал более двух или трех страниц, да и то плохо.

Когда пришло время другим детям ложиться спать, все товарищи его разом нагрянули в комнату, и с ними пришел опять учитель.

— Алеша! знаете ли вы урок? — спросил он.

И бедный Алеша сквозь слезы отвечал:

— Знаю только две страницы.

— Так, видно, и завтра придется вам просидеть здесь на хлебе и на воде, — сказал учитель, пожелал другим детям покойного сна и удалился.

Алеша остался с товарищами. Тогда, когда он был добрым и скромным, все его любили, и если, бывало, подвергался он наказанию, то все о нем жалели, и это ему служило утешением. Но теперь никто не обращал на него внимания: все с презрением на него смотрели и не говорили с ним ни слова.

Он решил сам начать разговор с одним маль-

чиком, с которым в прежнее время был очень дружен, но тот от него отворотился не отвечая. Алеша обратился к другому, но и тот говорить с ним не хотел и даже оттолкнул его от себя, когда он опять с ним заговорил. Тут несчастный Алеша почувствовал, что он заслуживает такое с ним обхождение товарищей. Обливаясь слезами, лег он в свою постель, но никак не мог заснуть. Долго лежал он таким образом и с горестью вспоминал о минувших счастливых днях. Все дети уже наслаждались сладким сном, один только он заснуть не мог. «И Чернушка меня оставила», — подумал Алеша, и слезы вновь полились у него из глаз.

Вдруг... простыня у соседней кровати зашевелилась, подобно как в первый тот день, когда к нему явилась черная курица.

Сердце в нем стало биться сильнее... Он желал, чтобы Чернушка вышла опять из-под кровати, но не смел надеяться, что желание его исполнится.

— Чернушка, Чернушка! — сказал он наконец вполголоса.

Простыня приподнялась, и к нему на постель взлетела черная курица.

— Ах, Чернушка! — сказал Алеша вне себя от радости, — я не смел надеяться, что с тобою увижусь! Ты меня не забыла?

— Нет, — отвечала она, — я не могу забыть оказанной тобою услуги, хотя тот Алеша, который спас меня от смерти, вовсе не похож на того, которого теперь перед собою вижу. Ты тогда был добрый мальчик, скромный и учтивый, и все тебя любили, а теперь... я не узнаю тебя!

Алеша горько заплакал, а Чернушка продолжала давать ему наставления. Долго она с ним разговаривала и со слезами упрашивала его испра-

витель. Наконец, когда уже начинал показываться дневной свет, курочка ему сказала:

— Теперь я должна тебя оставить, Алеша! Вот конопляное зерно, которое выронил ты на дворе. Напрасно ты думал, что потерял его невозвратно. Король наш слишком великодушен, чтоб лишить тебя этого дара за твою неосторожность. Помни, однако, что ты дал честное слово сохранять в тайне всё, что тебе о нас известно... Алеша, к теперешним худым свойствам твоим не прибавь еще худшего — неблагодарности!

Алеша с восхищением взял любезное свое семечко из лапок курицы и обещался употребить все силы свои, чтоб исправиться.

— Ты увидишь, милая Чернушка,— сказал он,— что я сегодня же совсем другой буду.

— Не полагай,— отвечала Чернушка,— что так легко исправиться от пороков, когда они уже взяли над нами верх. Пороки обыкновенно входят в дверь, а выходят в щёлочку, и потому если хочешь исправиться, то должен беспрестанно и строго смотреть за собою. Но прощай, пора нам расстаться!

Алеша, оставшись один, начал рассматривать свое зернышко и не мог им налюбоваться. Теперь-то он совершенно спокоен был насчет урока, и вчерашнее горе не оставило в нем никаких следов. Он с радостью думал о том, как будут все удивляться, когда он безошибочно проговорит двадцать страниц, и мысль, что он опять возьмет верх над товарищами, которые не хотели с ним говорить, ласкала его самолюбие. Об исправлении самого себя он хотя и не забыл, но думал, что это не может быть так трудно, как говорила Чернушка. «Будто не от меня зависит исправиться! — мыслил он.— Стоит только захотеть, и все опять меня любить будут...»

Увы! бедный Алеша не знал, что для исправления самого себя необходимо начать тем, чтоб откинуть самолюбие и излишнюю самонадеянность.

Когда поутру собрались дети в классы, Алешу позвали наверх. Он вошел с веселым и торжествующим видом.

— Знаете ли вы урок ваш? — спросил учитель, взглянув на него строго.

— Знаю, — отвечал Алеша смело.

Он начал говорить и проговорил все двадцать страниц без малейшей ошибки и остановки. Учитель был вне себя от удивления, а Алеша гордо поглядывал на своих товарищей.

От глаз учителя не скрылся гордый вид Алешин.

— Вы знаете урок свой, — сказал он ему, — это правда, но зачем вы вчера не хотели его сказать?

— Вчера я не знал его, — отвечал Алеша.

— Быть не может! — прервал его учитель. — Вчера ввечеру вы мне сказали, что знаете только две страницы, да и то плохо, а теперь без ошибки проговорили все двадцать! Когда же вы его выучили?

Алеша замолчал. Наконец дрожащим голосом сказал он:

— Я выучил его сегодня поутру!

Но тут вдруг все дети, огорченные его надменностью, закричали в один голос:

— Он неправду говорит, он и книги в руки не брал сегодня поутру!

Алеша вздрогнул, потупил глаза в землю и не сказал ни слова.

— Отвечайте же! — продолжал учитель. — Когда выучили вы урок?

Но Алеша не прерывал молчания: он так поражен был этим неожиданным вопросом и недоб-

рожелательством, которое оказывали ему все его товарищи, что не мог опомниться.

Между тем учитель, полагая, что он накануне не хотел отвечать урока из упрямства, счел за нужное строго наказать его.

— Чем более вы от природы имеете способностей и дарований,— сказал он Алеше,— тем скромнее и послушнее вы должны быть. Не для того дан вам ум, чтоб вы во зло его употребляли. Вы заслуживаете наказания за вчерашнее упрямство, а сегодня вы еще увеличили вину вашу тем, что солгали. Господа! — продолжал учитель, обратясь к пансионерам,— запрещаю всем вам говорить с Алешей до тех пор, пока он совершенно исправится. А так как, вероятно, для него это небольшое наказание, то велите подать розги.

Принесли розги... Алеша был в отчаянии! В первый еще раз с тех пор, как существовал пансион, наказывали розгами, и кого же — Алешу, который так много о себе думал, который считал себя лучше и умнее всех! Какой стыд!..

Он, рыдая, бросился к учителю и обещался совершенно исправиться.

— Надо было думать об этом прежде,— был ему ответ.

Слезы и раскаяние Алеши тронули товарищей, и они начали просить за него. А Алеша, чувствуя, что не заслужил их сострадания, еще горше стал плакать.

Наконец учитель сжалился.

— Хорошо! — сказал он,— я прощу вас ради просьбы товарищей ваших, но с тем, чтобы вы пред всеми признались в вашей вине и объявили, когда вы выучили заданный урок.

Алеша совершенно потерял голову... он забыл обещание, данное подземному королю и его мини-

стру, и начал рассказывать о черной курице, о рыцарях, о маленьких людях...

Учитель не дал ему договорить...

— Как! — вскричал он с гневом.— Вместо того чтобы раскаяться в дурном поведении! в вашем, вы меня еще вздумали дурачить, рассказывая сказку о черной курице?.. Этого слишком уже много. Нет, дети, вы видите сами, что его нельзя не наказать!

И бедного Алешу высекли!

С поникшею головою, с растерзанным сердцем Алеша пошел в нижний этаж, в спальные комнаты. Он был как убитый... Стыд и раскаяние наполняли его душу. Когда чрез несколько часов он немного успокоился и положил руку в карман... конопляного зернышка в нем не было! Алеша горько заплакал, чувствуя, что потерял его навсегда!


Вечеру, когда другие дети пришли спать, он тоже лег в постель; но заснуть никак не мог. Как раскаивался он в дурном поведении своем! Он решительно принял намерение исправиться, хотя чувствовал, что конопляное зернышко возвратить невозможно!

Около полуночи пошевелилась опять простыня у соседней кровати... Алеша, который накануне этому радовался, теперь закрыл глаза: он боялся увидеть Чернушку! Совесть его мучила. Он вспомнил, что еще вчера так уверительно говорил Чернушке, что непременно исправится,— и вместо того... Что он ей теперь скажет?

Несколько времени лежал он с закрытыми глазами. Ему слышался шорох от поднимающейся простыни... Кто-то подошел к его кровати, и голос, знакомый голос, назвал его по имени:

— Алеша, Алеша!

Но он стыдился открыть глаза, а между тем слезы из них катились и текли по его щекам...



Вдруг кто-то дернул за одеяло. Алеша невольно взглянул: перед ним стояла Чернушка — не в виде курицы, а в черном платье, в малиновой шапочке с зубчиками и в белом накрахмаленном шейном платке, точно как он видел ее в подземной зале.

— Алеша! — сказал министр, — я вижу, что ты не спишь... Прощай! Я пришел с тобою проститься, более мы не увидимся!..

Алеша громко зарыдал.

— Прощай! — воскликнул он, — прощай! И, если можешь, прости меня! Я знаю, что виноват перед тобою, но я жестоко за то наказан!

— Алеша! — сказал сквозь слезы министр, — я тебя прощаю; не могу забыть, что ты спас жизнь мою, и всё тебя люблю, хотя ты сделал меня несчастным, может быть, навеки!.. Прощай! Мне позволено видеться с тобою на самое короткое время. Еще в течение нынешней ночи король с целым народом своим должен переселиться далеко-далеко от здешних мест! Все в отчаянии, все проливают слезы. Мы несколько столетий жили здесь так счастливо, так покойно!..

Алеша бросился целовать маленькие ручки министра. Схватив его за руку, он увидел на ней что-то блестящее, и в то же самое время какой-то необыкновенный звук поразил его слух...

— Что это такое? — спросил он с изумлением.

Министр поднял обе руки кверху, и Алеша увидел, что они были скованы золотою цепью... Он ужаснулся!

— Твоя нескромность причиною, что я осужден носить эти цепи, — сказал министр с глубоким вздохом, — но не плачь, Алеша! Твои слезы помочь мне не могут. Одним только ты можешь меня утешить в моем несчастье: старайся исправиться и будь

опять таким же добрым мальчиком, как был прежде. Прощай в последний раз!

Министр пожал Алеше руку и скрылся под соседнюю кровать.

— Чернушка, Чернушка! — кричал ему вслед Алеша, но Чернушка не отвечала.

Во всю ночь не мог он сомкнуть глаз ни на минуту. За час перед рассветом послышалось ему, что под полом что-то шумит. Он встал с постели, приложил к полу ухо и долго слушал стук маленьких колес и шум, как будто множество маленьких людей проходило. Между шумом этим слышен был также плач женщин и детей и голос министра Чернушки, который кричал ему:

— Прощай, Алеша! Прощай навеки!..

На другой день поутру дети, проснувшись, увидели Алешу, лежащего на полу без памяти. Его подняли, положили в постель и послали за доктором, который объявил, что у него сильная горячка.

Недель через шесть Алеша выздоровел, и всё происходившее с ним перед болезнью казалось ему тяжелым сном. Ни учитель, ни товарищи не напоминали ему ни слова ни о черной курице, ни о наказании, которому он подвергся. Алеша же сам стыдился об этом говорить и старался быть послушным, добрым, скромным и прилежным. Все его снова полюбили и стали ласкать, и он сделался примером для своих товарищей, хотя уже и не мог выучить наизусть двадцать печатных страниц вдруг, которых, впрочем, ему и не задавали.



Владимир Иванович
Даль

РАСТОРОПНЫЕ
РЕБЯТА



Была у какой-то хозяйки заморская вещь — хрустальный судок* бочоночком, а в середине разгорожен пополам: в одну половину наливается уксус, в другую — масло, да так и подается на стол.

Послала хозяйка сына своего в лавочку с судком этим, велела купить масла прованского да уксусу.

Мальчик пришел в лавку, заплатил деньги, поставил судок одним концом:

— Лей масла!

Потом, не заткнувши пробкой, перевернул:

— Лей уксус!

И пошел домой.

Мать увидала, что в исподней* половине ничего нет, да и спрашивает:

— Гриша, да где же у тебя уксус?

— А вот он,— говорит,— сверху.

— Ну, а масло-то где же?



— А вот оно,— отвечал Гриша и снова перевернул судок.

Прежде вытекло масло, а теперь и уксус — и Гриша остался ни при чем.

*

Добрый, услужливый, но глуповатый нестроевой солдат, поступив в денщики, в один день распорядился привести в порядок капитанское хозяйство таким образом: золоченые пуговицы на мундире и киверный прибор* вычистил кирпичом; подошвы на капитанских сапогах, чтоб не трескались, смазал чистым дегтем; поставил резиновые калоши сушить на печку, где они растопились и расплылись блином; а на конец принялся еще дергать из бобрового воротника седой волос, чтоб оставался один черный.

*

Двое работников сидели сложа руки, когда им следовало работать. Вдруг входит нечаянно смотритель и спрашивает одного, старшего:

— Ты что делаешь?

— Ничего.

— А ты что? — спрашивает он другого, который оробел и не дослышал, что отвечал первый.

— Да я,— говорит,— вот ему помогал.

— Добрые же вы работники,— сказал смотритель,— один ничего не делает, а другой ему помогает! Коли за такую работу вас кормить станут, так, чай, помощников много найдется.



ВОРОЖЕЯ



ыл, сказывают, знахарь, который взялся разыскивать, кто украл целковый*. Собрав всю артель в избу, он погасил огонь, накрыл черного петуха решетом и велел всем поочередно подходить и, погладив петуха осторожно по спине, опять его накрыть; а как только вор тронет его, то он-де закричит во весь голос.

— Все ли подходили?

— Все.

— И все гладили петуха?

— Все.

А петух и не думал кричать.

— Нет,— сказал знахарь,— тут что-нибудь да не так; подайте-ка огня да покажите руки все разом.

Глядь, ан у всех по одной руке в саже, потому что знахарь черного петуха вымазал сажей, а у одного молодца обе руки чисты!

— Вот он вор,— закричал знахарь, схватил белоручку за ворот,— у кого совесть чиста, у того руки в саже!



ВЕТЕР



— **В**одумаешь, страстей-то сколько на море бывает! — сказал мужичок, беседуя с земляком своим, матросом. — А всё, стало быть, от ветру?

— От ветру, — отвечал матрос.

— А отчего ж это ветер бывает на земле? — продолжал тот.

Такой вопрос озадачил было матроса, которому никогда не приходило на ум призадуматься над ветром, но как человеку бывалому нельзя же было ему оставаться в долгу.

— Отчего ветер? Да, вишь, сверху-то небо, а снизу-то вода либо земля; а с боков-то ничего нет — ну, оно и продувает.



СОЛДАТСКИЙ ПРИВАР



Вел полк на новые квартиры через Курскую губернию и стал после переходе на дневку* по деревням. Одному солдату такая попалась хозяйка, что не дает ничего, кроме хлеба.

— Нет, — говорит, — привару у меня никакого,

и сами мы едим один хлебец с мякиной, а горячего не видали во всё лето.

Солдат с вечера промолчал, поел тюри на квасу* и думает себе: «Коли нет, так нечего делать, будем сыты и хлебом — не привыкать стать» — и лег себе спать на полати.

Хозяйка лучину погасила, влезла на печь да в потемках стала что-то хлебать. А солдату нашему, который прикинулся сонным, крепко запахло щами. «Погоди,— подумал служивый,— коли так, то надо с тобой поправиться».

На другое утро солдат, вставши, начал опять просить хозяйку, чтобы накормила его горячим, стал говорить ей, что и государь велел отпускать солдату привар. Хозяйка опять за свое — божится, заклинается: нет в доме ничего, кроме хлеба насущного.

— Ну,— говорит солдат,— коли так, нечего делать; так нет ли у тебя, хозяйка, хоть бороны, ведь, чай, хозяин хлеб сеет, без бороны не живете?

— Борона есть, батюшка,— отвечает хозяйка.— Да на что же тебе борона?

— Да коли у тебя нечего больше есть,— говорит солдат,— так будем варить свои походные щи. Поди разведи проворнее огонь да принеси мне сюда бороний зуб.

— Да как это,— говорит хозяйка,— из бороньего зуба щи варить?

— Поди,— отвечает солдат,— да делай, что велют, я и себе сварю да и тебя научу.

Хозяйка пошла, развела огня и принесла железный бороний зуб.

Солдат поставил в горшке воды, приказал вымыть чистенько бороний зуб да и положил его в горшок. А хозяйка, поджав руки, смотрит, что будет.

 — Ну,— говорит солдат,— теперь давай маленько мучицы.

Та принесла.

— Теперь,— говорит,— достань-ка маленько, хоть с горсточку, капустки.

Хозяйка принесла. Хочется ей посмотреть, какие будут щи из бороньего зуба.

— Теперь,— говорит солдат,— подай с горсточку круп, хоть гречневых, хоть пшених, да уж не найдешь ли где мясца кусочек, хоть маленький, хоть мосол какой-нибудь, косточку?

— Не знаю, право,— говорит хозяйка,— было там, никак, в клетки* немного говядины.

А сама пошла да принесла.

Солдат, собравши всё это, сварил щи хоть куда, сам наелся и скупую хозяйку свою накормил, да спрашивает:

— Что, хозяйюшка, хороши ли щи?

— Хороши,— говорит.

— Ну, вот же тебе бороний зуб твой, береги его: коли в другой раз доведется стоять у тебя солдатам, так всегда вари такие походные щи, бороний зуб не выварится никогда; небось и постояльцы твои будут сыты.



ДЕВОЧКА СНЕГУРОЧКА



или-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на

чужих ребят, как они из снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек да и говорит:

— А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая!

Старуха на комочек посмотрела, головой покачала да и говорит:

— Что же будешь делать — нет, так и взять негде.

Однако старик принес комочек снегу в избу, положил в горшочек, накрыл ветошкой и поставил на окошко. Взошло солнышко, пригрело горшочек, и снег стал таять. Вот и слышат старики — пищит что-то в горшочке под ветошкой; они к окну — глядь, а в горшочке лежит девочка, беленькая, как снежок, и кругленькая, как комочек, и говорит им:

— Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком пригрета и нарумянена.

Вот старики обрадовались, вынули ее, да ну старуха скорее шить да кроить, а старик, завернув Снегурочку в полотенецко, стал ее нянчить и пестовать*:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка*,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платье рядить,
Уму-разуму учить!

Вот и растет Снегурочка на радость старикам, да такая-то умная, такая-то разумная, что такие только в сказках живут, а взаправду не бывают.

Всё шло у стариков как по маслу: и в избе хорошо, и на дворе неплохо, скотинка зиму пере-

зимовала, птицу выпустили на двор. Вот как перевели птицу из избы в хлев, тут и случилась беда: пришла к стариковой Жучке лиса, прикинулась больной и ну Жучку умаливать, тоненьким голосом упрашивать:

— Жученька, Жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушек погреться!

Жучка, весь день за стариком в лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала, сжалилась над больной лисой и пустила ее туда. А лиска двух кур задушила да домой утащила. Как узнал про это старик, так Жучку прибил и со двора согнал.

— Иди,— говорит,— куда хочешь, а мне ты в сторожа не годишься!

Вот и пошла Жучка, плача, со старикова двора, а пожалели о Жучке только старушка да девочка Снегурочка.

Пришло лето, стали ягоды поспевать, вот и зовут подружки Снегурочку в лес по ягодки. Старики и слышать не хотят, не пускают. Стали девочки обещать, что Снегурочку они из рук не выпустят, да и Снегурочка сама просится ягодок побрать да на лес посмотреть. Отпустили ее старики, дали кузовок да пирожка кусок.

Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки, а как в лес пришли да увидали ягоды, так все про всё позабыли, разбежались по сторонам, ягодки берут да аукаются, в лесу друг дружке голос подают.

Ягод понабрали, а Снегурочку в лесу потеряли.

Стала Снегурочка голос подавать — никто ей не откликается. Заплакала бедняжка, пошла дорогу искать, хуже того заплуталась; вот и влезла на дерево и кричит: «Ау! Ау!»

Идет медведь, хвост трещит, кусты гнутся:

— О чем, девица, о чем, красная?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнцем подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки, в лес завели и покинули!

— Слезай,— сказал медведь,— я тебя домой доведу!

— Нет, медведь,— отвечала девочка Снегурочка,— я не пойду с тобой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Медведь ушел.

Бежит серый волк:

— Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

— Слезай,— сказал волк,— я доведу тебя до дому!

— Нет, волк, я не пойду с тобой, я боюсь тебя — ты съешь меня!

Волк ушел. Идет Лиса Патрикеевна:


— Что, девица, плачешь, что, красная, рыдаешь?

— Ау-ау! Я девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подружки у дедушки, у бабушки в лес по ягоды, а в лес завели да и покинули!

— Ах, красавица! Ах, умница! Ах, горемычная моя! Слезай скорехонько, я тебя до дому доведу!

— Нет, лиса, льстивы слова, я боюсь тебя — ты меня к волку заведешь, ты медведю отдашь... Не пойду я с тобой!

Стала лиса вокруг дерева обхаживать, на де-

 вочку Снегурочку поглядывать, с дерева ее сманивать, а девочка не идет.

— Гам, гам, гам! — залаяла собака в лесу.

А девочка Снегурочка закричала:

— Ау-ау, Жученька! Ау-ау, милая! Я здесь — девочка Снегурочка, из вешнего снегу скатана, вешним солнышком подрумянена, выпросили меня подруженьки у дедушки, у бабушки в лес по ягодки, в лес завели да и покинули. Хотел меня медведь унести, я не пошла с ним; хотел волк увести, я отказала ему; хотела лиса сманить, я в обман не далась; а с тобой, Жучка, пойду!

Вот как услышала лиса собачий лай, так махнула пушником* своим и была такова!

Снегурочка с дерева слезла, Жучка подбежала, ее лобызала, всё личико облизала и повела домой.

Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, лиса по кустам шныряет.

Жучка лает, заливается, все ее боятся, никто не приступается.

Пришли они домой; старики с радости заплакали. Снегурочку напоили, накормили, спать уложили, одеяльцем накрыли:

Спи, наша Снегурочка,
Сдобная кокурочка,
Из вешнего снегу скатана,
Вешним солнышком пригретая!
Мы тебя станем поить,
Мы тебя станем кормить,
В цветно платьице рядить,
Уму-разуму учить!

Жучку простили, молоком напоили, приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили.



О ДЯТЛЕ



Д... аяться и зарекаться хорошо, коли помнишь слово свое и зарок, и, сделав раз худо, станешь вперед от худа бегать; а коли клятва твоя и божба крепка только до вечера, а с утра опять принимаешься за то же — так и в добром слове твоём добра мало.

Дятел красноголовый лазил день-деньской по пням и дуплам и всё стучал роговым носом своим в дерево, всё доспрашивался, где гниль, где червоточина, где подстой*, где дрябло, где дупло, а где живое место? Стучал так, что только раздавалось во все четыре стороны по лесу. К вечеру, глядишь, голова у красноголового разболится, лоб словно обручем железным обложило, затылок ломит, не в силу терпеть.

— Ну,— говорит,— полно, не стану больше долбить по-пустому; завтра посижу себе смирно, отдохну, да и вперед не стану — что в этом проку?

Закаялся и зарекся наш дятел, а наутро, ни свет ни заря, как только пташки в лесу проснулись да защebetали, дятел наш опять пошел долбить и барабанить по сухоподстойным пням*.

День прошел, настал вечер — опять головушку разломило, и опять он закаялся — с вечера до утра, а утром опять принимается за то же...



У ТЕБЯ
У САМОГО
СВОЙ УМ



Козел повадился в огород: бывало, как только пастухи выгонят гурт* свой, то Васька мой сперва, как добрый, идет, головой помахивает, бородой потряхивает; а как только ребятишки засядут в овражке где-нибудь в камешки играть, то Васька и отправляется прямо в капусту.

Раз и пошел он тем же знакомым путем, идет себе да пофыркивает. В это время отбилась от гурта глупая овца, зашла в чащу, в крапиву да в лопушник; стоит, сердечная, да кричит, да оглядывается — не найдется ли кто добрый человек, чтобы вывел из этой беды. Увидавши козла, обрадовалась она, как родному брату: пойду, дескать, хоть за ним. «Этот выведет: мне не первина* за ним идти; у нас и впереди гурта тот козел-вожак идет, за ним ступай смело!»

Пошла овца наша, увязавшись за козлом. Он через овраг — она через овраг; он через тын — она через тын, и попала с ним же в огород.

На этот раз огородник заглянул как-то пораньше в капусту свою да и увидел гостей. Схватил он хворостину предолгую да кинулся на незваных. Козел, как попрворнее, успел перескочить опять через тын, мемекнул да и пошел себе в чистое поле, а бедная овца замоталась, стала кидаться, оробев, во все стороны да и попалась. Не пожалел огородник хворостины своей: всю измочалил о бедную

овцу, так, что уже она кричит не своим голосом, да помощи нет ни от кого. Наконец, огородник, подумавши про себя: чего доброго, еще убьешь дуру эту, да после хозяин привяжется, выгнал ее в калитку и еще-таки на дорогу вытянул во всю длину хворостиной.

Пришла овца домой, в гурт, да и плачется на козла; а козел говорит:

— А кто велел тебе за мною хвостом бегать? Я пошел в свою голову, так мой и ответ; коли мужик мне отомнет бока, так я ни на кого плакаться не стану, ни на хозяина, зачем дома не кормит, ни на пастуха, зачем-де не приглядел за мною, а уж буду молчать да терпеть. А тебя зачем нелегкая понесла за мною? Я тебя не звал.

И козел, хоть и плут, вор, а прав в этом деле. Смотри всяк своими глазами, раскидывай своим умом да и ступай туда, где лучше. И у нас то же бывает: один пустится на какой ни есть грех, а другой, на него глядя, за ним же, да после, как попадетя, и плачется на учителя. А разве у тебя у самого своего ума нет?

ЛУЧШИЙ ПЕВЧИЙ



сказках и притчах всегда говорится, коли вы слышали, что орел правит птичьим царством и что весь народ птичий у него в послушании. Пусть же так будет и у нас; орел — всем птицам голова, он им начальник. Волостным

писарем при нем сорокопул*, а на посылках все птицы поочередно, и на этот раз случилась ворона. Ведь она хоть и ворона, а все-таки ей отбыть свою очередь надо.

Голова вздремнул, наевшись досыта, позевал на все четыре стороны, встряхнулся и со скуки захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного; прибежала вприпрыжку ворона, отвернула учтиво нос в сторону и спросила: «Что-де прикажешь?»

— Поди,— сказал голова,— позови ко мне скорешенько что ни есть лучшего певчего; пусть он убаюкает меня, хочу послушать его, вздремнуть и наградить его.

Подпрыгнула ворона, каркнула и полетела, замахав крыльями, что тряпицами, словно больно заторопилась исполнить волю начальника, а отлетев немного, присела на сухое дерево, стала чистить нос и думать: «Какую-де птицу я позову?»

Думала-думала и надумалась, что никому не спеть против родного детища ее, против вороненка, и притащила его к орлу.

Орел, сидя, вздремнул было между тем сам про себя маленько, и вздрогнул, когда вороненок вдруг принялся усердно каркать, сколько сил доставало, а там стал поворачивать клювом, разевая его пошире, и надседался всячески, чтобы угодить наибольшему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства; а орел спросил, отшатнувшись:

— Это что за набат? Режут, что ли, кого аль караул кричат?

— Это песенник,— отвечала ворона,— мой внучек; уж лучше этого хоть не ищи, государь, по всему царству своему не найдешь...



ЧТО ЗНАЧИТ ДОСУГ



Георгий Храбрый, который, как ведомо вам, во всех сказках и притчах держит начальство над зверями, птицами и рыбами, — Георгий Храбрый созвал всю команду свою служить и разложил на каждого по работе. Медведю велел, на шабаш*, до вечера, семьдесят семь колод перетаскать да сложить срубом*; волку велел земляночку вырыть да нары поставить; лисе приказал пуху нащипать на три подушки; кошке-домоседке — три чулка связать да клубка не затерять; козлу-бородачу велел бритвы править, а коровушке поставил кудель, дал ей веретено: на пряди, говорит, шерсти; журавлю приказал настрогать зубочисток да серников* наделать; гуся лапчатого в гончары пожаловал, велел три горшка да большую макитру* слепить; а тетерку заставил глину месить; бабе-птице* приказал на уху стерлядей наловить; дятлу — дровец нарубить; воробью — припасти соломки на подстилку, а пчеле приказал один ярус сот* построить да натаскать меду.

Ну, пришел урочный час*, и Георгий Храбрый пошел в досмотр: кто что сделал?

Михайло Потапыч, медведь, работал до поту лица, так что в оба кулака только знай утирается — да толку в работе его мало: весь день с двумя ли, с тремя ли колодами провозился, и катал их, и на плечах таскал, и торчмя становил, и на крест сваливал да еще было и лапу себе отдавил; и рядом



их укладывал, концы с концами ровнял да пригонял, а сруб не сложил.

Серый волк местах в пяти починал землянку рыть, да как причует да разнюхает, что нет там ни бычка зарытого, ни жеребенка, то и покинет, да опять на новое место перейдет.

Лисичка-сестричка надушила кур да утят много, подушки на четыре, да не стало у нее досуга щипать их чисто; она, вишь, все до мясца добиралась, а пух да перья пускала на ветер.

Кошечка наша усаживалась подле слухового окна*, на солнышке, раз десять, и принималась за урок, чулок вязать, так мыши, вишь, на подволоке, на чердаке, словно на смех, покою не дают; кинет кошурка чулок, прынет в окно, погонится за докучливыми, шаловливыми мышатами, ухватит ли, нет ли за ворот которого-нибудь да опять выскочит в слуховое окно да за чулок; а тут, гляди, клубок скатился с кровли: беги кругом да подымай, да наматывай, а дорóгою опять мышонок навстречу попадетса, да коли удалось изловить его, так надо же с ним и побаловать, поиграть,— так чулок и пролежал; а сорока-щебетунья еще прутки* рас-таскала.

Козел бритвы не успел выправить; на водопой бегал с лошадьми да есть захотелось, так перескочил к соседу в огород, ухватил чесночку да капустаки; а после говорит:

— Товарищ не дал работать, всё приставал да лоб подставлял пободаться.

Коровушка жвачку жевала, еще вчерашнюю, да облизывалась, да за объедьями* к кучеру сходила, да за отрубьями к судомойке — и день прошел.

Журавль всё на часах стоял да вытягивался в струнку на одной ноге да поглядывал, нет ли чего нового? Да еще пять десятин пашни перемерял,

верно ли отмежевано, — так работать некогда было: ни зубочисток, ни серников не наделал.

Гусь принялся было за работу, так тетерев, говорит, глины не подготовил, остановка была; да опять же он, гусь, за каждым разом, что ущипнет глины да замарается, то и пойдет мыться на пруд.

— Так, — говорит, — и не стало делового часу.

А тетерев всё время и мял и топтал, да всё одно место, битую дорожку*, недоглядел, что глины под ним давно нетути.

Баба-птица стерлядей пяток, правда, поймала да в свою кису*, в зоб, запрятала — и тяжела стала: не смогла нырять больше, села на песочек отдыхать.

Дятел надолбил носом дырок и ямочек много, да не смог, говорит, свалить ни одной липы, крепко больно на ногах стоят; а самосушнику* да валяжнику набрать не догадался.

Воробушек таскал соломку, да только в свое гнездо; да чирикал, да подрался с соседом, что под той же стрехой гнездо свил, он ему и чуб надрал, и головушку разломило.

Одна пчела только управилась давным-давно и собралась к вечеру на покой: по цветам порхала, поноску* носила, ячейки воску белого слепила, медку наклала и заделала сверху — да и не жаловалась, не плакалась на недосуг.



ВОРОНА



ила-была ворона, и жила она не одна, а с няньками, мамками, с малыми детками, с ближними и дальними соседками. Прилетели птицы из заморья, большие и малые, гуси и лебеди, пташки и пичужки, свили гнезда в горах, в долах, в лесах, в лугах и нанесли яичек.

Подметила это ворона и ну перелетных птиц обижать, у них яички таскать!

Летел сын и увидел, что ворона больших и малых птиц обижает, яички таскает.

— Постой,— говорит он,— негодная ворона, найдем на тебя суд и расправу!

И полетел он далеко, в каменные горы, к сизому орлу.

Прилетел и просит:

— Батюшка сизой орел, дай нам свой праведный суд на обидчицу-ворону! От нее житья нет ни малым, ни большим птицам: наши гнезда разоряет, детенышей крадет, яйца таскает да ими своих воронят питает!

Покачал сизой орел головой и послал за вороною легкого, меньшого своего посла — воробья. Воробей вспорхнул и полетел за вороной. Она было ну отговариваться, а на нее поднялась вся птичья сила, все пичуги, и ну щипать, клевать, к орлу на суд гнать. Нечего делать — каркнула и полетела, а все птицы взвились и следом за ней понеслись.

Вот и прилетели они к орлову жилью и обсели его, а ворона стоит посереде да обдергивается перед орлом, охорашивается.

И стал орел ворону допрашивать:

— Про тебя, ворона, сказывают, что ты на чужое добро рот разеваешь, у больших и малых птиц детенышей да яйца таскаешь!

— Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина, я только одни скорлупки подбираю!

— Еще про тебя жалоба до меня доходит, что как выйдет мужичок пашню засеять, так ты подымаешься со всем своим вороньем и ну семена клевать!

— Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина! Я с подружками, с малыми детками, с чадами, домочадцами только червяков из свежей пашни таскаю!

— А еще на тебя всюду народ плачется, что как хлеб сожнут да снопы в копны сложат, то ты налетишь со всем своим вороньем и давай озорничать, снопы ворошить да копны разбивать!

— Напраслина, батюшка сизой орел, напраслина! Мы это ради доброго дела помогаем — копны разбираем, солнышку да ветру доступ даем, чтобы хлебушко не пророс да зерно просохло!

Рассердился орел на старую врунью-ворону, велел ее засадить в острог, в решетчатый теремок, за железные засовы, за булатные замки*. Там она сидит и по сей день!



ПРО МЫШЬ
ЗУБАСТУЮ
ДА ПРО
ВОРОБЬЯ БОГАТОГО



Пришла старуха и стала сказывать про деревенское раздолье: про ключи студёные, про луга зеленые, про леса дремучие, про хлебы хлебистые да про ярицу яристую. Это не сказка, а присказка, сказка будет впереди.

Жил-был в селе мужичок, крестьянин исправный, и работы не боялся, и о людях печаловался: коли кто был в горе да в нужде, всяк к нему за советом шел, а коли у кого было хлеба в недостатке, шли к его закрому, как к своему. У кого хлеб родился сам-четверт, сам-пят, а у него нередко и сам-десять!* Сожнет мужичок хлеб, свезет в овин, перечтет снопы и каждый десятый сноп к стороне отложит, примолвя: «Это на долю бедной братьи».

Услыхав такие речи, воробей зачирикал во весь рот:

— Чив, чив, чив! Мужичок полон овин хлеба навалил, да и на нашу братью видимо-невидимо отложил!

— Ш-ш-ш, не кричи во весь рот! — пропищала мышь-пискунья.— Не то все услышат: налетит ваша братья, крылатая стая, всё по зернышку разнесет, весь загром склюет, и нам ничего не достанется!

Трудновато было воробью молчать, да делать нечего: мышка больно строго ему пригрозила. Вот

слетел воробей со стрехи на пол да, подсев к мышке, стал тихонько чирикать:

— Давай-де, мышка-норышка, совьем себе по гнездышку — я под стрехой, ты в подполье — и станем жить да быть да хозяйской подачкой питаться, и будет у нас всё вместе, всё пополам.

Мышка согласилась. Вот и зажили они вдвоем; живут год, живут другой, а на третий стал амбар ветшать; про новый хлеб хозяин выстроил другой амбар, а в старом зерна оставалось намале*. Мышка-норышка это дело смекнула, раскинула умом и порешила, что коли ей одной забрать всё зерно, то более достанется, чем с воробьем пополам. Вот прогрызла она в половице в закроме дыру, зерно высыпалось в подполье, а воробей и не видал того, как весь хлеб ушел к мышке в нору. Стал воробей поглядывать: где зерно? Зерна не видать; он туда, сюда — нет нигде ни зернышка; стал воробей к мышке в нору стучаться:

— Тук, тук, чив, чив, чив, дома ли, сударушка мышка?

А мышка в ответ:

— Чего ты тут расчирикался? Убирайся, и без тебя голова болит!

Заглянул воробей в подполье да как увидал там хлеба ворох, так пуще прежнего зачирикал:

— Ах ты, мышь подпольная, вишь что затеяла! Да где ж твоя правда? Уговор был: всё поровну, всё пополам, а ты это что делаешь? Взяла да и обобрала товарища!

— И-и! — пропищала мышка-норышка. — Вольно тебе старое помнить. Я так ничего знать не знаю и помнить не помню!

Нечего делать, стал воробей мышке кланяться, упрашивать, а она как выскочит, как начнет его щипать, только перья полетели!

Рассердился и воробей, взлетел на крышу и зачирикал так, что со всего округа воробьи слетелись, видимо-невидимо. Всю крышу обсели и ну товарищево дело разбирать; всё по ниточке разобрали и на том порешили, чтобы к звериному царю всем миром с челобитьем лететь. Снялись, полетели, только небо запестрело. Вот прилетели они к звериному царю, зачирикали, защебетали, так что у царя Льва в ушах зазвенело, а он в ту пору прилег было отдохнуть. Зевнул Лев, потянулся, да и говорит:

— Коли попусту слетелись, так убирайтесь восвояси,— спать хочу; а коли дело есть до меня, то говори один. Это петь хорошо вместе, а говорить порознь!

Вот и выскочил воробышек, что побойчее других, и стал так сказывать дело:

— Лев-государь, вот так и так: наш брат воробей положил уговор с твоей холопкой, мышью зубастой, жить в одном амбаре, есть из одного закрома до последнего зерна; прожили они так без мала три года, а как стал хлеб к концу подходить, мышь подпольная и слукавила — прогрызла в закроме дыру и выпустила зерно к себе в подполье; брат воробей стал ее унимать, усовещивать, а она, злодейка, так его ощипала кругом, что стыдно в люди показаться. Повели, царь, мышь ту казнить, а всё зерно истцу-воробью отдать; коли же ты, государь, нас с мышью не рассудишь, так мы полетим к своему царю с челобитной!

— И давно бы так, идите к своему Орлу! — сказал Лев, потянулся и опять заснул.

Туча тучей поднялась стая воробьиная с челобитьем к Орлу на звериного царя да на его холопку-мышь. Выслушал царь Орел да как гаркнет орлиным клёкотом:

— Позвать сюда трубача!

А грач-трубач, уж тут как тут, стоит перед Орлом тише воды, ниже травы.

— Труби, трубач, великий сбор моим богатырям: беркутам, соколам, коршунам, ястребам, лебедям, гусям и всему птичьему роду, чтобы клювы точили, когти вострили; будет-де вам пир на весь мир. А тому ли звериному царю разлетную грамоту носи: за то-де, что ты царь-потатчик, присяги не памятуешь, своих зверишек в страхе не держишь, наших пернатых жалоб не разбираешь, вот за то-де и подымается на тебя тьма-тьмушая, сила великая; и чтобы тебе, царю, выходить со своими зверишками на поле Арекское, к дубу Веретенскому.

Тем временем, выпавшись, проснулся Лев и, выслушав трубача-бирюча, зарычал на всё свое царство звериное. Сбежались барсы, волки, медведи, весь крупный и мелкий зверь, и становились они у того дуба заветного.

И налетала на них туча грозная, непросветная, с вожакom своим, с царем Орлом, и билися обе рати не отдыхаючи три часа и три минуты, друг друга одолевая; а как нагрянула запасная сила, ночная птица, пугач да сова, тут зубастый зверь-мышь первый наутек пошел. Доложили о том докладчики звериному царю. Рассердился Лев-государь на зубастую мышь:

— Ах ты, мышь, мелюзга подпольная, из-за тебя, мелкой сошки, бился я, не жалеючи себя, а ты же первая тыл показала!

Тут велел Лев отбой бить, замиренья просить; а весь награбленный хлеб присудил воробью отдать, а мышь подпольную, буде найдется, ему же, воробью, головою выдать. Мышь не нашли, сказывают: «Сбежала-де со страху за тридевять земель, в тридесятное царство, не в наше государство».

Воробышек разжился, и стал у него что ни день, то праздник, гостей видимо-невидимо, вся крыша вплотную засажена воробьями, и чирикают они на всё село былинку про мышшь подпольную, про воробья богатого да про свою удаль молодецкую.



СКАЗКА О БАРАНАХ




алиф* сидел однажды, как сидят калифы, на парче или бархате, поджав ноги, развалившись в подушках, с янтарем* в зубах. Длинный чубук*, как боровок*, проведенный от дымовья печки до устья в трубу, лежал кинутый небрежно поперек парчи, атласу и бархату вплоть до золотого подноса на вальяжных* ножках, с бирюзой и яхонтами, на котором покоилась красная глиняная трубка, с золотыми по краям стрелками, с курчавыми цветочками и ободочками. Пол белого мрамора, небольшой серебристый водомет* посредине, усыпательный однообразный говор бьющей и падающей струи, казалось, заботливо услуживал калифу, напевая ему: «Покойной ночи!»

Но калифу не спалось: озабоченный общим благом, спокойствием и счастьем народа, он пускал клубы дыма то в ус, то в бороду, и хмурил брови... Калиф тихо произнес:

— Мелек!

И раболепный Мелек стоял перед ним, наклонив голову, положив правую руку свою на грудь.

Калиф, молча и не покидая трубки, подал паль-



цем едва заметный знак, и Мелек стоял уже перед повелителем своим с огромным плащом простой бурой ткани и с белой чалмой* без всяких украшений в руках.

Калиф встал, надел белую простую чалму, накинул бурый плащ, в котором ходит один только простой народ, и вышел. Верный Мелек, зная обязанность свою, пошел украдкой за ним следом, ступая как кошка и не спуская повелителя своего с глаз.

Домá в столице калифа были все такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали с прохожими по улице, возвысив несколько голос. Прислонившись ухом к простенку, можно было слышать всё, что в доме говорится и делается. Вот зачем пошел калиф.

— Судья, казы, неумолим,— жаловался плачевный голос в какой-то мазанке, похожей с виду на дождевик, выросший за одну ночь.— Казы жесток: бирюзу и оправу с седла моего я отдал ему, последний остаток отцовского богатства, и только этим мог искупить жизнь свою и свободу. О, великий калиф, если бы ты знал свинцовую руку и железные когти своего казы, то бы заплакал вместе со мною!

Калиф задумчиво побрел домой: на этот раз он слышал довольно. «Казы сидит один на судилище своем,— размышлял калиф,— он делает что хочет, он самовластен, может действовать самоуправно и произвольно: от этого всё зло. Надобно его ограничить, надобно придать ему помощников, которые свяжут произвол его, надобно поставить и сбюку, рядом с ним наблюдателя, который поверял бы все дела казы на весах правосудия и доносил бы мне каждодневно, что казы судит правдиво и беспристрастно».

Сказано — сделано. Калиф посадил еще двух судей, по правую и по левую руку казы, повелел называться этому суду судилищем трех правдивых судей, поставил знаменитого умму с золотым жезлом, назвав его калифским приставом правды. И судилище трех правдивых сидело и называлось по воле и фирману* калифскому. И свидетель, калифский пристав правды, стоял и доносил каждодневно: всё благополучно.

— Каково же идут теперь дела наши? — спросил калиф однажды у пристава своего.— Творится ли суд, и правда, и милость, благоденствует ли народ?

— Благоденствует, великий государь! — отвечал тот.— И суд, и правда, и милость творится — нет бога кроме бога и Моххамед его посол. Ты излил благодать величия, правды и милости твоей сквозь сито премудрости на удрученные палящим зноем обнаженные главы народа твоего. Живительные капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданных твоих на произрастание древа, коего цвет есть благодарность, признательность народа, а плод — благоденствие его, устроенное на незыблемых основаниях, на почве правды и милости.

Калиф был доволен, покоясь опять на том же пушистом бархате перед тем же усыпляющим водометом, с тем же неизменным янтарным другом в устах, но речь пристава показалась ему что-то кудреватую, а калиф, хоть и привык уже давно к восточной яркости красок, запутанности узоров и пышной роскоши выражений, успел, однако же, научиться не доверять напыщенному слову приближенных своих.

— Мелек! — произнес калиф.

И Мелек стоял перед ним в том же раболепном положении. Калиф подал ему известный знак.

— Удосто́й подлюю́ ре́чь раба твоего́,— сказа́л Мелек,— удосто́й, о вели́кий кали́ф, не кра́я свяще́нного уха твоего́, а то́лько пра́ха, попира́емого благосло́венными сто́пами твоими́, и ты не пойдёшь се́годня подслу́шивать, а бу́дешь си́деть здесь в по́кое.

— Говори́,— отве́чал кали́ф.

— О, вели́кий госуда́рь, го́лос о́дин: наро́д, верный наро́д твой, вопи́ет под беззащитным гнетом. Когда́ был ка́зы о́дин, то́гда бы́ла у него́ и о́дна то́лько собств́енная сво́я го́лова на плеча́х, она́ о́дна отве́чала, и он её бере́г. Ны́не у него́ три го́ловы, да четвёртая — у твоего́ приста́ва. Они́ раздели́ли стра́х на четы́ре ча́сти — и на ка́ждого при́шлось по четвёртой до́ле. Ма́ло бы́ло цело́го, те́перь е́ще ста́ло ме́ньше. О́дного волка́, вели́кий госуда́рь, кой-ка́к насы́тить мо́жно, е́сли ино́гда и хва́тит за живо́е,— ста́и соба́к не насы́тишь, не ста́нет мя́са на ко́стях.

Кали́ф приза́думался, смолча́л, насупи́л бро́ви, и че́ло его́ со́крылось в непрони́цаемом о́блаке ды́ма. По́том я́нтарь упал на ко́лени. Кали́ф до́лго в за́думчивости пере́бирал паху́чие четки* сво́и, кива́я ме́дленно в́зад го́ловою. «Ме́ня на́зывают са́мовла́стным,— подума́л он,— но ни вла́сти, ни во́ли у ме́ня не́т. Го́лова ка́ждого из него́дья́в э́тих, ко́нечно, в мо́их ру́ках, но отру́бивши че́ловеку го́лову, со́кратишь его́, а нра́вственны́е ка́чества не измени́шь. Осно́вать до́бро и благо́, упрочи́ть сча́стие и спо́койствие ка́ждого не в уста́х рабо́лепных блю́долизо́в мо́их, а на са́мом де́ле,— э́то тру́днее, че́м пу́стить в све́т че́ловека без го́ловы. Пере́вешать поддан́ных мо́их го́раздо ле́гче, че́м сде́лать их че́стными лю́дьми. По́пытаю́сь о́днако же́: на́добно о́граничи́ть е́ще бо́лее са́моупра́вство, за́трудни́ть подку́п раздро́блением де́л по предме́там, по ро́ду

их и другим отношениям на большее число лиц, мест и степеней. Одно лицо действует самопроизвольно, а где нужно согласие многих, там правда найдет более защиты».

И сделалось всё по воле калифа. Где сидел прежде и судил и рядил один, там сидят семеро, важно разглаживают мудрые бороды свои, замысловатые усы, тянут кальян* и судят и рядят* дружно. Всё благополучно.

Великий калиф с душевным удовольствием созерцал в светлом уме своем вновь устроенное государство, считал по пальцам, считал по четкам огромное множество новых слуг своих, слуг правды, и радовался, умильно улыбаясь, что правосудие нашло в калифате* его такую могучую опору, такой многочисленный оплот противу зла и неправды.

— Еще ли не будут счастливы верные рабы мои? — сказал он. — Ужели они не благоденствуют теперь, когда я оградил и собственность, и личность каждого фаудтами, то есть целыми батальонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зеркало правосудия от туску* и ржавчины? Тлетворное дыхание нечистых не смеет коснуться его. Я вижу — зеркало отражает лучи солнечные в той же чистоте, как восприяло их.

Опять позвал калиф Мелека, опять сокрылся от очей народа в простую чалму и смурый охобень*, опять пошел под стенками тесных, извилистых улиц. Часто и прилежно калиф прикладывал чуткое ухо свое к утлым жилищам верноподданных — и слышал одни только стенания, одни жалобы на ненасытную корысть нового сонма недремлющих стражей правосудия.

— Растолкуй мне, Мелек, — сказал калиф в недоумении и гневном негодовании, — растолкуй мне,

что это значит. Я не верю ушам своим. Быть не может!

— Государь,— отвечал Мелек,— я человек темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощупаю. Позволь мне привести к тебе старого Хуршита — он жил много, видел много; слово неправды никогда не оскверняло чистых уст его, он скажет тебе всё.

— Позови.

Хуршит вошел. Хуршит — из черни, из толпы, добывающей себе насущное пропитание кровным потом.

— Хуршит, что скажешь?

— Что спросишь, повелитель? Не подай голосу — и отголосок в горах молчит, не смеет откликнуться.

— Скажи мне прямо, смело, но говори правду. Когда было лучше — теперь или прежде?

— Государь,— сказал Хуршит после глубокого вздоха,— при отце твоём было тяжело. Я был тогда овчарником*, как и теперь, держал и своих овец. Что, бывало, проглянет молодая луна на небе, то и тащишь на плечах к казыю своему барана: тяжело было.

— А потом? — спросил калиф.

— А потом, сударь, стало еще тяжёле: прибавилось начальства над нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечах своих по два барана.

— Ну, а теперь? Говори!

— А теперь, государь,— сказал Хуршит, весело улыбаясь,— слава богу, совсем легко!

— Как так? — вскричал обрадованный калиф.

Хуршит поднял веселые карие глаза свои на калифа и отвечал спокойно:

— Гуртом гоняем.



Константин Дмитриевич Ушинский

СЛЕПАЯ ЛОШАДЬ



авно, очень уже давно, когда не только нас, но и наших дедов и прадедов не было еще на свете, стоял на морском берегу богатый и торговый славянский город Винета; а в этом городе жил богатый купец Уседом, корабли которого, нагруженные дорогими товарами, плавали по далеким морям.

Уседом был очень богат и жил роскошно: может быть, и самое прозвание Уседома, или Вседома, получил он оттого, что в его доме было решительно всё, что только можно было найти хорошего и дорогого в то время; а сам хозяин, его хозяйка и дети ели только на золоте и на серебре, ходили только в соболях да в парче.

В конюшне Уседома было много отличных лошадей; но ни в Уседомовой конюшне, ни во всей Винете не было коня быстрее и красивее *Догони-Ветра* — так прозвал Уседом свою любимую вер-

ховую лошадь за быстроту ее ног. Никто не смел садиться на Догони-Ветра, кроме самого хозяина, и хозяин никогда не ездил верхом ни на какой другой лошади.

Случилось купцу в одну из своих поездок по торговым делам, возвращаясь в Винету, проезжать на своем любимом коне через большой и темный лес. Дело было под вечер, лес был страшно темен и густ, ветер качал верхушки угрюмых сосен; купец ехал один-одинешенек и шагом, сберегая своего любимого коня, который устал от дальней поездки.


Вдруг из-за кустов, будто из-под земли, выскочило шестеро плечистых молодцов со зверскими лицами, в мохнатых шапках, с рогатинами, топорами и ножами в руках; трое были на лошадях, трое пешком, и два разбойника уже схватили было лошадь купца за узду.

Не видать бы богатому Уседому своей родимой Винеты, если бы под ним был другой какой-нибудь конь, а не Догони-Ветер. Почуяв на узде чужую руку, конь рванулся вперед, своею широкою, сильною грудью опрокинул на землю двух дерзких злодеев, державших его за узду, смял под ногами третьего, который, махая рогатиной, забежал вперед и хотел было преградить ему дорогу, и помчался как вихрь. Конные разбойники пустились вдогонку; лошади у них были тоже хорошие, но куда же им догнать Уседомова коня?

Догони-Ветер, несмотря на свою усталость, чуя погоню, мчался, как стрела, пущенная из туго натянутого лука, и далеко оставил за собою разъяренных злодеев.

Через полчаса Уседом уже въезжал в родимую Винету на своем добром коне, с которого пена ключьями валилась на землю.

Слезая с лошади, бока которой от усталости


 подымались высоко, купец тут же, трепля Догони-Ветра по взмыленной шее, торжественно обещал: что бы с ним ни случилось, никогда не продавать и не дарить никому своего верного коня, не прогонять его, как бы он ни состарился, и ежедневно, до самой смерти, отпускать коню по три меры лучшего овса.

Но, поторопившись к жене и детям, Уседом не присмотрел сам за лошадью, а ленивый работник не выводит измученного коня как следует, не дал ему совершенно остыть и напоил раньше времени.

С тех самых пор Догони-Ветер и начал хворать, хилеть, ослабел на ноги и, наконец, ослеп. Купец очень горевал и с полгода верно соблюдал свое обещание: слепой конь стоял по-прежнему на конюшне, и ему ежедневно отпускалось по три меры овса.

Уседом потом купил себе другую верховую лошадь, и через полгода ему показалось слишком нерасчетливо давать слепой, никуда не годной лошади по три меры овса, и он велел отпускать две. Еще прошло полгода; слепой конь был еще молод, приходилось его кормить долго, и ему стали отпускать по одной мере. Наконец, и это показалось купцу тяжело, и он велел снять с Догони-Ветра узду и выгнать его за ворота, чтобы не занимал напрасно места в конюшне. Слепого коня работники выпроводили со двора палкой, так как он упирался и не шел.

Бедный слепой Догони-Ветер, не понимая, что с ним делают, не зная и не видя, куда идти, остался стоять за воротами, опустивши голову и печально шевеля ушами. Наступила ночь, пошел снег, спать на камнях было жестко и холодно для бедной слепой лошади. Несколько часов простояла она на



одном месте, но наконец голод заставил ее искать пищи. Поднявши голову, нюхая в воздухе, не попадетсЯ ли где-нибудь хоть клоч соломы со старой, осунувшейся крыши, брела наудачу слепая лошадь и натыкалась беспрестанно то на угол дома, то на забор.

Надобно вам знать, что в Винете, как и во всех старинных славянских городах, не было князя, а жители города управлялись сами собою, собираясь на площадь, когда нужно было решать какие-нибудь важные дела. Такое собрание народа для решения его собственных дел, для суда и расправы, называлось *вечем*. Посреди Винеты, на площади, где собиралось вече, висел на четырех столбах большой вечевой колокол, по звону которого собирался народ и в который мог звонить каждый, кто считал себя обиженным и требовал от народа суда и защиты. Никто, конечно, не смел звонить в вечевой колокол по пустякам, зная, что за это от народа сильно достанется.

Бродя по площади, слепая, глухая и голодная лошадь случайно набрела на столбы, на которых висел колокол, и, думая, быть может, вытащить из стрехи пучок соломы, схватила зубами за веревку, привязанную к языку колокола, и стала дергать: колокол зазвонил так сильно, что народ, несмотря на то что было еще рано, толпами стал сбегаться на площадь, желая знать, кто так громко требует его суда и защиты. Все в Винете знали Догони-Ветра, знали, что он спас жизнь своему хозяину, знали обещание хозяина — и удивились, увидя посреди площади бедного коня — слепого, голодного, дрожащего от стужи, покрытого снегом. Скоро объяснилось, в чем дело, и когда народ узнал, что богатый Уседом выгнал из дому слепую лошадь, спасшую ему жизнь, то единодушно решил, что

Догони-Ветер имел полное право звонить в вечевой колокол.

Потребовали на площадь неблагодарного купца; и, несмотря на его оправдания, приказали ему содержать лошадь по-прежнему и кормить ее до самой ее смерти. Особый человек приставлен был смотреть за исполнением приговора, а самый приговор был вырезан на камне, поставленном в память этого события на вечевой площади...



ДВА ПЛУГА



з одного и того же куска железа и в одной и той же мастерской были сделаны два плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошел в работу, а другой долго и совершенно бесполезно провалялся в лавке купца.

Случилось через несколько времени, что оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и был даже еще лучше, чем в то время, когда он только что вышел из мастерской; плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел и покрылся ржавчиной.

— Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестяшь? — спросил заржавевший плуг у своего старого знакомого.

— От труда, мой милый, — отвечал тот, — а если

ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что всё это время ты пролежал на боку, ничего не делая.



ВЕТЕР И СОЛНЦЕ



днажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.

— Посмотри,— сказал Ветер,— как я налечу на него: мигом сорву с него плащ.

Сказал,— и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему плаща не сдернуть.

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.

— Видишь ли,— сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру,— лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.



ДВА КОЗЛИКА



ва упрямых козлика встретились однажды на узком бревне, переброшенном через ручей. Обоим разом перейти ручей было невозможно; приходилось кому-нибудь воротиться назад, дать другому дорогу и обождать.

— Уступи мне дорогу,— сказал один.

— Вот еще! Поди-ка ты, какой важный барин,— отвечал другой,— пятак назад, я первый взошел на мост.

— Нет, брат, я гораздо постарше тебя годами, и мне уступить молокососу! Ни за что!

Тут оба, долго не думавши, столкнулись крепкими лбами, сцепились рогами и, упираясь тоненькими ножками в колоду, стали драться. Но колода была мокра: оба упрямяца поскользнулись и полетели прямо в воду.



ОХОТНИК ДО СКАЗОК



ил себе старик со старухою, и был старик большой охотник до сказок и всяких рассказней.

Приходит зимою к старику солдат и просится ночевать.

— Пожалуй, служба, ночуй,— говорит старик,— только с уговором: всю ночь мне рассказывай. Ты человек бывалый, много видел, много знаешь.

Солдат согласился.

Поужинали старик с солдатом, и легли они оба на полати рядышком, а старуха села на лавку и стала при лучине прясть.

Долго рассказывал солдат старику про свое житье-бытье, где был и что видел. Рассказывал до полуночи, а потом помолчал немного и спрашивает у старика:

— А что, хозяин, знаешь ли ты, кто с тобою на полатях лежит?

— Как кто? — спрашивает хозяин,— вестимо, солдат.

— Ан, нет, не солдат, а волк.

Поглядел мужик на солдата, и точно — волк. Испугался старик, а волк ему и говорит:

— Да ты, хозяин, не бойся, погляди на себя, ведь и ты медведь.

Оглянулся на себя мужик,— и точно, стал он медведем.

— Слушай, хозяин,— говорит тогда волк,— не приходится нам с тобою на полатях лежать; чего

добрého, придут в избу люди, так нам смерти не миновать. Убежим-ка лучше, пока целы.

Вот и побежали волк с медведем в чистое поле.

Бегут, а навстречу им хозяинова лошадь. Увидел волк лошадь и говорит:

— Давай съедем!

— Нет, ведь это моя лошадь,— говорит старик.

— Ну так что же что твоя: голод не тетка.

Съели они лошадь и бегут дальше, а навстречу им старуха, старикова жена. Волк опять и говорит:

— Давай старуху съедем.

— Как есть? да ведь это моя жена,— говорит медведь.

— Какая твоя! — отвечает волк.

Съели и старуху.

Так-то пробегали медведь с волком целое лето. Настает зима.

— Давай,— говорит волк,— заляжем в берлогу; ты полезай дальше, а я спереди лягу. Когда найдут на нас охотники, то меня первого застрелят, а ты смотри: как меня убьют да начнут шкуру сдирать, выскочи из берлоги, да через шкуру мою переметнись,— и станешь опять человеком.

Вот лежат медведь с волком в берлоге; набрали на них охотники, застрелили волка и стали с него шкуру снимать. А медведь как выскочит из берлоги да кувырком через волчью шкуру... и полетел старик с полатей вниз головой.

— Ой, ой! — завопил старый,— всю спинушку себе отбил.

Старуха перепугалась и вскочила.

— Что ты, что с тобой, родимый? Отчего упал, кажись, и пьян не был!

— Как отчего? — говорил старик,— да ты, видно, ничего не знаешь!

И стал старик рассказывать: мы-де с солдатом зверьем были; он волком, я медведем; лето целое пробегали, лошадушку нашу съели и тебя, старуха, съели. Взясась тут старуха за бока и ну хохотать.

— Да вы,— говорит,— оба уже с час вместе на полатях во всю мочь храпите, а я всё сидела да пряла.

Больно расшибся старик; перестал он с тех пор до полуночи сказки слушать.



НЕ ЛАДНО СКРОЕН,
ДА КРЕПКО СШИТ



еленький, гладенький
зайчик сказал ежу:

— Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье!

— Правда,— отвечал еж,— но мои колючки спасают меня от зубов собаки и волка; служит ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка?

Зайчик вместо ответа только вздохнул.



ЖАЛОБЫ ЗАЙКИ



астужился, распла-
кался серенький зайка, под кустиком сидючи; пла-
чет, приговаривает:

«Нет на свете доли хуже моей, серенького зай-
ки! И кто только не точит зубов на меня? Охотники,
собаки, волк, лиса и хищная птица; кривоносый
ястреб, пучеглазая сова; даже глупая ворона и та
таскает своими кривыми лапами моих милых де-
тушек — сереньких зайчат. Отовсюду грозит мне
беда; а защищаться-то нечем: лазить на дерево, как
белка, я не могу; рыть нор, как кролик, не умею.
Правда, зубки мои исправно грызут капустку и ко-
ру гложут, да укусить смелости не хватает. Бегать
я таки мастер и прыгаю недурно; но хорошо, если
придется бежать по ровному полю или на гору, а
как под гору — то и пойдешь кувырком через го-
лову: передние ноги не доросли.

Всё бы еще можно жить на свете, если б не
трусость негодная. Заслышишь шорох,— уши по-
дымутся, сердчишко забьется, невзвидишь света,
пырскнешь из куста,— да и угодишь прямо в те-
нёта* или охотнику под ноги.

Ох, плохо мне, серенькому зайке! Хитришь, по
кустикам прячешься, по заочкам слоняешься, сле-
ды путаешь; а рано или поздно беды не мино-
вать: и потащит меня кухарка на кухню за длинные
уши.

Одно только и есть у меня утешение, что хво-
стик коротенький: собаке схватить не за что. Будь

у меня такой хвостище, как у лисицы, куда бы мне с ним деваться? Тогда бы, кажется, пошел и утопился».



ЛИСА И КОЗЕЛ



ежала лиса, на ворон зазевалась,— и попала в колодец. Воды в колодце было немного: утонуть нельзя, да и выскочить тоже. Сидит лиса, горюет. Идет козел, умная голова; идет, бородищей трясет, рожищами мотает; заглянул, от нечего делать, в колодец, увидел там лису и спрашивает:

— Что ты там, лисонька, поделываешь?

— Отдыхаю, голубчик,— отвечает лиса.— Там наверху жарко, так я сюда забралась. Уж как здесь прохладно да хорошо! Водицы холодненькой — сколько хочешь.

А козлу давно пить хочется.

— Хороша ли вода-то? — спрашивает козел.

— Отличная! — отвечает лиса.— Чистая, холодная! Прыгай сюда, коли хочешь; здесь обоим нам место будет.

Прыгнул сдуру козел, чуть лисы не задавил, а она ему:

— Эх, бородатый дурень! И прыгнуть-то не умел — всю обрызгал.

Вскочила лиса козлу на спину, со спины на рога, да и вон из колодца.

Чуть было не пропал козел с голоду в колодце; насилу-то его отыскали и за рога вытащили.

ПЕТУХ ДА СОБАКА



ил старичок со старушкой, и жили они в большой бедности. Всех животных* у них только и было что петух и собака, да и тех они плохо кормили. Вот собака и говорит петуху:

— Давай, брат Петька, уйдем в лес: здесь нам житье плохое.

— Уйдем,— говорит петух,— хуже не будет.

Вот и пошли они куда глаза глядят. Пробродили целый день; стало смеркаться — пора на ночлег приставать. Сошли они с дороги в лес и выбрали большое дуплистое дерево. Петух взлетел на сук, собака залезла в дупло и — заснули.

Утром, только что заря стала заниматься, петух и закричал: «Ку-ку-ре-ку!» Услыхала петуха лиса; захотелось ей петушьям мясом полакомиться. Вот она подошла к дереву и стала петуха расхваливать:

— Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и перышки-то какие красивые, и гребень-то какой красный, и голос-то какой звонкий! Слети ко мне, красавчик.

— А за каким делом? — спрашивает петух.

— Пойдем ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя много горошку припасено.

— Хорошо,— говорит петух,— только мне одному идти никак нельзя: со мной товарищ.

«Вот какое счастье привалило! — подумала лиса.— Вместо одного петуха будет два».

— Где же твой товарищ? — спрашивает она.— Я и его в гости позову.

— Там, в дупле ночует,— отвечает петух.
Лиса кинулась в дупло, а собака ее за морду — цап!.. Поймала и разорвала лису.



ПЛУТИШКА КОТ

I



или-были на одном дворе кот, козел да баран. Жили они дружно: сена клок и тот пополам; а коли вилы в бок, так одному коту Ваське. Он такой вор и разбойник: где что плохо лежит, туда и глядит. Вот идет раз котийско-мурлышко, серый лобишко; идет да таково жалостно плачет. Спрашивают кота козел да баран:

— Котик-коток, серенький лобок! О чем ты плачешь, на трех ногах скачешь?

Отвечает им Вася:

— Как мне не плакать! Била меня баба, била; уши выдирала, ноги поломала, да еще и удавку на меня припасала.

— А за что же на тебя такая беда пришла? — спрашивают козел да баран.

— Эх-эх! За то, что нечаянно сметанку слизал.

— Поделом вору и мўка,— говорит козел,— не вору сметаны!

Вот кот опять плачет:

— Била меня баба, била; била — приговаривала: придет ко мне зять, где сметаны будет взять? Поневоле придется козла да барана резать.



Заревели тут козел да баран:

— Ах ты, серый ты кот, бестолковый твой лоб!
За что ты нас-то сгубил?

Стали они судить да рядить, как бы им беды великой избыть*, — и порешили тут же: всем троим бежать. Подстерегли, как хозяйка не затворила ворот, и ушли.

II

Долго бежали кот, козел да баран по долам, по горам, по сыпучим пескам; пристали и порешили заночевать на скошенном лугу; а на том лугу стога, что города, стоят.

Ночь была темная, холодная: где огня добыть? А котешка-мурлышка уж достал бересты, обернул козлу рога и велел ему с бараном лбами стукнуться. Стукнулись козел с бараном, искры из глаз посыпались: бересточка так и запылала.

— Ладно, — молвил серый кот, — теперь обогреемся! — да недолго думавши и зажег целый стог сена.

Не успели они еще порядком обогреться, как жалуется к ним незванный гость — мужичок-серячок, Михайло Потапыч Топтыгин.

— Пустите, — говорит, — братцы, обогреться да отдохнуть; что-то мне неможется.

— Добро пожаловать, мужичок-серячок! — говорит котик. — Откуда идешь?

— Ходил на пчельник, — говорит медведь, — пчелок проведать, да подрался с мужиками, оттого и хворость прикинулась.

Вот стали они все вместе ночку коротать: козел да баран у огня, мурлышка на стог влез, а медведь под стог забился.



Заснул медведь; козел да баран дремлют; один мурлыка не спит и всё видит. И видит он: идут семь волков серых, один белый — и прямо к огню.

— Фу-фу! Что за народ такой! — говорит белый волк козлу да барану.— Давай-ка силу пробовать.

Заблеяли тут со страху козел да баран; а котишка, серый лобишка, повел такую речь:

— Ах ты, белый волк, над волками князь! Не гневи ты нашего старшего: он, помилуй бог, сердит! Как расходится — никому несдобровать. Аль не видишь у него бороды: в ней-то и вся сила; бородой он всех зверей побивает, рогами только кожу сымает. Лучше подойдите да честью попросите: хотим-де поиграть с твоим меньшим братцем, что под стогом спит.

Волки на том козлу кланялись; обступили Мишу и ну заигрывать. Вот Миша крепился-крепился да как хватит на каждую лапу по волку, так запели они Лазаря*. Выбрались волки из-под стога еле живы и, поджав хвосты,— давай бог ноги!

Козел же да баран, пока медведь с волками справлялся, подхватили мурлышку на спину и поскорей домой: «Полно, говорят, без пути таскаться, еще не такую беду наживем».

Старик и старушка были рады-радехоньки, что козел с бараном домой воротились; а котишку-мурлышку еще за плутни выдрали.



Михаил Ларионович
Михайлов

ЛЕСНЫЕ
ХОРОМЫ



ел лесом прохо-
жий да обронил кузовок. Обронил и не хватился, и
остался кузовок у дороги.

Летела муха, увидала, думает: «Дай загляну, нет
ли чего съестного». А в крышке как раз такая
дырка, что большой мухе пролезть.

Влезла она, съестного не нашла: кузовок пустой,
только на дне хлебных крошек немножко осталось.
«Зато хоромы хороши! — подумала муха.— Стану в
них жить. Здесь меня ни птица не склюет, ни
дождик не замочит».

И стала тут муха жить. Живет день, живет
другой. И вылетать не надо: крошек еще всех не
переела.

Прилетает комар, сел у дырки, спрашивает:

— Кто в хоромах? Кто в высоких?

— Я, муха-громотуха, а ты кто?

— А я комар-пискун. Пусти в гости!

— Что в гости! Пожалуй, хоть живи тут.
Не успел комар пробраться в кузов, а уж у
дверей оса сидит:

— Кто в хоромах?

Те отвечают:

— Двое нас: муха-громотуха да комар-пискун,
а ты кто?

— А я оса-пеструха. Будет мне место?

— Место-то будет, да как в дверь пройдешь?

— Мне только крылышки сложить: а я не тол-
ста, везде пройду.

— Ну, добро пожаловать!

Она — в кузов, а у двери уж опять спрашивают:

— Кто в хоромах? Кто в высоких?

— Муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-
пеструха, а ты кто?

— А я слепень-жигун.

— Зачем?

— Да к вам побывать.

— Милости просим! Да пролезешь ли?

— Как не пролезть! Только немножко бока
подтяну.

Пролез и слепень в кузовок.

Пошли у них разговоры.

Муха говорит:

— Я муха не простая, а большая. Порода наша
важная, ведет род исстари. Везде нам вход откры-
тый. В любой дворец прилетай — обед готов. Чего
только я не ела! Где только я не была! Не знаю,
есть ли кто знатнее меня!

— Кажется, и мы не из простых! — говорит
оса.— Уж не передо мною бы хвастаться! Я всем
взяла: и красотой, и голосом, и нарядиться, и спеть
мастерица. Все цветы меня в гости зовут, поят-
кормят. Не знаю, есть ли кто на свете наряднее да
голосистее! Посмотрела бы я!



— А меня не пережужжишь,— сказал слепень.

— Да у тебя приятности в голосе нет. У меня голос тонкий,— говорит оса.

— А у меня и тоньше и звонче! — пискнул комар.

И пошли они перекоряться.

Только слышат, опять кто-то у дверки возится.

— Кто там? — спрашивают.

Никто не отзывается.

— Кто у терема? Кто у высокого?

Опять ответа нет.

— Кто нас тут беспокоит? Мы здесь не сброд какой-нибудь, а муха-громотуха, да комар-пискун, да оса-пеструха, да слепень-жигун.

Сверху не отвечают.

— Надо бы взлететь да посмотреть! — крикнули все в один голос.

— Я первая не полечу, я всех знатнее,— говорит муха.

— Я первый не полечу, я всех голосистее,— говорит комар.

— Я первая не полечу, я всех наряднее,— говорит оса.

— Я первый не полечу, я всех сильнее,— говорит слепень.

И пошел у них спор: никто лететь смотреть не хочет.

Вдруг в хоромах стало будто темнее.

— Что это за невежа нам свет заслоняет? — крикнули все.

— Да ведь это, никак, паук свою сеть заплел,— сказал комар.

— Ах, и в самом деле! — загудели все.— Как нам быть? Что делать? Надо поскорее выбираться! Покамест еще сеть не крепка, прорвемся.

— Мне первой,— кричит муха,— я всех знатнее!

— Мне первой,— жужжит оса,— я всех наряднее!

— Мне первому,— пищит комар,— я всех голосистее!

— Мне первому,— гудит слепень,— я всех сильнее!

И пошел у них опять спор. Чуть до драки не доходило.

Покуда они спорили и вздорили, паук плел да плел свою паутину. А как согласились, кому за кем лететь, все в ней и засели.



ДВА МОРОЗА



уляли по чистому полю два Мороза, два родных брата, с ноги на ногу поскакивали, рукой об руку поколачивали.

Говорит один Мороз другому:

— Братец Мороз — Багровый нос! Как бы нам позабавиться — людей поморозить?

Отвечает ему другой:

— Братец Мороз — Синий нос! Коль людей морозить — не по чистому нам полю гулять. Поле всё снегом занесло, все проезжие дороги замело: никто не пройдет, не проедет. Побежим-ка лучше к чистому бору! Там хоть и меньше простору, да зато забавы будет больше. Всё нет-нет, да кто-нибудь и встретится по дороге.

Сказано — сделано. Побежали два Мороза, два родных брата, в чистый бор. Бегут, дорогой тешатся: с ноги на ногу попрыгивают, по елкам, по сосенкам пощелкивают. Старый ельник трещит, молодой сосняк поскрипывает. По рыхлому ль снегу пробегут — кора ледяная; былинка ль из-под снегу выглядывает — дунут, словно бисером ее всю унижут.

Послышали они с одной стороны колокольчик, а с другой бубенчик: с колокольчиком барин едет, с бубенчиком — мужичок.

Стали Морозы судить да рядить, кому за кем бежать, кому кого морозить.

Мороз — Синий нос, как был помоложе, говорит:

— Мне бы лучше за мужичком погнаться. Его скорей дойму: полушубок старый, заплатанный, шапка вся в дырах, на ногах, кроме лаптишек, — ничего. Он же, никак, дрова рубить едет. А уж ты, братец, как посильнее меня, за барином беги. Видишь, на нем шуба медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи. Где уж мне с ним! Не совладаю.

Мороз — Багровый нос только подсмеивается.

— Молод еще ты, — говорит, — братец!.. Ну, да уж быть по-твоему. Беги за мужичком, а я побегу за барином. Как сойдемся под вечер, узнаем, кому была легка работа, кому тяжела. Прощай покамест!

— Прощай, братец!

Свистнули, щелкнули, побежали.

Только солнышко закатилось, сошлись они опять на чистом поле. Спрашивают друг друга — что?

— То-то, я думаю, намаялся ты, братец, с барином-то, — говорит младший, — а толку, глядишь, не вышло никакого. Где его было пронять!

Старший посмеивается себе.

— Эх,— говорит,— братец Мороз — Синий нос, молод ты и прост! Я его так уважил, что он час будет греться — не отогреется.

— А как же шуба-то, да шапка-то, да сапоги-то?

— Не помогли. Забрался я к нему и в шубу, и в шапку, и в сапоги, да как зачал знобить! Он-то ёжится, он-то жметя да кутается; думает: дай-ка я ни одним суставом не шевельнусь, авось меня тут мороз не одолеет. Ан не тут-то было! Мне-то это и с руки. Как принялся я за него — чуть живого в городе из повозки выпустил! Ну, а ты что со своим мужичком сделал?

— Эх, братец Мороз — Багровый нос! Плохую ты со мной шутку шутил, что вовремя не образумил. Думал — заморожу мужика, а вышло — он же отломал мне бока.

— Как так?

— Да вот как. Ехал он, сам ты видел, дрова рубить. Дорогой начал было я его пронимать, только он всё не робеет — еще ругается: такой, говорит, сякой этот мороз. Совсем даже обидно стало; принялся я его еще пуще щипать да колоть. Только ненадолго была мне эта забава. Приехал он на место, вылез из саней, принялся за топор. Я-то думаю: тут мне сломить его. Забрался к нему под полушубок, давай его язвить. А он-то топором машет, только щепки кругом летят. Стал даже пот его прошибать. Вижу: плохо — не усидеть мне под полушубком. Под конец инда пар от него повалил. Я прочь поскорее. Думаю, как быть? А мужик всё работает да работает. Чем бы зябнуть, а ему жарко стало. Гляжу: скидает с себя полушубок. Обрадовался я. «Погоди же, говорю, вот я тебе покажу себя!» Полушубок весь мокрехонек. Я в него забрался, заморозил так, что он стал лубок лубком.

Надевай-ка теперь, попробуй! Как покончил мужик свое дело да подошел к полушубку, у меня и сердце взыграло: то-то потешусь! Посмотрел мужик и принялся меня ругать — все слова перебрал, что нет их хуже. «Ругайся,— думаю я себе,— ругайся! А меня всё не выживешь!» Так он бранью не удовольствовался — выбрал полено подлиннее да посучковатее, да как примется по полушубку бить! По полушубку бьет, а меня всё ругает. Мне бы бежать поскорее, да уж больно я в шерсти-то завяз — выбраться не могу. А он-то колотит, он-то колотит! Насилу я ушел. Думал, костей не соберу. До сих пор бока ноют. Закаялся я мужиков морозить.

— То-то!



ДУМЫ



ыкопал мужик яму в лесу, прикрыл ее хворостом — не попадетсЯ ли какой зверь.

Бежала лесом лисица. Загляделась по верхам — бух в яму!

Летел журавль. Спустился корму поискать — завязил ноги в хворосте; стал выбиваться — бух в яму!

И лисе горе, и журавлю горе. Не знают, что делать, как из ямы выбраться.

Лиса из угла в угол мечется — пыль по яме столбом; а журавль одну ногу поджал — и ни с места, и всё перед собой землю клюет, всё перед собой землю клюет!



Думают оба, как бы беде помочь.

Лиса побѣгает, побѣгает, да и скажет:

— У меня тысяча, тысяча, тысяча думушек!

Журавль поклюет, поклюет, да и скажет:

— А у меня одна дума!

И опять примутся: лиса — бегать, а журавль — клевать.

«Экой,— думает лиса,— глупый этот журавль! Что он всё землю клюет? Того и не знает, что земля толстая и насквозь ее не проклюешь».

А сама всё кружит по яме да говорит:

— У меня тысяча, тысяча, тысяча думушек!

А журавль всё перед собой клюет да говорит:

— А у меня одна дума!

Пошел мужик посмотреть, не попался ли кто в яму.

Как слышала лиса, что идут, принялась еще пуще из угла в угол метаться и всё только и говорит:

— У меня тысяча, тысяча, тысяча думушек!

А журавль совсем смолк и клевать перестал. Смотрит лиса: свалился он, ножки протянул и не дышит. Умер с перепугу, сердечный!

Приподнял мужик хвост; видит — попались в яму лиса да журавль: лиса юлит по яме, а журавль лежит — не шелохнётся.

— Ах ты,— говорит мужик,— подлая лисица! Заела ты у меня этакую птицу!

Вытащил журавля за ноги из ямы; пощупал его — совсем еще теплый журавль; еще пуще стал лису бранить.

А лиса-то бегаёт по яме, не знает, за какую думушку ей ухватиться: тысяча, тысяча, тысяча думушек!

— погоди ж ты! — говорит мужик.— Я тебе намну бока за журавля!



Положил птицу подле ямы — да к лисе.
Только что он отвернулся, журавль как расправит крылья да как закричит:
— У меня одна дума была!
Только его и видели.
А лиса со своей тысячью, тысячью, тысячью думушек попала на воротник к шубе.



ВОЛГА И ВАЗУЗА



ольшая река Волга, которую русский народ зовет и матушкой, и кормилицей, и малая речка Вазуза, про которую знают только в тех местах, где она протекает, вышли из земли по соседству одна с другой малыми ручьями и заспорили, кто из них будет больше, кто сильнее, кому будет почет и старшинство. Спорили-спорили, да как друг дружку не переспорили, так и решили на том, чтобы лечь им вместе спать, и которая раньше встанет да прежде прибежит к Хвалынскому морю*, та и больше и сильнее, той и почет и старшинство.

Легла Волга спать, легла и Вазуза. Волга заснула, а Вазуза не спит — думает, как бы ей Волгу обогнать. Поднялась она ночью потихоньку, выбрала дорогу попрямее да поближе и шибко-шибко пустилась с гор по долам к морю Хвалынскому.

Проснулась Волга на заре и пошла себе ни тихо, ни скоро, а средним своим ходом. Нечего было ей

днем ни плутать, ни мест выбирать, и догнала она Вазузу у города Зубцова и грозно на нее напустилась за ее обман.

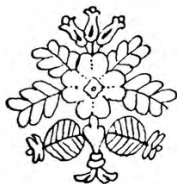
Много Вазуза за ночь пути пробежала, немало ей было труда себе дорогу торить, изустала она, измучилась, да как увидала Волгу, что та и полна, и широка, и силы в ней много, испугалась, притихла, назвалась меньшей ее сестрой и стала просить:

— Прими меня, Волга, к себе на руки, снеси меня в синё море!

Не попомнила Волга зла, взяла Вазузу и понесла ее в глубокое море Хвалынское, только с тем уговором, чтобы бессонная Вазуза по веснам её раньше будила.

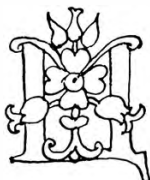
И держит Вазуза уговор крепко и верно: Волга еще спит, а она уж пробуждается от тяжелого зимнего сна и бежит к старшей сестре и зовет:

— Вставай, Волга! Пора!



Николай Алексеевич
Некрасов

СКАЗКА О ДОБРОМ ЦАРЕ,
ЗЛОМ ВОЕВОДЕ
И БЕДНОМ
КРЕСТЬЯНИНЕ



Царь Аарон был
ласков до народа,

Да при нем был лютый воевода.
Никого к царю не допускал,
Мужиков порол и обирал;
Добыл рубль — неси ему полтину,
Сыпь в его анбары половину
Из ржи, пшеницы, конопли;
Мужики ходили наги, босы,
Ни мольбы народа, ни доносы
До царя достигнуть не могли:
У ворот, как пес, с нагайкой лежа,
Охранял покой его вельможа
И, за ветром, стона не слышал.
Мужики ругались втихомолку,
Да в ругне заглазной мало толку,
Сила в том, что те же мужики
Палачу снискали* колпаки.
Про терпенье русского народа



Сам шутил однажды воевода:
«В мире нет упрямей мужика.
Так лежит под розгами безгласно,
Что засечь разбойника опасно,
В меру дать задача нелегка».
Но гремит подчас и не из тучи,—
Пареньку, обутому в онучи,
Раз господь сокровище послал:
Про свою кручину напевая
И за плугом медленно шагая,
Что-то вдруг Ерема увидал.
Поднимает — камень самоцветный!
Оробел крестьянин безответный,
Не пропасть бы, думает, вконец*,—
И бежит с находкой во дворец.
«Ты куда? — встречает воевода.—
Вон! Не то нагайкой запорю!»
— Дело есть особенного рода,
Я несу подарочек царю,
Допусти! — Показывает камень:
Словно солнца утреннего пламень,
Блеск его играет и слепит.
«Так и быть! — вельможа говорит.—
Перейдешь ты трудную преграду,
Только, чур: монаршую награду
Раздели со мною пополам».
— Вот те крест! Хоть всю тебе отдам! —
Камень был действительно отменный:
За такой подарок драгоценный
Ставит царь Ереме полведра
И дарит бочонок серебра.
Повалился в ноги мужичонко.
— Не возьму, царь-батюшка, бочонка,
Мужику богатство не прок! —
«Так чего ж ты хочешь, мужичок?»
— Знаешь сам, мужицкая награда —



Плеть да кнут, и мне другой не надо.
Прикажи мне сотню палок дать,
За тебя молиться буду вечно! —
Возжалев крестьянина сердечно,
«Получи!» — изволил царь сказать.
Мужика стегают полегоньку,
А мужик считает потихоньку:
— Раз, два, три, — боится недонять.
Как полста ему вlepили в спину,
— Стой теперь! — Ерема закричал. —
Из награды царской половину
Воеводе я пообещал! —
Расспросив крестьянина подробно,
Царь сказал, сверкнув очами злобно:
«Наконец попался старый вор!»
И велел исполнить уговор.
Воеводу тут же разложили
И полсотни счетом отпустили,
Да таких, что полгода, почесть,
Воеводе трудно было сесть.



ГЕНЕРАЛ
ТОПТЫГИН



ело под вечер,
зимой,
И морозец знатный.
По дороге столбовой
Едет парень молодой,
Ямщикок обратный;
Не спешит, трусит слегка;



Лошади не слабы,
Да дорога не гладка —
Рытвины, ухабы.
Нагоняет ямщикок
Вожака с медведем:
«Посади нас, паренек,
Веселей доедем!»
— Что ты? с мишкой? — «Ничего!
Он у нас смиренный,
Лишний шкалик* за него
Поднесу, почтенный!»
— Ну, садитесь! — Посадил
Бородач медведя,
Сел и сам — и потрусил
Полегоньку Федя...
Видит Трифон кабачок,
Приглашает Федю.
«Подожди ты нас часок!» —
Говорит медведю.
И пошли. Медведь смирен,—
Видно, стар годами,
Только лапу лижет он
Да звенит цепями...
Час проходит; нет ребят,
То-то выпьют лихо!
Но привычные стоят
Лошаденки тихо.

Свечерело. Дрожь в конях,
Стужа злее на ночь;
Заворочался в санях
Михайло Иваныч,
Кони дернули; стряслась
Тут беда большая —
Рявкнул мишка! — понеслась
Тройка как шальная!



Колокольчик услышал,
Выбежал Федюха,
Да напрасно — не догнал!
Экая поруха!

Быстро, бешено неслась
Тройка — и не диво:
На ухабе всякий раз
Зверь рычал ретиво;
Только стон кругом стоял:
«Очищай дорогу!
Сам Топтыгин-генерал
Едет на берлогу!»
Вздрогнет встречный мужичок,
Жутко станет бабе,
Как мохнатый седочок
Рявкнет на ухабе.
А коням подавно страх —
Не передохнули!
Верст пятнадцать на весь мах
Бедные отдули!

Прямо к станции летит
Тройка удалая.
Проезжающий сидит,
Головой мотая:
Ладит вывернуть кольцо.
Вот и стала тройка;
Сам смотритель* на крыльцо
Выбегает бойко.
Видит, ноги в сапогах
И медвежья шуба,
Не заметил впопыхах,
Что с железом губа*,
Не подумал: где ямщик
От коней гуляет?



Видит — барин материк,
«Генерал», — смекает.
Поспешил фуражку снять:
«Здравия желаю!
Что угодно приказать,
Водки или чаю?..»
Хочет барину помочь
Юркий старичишка;
Тут во всю медвежью мочь
Заревел наш мишка!
И зритель отскочил:
«Господи помилуй!
Сорок лет я прослужил
Верой, правдой, силой;
Много видел на тракту
Генералов строгих,
Нет ребра, зубов во рту
Не хватает многих,
А такого не видал,
Господи Исусе!
Небывалый генерал,
Видно, в новом вкусе!..»

Прибежали ямщики,
Подивились тоже;
Видят — дело не с руки,
Что-то тут негоже!
Собрался честной народ,
Всё село в тревоге:
«Генерал в санях ревет,
Как медведь в берлоге!»
Трус бежит, а кто смелей,
Те — потехе ради*,
Жмутся около саней;
А зритель сзади.
Струсил, издали кричит:



«В избу не хотите ль?»
Мишка вновь как зарычит...
Убежал смотритель!
Оробел и убежал
И со всею свитой...

Два часа в санях лежал
Генерал сердитый.
Прибежали той порой
Ямщик и вожатый;
Вразумил народ честной
Трифон бородатый
И Топтыгина прогнал
Из саней дубиной...
А смотритель обругал
Ямщика скотиной...



Михаил Евграфович
Салтыков-Щедрин

ДИКИЙ
ПОМЕЩИК



некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и, на свет глядячи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.


Только и взмолился однажды богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прощению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а всё прибывает,— видит и опасается: «А ну, как он у меня всё добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

 — Одно только слово написано,— молвит глупый помещик,— а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то, чтоб как-нибудь, а всё по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим,— потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть*; куда ни глянут — всё нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: «Моя вода!» Курица за околицу выбредет — помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — всё его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь*, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

— Господи! легче нам пропáсть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки*. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально*, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думаю, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней невымытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице рбстить собрался? — сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я всё гранпасьянс* да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»*

Сказано — сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письмо по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы, — стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаху нисколько не будет?



— Нисколько,— отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусь захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Чтó ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите, чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сыръем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что уже его в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на всё рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

— Посмотрим,— говорит,— господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, чтó может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз»* и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не

взирать». И как назло, сколько раз ни разложит — всё у него выходит, всё выходит! Не осталось в нем даже сомнения, никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна* указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покада довольно гранпасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И всё думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё паром да паром, а холопского духа чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех!» Посмотрит в окошко — ан там всё, как он задумал, всё точно так уж и есть! Ломятся по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а всё одно молоко, всё молоко! Думает, какой он клубники насадит, всё двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уже пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что́ может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покада стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещицкой непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой-такой твердый курицын сын у

вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...*

— Ева*, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя,— хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные* вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

— Так-с; а неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий*, существовать не может?

— Я что ж... я готов! Рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и всё думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»*

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, всё, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит

через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позмаслишь как следует!»


Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души всё еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев*, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав*, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же всё больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что



такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность производить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, влезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности,— а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь,— только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но в виду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями за-

ниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каком-то человеке-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доньше. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.



ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ



ил-был пискарь.

И отец и мать у него были умные; помаленьку, да полегоньку аридовы веки* в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали. «Смотри, сынок,— говорил старый пискарь, умирая,— коли хочешь жизнью жуировать*, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И неводá, и сети, и вёрши, и норота*, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?... в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостере-

гал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он, — потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приголубить хотят; ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целую артелью, во всю ширину реки невод растянули, да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть, сколько рыбы тогда попалось! И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, — даже лещей-лебежиков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает: вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить*. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают... Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом

один старичок глянул на него и говорит: «Какой от него, от малыша, прок для уха! пущай в реке порастет!» Взял его под жабры да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь* в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. Был он пискарь просвещенный, умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь прожить — не то, что мутовку облизать. «Надо так прожить, чтоб никто не заметил,— сказал он себе,— а не то как раз пропадешь!» — и стал устраиваться. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать*, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козьявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в

лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш!*

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает и все-то думает: «Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?»


Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Что, если б в это время щурёнок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытаращив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна,— глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул; не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: «Слава тебе, господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал



так: «Отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!»


И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! кажется, жив!»

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: «Вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было!» Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: «Слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец». И вспомнились ему тут щучьи слова: «Вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет...» А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: «Ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!»

Потому что для продолжения пискарьего рода прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискарья семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а

 не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались общественности, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствовать пискарью породу и не дозволит ей измельчать и выродиться в снетка*.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Всё это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: «Вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву!» Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому, никто».

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде, ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнёт. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная

смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы — может быть, как и он, пискари — и ни одна не поинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: «Дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал?» Плынут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что́ всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: «Слыхали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а всё только распостылюю свою жизнь бережет?» А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А покуда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам он своею смертью умер и всплыл на поверхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого?*

ПОВЕСТЬ О ТОМ,
КАК ОДИН МУЖИК
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ
ПРОКОРМИЛ



или да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре*; там родились, воспитались и состарились, следовательно, ничего не понимали. Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности».

Упразднили регистратуру за ненадобностью и выпустили генералов на волю. Оставшись за штатом, поселились они в Петербурге, в Подъяческой улице, на разных квартирах; имели каждый свою кухарку и получали пенсию. Только вдруг очутились на необитаемом острове, проснулись и видят: оба под одним одеялом лежат. Разумеется, сначала ничего не поняли и стали разговаривать, как будто ничего с ними и не случилось.

— Странный, ваше превосходительство, мне нынче сон снился,— сказал один генерал,— вижу, будто живу я на необитаемом острове...

Сказал это, да вдруг как вскочит! Вскочил и другой генерал.

— Господи! да что ж это такое! где мы! — вскрикнули оба не своим голосом.

И стали друг друга ощупывать, точно ли не во сне, а наяву с ними случилась такая оказия. Од-

нако, как ни старались уверить себя, что всё это не больше, как сновидение, пришлось убедиться в печальной действительности.

Перед ними с одной стороны расстилалось море, с другой стороны лежал небольшой клочок земли, за которым стлалось всё то же безграничное море. Заплакали генералы в первый раз после того, как закрыли регистратуру.

Стали они друг друга рассматривать и увидели, что они в ночных рубашках, а на шеях у них висит по ордену.

— Теперь бы кофейку испить хорошо! — молвил один генерал, но вспомнил, какая с ним неслыханная штука случилась, и во второй раз заплакал.

— Что же мы будем, однако, делать? — продолжал он сквозь слезы, — ежели теперича доклад написать — какая польза из этого выйдет?

— Вот что, — отвечал другой генерал, — подите вы, ваше превосходительство, на восток, а я пойду на запад, а к вечеру опять на этом месте сойдемся, может быть, что-нибудь и найдем.

Стали искать, где восток и где запад. Вспомнили, как начальник однажды говорил: «Если хочешь сыскать восток, то встань глазами на север, и в правой руке получишь искомое». Начали искать севера, становились так и сяк, перепробовали все страны света, но так как всю жизнь служили в регистратуре, то ничего не нашли.

— Вот что, ваше превосходительство: вы пойдите направо, а я налево; этак-то лучше будет! — сказал один генерал, который, кроме регистратуры, служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии* и, следовательно, был поумнее.

Сказано — сделано. Пошел один генерал напра-

во и видит — растут деревья, а на деревьях всякие плоды. Хочет генерал достать хоть одно яблоко, да все так высоко висят, что надобно лезть. Попробовал полезть — ничего не вышло, только рубашку изорвал. Пришел генерал к ручью, видит: рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит, и кишит*.

«Вот кабы этакой-то рыбки да на Подьяческую!» — подумал генерал и даже в лице изменился от аппетита.

Зашел генерал в лес — а там рябчики свищут, тетерева токуют, зайцы бегают.

— Господи! еды-то! еды-то! — сказал генерал, почувствовав, что его уже начинает тошнить.

Делать нечего, пришлось возвращаться на условленное место с пустыми руками. Приходит, а другой генерал уж дожидается.

— Ну что, ваше превосходительство, промыслили что-нибудь?

— Да вот нашел старый номер «Московских ведомостей»*, и больше ничего!

Легли опять спать генералы, да не спится им натошак. То беспокоит их мысль, кто за них будет пенсию получать, то припоминаются виденные днем плоды, рыбы, рябчики, тетерева, зайцы.

— Кто бы мог думать, ваше превосходительство, что человеческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях растет? — сказал один генерал.

— Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают.

— Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить... Только как всё это сделать?

— Как всё это сделать? — словно эхо, повторил другой генерал.

Замолчали и стали стараться заснуть; но голод решительно отгонял сон. Рябчики, индейки, поросята так и мелькали перед глазами, сочные, слегка поджаренные, с огурцами, пётушками* и другим салатом.

— Теперь я бы, кажется, свой собственный сапог съел! — сказал один генерал.

— Хороши тоже перчатки бывают, когда долго ношены! — вздохнул другой генерал.

Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы стучали, из груди вылетало глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и немедленно проглотил. Но вид текущей крови как будто образумил их.

— С нами крестная сила! — сказали они оба разом, — ведь этак мы друг друга съедим!

— И как мы попали сюда! кто тот злодей, который над нами такую штуку сыграл!


— Надо, ваше превосходительство, каким-нибудь разговором развлечься, а то у нас тут убийство будет! — проговорил один генерал.

— Начинайте! — отвечал другой генерал.

— Как, например, думаете вы, отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?

— Странный вы человек, ваше превосходительство: но ведь и вы прежде встаете, идёте в департамент, там пишите, а потом ложитесь спать?

— Но отчего же не допустить такую перестановку: сперва ложусь спать, вижу различные сновидения, а потом встаю!

 — Гм... да... А я, признаться, как служил в департаменте, всегда так думал: «Вот теперь утро, а потом будет день, а потом подадут ужинать — спать пора!»

Но упоминание об ужине обоих повергло в уныние и пресекло разговор в самом начале.

— Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал.

— Как так?

— Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся...

— Тогда что ж?

— Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...

— Тьфу!

Одним словом, о чем ни начинали генералы разговор, он постоянно сводился на воспоминание об еде, и это еще более раздражало аппетит. Положили: разговоры прекратить, и, вспомнив о найденном номере «Московских ведомостей», жадно принялись читать его.

«Вчера, — читал взволнованным голосом один генерал, — у почтенного начальника нашей древней столицы был парадный обед. Стол сервирован был на сто персон с роскошью изумительною. Дары всех стран назначили себе как бы рандеву* на этом волшебном празднике. Тут была и «шекснинска стерлядь золотая»*, и питомец лесов кавказских, фазан, и, столь редкая в нашем севере в феврале месяце, земляника...»

— Тьфу ты, господи! да неужто ж, ваше превосходительство, не можете найти другого предмета? — воскликнул в отчаянии другой генерал и, взяв у товарища газету, прочел следующее:

«Из Тулы пишут: вчерашнего числа, по случаю поимки в реке Упе осетра (происшествие, которого не запомнят даже старожилы, тем более что в осетре был опознан частный пристав Б.), был в здешнем клубе фестиваль. Виновника торжества внесли на громадном деревянном блюде, обложенного огурчиками и держащего в пасти кусок зелени. Доктор П., бывший в тот же день дежурным старшиною, заботливо наблюдал, дабы все гости получили по куску. Подливка была самая разнообразная и даже почти прихотливая...»

— Позвольте, ваше превосходительство, и вы, кажется, не слишком осторожны в выборе чтения! — прервал первый генерал и, взяв, в свою очередь, газету, прочел:

«Из Вятки пишут: один из здешних старожиллов изобрел следующий оригинальный способ приготовления ухи: взяв живого налима, предварительно его высечь; когда же, от огорчения, печень его увеличится...»

Генералы поникли головами. Всё, на что бы они ни обратили взоры, — всё свидетельствовало об еде. Собственные их мысли злоумышляли против них, ибо как они ни старались отгонять представления о бифштексах, но представления эти пробивали себе путь насильственным образом.

И вдруг генерала, который был учителем каллиграфии, озарило вдохновение...

— А что, ваше превосходительство, — сказал он радостно, — если бы нам найти мужика?

— То есть как же... мужика?

— Ну да, простого мужика... какие обыкновенно бывают мужики! Он бы нам сейчас и булок бы подал, и рябчиков бы наловил, и рыбы!

— Гм... мужика... но где же его взять, этого мужика, когда его нет?



— Как нет мужика — мужик везде есть, стоит только поискать его! Наверно, он где-нибудь спрятался, от работы отлынивает!

Мысль эта до того ободрила генералов, что они вскочили как встрепанные и пустились отыскивать мужика.

Долго они бродили по острову без всякого успеха, но, наконец, острый запах мякинного хлеба и кислой овчины навел их на след. Под деревом, брюхом кверху и подложив под голову кулак, спал громаднейший мужчина и самым нахальным образом уклонялся от работы. Негодованию генералов предела не было.

— Спишь, лежебок! — накинулись они на него, — небось и ухом не ведешь, что тут два генерала вторые сутки с голода умирают! сейчас марш работать!

Встал мужчина: видит, что генералы строгие.

Хотел было дать от них стрелка, но они так и закоченели, вцепившись в него.

И зачал он перед ними действовать.

Полез сперва-наперво на дерево и нарвал генералам по десятку самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое. Потом покопался в земле — и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, потер их друг об дружку — и извлек огонь. Потом из собственных волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец развел огонь и напек столько разной провизии, что генералам пришлось даже на мысль: «Не дать ли и тунеядцу частичку?»

Смотрели генералы на эти мужицкие старания, и сердца у них весело играли. Они уже забыли, что вчера чуть не умерли с голоду, а думали: «Вот как оно хорошо быть генералами — нигде не пропадешь!»

— Довольны ли вы, господа генералы? — спрашивал между тем мужчина-лежебок.

— Довольны, любезный друг, видим твое усердие! — отвечали генералы.

— Не позволите ли теперь отдохнуть?

— Отдохни, дружок, только своей прежде веревочку.

Набрал сейчас мужчина дикой конопли, размочил в воде, поколотил, помял — и к вечеру веревка была готова. Эту веревкою генералы привязали мужчину к дереву, чтоб не убег, а сами легли спать.

Прошел день, прошел другой, мужчина до того изловчился, что стал даже в пригоршне суп варить. Сделались наши генералы веселые, рыхлые, сытые, белые. Стали говорить, что вот они здесь на всем готовом живут, а в Петербурге между тем пенсии ихние всё накапливаются да накапливаются.

— А как вы думаете, ваше превосходительство, в самом ли деле было вавилонское столпотворение*, или это только так, одно иносказание? — говорит, бывало, один генерал другому, позавтракавши.

— Думаю, ваше превосходительство, что было в самом деле, потому что иначе как же объяснить, что на свете существуют разные языки!

— Стало быть, и потоп был?

— И потоп был, потому что, в противном случае, как же было бы объяснить существование допотопных зверей? Тем более, что в «Московских ведомостях» повествуют...

— А не почитать ли нам «Московских ведомостей»?

Сыщут номер, усядутся под тенью, прочтут от доски до доски, как ели в Москве, ели в Туле, ели в Пензе, ели в Рязани — и ничего, не тошнит!



...Долго ли, коротко ли, однако генералы соскучились. Чаще и чаще стали они припоминать об оставленных ими в Петербурге кухарках и втихомолку даже поплакивали.

— Что-то теперь делается в Подьяческой, ваше превосходительство? — спрашивал один генерал другого.

— И не говорите, ваше превосходительство! Всё сердце изныло! — отвечал другой генерал.

— Хорошо-то оно хорошо здесь — слова нет! а всё, знаете, как-то неловко барашку без ярочки! да и мундира тоже жалко!

— Еще как жалко-то! Особливо, как четвертого класса*, так на одно шитье посмотреть, голова закружится!

И начали они нудить мужика: представь да представь их в Подьяческую! И что ж! оказалось, что мужик знает даже Подьяческую, что он там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало!

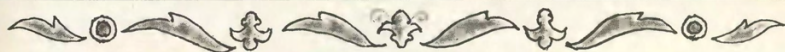
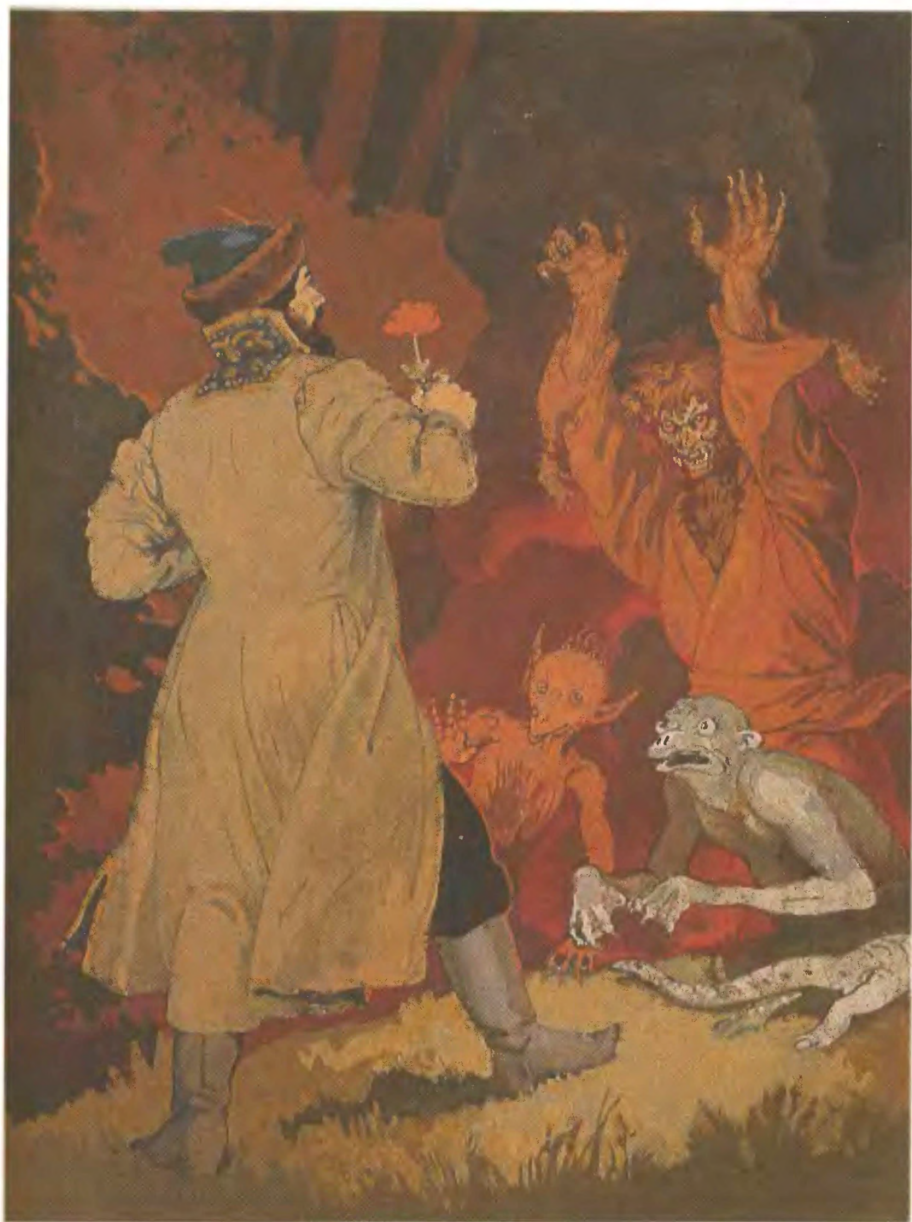
— А ведь мы с Подьяческой генералы! — обрадовались генералы.

— А я, коли видели: висит человек снаружи дома, в ящике на веревке, и стенку краской мажет, или по крыше словно муха ходит — это он самый я и есть! — отвечал мужик.

И начал мужик на бобах разводить, как бы ему своих генералов порадовать за то, что они его, туняядца, жаловали и мужицким его трудом не гнушались! И выстроил он корабль — не корабль, а такую посудину, чтоб можно было океан-море переплыть вплоть до самой Подьяческой.

— Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас! — сказали генералы, увидев покачивавшуюся на волнах ладью.

— Будьте покойны, господа генералы, не впервой! — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду.





*С. Т. Аксаков.
«Аленький цветочек».*

Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавши, уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь, да от ветров разных, сколько они ругали мужичину за его тунеядство — этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик всё гребет да гребет, да кормит генералов селедками.

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и Большая Подьяческая! Всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые! Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли — того ни в сказке сказать, ни пером описать!

Однако и об мужике не забыли: выслали ему рюмку водки да пятак серебра: веселись, мужичина!



САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ



днажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Зайнъка! остановись, миленький!» А заяц не только не остановился, а еще пуще ходу прибавил. Вот волк в три прыжка его поймал да и говорит: «Зато, что ты с первого моего слова не остановился, вот тебе мое решение: приговариваю я тебя к ли-

шению живота посредством растерзания. А так как теперь и я сыт, и волчиха моя сыта, и запасу у нас еще дней на пять хватит, то сиди ты вот под этим кустом и жди очереди. А может быть... ха-ха... я тебя и помилую!»

Сидит заяц на задних лапках под кустом и не шевельнется. Только об одном думает: через столько-то суток и часов смерть должна прийти. Глянет он в сторону, где находится волчье логово, а оттуда на него светящееся волчье око смотрит. А в другой раз и еще того хуже: выйдут волк с волчихой и начнут по полянке мимо него погуливать. Посмотрят на него, и что-то волк волчихе по-волчьему скажет, и оба зальются: ха-ха! И волчата тут же за ними увяжутся; играючи, к нему подбегут, ласкаются, зубами стучат... А у него, у зайца, сердце так и закатится!

Никогда он так не любил жизни, как теперь. Был он заяц обстоятельный, высмотрел у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотел. Именно к ней, к невесте своей, он и бежал в ту минуту, как волк его за шиворот ухватил. Ждет, чай, его теперь невеста, думает: изменил мне косой! А может быть, подождала-подождала да и с другим... слюбилась... А может быть, и так: играла бедняжка в кустах, а тут ее волк... и слопал!..

Думает это бедняга и слезами так и захлебывается. Вот они, заячьи-то мечты! жениться рассчитывал, самовар купил, мечтал, как с молодой зайчихой будет чай-сахар пить, и вместо всего — куда угодил! А сколько, бишь, часов до смерти-то осталось?

И вот сидит он однажды ночью и дремлет. Снится ему, будто волк его при себе чиновником особых поручений сделал, а сам, куда он по ревизиям бегаёт, к его зайчихе в гости ходит...

Вдруг слышит, словно его кто-то под бок толкнул. Оглядывается — ан это невестин брат.

— Невеста-то твоя помирает,— говорит.— Прослышала, какая над тобой беда стряслась, и в одночасье зачихала. Теперь только об одном думает: неужто я так и помру, не простившись с ненаглядным моим!

Слушал эти слова осужденный, а сердце его на части разрывалось. За что? чем заслужил он свою горькую участь? Жил он открыто, революций не пушал, с оружием в руках не выходил, бежал по своей надобности — неужто ж за это смерть? Смерть! подумайте, слово-то ведь какое! И не ему одному смерть, а и ей, серенькой зайнышке, которая тем только и виновата, что его, косоного, всем сердцем полюбила! Так бы он к ней и полетел, взял бы ее, серенькую зайнышку, передними лапками за ушки и всё бы миловал да по головке бы гладил.

— Бежим! — говорил между тем посланец.

Услыхавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсем уж в комок собрался и уши на спину заложил. Вот-вот прынет — и след простыл. Не следовало ему в эту минуту на волчье логово смотреть, а он посмотрел. И закатилось заячье сердце.

— Не могу,— говорит,— волк не велел.


А волк между тем всё видит и слышит и потихоньку по-волчьи с волчихой перешептывается: должно быть, зайца за благородство хвалят.

— Бежим! — опять говорит посланец.

— Не могу! — повторяет осужденный.

— Что вы там шепчетесь, злоумышляете? — как гаркнет вдруг волк.

Оба зайца так и обмерли. Попался и посланец! Подговор часовых к побегу — что, бишь, за это по правилам-то полагается? Ах, быть серой зайнышке

 и без жениха и без братца — обоих волк с волчихой слопают!

Опомнились косые — а перед ними волк и волчиха зубами стучат, а глаза у обоих в ночной темноте, словно фонари, так и светятся.

— Мы, ваше благородие, ничего... так, промежду себя... землячок проведать меня пришел! — лепечет осужденный, а сам так и мрет от страху.

— То-то «ничего»! знаю я вас! пальца вам тоже в рот не клади! Сказывайте, в чем дело?

— Так и так, ваше благородие,— вступился тут невестин брат,— сестрица моя, а его невеста помирает, так просит, нельзя ли его проститься с нею отпустить?

— Гм... это хорошо, что невеста жениха любит,— говорит волчиха.— Это значит, что зайчат у них много будет, корму волкам прибавится. И мы с волком любимся, и у нас волчат много. Сколько по воле ходят, а четверо и теперь при нас живут. Волк, а волк, отпустить, что ли, жениха к невесте проститься?

— Да ведь его на послезавтра есть назначено...

— Я, ваше благородие, прибегу... я мигом оборочу... у меня это... вот как бог свят прибегу! — заспешил осужденный и, чтобы волк не сомневался, что он *может* мигом оборотить, таким вдруг молодцом прикинулся, что сам волк на него залюбовался и подумал: «Вот кабы у меня солдаты такие были!»

А волчиха пригорюнилась и молвила:

— Вот, поди ж ты! заяц, а как свою зайчиху любит!

Делать нечего, согласился волк отпустить кого-то в побывку, но с тем, чтобы как раз к сроку оборотил. А невестина брата аманатом* у себя оставил.

— Коли не воротишься через двое суток к шести часам утра,— сказал он,— я его вместо тебя съем; а коли воротишься — обоих съем, а может быть... ха-ха... и помилю!

Пустился косой, как из лука стрела. Бежит, земля дрожит. Гора на пути встренется — он ее «на уру» возьмет; река — он и броду не ищет, прямо вплавь так и чешет; болото — он с пятой кочки на десятую перепрыгивает. Шутка ли? в тридевятое царство поспеть надо, да в баню сходить, да жениться («непременно женюсь!» — ежеминутно твердил он себе), да обратно, чтобы к волку на завтрак попасть...

Даже птицы его быстроте удивлялись, говорили: «Вот в «Московских ведомостях» пишут, будто у зайцев не душа, а пар, а вон он как... улепетывает!»

Прибежал наконец. Сколько тут радостей было — этого ни в сказке не сказать, ни пером описать. Серенькая зайчиха, как увидела своего ненаглядного, так и про хворь позабыла. Встала на задние лапки, надела на себя барабан и ну лапками «кавалерийскую рысь» выбивать — это она сюрприз жениху приготовила! А вдова-зайчиха так просто засовалась совсем; не знает, где усадить нареченного зятюшку, чем накормить. Прибежали тут тетки со всех сторон, да кумы, да сестрицы — всем лестно на жениха посмотреть, а может быть, и лакомого кусочка в гостях отведают.

Один жених словно не в себе сидит. Не успел с невестой намиловаться, как уж затвердил:

— Мне бы в баню сходить да жениться поскорее!

— Что больно к спеху занадобилось? — подшучивает над ним зайчиха-мать.

— Обратно бежать надо. Только на одни сутки волк и отпустил.

Рассказал он тут, как и что. Рассказывает, а сам горькими слезами разливается. И воротиться-то ему не хочется и не воротиться нельзя. Слово, вишь, дал, а заяц своему слову — господин. Судили тут тетки и сестрицы — и те в один голос сказали: «Правду ты, косой, молвил: не давши слова — крепись, а давши — держись! никогда во всем нашем заячьем роду того не бывало, чтобы зайцы обманывали!»

Скоро сказка сказывается, а дело промежду зайцев еще того скорее делается. К утру косога окрутили, а перед вечером он уж прощался с молодой женой.

— Беспременно меня волк съест,— говорил он,— так ты будь мне верна. А ежели родятся у тебя дети, то воспитывай их строго. Лучше же всего отдай ты их в цирк: там их не только в барабан бить, но и в пушечку горохом стрелять научат.


И вдруг, словно в забытии (опять, стало быть, про волка вспомнил), прибавил:

— А может быть, волк меня... ха-ха... и помилует!

Только его и видели.

Между тем, покуда косой жуировал* да свадьбу справлял, на том пространстве, которое разделяло тридевятое царство от волчьего логова, великие беды приключились. В одном месте дожди пролились, так что река, которую за сутки раньше заяц шутя переплыл, вздулась и на десять верст разлилась. В другом месте король Андрон королю Никите войну объявил, и на самом заячьем пути сраженье кипело. В третьем месте холера проявилась — надо было целую карантинную цепь* верст на сто обогнуть... А кроме того, волки, лисицы, совы — на каждом шагу так и стерегут.

Умен был косой; заранее так рассчитал, чтобы



три часа у него в запасе оставалось, однако, как пошли одни за другими препятствия, сердце в нем так и похолодело. Бежит он вечер, бежит полночи, ноги у него камнями иссечены, на боках от колючих ветвей шерсть клочьями висит; глаза помутились, у рта кровавая пена сочится, а ему вон еще сколько бежать осталось! И всё-то ему друг аманат, как живой, мерещится. Стоит он теперь у волка на часах и думает: через столько-то часов милый зятек на выручку прибежит! Вспомнит он об этом и еще шибче припустит. Ни горы, ни доли, ни леса, ни болота — всё ему нипочем! Сколько раз сердце в нем разорваться хотело, так он и над сердцем власть взял, чтобы бесплодные волнения его от главной цели не отвлекали. Не до горя теперь, не до слез; пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из волчьей пасти вырвать!

Вот уж и день заниматься стал. Совы, сычи, летучие мыши на ночлег потянули; в воздухе холодком пахло. И вдруг всё кругом затихло, словно помертвело. А косой всё бежит и всё одну думу думает: неужто ж я друга не выручу!

Заалел восток; сперва на дальнем горизонте слегка на облака огнем брызнуло, потом пуще и пуще, и вдруг — пламя! Роса на траве загорелась; проснулись птицы дневные, поползли муравьи, черви, козявки; дымком откуда-то потянуло; во ржи и в овсах словно шепот пошел, слышнее, слышнее... А косой ничего не видит, не слышит, только одно твердит: «Погубил я друга своего, погубил!»

Но вот наконец гора. За этой горой — болото и в нем — волчье логово... опоздал, косой, опоздал!

Последние силы напрягает он, чтоб вскочить на вершину горы... вскочил! Но он уж не может бежать, он падает от изнеможения... неужто ж он так и не добежит?

Волчье логово перед ним, как на блюдечке. Где-то вдаль на колокольне бьет шесть часов, и каждый удар колокола словно молотом бьет в сердце измученного зверюги. С последним ударом волк поднялся с логова, потянулся и хвостом от удовольствия замахал. Вот он подошел к аманату, сгреб его в лапы и запустил когти в живот, чтоб разодрать его на две половины: одну для себя, другую для волчихи. И волчата тут; обсели кругом отца-матери, щелкают зубами, учатся.

— Здесь я! здесь! — крикнул косой, как сто тысяч зайцев вместе. И кубарем скатился с горы в болото.

И волк его похвалил.


— Вижу, — сказал он, — что зайцам верить можно. И вот вам моя резолюция: сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я вас... ха-ха... помилую!



ВОРОН- ЧЕЛОВИТЧИК



сё сердце у старого ворона изболело. Истребляют вороний род: кому не лень, всякий его бьет. И хоть бы ради прибитка, а то просто ради потехи. Да и само вороньё измалодушничалось. О прежнем вещем карканье и в помине нет; осыплют вороны гурьбой березу и кричат зря: «Вот мы где!» Натурально сейчас — паф! — и десятка или двух в стае как не бывало. Еды пре-



жней, привольной, тоже не стало. Леса кругом по-вырубили, болота повысушили, зверье угнали — никак честным образом прокормиться нельзя. Стало воронье по огородам, садам, по скотным дворам шнырять. А за это опять — паф! — и опять десятка или двух в стае как не бывало! Хорошо еще, что вороны плодущи, а то кто бы кречету, да ястребу, да беркуту дань платил?

Начнет он, старик, своих младших собратий увещевать: «Не каркайте зря! не летайте по чужим огородам!» — да только один ответ слышит: «Ничего ты, старый хрен, в новых делах не смыслишь! нельзя, по нынешнему времени, не воровать. И в науке так сказано: коли нечего тебе есть, так изворачивайся. И все так нынче живут: дела не делают, а изворачиваются. Пропадать, что ли, нам! Мы еще где до свету встанем, снимемся с гнезд и весь лес обшарим — везде хоть шаром покати. Ни ягоды лесной, ни пичуги малой, ни зверя упалого. Даже червь и тот в землю зарылся».

Слышит старый ворон эти речи и глубокую думу думает.

Трудные бывали на его памяти времена. Целыми годами преследовала вороний род бескормица; без числа воронье погибало. Но тогда было правило: есть у тебя когти — рви ими свою грудь, а на чужой кусок не зарься! Однако и тогда уж было приметно, что недолго воронье эту школу выдержит. Смотреть, как други живут припеваючи, а самому добровольно умирать с голода — от одного этого хоть чье хочешь сердце изноет.


И наука, кстати, на помощь пришла: клюй, что можешь и где можешь! Удастся набить зоб — летай на свободе сытый и веселый; не удастся — виси простреленный на огороде, вместо чучела! На то война.



Когда принес его сюда, едва оперившегося, старый батько из-за тридевять морей, местá здесь были вольные. Лес да вода — и глазом не окинешь. В лесу всякой ягоды, всякого зверья, птицы — всего вдоволь; в воде рыба кишмя кишела. Начальником и тогда у них был, как и теперь, ястреб, но тогдашний ястреб и сам по себе был по горло сыт, да и прост был, так прост, что и до сих пор об его простоте анекдоты ходят. Любил, правда, молоденькими воронятами полакомиться, но и тут справедливость наблюдал: сегодня из одного гнезда унесет вороненка, завтра из другого; а ежели видит, что гнездо бедное, упалое, так и безо всего улетит. И подати тогда были не тяжелые: по яйцу с гнезда, да по перу с крыла, да с каждых десяти гнезд по вороненку орлу в презент. Отбыл повинность — и спи на оба уха.

Но чем дальше шло, тем глубже и глубже всё изменялось. Облюбовал вольные места человек и начал с того, что пустил в ход топор. Леса поредели, болота стали затягиваться, река обмелела. Сначала по берегу реки появились за́ймки, потом деревни, села, помещичьи усадьбы. Стук топора гулким эхом раздавался в глубинах лесных, нарушая обычное течение жизни зверей и птиц. Старейшины вороньего племени уже тогда предсказывали, что грозит что-то недоброе, но молодое вороньё с веселым карканьем кружилось около человеческих жилищ, словно приветствуя пришельцев. Строгие заветы предков наскучили молодым сердцам; лесные глубины опостылели. Потребовалось новое, диковинное, неизведанное. Вороньё разделилось на партии; начались пререкания, усобицы, рознь...

Одновременно с этими изменениями произошли изменения и в высших орнитологических сферах*. Старый ястреб оказался стоящим не на высоте



своей задачи. Он мог управлять только при патриархальных порядках, но когда отношения усложнились, когда на каждом шагу в воронье существование врывались новые элементы, административное чутье окончательно его покинуло. Главные начальники называли его старым колпаком; воронье оспаривало его власть и бесцеремонно каркало ему в уши всякую чепуху. Он же, вместо того чтоб пресечь зло в самом корне, только благосклонно хлопал глазами и шутя говорил: «Вот ужо, придет реформа, узнаете вы, как кузькину мать зовут!» Наконец и ожидаемая реформа пришла. Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником совсем молодого ястреба, да в помощь к нему, в видах пущего контроля, поставили кречета.

Прилетели новые начальники и сказали воронье-ему племени немилостивое слово. «Я вас к одному знаменателю приведу!» — цыркнул ястреб, а кречет прибавил: «И я тоже». Сказавши это, объявили, что отныне налоги увеличиваются против прежнего втрое, выдали окладные листы и улетели.

Началось окончательное разорение*. Воронье роптало: «Налоги установили немилостивые, а новых угодьев не предоставили!» — раздавалось в лесу; но ни ястреб, ни кречет не внимали жалобам воронья и посылали копчиков ловить смутьянов, которые зря речи в народ пускают. Много было тогда гнезд разорено, много вороньего племени в плен уведено и отдано на съедение волкам и лисицам. Думали, что воронье, испугавшись, на хвосте дани принесет. Но воронье от испуга только металось и жалобно каркало: «Хоть режьте, хоть стреляйте, а даней нам взять неоткуда!».

Так оно и посейчас идет: воронье разоряется, а

казна не наполняется. Что и добудет ворона на стороне, и то копчик на пути отнимет. Словом сказать, хуже нельзя. Надумало было воронье новых мест искать и летунов вперед для разведок отпустило, но они улететь — улетели, а назад не воротились. Может быть, заблудились, может быть, по пути копчики задавили, а может быть, и сами собой с голоду погибли. Да и шутка сказать — с насиженных мест неведомо куда лететь! Нет нынче вольных мест! всюду проник человек! И ему тесно стало. Идет вперед с топором; стонут леса, бегут звери, а он с утра до вечера корчует пни, расчищает пашню, рубит избу, а ночью дрожит в землянке от холода и голода в ожиданье, когда-то вся эта сутолока в порядок придет.

Думал-думал старый ворон и наконец надумал: «Надо лететь всю правду объявить». Только стар он и слаб — долетит ли? Ведь лететь — дорога не близкая. Сначала надо ястребу челом бить, потом кречету, а наконец, и к коршуну, который в ту пору вороньим племенем, вроде как начальник края, правил.

У птиц тоже, как у людей, везде инстанции заведены; везде спросят: был ли у ястреба? был ли у кречета? а ежели не был, так и бунтовщиком, того гляди, прослынешь.

Наконец, однако ж, снялся ранним утром с гнезда и полетел. Видит, сидит ястреб на высокой-высокой сосне, уж сытый, и клюв когтями чистит.

— Здравствуй, старче! — приветствовал его ястреб благодушно. — Зачем пожаловал?

— Прилетел я к твоему степенству правду объявить, — горячо закаркал старый ворон. — Гибнет вороний род! гибнет! человек его истребляет, дани немилостивые разоряют, копчики донимают...

Мрет вороний род, а кои и живы — и тем прокор-
миться нечем.

— Вот как! А не от нерадивости ли вашей все эти беды на вороний род опрокинулись?

— Сам ты знаешь, что нерадивости в нас нет. С утра до ночи мы шарим и корму доглядываем. Живем в трудах, как честному воронью жить надлежит, только добыть что-нибудь честным образом невозможно стало.

Ястреб на минуту задумался, словно не решался настоящее слово выговорить, но наконец сказал:

— Изворачивайтесь!

Однако решение это не удовлетворило, а только пуще взволновало ворона.

— Знаю я, что нынче все изворотами живут, — горячо ответил он, — да прост на это наш вороний род. Другие миллионы крадут, и всё им как с гуся вода, а ворона украдет копейку — ей за это смерть. Подумай, разве это не злодейство: за копейку — смерть. А ты еще учишь: изворачивайтесь! Прислан ты к нам начальником, чтоб защищать нас от обид, а явился первым разорителем и угнетателем! Доколе мы будем терпеть? Ведь ежели мы...

Ворон не договорил и испугался: не легко, видно, правду-то объявлять.

Но ястреб, как сказано было выше, был сыт и смотрел на незваного гостя благодушно.

— Знаю, не договаривай, — сказал он, — давно мы эту песню слышим, да покуда бог еще миловал... А ты все-таки на ус себе намотай: прилетел ты ко мне правду объявить, да на первом же слове и запнулся... Всё ли ты сказал?

— Всё покамест, — отвечал ворон, продолжая робеть.

— Ну, так я тебе вот что отвечу: правда твоя давно всем известна; не только вам, вбронам, а


и копчикам, и ястребам, и коршунам. Только не ко двору она в наше время пришлась, а потому, сколько об ней ни объявляй, хоть на всех перекрестках кричи — ничего из этого не выйдет. А когда наступит время, что она сама собою объявится,— этого покуда никто не знает. Понял?

— Понял я одно: что вороньему роду конец пришел! — с горечью ответил ворон.

— Ну, коли не понял, давай разговаривать. Говоришь ты, что человек вас истребляет,— но разве можем мы, птицы, против человека идти? Человек порох выдумал — а мы чем на это ответить можем? Выдумал человек порох и палит в нас, что вздумается, то над нами и делает. Мы всё равно что мужики: со всех сторон в них всяко палят. То железная дорога стрельнет, то машина новая, то неурожай, то побор новый. А они только знай перевертываются. Каким таким манером случилось, что Губошлепов дорогу заполучил, а у них после того по гривне в кошеле убавилось — разве темный человек может это понять? А дело-то простое: Губошлепов порох выдумал, а мужики, ровно черви, только в навозе копать умеют. А ежели ты червь, так и живи, как червя жить подобает. Червя и вы, вороньё, потачки на даете; вспомни-ка! что, если б он на вас гвалт поднял, не вы ли б первые удивились: червь, мол, ползущий, а тоже разговаривает! Так-то, старче! Кто одолеет, тот и прав. Понял теперь?

— Погибать, значит, надо? Ах, какое жестокое ты слово сказал! — затосковал ворон.

— Жестоко ли мое слово или не жестоко, не в том суть, а в том, что и я правды от тебя не утаил. Не той правды, которой ты ищешь, а той, которую, по нынешнему времени, всякий в расчет принимать должен. Но будем продолжать разговор. Ты говоришь, что копчики корм у вас на лету отнимают,



что я сам, ястреб, ваши гнезда разоряю, что мы не защитники ваши, а разорители. Что ж: вы кормиться хотите — и мы кормиться хотим. Кабы вы были сильнее — вы бы нас ели, а мы сильнее — мы вас едим. Ведь это тоже правда. Ты мне свою правду объявил, а я тебе — свою; только моя правда воочию совершается, а твоя за облаками летает. Понял?

— Погибать, погибать надо! — продолжал твердить старый ворон, почти не сознавая действительного значения ястребиных речей, но инстинктивно чувствуя, что они заключают в себе нечто неслышанно жестокое.

Ястреб оглянул челобитчика с головы до хвоста, и так как был сыт, то захотелось ему пошутить над стариком.

— А хочешь, я тебя съем! — сказал он; но, увидев, что ворон инстинктивно сделал скачок назад, продолжал: — Ну тебя! тощ ты и стар — какая это еда! Ну-тка, распахни-ка жилет.

Ворон распустил крылья и сам удивился: кости да кожа, ни пуху, ни перьев нет — волк голодный и тот на такую птицу не позарится.

— Вот видишь, каков ты стал. А всё оттого, что о правде думаешь. Кабы ты по-вороньи, без думы, жил — такой ли бы ты был! А впрочем, пора и кончить. Жалуешься ты еще, что поборы с вас, воронья, немилостивые берут, — и это правда. Но подумай: с кого же брать? Воробьи, синицы, чижи, зяблики — много ли они могут дать? Рябчики, глухари, стрепета, дятлы, кукушки — эти живут каждый сам по себе, их и днем с огнем не отыщешь. Одно воронье живет обществом, как настоящие мужики, и притом само о себе непрестанно возглашает — что же удивительного, что оно в ревизские сказки* попало? А коли попал в ревизские

сказки — держись! Если же в последнее время и впрямь сборы тяжелее прежнего стали, то, стало быть, так нужно. Потребностей больше — и сборов больше: это хоть кого хочешь спроси. Так-то вот, старче. Ты правду сказал, и я правду сказал; а чья правда крепче — на это отвечает ваше воронье житье. Ну, а теперь лети восвояси, а я вздремнуть хочу.

Однако ворон не возвратился восвояси, а направил полет к кречету.

«Будь что будет, — думал он, тяжело взмахивая старческими крыльями, — а я доведу дело до конца! Если и кречет моей правды не примет, то полечу в губернию к самому коршуну, а от правды не отступлюсь!»

Кречет жил в впадине горного ущелья, и доступ к нему был очень труден. У порога его жилища сидел дежурный копчик и принимал просителей. На этот раз дежурным оказался известный всему вороньему роду копчик Иван Иванович, фаворит кречета (слухи шли даже, что он его побочный сын), который поручал ему самые важные и секретные дела. Это был лихой малый, с виду добродушный, с благосклонными и даже изысканными манерами. Не прочь был и побалагурить, и кутнуть где-нибудь за облачком, и полетать с девушками-чечеточками в горелки*, и даже одолжение другу-приятелю сделать; но всё это благодушие оставалось при нем лишь до тех пор, покуда он находился вне службы. Как только он приступал к исполнению обязанностей (особливо секретных поручений), то мгновенно преображался. Становился холоден, суров и исполнителен до жестокости. Прикажут ему настичь — он настигнет; прикажут удавить — задавит. Если птица и вдвое больше и сильнее его, он таким кубарем к ней подлетит, что та загодя на-

чинает уж кричать и метаться от тоски. Вообще птицы, которые бывали у него в переделке, при одном имени его трепетали от страха.

— Не проспался, старик! — иронически приветствовал челобитчика Иван Иваныч.

Старый ворон понял, что здесь уже всё известно. И у птиц существуют свои лазутчики, через которых не только действия, но и тайные помышления обывателей известны.

— Какой уж у стариков сон! — уклончиво отвечал он.

— Правду объявлять прилетел? — продолжал копчик. — Ну, да, впрочем, это твое дело. Должить?

— Да, уж сделай такую милость.

Иван Иваныч юркнул в впадину и около часа там оставался. Ворон с замиранием сердца ждал его появления. Наконец он показался.

— Велено тебе сказать, — молвил он, — что раस्ताбарывать с тобой некогда. Правда твоя искони всем известна, да, стало быть, есть в ней порок, ежели она сама собой не проявляется. Беспокойный у тебя нрав, пустые ты речи в народ пущаешь. Давно бы за это съесть тебя надо, да, слышь, стар ты, худ и немощен. К начальнику края, чай, теперь полетишь?

— Нет уж, что уж... — хотел было утаиться ворон.

— Не запирайся! насквозь тебя вижу! Что же, лети! только как бы тебе очи за твою правду не выклевали. Смотри не прогадай! Да ты, поди, и дороги не знаешь; видишь, вон облако, там, над самым этим облаком, — там и есть.

Несмотря на предсказание копчика, ворон решился довести свое челобитье до конца. Долгим и кружным путем взбирался он, ночуя в покинутых

звериных норах и пропитываясь ягодами, изредка попадавшимися на отрогах гор. Наконец он врезался в облако, и перед глазами его предстало волшебное зрелище.

Несколько смежных горных вершин, покрытых снегом, пламенели в лучах восходящего солнца. Издали казался точно сказочный замок, у подножия которого застыли облака, а навверху, вместо крыши, расстилалась бесконечная небесная лазурь.

Коршун сидел на скале, окруженный целой массой разнообразнейших птиц. По правую сторону его сидел белый кречет, помощник его и советник, у ног кувыркались всех сортов чиновники особых поручений: попугаи, ученые снегيري и чижи; сзади хор скворцов докладывал утреннюю почту; в сторонке, на отдельной вершине, дремали совы, филины и нетопыри, образуя из себя нечто вроде губернского совета; вороны во множестве мелькали вдали, с перьями за ушами, строчили указы, предписания и донесения и кричали: «С пылу, с жару, по пятаку за пару!»

Коршун был ветхий старик и от старости едва-едва скрипел клювом. В ту минуту, когда у ног его опустился ворон, он только что пообедал и в полудремоте, смежив очи, покачивал головой, не смотря на оглушающий говор и шум. Однако появление челобитника произвело среди птиц некоторый переполох, благодаря которому коршун встрепенулся.

— С просьбицей, старче? — спросил он ворона ласково.

— Прилетел я из-за тридевяти земель правду твоему великостепенству объявить! — начал ворон восторженно, но тут же был остановлен кречетом.

— Не разводи риторики! — холодно прервал его последний. — Докладывай дело без украшений,

ясно, просто, по пунктам. Что тебе надобно?

Начал ворон по пунктам свое челобитье излагать: человек вороний род истребляет, копчики, ястреба, кречета донимают, сборы немилостивые разоряют... И каждый раз, как кончит он один пункт, коршун поскрипит клювом и молвит:

— Правда твоя, старче!

Сердце играло в груди старого вóрона при этих подтверждениях. «Наконец-то,— думалось ему,— увижу я эту правду, по которой сызмлада тоскую! Послужу своему племени, поревную за него!»

И чем дальше лилось его слово, тем горячее и горячее оно звучало. Наконец он высказал всё, что у него было на душе, и замолк.

— Всё ли ты сказал? — спросил его коршун.

— Всё,— ответил ворон.

— У ястреба, у кречета челом бил?

— Бил и у них.

Он кратко изложил свой разговор с ястребом, а также свое неудавшееся свидание с кречетом.

— Так вот что́ я тебе на твою правду скажу,— молвил коршун,— больше двухсот лет я сижу на этом утесе и хоть бочком да на солнце смотрю... Но правде и до сих пор ни разу взглянуть в лицо не мог.

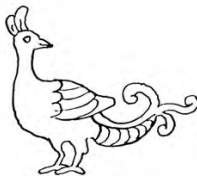
— Но почему же? — в недоумении каркнул ворон.

— А потому, что вместить ее птице не под силу. Ежели кто об себе думает, что он правду вместил, тот и выполнить ее должен; а мы, стало быть, не можем выполнить — оттого и смотрим на нее исподлобья. Думается: «Авось-либо она мимо пройдет!»

Коршун на минуту задумался и продолжал:

— Жестокое тебе слово ястреб сказал, но правильное. Хороша правда, да не во всякое время

и не на всяком месте ее слушать пригоже. Иных она в соблазн ввести может, другим — вроде укоризны покажется. Иной и рад бы правде послужить, да как к ней с пустыми руками приступиться! Правда не ворона — за хвост ее не ухватишь. Посмотри кругом — везде рознь, везде сваря; никто не может настоящим образом определить, куда и зачем он идет... Оттого каждый и ссылается на *свою* личную правду. Но придет время, когда всякому дыханию сделаются ясными пределы, в которых жизнь его совершаться должна, — тогда сами собой исчезнут распри, а вместе с ними рассеются, как дым, и все мелкие «личные правды». Объявится настоящая, единая и для всех обязательная правда; придет и весь мир осияет. И будем мы жить все вкупе и влюбе. Так-то, старик! А покуда лети с миром и объяви вороньему роду, что я на него, как на каменную гору, надеюсь.



Всеволод Михайлович
Гаршин

ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА



ила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весною громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно — конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие.

Однажды она сидела на сучке высунувшейся из воды коряги и наслаждалась теплым мелким дождиком.

«Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! — думала она. — Какое это наслаждение — жить на свете!»

Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке; капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакают, — на это есть весна, — и что,

заквакав, она может уронить свое лягушачье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться.

Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или, лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью — раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно: так они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна из них. — Лететь еще далеко, надо покушать.

И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякий случай, она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки.

— Кря, кря! — сказала другая утка. — Уже холодно становится! Скорей на юг! Скорей на юг!

И все утки стали громко крикать в знак одобрения.

— Госпожи утки! — осмелилась сказать лягушка. — Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота! Какие там червяки! Хорошо на юге!

Они так кричали, что почти оглушили лягушку.

Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли там мошек и комаров?

— О! Целые тучи! — отвечала утка.

— Ква! — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик: — Возьмите меня с собой!

— Это мне удивительно! — воскликнула утка. — Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.

— Когда вы летите? — спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали все утки. — Кря, кря! Кря, кря! Тут холодно! На юг! На юг!

— Позвольте мне подумать только пять минут, — сказала лягушка. — Я сейчас вернусь, я наверное придумаю что-нибудь хорошее.

И она шлепнулась с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять.

Пять минут прошло, утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды, около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда, и выражение этой морды было самое сияющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! Я нашла! — сказала она. — Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и всё будет превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую ля-

гушку три тысячи верст не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые два часа, и так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да полстолька, да четверть столька, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто.

Нашли хороший, прочный прутик, две утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и всё стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли; кроме того, утки летели неровно и дергали прутик; бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх, но кое-что все-таки видела и радовалась и гордилась.

«Вот как я превосходно придумала»,— думала она про себя.

А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее.

— Удивительно умная голова наша лягушка,— говорили они.— Даже между утками мало таких найдется.

Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решила терпеть. Она болталась таким образом целый день: несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно: не раз лягушка чуть было не квакнула от страха,

но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела.

Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте; с зарею утки с лягушкой снова пустились в путь, но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах; оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:

— Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.

И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дети в одной деревне.— Утки лягушку несут!

Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали в другой деревне взрослые.— Вот чудо-то!

«Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали в третьей деревне.— Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?

Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! Я!

И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали; одна из

них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни.

Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все спрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую.

И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и наконец изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках; как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно; как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых.

— Я заехала к вам посмотреть, как вы живете, — сказала она. — Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила.

Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.




ATTALEA
PRINCEPS



одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду — огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали всё здание; на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собой целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постепенно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша

 покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то что большую часть своего времени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее.

Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни *Attalea!** Но это имя не было ее родным именем: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма; когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А! — сказал он. — Я знаю это дерево. — И он назвал его родным именем.

— Извините, — крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек, — вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это — *Attalea princeps*, родом из Бразилии.

— О да, — сказал бразильянец, — я вполне верю вам, что ботаники называют ее — *Attalea*, но у нее есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое дается наукой,— сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться.

А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось всё грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чуждыми зверями и птицами, ее пустыни, ее чуждые южные ночи. И вспомнил еще, что нигде не бывал он счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе; кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и больше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его: к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, *Attalea* всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы постоять даже и под этим бледненьким небом.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость.— Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляют ваши слова, соседка,— сказал пугатый кактус.— Неужели вам мало того

огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен.

— Мы не привыкли быть чересчур бережливыми, — отвечала саговая пальма. — Мы не можем расти на такой сухой и дрянной почве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привыкли жить как-нибудь. И кроме всего этого, скажу вам еще, что вас не просят делать замечания.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала.

— Что касается меня, — вмешалась корица, — то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я, по крайней мере, уверена, что меня никто не обдерет.

— Но ведь не всех же нас обдирали, — сказал древовидный папоротник. — Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле.

Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.

— Зачем вы ссоритесь? — сказала Attalea. — Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наша оранжерея рассыплется в куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрутся в стекло, то, конечно, ее отрежут, но что сделают с сотней сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами.

Сначала никто не возражал пальме: все молчали

и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.

— Всё это глупости,— заявила она.

— Глупости! Глупости! — заговорили деревья, и все разом начали доказывать Attalea, что она предлагает ужасный вздор.— Несбыточная мечта! — кричали они.— Вздор! Нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и всё пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски...

— Ну, как хотите! — отвечала Attalea.— Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите, как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и солнце не сквозь эти решетки и стекла,— и я увижу!

И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая пальма тихо сказала соседке-цикаде:

— Ну посмотрим, посмотрим, как тебе отрежут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Attalea за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей

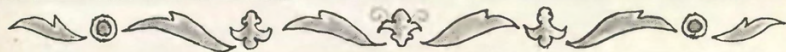
казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка, так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево! — так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. — Зачем я не большое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Attalea и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке.

— Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но все-таки и у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья: сосны, ели и березы. Я — маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны! Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на божий свет. Тогда вы расскажете мне, всё ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок: опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя.

— Нет уж, куда мне! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете





*С. Т. Аксаков.
«Аленький цветочек».*

на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга!



Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело.

— Да-с, взгляните на *Attalea princeps*, — говорил он. — Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили всё наше знание, чтобы растения развивались в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха.

При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор!

«Он воображает, что я расту для его удовольствия, — думала *Attalea*. — Пусть воображает!..»

И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились всё ближе и ближе, и наконец молодой лист коснулся холодного стекла и железа.

— Смотрите, смотрите, — заговорили растения, — куда она забралась! Неужели решится?

— Как она страшно выросла, — сказал древовидный папоротник.

— Что ж, что выросла! Эка невидаль! Вот если бы она сумела растолстеть так, как я! — сказала толстая цикада, со стволом, похожим на бочку. — И чего

тянется? Всё равно ничего не сделает. Решетки прочны, и стекла толсты.

Прошел еще месяц. Attalea подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Расти дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его листовенная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что давило на решетки, и решетки уже подавались, хотя были сделаны из крепкого железа.

Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения.

— Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить? — спросила она пальму.

— Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня? — ответила пальма.


— Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете.

— Молчи, слабое растение! Не жалей меня! Я умру или освобожусь!

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекол. Один из них ударил в шляпу директора, выходявшего из оранжереи.

— Что это такое? — вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая крона пальмы.

«Только-то? — думала она.— И это всё, из-за чего я томилась и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею целью?»



Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму: «Замерзнешь! — как будто говорили они ей. — Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нее всё было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город, видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там, внизу, в теплице, не решат, что делать с нею.

Директор приказал спилить дерево.

— Можно бы надстроить над нею особенный колпак, — сказал он, — но надолго ли это? Она опять вырастет и всё сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее!

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться со своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить, — сказал директор. — Она уже пожелтела, да и пила очень испортила ее. Посадить здесь что-нибудь новое.

Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи и уже полузасыпанную снегом.




СКАЗКА
О ЖАБЕ
И РОЗЕ



или на свете роза и жаба. Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, трескалась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал несколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной



почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетающая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее всё было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах был ее словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посуше. Она сидела, закрыв перепонками свои жабыи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.




Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несется этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.

— Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? — спрашивает из окна сестра.— Может быть, ты с ним побегаешь?

— Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоело читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чашу цветника. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточки перед толстым, окруженным мохнатыми беловатыми листьями стеблем ко-



ровьяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегаёт вверх к своим коровам — травяным тлям, как муравей деликатно трогаёт тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенькими лапами, похожими на медвежьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится, — громко сказала сестра.

И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверек ещё больше съёжился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала

книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда не выйдет в свой любимый уголок.

— Маша! — вдруг шепчет он сестре.

— Что, милый?

— Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.

— Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

— Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце, он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходявшее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Ее заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и всё смот-

рела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

— Постой,— прохрипела она,— я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда — не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда и бабочек.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что выходило еще ужаснее, и переползла поближе к розе.

— Я тебя слопаю! — повторила она, всё глядя на цветок. И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

— Господи! — молилась она,— хоть бы умереть другою смертью!

А жаба всё карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок...



— Я сказала, что я тебя слопаю! — повторила она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстергать неосторожных насекомых. Злость не помешала ей набить себе живот, как всегда; ее царапины были не очень опасны, и она решила, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень, роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поет для нее, а может быть, это была и правда. Она не видела, как ее враг незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лезла всё вверх — и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабы глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее

лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша,— вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и слабого, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

— Можно, голубчик, можно! — Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.— Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе ее сюда на столик в стакане? Да?

— Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

— Ах, какая гадость! — вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно трянула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторожно срезала цветок и понесла его в комнату.

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.



— Дай ее мне,— прошептал он.— Я понюхаю.

Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

— Ах, как хорошо...

Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.


Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали недаром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым лучшим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.



ТО,
ЧЕГО
НЕ БЫЛО



один прекрасный июньский день,— а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру*,— в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что ме-



сто было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Всё почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно, от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие свиные пяточки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во всё горло кричал:

«Какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неспавших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Антона разгребавший копну сена, будучи лошадью, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее, лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам

одним, повернутым к ним, гнедым ухом с торчащими изнутри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

— По-моему,— говорил навозный жук,— порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар — шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «Да, я сделал всё, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

— Поди ты, братец, с своим трудом! — сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица.— И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, всё равно, для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасибо не скажет. Мы, несчастные

рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь,— возразил им кузнечик.— Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы нисколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила, «что есть мир?», а вы говорите о своем навозном шаре; это даже невежливо. Мир — мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нее-то вижу, что миру нет конца.

— Верно,— глубокомысленно подтвердил гнедой.— Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка; туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве,— это такой город, двадцать восемь верст отсюда,— так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять всё это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него всё

еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это всё равно, что для человека семьдесят седьмой.

— Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними,— сказала улитка.— Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он всё еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и всё. И прыгать никуда не нужно — всё это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит, и больше ничего.

— Нет, позвольте, отчего же? — перебил кузнечик.— Потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница...

— Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! — жалобно воскликнула гусеница.— Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой там еще будущей жизни? — спросил гнедой.

— Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

— К твердым убеждениям нужно относиться с уважением,— затрещал, наконец, кузнечик.— Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может

быть, вы? — обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

— Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы довольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

— Господа,— сказала ящерица,— я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мухи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем, маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал: «Ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

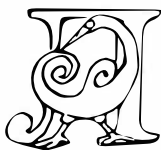
— Мне оторвали его за то, что я решилась высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.



Лев Николаевич Толстой

ЛЕВ И МЫШЬ



Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустил ее; она сказала:

— Если ты меняпустишь, и я тебе добро сделаю.

Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее.

Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услышала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала:

— Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать, а теперь видишь — бывает и от мыши добро.



МУЖИК И ОГУРЦЫ



ошел раз мужик к огороднику огурцы воровать. Подполз он к огурцам и думает: «Вот, дай, унесу мешок огурцов, продам; на эти деньги курочку куплю. Нанесет мне курица яиц, сядет наседочкой, выведет много цыплят. Выкормлю я цыплят, продам, куплю поросеночка — свинку; напоросит мне свинка поросят. Продам поросят, куплю кобылку; ожеребит мне кобылка жеребят. Выкормлю жеребят, продам; куплю дом и заведу огород. Заведу огород, насажу огурцов, воровать не дам, караул буду крепкий держать. Найму караульщиков, посажу на огурцы, а сам так-то пойду сторонкой да крикну: «Эй, вы, караульте крепче!»

Мужик так задумался, что и забыл совсем, что он на чужом огороде, и закричал во всю глотку.

Караульщики услышали, выскочили, избили мужика.



ВОЛК И СТАРУХА



олодный волк разыскивал добычу. На краю деревни он услышал — в избе плачет мальчик и старуха говорит:



— Не перестанешь плакать, я тебя волку отдам.
Волк не пошел дальше и стал дожидаться, когда ему отдадут мальчика. Вот пришла ночь; он всё ждет и слышит — старуха опять приговаривает:

— Не плачь, дитяtko; не отдам тебя волку; только приди волк, уьем его.

Волк и подумал: «Видно, тут говорят одно, а делают другое», — и пошел прочь от деревни.



УЧЕНЫЙ СЫН



ын приехал из города к отцу в деревню. Отец сказал:

— Нынче покос, возьми грабли и пойдем, пособи мне.

А сыну не хотелось работать, он и говорит:

— Я учился наукам, а все мужицкие слова за был; что такое грабли?

Только он пошел по двору, наступил на грабли, они его ударили в лоб. Тогда он и вспомнил, что такое грабли, хватился за лоб и говорит:

— И что за дурак тут грабли бросил!



ДВА КУПЦА



дин бедный купец уезжал в дорогу и отдал весь свой железный товар под сохранение богатому купцу. Когда он вернулся, он пришел к богатому купцу и попросил назад свое железо.

Богатый купец продал уже весь железный товар и, чтобы отговориться чем-нибудь, сказал:

— С твоим железом несчастье случилось.

— А что?

— Да я его сложил в хлебный амбар. А там мышей пропасть. Они всё железо источили. Я сам видел, как они грызли. Если не веришь — поди посмотри.

Бедный купец не стал спорить. Он сказал:

— Чего смотреть. Я и так верю. Я знаю, мыши всегда железо грызут. Прощай.

И бедный купец ушел.

На улице он увидал, играет мальчик — сын богатого купца. Бедный купец приласкал мальчика, взял на руки и унес к себе.

На другой день богатый купец встречает бедного и рассказывает свое горе, что у него сын пропал, и спрашивает, не видал ли, не слыхал ли?

Бедный купец и говорит:

— Как же, видел. Только стал я вчера от тебя выходить, вижу — ястреб налетел прямо на твоего мальчика, схватил и унес.

Богатый купец рассердился и говорит:

— Стыдно тебе надо мной смеяться. Разве статочное дело, чтоб ястреб мог мальчика унести.

— Нет, я не смеюсь. Что ж удивительного, что

ястреб мальчика унес, когда мыши сто пудов железа съели. Всё бывает.

Тогда богатый купец понял и говорит:

— Мыши не съели твоего железа, а я его продал и вдвое тебе заплачу.

— А если так, то и ястреб сына твоего не уносил; и я его тебе отдам.



ДУРЕНЬ



адумал дурень

На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень
Две избы пусты;
Глянул в подполье:
В подполье черти,
Востроголовы,
Глаза, что ложки,
Усы, что вилы,
Руки, что грабли,
В карты играют,
Костью бросают,
Деньги считают.
Дурень им молвил:
«Бог да на помочь
Вам, добрым людям».
Черти не любят.
Схватили дурня,



Зачали бити,
Стали давити,
Еле живого
Дурня пустили.
Приходит дурень
Домой, сам плачет,
На голос воет.
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Дурень ты дурень,
Глупый ты Бабин,
То же ты слово
Не так бы молвил:
А ты бы молвил:
«Будь ты, враг, проклят
Имем господним!»
Черти ушли бы,
Тебе бы, дурню,
Деньги достались
Заместо клада». —
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Сестра Чернава,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень
Четырех братьов, —
Ячмень молотят.
Он братьям молвил:
«Будь ты, враг, проклят



Имем господним!»
Как сграбят дурня
Четыре брата,
Зачали бити,
Еле живого
Дурня пустили.
Приходит дурень
Домой, сам плачет,
На голос воет.
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Дурень ты дурень,
Глупый ты Бабин,
То же ты слово
Не так бы молвил;
Ты бы им молвил:
«Бог вам на помочь,
Чтоб по сту на день,
Чтоб не сносить». —
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Сестра Чернава,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Увидел дурень —
Семеро братьев
Мать хоронят;
Все они плачут,
Голосом воют.
Он им и молвил:



«Бог вам на помочь,
Семеро братьев,
Мать хоронити,
Чтоб по сту на день,
Чтоб не сносить».
Сграбили дурня
Семеро братьев,
Зачали бити,
Стали таскати,
В грязи валяти,
Еле живого
Дурня пустили.
Идет он, дурень,
Домой да плачет,
На голос воеет.
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Дурень, ты дурень,
То же ты слово
Не так бы молвил;
А ты бы молвил:
«Канун да ладан,
Дай же господь бог
Царство небесно,
Пресветлый рай ей».
Тебя бы, дурня,
Там накормили
Кутьей с блинами».—
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,



Людей видати,
Себя казати.
Навстречу свадьба,
Он им и молвил:
«Канун да ладан,
Дай господь бог вам
Царство небесно,
Пресветлый рай всем».
Скочили дружки,
Схватили дурня,
Зачали бити,
Плетьми стегати,
В лицо хлестати.
Пошел, заплакал,
Идет да воет;
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Дурень ты дурень,
Ты глупый Бабин,
Ты то же слово
Не так бы молвил;
А ты бы молвил:
«Дай господь бог вам,
Князю с княгиней,
Закон принятьи,
Любовно жити,
Детей сводити». —
«Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати,
Попался дурню
Навстречу старец.



Он ему молвил:
«Дай бог те, старцу,
Закон принять,
Любовно жити,
Детей сводити».
Как схватит старец
За ворот дурня,
Стал его бити,
Стал колотити,
Сломал костыль весь.
Пошел он, дурень,
Домой, сам плачет;
А мать бранити,
Жена журити,
Сестра-то также:
«Ты дурень, дурень,
Ты глупый Бабин,
Ты то же слово
Не так бы молвил;
А ты бы молвил:
«Благослови мя,
Святой игумен». —
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Матерь Лукерья,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
В лесу ходити.
Увидел дурень
В бору медведя, —
Медведь за елью
Дерет корову.
Он ему молвит:
«Благослови мя,



Святой игумен».
Медведь на дурня
Кинулся, сграбил,
Зачал коверкать,
Зачал ломати,
Едва живого
Дурня оставил.
Приходит дурень
Домой, сам плачет,
На голос воет,
Матери скажет;
А мать бранити,
Жена пеняти,
Сестра-то также:
«Ты дурень, дурень,
Ты глупый Бабин,
Ты то же слово
Не так бы молвил;
Ты бы зауськал,
Ты бы загайкал,
Заулюлюкал». —
«Добро же, баба,
Ты, бабариха,
Мать Лукерья,
Сестра Чернава,
Вперед я, дурень,
Таков не буду».
Пошел он, дурень,
На Русь гуляти,
Людей видати,
Себя казати.
Идет он, дурень,
Во чистом поле, —
Навстречу дурню
Идет полковник.
Зауськал дурень,

Загайкал дурень,
Заулююкал.
Сказал полковник
Своим солдатам,
Схватили дурня,—
Зачали бити,
До смерти дурня
Так и убили.



ШАТ
И ДОН



старика Ивана было два сына: Шат Иваныч и Дон Иваныч. Шат Иваныч был старший брат, он был сильнее и больше, а Дон Иваныч был меньший и был меньше и слабее. Отец показал каждому дорогу и велел им слушаться. Шат Иваныч не послушался отца и не пошел по показанной дороге, сбился с пути и пропал. А Дон Иваныч слушал отца и шел туда, куда отец приказывал. За то он прошел всю Россию и стал славен.

В Тульской губернии, в Епифанском уезде, есть деревня Иван-озеро, и в самой деревне есть озеро. Из озера вытекают в разные стороны два ручья. Один ручей так узок, что через него перешагнуть можно. Этот ручей называют Дон. Другой ручеек широкий, и его называют Шат.

Дон идет всё прямо, и чем дальше он идет, тем шире становится.

Шат вертится с одной стороны на другую. Дон прошел через всю Россию и впал в Азовское море. В нем много рыбы, и по нем ходят барки и пароходы.

Шат зашатался, не вышел из Тульской губернии и впал в реку Упу.



СУДОМА



Псковской губернии, в Пороховском уезде, есть речка Судома, и на берегах этой речки есть две горы, друг против дружки.

На одной горе был прежде городок Вышгород, на другой горе в прежние времена судились славяне. Старики рассказывают, что на этой горе в старину с неба висела цепь и что, кто был прав, тот до цепи доставал рукою, а кто был виноват, тот не мог достать. Один человек занял у другого деньги и отперся. Привели их обоих на гору Судому и велели доставать до цепи. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виноватому доставать. Он не отпирался, а только отдал свой костыль поддержать тому, с кем судился, чтобы ловчее было руками достать до цепи; протянул руки и достал. Тогда народ удивился: как, оба правы? А у виноватого костыль был пустой, и в костыле были запряжаны те самые деньги, в каких он отпирался. Когда он отдал в руки костыль с деньгами

подержать тому, кому он должен был, он с ко-
стылем отдал и деньги, и потому достал цепь.

Так он обманул всех. Но с тех пор цепь под-
нялась на небо и больше не спускалась. Так рас-
сказывают старики.



ЗОЛОТОВОЛОСАЯ ЦАРЕВНА



Индии была одна ца-
ревна с золотыми волосами; у нее была злая ма-
чеха. Мачеха возненавидела золотоволосую падче-
рицу и уговорила царя сослать ее в пустыню. Зо-
лотоволосую свели далеко в пустыню и бросили. На
пятый день золотоволосая царевна вернулась вер-
хом на льве назад к своему отцу.

Тогда мачеха уговорила царя сослать золото-
волосую падчерицу в дикие горы, где жили только
коршуны. Коршуны на четвертый день принесли
ее назад.

Тогда мачеха сослала царевну на остров среди
моря. Рыбаки увидели золотоволосую царевну и на
шестой день привезли ее назад к царю.

Тогда мачеха велела на дворе вырыть глубокий
колодец, опустила золотоволосую царевну и засы-
пала землей.

Через шесть дней из того места, куда зарыли
царевну, засветился свет, и когда царь велел рас-
копать землю, там нашли золотоволосую царевну.

Тогда мачеха велела выдолбить колоду тутового

дерева*, заделала туда царевну и пустила ее по морю.

На девятый день море принесло золотоволосую царевну в Японскую землю, и там ее японцы вынули из колоды. Она была жива.

Но как только она вышла на берег, она умерла, и из нее сделался шелковичный червь.

Шелковичный червь вполз на тутовое дерево и стал есть тутовый лист. Когда он повыврос, он вдруг сделался мертвый: не ел и не шевелился.

На пятый день, в тот самый срок, как царевну принес лев из пустыни, червь ожил и опять стал есть лист.

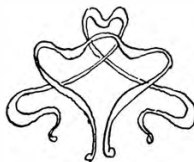
Когда червь опять повыврос, он опять умер, и на четвертый день, в тот самый срок, как коршуны принесли царевну, червь ожил и опять стал есть.

И опять умер, в тот самый срок, как царевна вернулась на лодке, опять ожил.

И опять умер; в четвертый раз, и ожил на шестой день, когда царевну выкопали из колодца.

И опять, в последний раз, умер, и на девятый день, в тот самый срок, как царевна приплыла в Японию, ожил в золотой шелковой куколке. Из куколки вылетела бабочка и положила яички, а из яичек вывелись черви и повелись в Японии. Черви пять раз засыпают и пять раз оживают.

Японцы разводят много червей, делают много шелка; и первый сон червя называется *сном льва*, второй — *сном коршуна*, третий — *сном лодки*, четвертый — *сном двора*, и пятый — *сном колоды*.



ЦАПЛЯ, РЫБЫ И РАК



ила цапля у пруда и состарилась; не стало уже в ней силы ловить рыбу. Стала она придумывать, как бы ей хитростью прожить. Она и говорит рыбам:

— А вы, рыбы, не знаете, что на вас беда собирается: слышала я от людей, хотят они пруд спустить и вас всех повыловить. Знаю я, тут за горой хорош прудок есть. Я бы помогла, да стара стала: тяжело летать.

Рыбы стали просить цаплю, чтоб помогла.

Цапля и говорит:

— Пожалуй, постараюсь для вас, перенесу вас: только вдруг не могу, а поодиночке.

Вот рыбы и рады; все просят:

— Меня отнеси, меня отнеси!

И принялась цапля носить их: возьмет, вынесет в поле да и съест. И перенесла она так много рыб.

Жил в пруду старый рак. Как стала цапля выносить рыбу, он смекнул дело и говорит:

— Ну, теперь, цапля, и меня снеси на новоселье.

Цапля взяла рака и понесла. Как вылетела она на поле, хотела сбросить рака. Но рак увидел рыбьи косточки на поле, стиснул клешнями цаплю за шею и удавил ее, а сам приполз назад к пруду и рассказал рыбам.



ЕЖ И ЗАЯЦ



овстречал заяц ежа и говорит:

— Всем бы ты хорош, еж, только ноги у тебя кривые, заплетаются.

Еж рассредился и говорит:

— Ты что ж смеешься; мои кривые ноги скорее твоих прямых бегают. Вот дай только схожу домой, а потом давай побежим наперегонку!

Еж пошел домой и говорит жене:

— Я с зайцем поспорил; хотим бежать наперегонку!

Ежова жена и говорит:

— Ты, видно, с ума сошел! Где тебе с зайцем бежать? У него ноги быстрые, а у тебя кривые и тупые.

А еж говорит:

— У него ноги быстрые, а у меня ум быстрый. Только ты делай, что я велю. Пойдем в поле.

Вот пришли они на вспаханное поле к зайцу; еж и говорит жене:

— Спрячься ты на этом конце борозды, а мы с зайцем побежим с другого конца; как он разбежится, я вернусь назад; а как прибежит к твоему концу, ты выходи и скажи: «А я уже давно жду». Он тебя от меня не узнает — подумает, что это я.

Ежова жена спряталась в борозде, а еж с зайцем побежали с другого конца.

Как заяц разбежался, еж вернулся назад и спрятался в борозду. Заяц прискакал на другой конец борозды: глядь! — а ежова жена уже там сидит. Она увидела зайца и говорит:

— А я уже давно жду!
Заяц не узнал ежову жену от ежа и думает:
«Что за чудо! Как это он меня обогнал?»

— Ну,— говорит,— давай еще раз побежим!

— Давай!

Заяц пустился назад, прибежал на другой конец: гляды! — а еж уже там, да и говорит:

— Э, брат, ты только теперь, а я уже давно тут.

«Что за чудо! — думает заяц,— уж как я шибко скакал, а всё он обогнал меня».

— Ну, так побежим еще раз, теперь уж не обгонишь.

— Побежим!

Поскакал заяц что было духу: гляды! — еж впереди сидит и дожидается.

И так заяц до тех пор скакал из конца в конец, что из сил выбился.

Заяц покорился и сказал, что вперед никогда не будет спорить.



УЖ



одной женщины была дочь Маша. Маша пошла с подругами купаться. Девочки сняли рубашки, положили на берег и попрыгали в воду.

Из воды выполз большой уж и, свернувшись, лег на Машину рубашку. Девочки вылезли из воды, надели свои рубашки и побежали домой. Когда Маша подошла к своей рубашке и увидела, что на

ней лежит ужак*, она взяла палку и хотела согнать его, но уж поднял голову и засипел чело-
вечьим голосом:

— Маша, Маша, обещай за меня замуж.

Маша заплакала и сказала:

— Только отдай мне рубашку, а я всё сделаю.

— Пойдешь ли замуж?

Маша сказала:

— Пойду.

И уж сполз с рубашки и ушел в воду.

Маша надела рубашку и побежала домой. Дома она сказала матери:

— Матушка, ужак лег на мою рубашку и сказал: иди за меня замуж, а то не отдам рубашки. Я ему обещала.

Мать посмеялась и сказала:

— Это тебе приснилось.

Через неделю целое стадо ужей приползло к Машиному дому.

Маша увидела ужей, испугалась и сказала:

— Матушка, за мной ужи приползли.

Мать не поверила, но, как увидела, сама испугалась и заперла сени и дверь в избу. Ужи проползли под ворота и вползли в сени, но не могли пройти в избу. Тогда они выползли назад, все вместе свернулись клубком и бросились в окно. Они разбили стекло, упали на пол в избу и поползли по лавкам, столам и на печку. Маша забилась в угол на печи, но ужи нашли ее, стащили оттуда и повели к воде.

Мать плакала и бежала за ними, но не догнала. Ужи вместе с Машей бросились в воду.

Мать плакала о дочери и думала, что она умерла.

Один раз мать сидела у окна и смотрела на улицу. Вдруг она увидела, что к ней идет ее Маша

и ведет за руку маленького мальчика и на руках несет девочку.

Мать обрадовалась и стала целовать Машу и спрашивать ее, где она была и чьи это дети? Маша сказала, что это ее дети, что уж взял ее замуж и что она живет с ним в водяном царстве.

Мать спросила дочь, хорошо ли ей жить в водяном царстве, и дочь сказала, что лучше, чем на земле.

Мать просила Машу, чтоб она осталась с ней, но Маша не согласилась. Она сказала, что обещала мужу вернуться.

Тогда мать спросила дочь:

— А как же ты домой пойдешь?

— Пойду, покличу: «Осип, Осип, выйди сюда и возьми меня»; он и выйдет на берег и возьмет меня.

Мать сказала тогда Маше:

— Ну, хорошо, только переночуй у меня.

Маша легла и заснула, а мать взяла топор и пошла к воде. Она пришла к воде и стала звать:

— Осип, Осип, выйди сюда.

Уж выплыл на берег. Тогда мать ударила его топором и отрубила ему голову. Вода сделалась красною от крови.

Мать пришла домой, а дочь проснулась и говорит:

— Я пойду домой, матушка; мне скучно стало,— и она пошла.

Маша взяла девочку на руки, а мальчика повела за руку.

Когда она пришла к воде, она стала кликать:

— Осип, Осип, выйди ко мне.

Но никто не выходил.

Тогда она посмотрела на воду и увидала, что вода красная и ужовая голова плавает по ней.



Тогда Маша поцеловала дочь и сына и сказала им:

— Нет у вас батюшки, не будет у вас и ма-тушки. Ты, дочка, будь птичкой ласточкой, летай над водой; ты, сынок, будь соловейчиком, распевай по зарям, а я буду кукушечкой, буду куковать по убитому по своему мужу.

И они все разлетелись в разные стороны.



ЦАРЬ И СОКОЛ



дин царь на охоте пу-стил за зайцем любимого сокола и поскакал.

Сокол поймал зайца. Царь отнял зайца и стал искать воды, где бы напиться. В бугре царь нашел воду. Только она по капле капала. Вот царь достал чашу с седла и поставил под воду. Вода текла по капле, и когда чаша набралась полная, царь поднял ее ко рту и хотел пить. Вдруг сокол встрепенулся на руке у царя, забил крыльями и выплеснул воду. Царь опять поставил чашу. Он долго ждал, пока она наберется вровень с краями, и опять, когда он стал подносить ее ко рту, сокол затрепыхался и разлил воду.

Когда в третий раз царь набрал полную чашу и стал подносить ее к губам, сокол опять разлил ее. Царь рассердился и, со всего размаха ударив сокола об камень, убил его. Тут подъехали царские слуги, и один из них побежал вверх к роднику,

чтобы найти побольше воды и скорее набрать полную чашу. Только и слуга не принес воды; он вернулся с пустой чашкой и сказал:

— Ту воду нельзя пить; в роднике змея, и она выпустила свой яд в воду. Хорошо, что сокол разлил воду. Если бы ты выпил этой воды, ты бы умер.

Царь сказал:

— Дурно же я отплатил соколу: он спас мне жизнь, а я убил его.



ДВА ТОВАРИЩА



ли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать ему было нечего — он упал наземь и притворился мертвым.

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал.

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел.

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется:

— Ну что, — говорит, — медведь тебе на ухо говорил? .

— А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают.

ЛЕВ,
ВОЛК И ЛИСИЦА



тарый больной лев лежал в пещере. Приходили все звери проведывать царя, только лисица не бывала. Вот волк обрадовался случаю и стал перед львом оговаривать лисицу.

— Она,— говорит,— тебя ни во что считает, ни разу не зашла царя проведать.

На эти слова и прибеги лисица. Она услышала, что волк говорил, и думает: «Погоди ж, волк, я тебе вымещу».

Вот лев зарычал на лисицу, а она говорит:

— Не вели казнить, вели слово вымолвить. Я оттого не бывала, что недосуг было. А недосуг было оттого, что по всему свету бегала, у лекарей для тебя лекарства спрашивала. Только теперь нашла, вот и прибежала.

Лев и говорит:

— Какое лекарство?

— А вот какое: если живого волка обдерешь да шкуру его тепленькую наденешь...

Как растянул лев волка, лисица засмеялась и говорит:

— Так-то, брат; господ не на зло, а на добро наводить надо.



КОРОВА И КОЗЕЛ



старухи была корова и козел. Корова и козел вместе ходили в стадо. Корова всё ворбчалась, когда ее доили. Старуха вынесла хлеба с солью, дала корове и приговаривала:

— Да стой же, матушка; на, на, еще вынесу, только стой смирно.

На другой вечер козел вперед коровы вернулся с поля, расставил ноги и стал перед старухой. Старуха замахнулась на него полотенцем, но козел стоял, не шевелился. Он помнил, что старуха обещала хлеба корове, чтобы стояла смирно. Старуха видит, что козел не понимает, взяла палку и прибила его.

Когда козел отошел, старуха опять стала кормить корову хлебом и уговаривать её.

«Нет в людях правды! — подумал козел.— Я смирнее ее стоял, а меня прибили».

Он отошел к сторонке, разбежался, ударил в подойник, разлил молоко и зашиб старуху.



ВОРОН И ВОРОНЯТА



Ворон свил себе гнездо на острове, и когда воронята вывелись, он стал их переносить с острова на землю. Сперва он взял в когти одного вороненка и полетел с ним через море. Когда старый ворон вылетел на середину моря, он умирался, стал реже махать крыльями и подумал: «Теперь я силен, а он слаб, я перенесу его через море; а когда он станет велик и силен, а я стану слаб от старости, вспомнит ли он мои труды и будет ли переносить меня с места на место?»

И старый ворон спросил вороненка:

— Когда я буду слаб, а ты будешь силен, будешь ли ты носить меня? Говори мне правду!

Вороненок боялся, что отец бросит его в море, и сказал:

— Буду.

Но старый ворон не поверил сыну и выпустил вороненка из когтей. Вороненок, как комок, упал книзу и потонул в море. Старый ворон один полетел через море назад на свой остров.

Потом старый ворон взял другого вороненка и также понес его через море. Опять он умирался на середине моря и спросил сына, будет ли он его в старости переносить с места на место. Сын испугался, чтобы отец не бросил его, и сказал:

— Буду.

Отец не поверил и этому сыну и бросил его в море. Когда старый ворон прилетел назад к своему гнезду, у него оставался один вороненок. Он взял

последнего сына и полетел с ним через море.

Когда он вылетел на средину моря и умирался, он спросил:

— Будешь ли ты в моей старости кормить меня и переносить с места на место?

Вороненок сказал:

— Нет, не буду.

— Отчего? — спросил отец.

— Когда ты будешь стар, а я буду большой, у меня будет свое гнездо и свои воронята, и я буду кормить и носить своих детей.

Тогда старый ворон подумал: «Он правду сказал, за то потружусь и перенесу его за море».

И старый ворон не выпустил вороненка, а из последних сил замахал крыльями и перенес на землю, чтобы он свил себе гнездо и вывел детей.



ВОРОН И ЛИСИЦА



Ворон добыл мяса кусок и сел на дерево. Захотелось лисице мяса, она подошла и говорит:

— Эх, ворон, как посмотрю на тебя, — по твоему росту да красоте только бы тебе царем быть! И верно был бы царем, если бы у тебя голос был.

Ворон разинул рот и заорал что было мочи. Мясо упало. Лисица подхватила и говорит:

— Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, быть бы тебе царем.

ВИЗИРЬ АБДУЛ



Был у персидского царя правдивый визирь Абдул. Поехал он раз к царю через город. А в городе собрался народ бунтовать. Как только увидали визиря, обступили его, остановили лошадь и стали грозить ему, что они его убьют, если он по-ихнему не сделает. Один человек так осмелился, что взял его за бороду и подергал ему бороду.

Когда они отпустили визиря, он приехал к царю и упросил его помочь народу и не наказывать за то, что они его так обидели.

На другое утро пришел к визирю лавочник. Визирь спросил, что ему надо. Лавочник говорит:

— Я пришел выдать тебе того самого человека, который тебя обидел вчера. Я его знаю — это мой сосед, его звать Нагим; пошли за ним и накажи его!

Визирь отпустил лавочника и послал за Нагимом. Нагим догадался, что его выдали, пришел ни жив ни мертв к визирю и упал в ноги.

Визирь поднял его и сказал:

— Я не за тем призвал тебя, чтобы наказывать, а только затем, чтобы сказать тебе, что у тебя сосед нехорош. Он тебя выдал, берегись его. Ступай с богом.



ЛИСИЦА И КОЗЕЛ



ахотелось козлу на-
питься: он слез под кручу к колодцу, напился и
отяжелел. Стал он выбираться назад и не может.
И стал он реветь. Лисица увидела и говорит:

— То-то, бестолковый! Коли бы у тебя сколько
в бороде волос, столько бы в голове ума было, то,
прежде чем слезать, подумал бы, как назад
выбраться.



ВОЛК В ПЫЛИ



олк хотел поймать из
стада овцу и зашел под ветер, чтобы на него несло
пыль от стада.

Овчарная собака увидела его и говорит:

— Напрасно ты, волк, в пыли ходишь, глаза
заболят.

А волк говорит:

— То-то и горе, собаченька, что у меня уж
давно глаза болят, а говорят — от овечьего стада
пыль хорошо глаза вылечивает.

ЛИСИЦА



опалась лиса в капкан, оторвала хвост и ушла. И стала она придумывать, как бы ей свой стыд прикрыть. Созвала она лисиц и стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты.

— Хвост,— говорит,— совсем не кстати, только напрасно лишнюю тягость за собой таскаем.

Одна лисица и говорит:

— Ох, не говорила бы ты этого, кабы не была куцая!

Куцая лисица смолчала и ушла.



СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ



дин человек пошел на торг и купил говядины. На торгу его обманули: дали дурной говядины, да еще обвесили.

Вот он идет домой с говядиной и бранится. Встречается ему царь и спрашивает:

— Кого ты бранишь?

А он говорит:

— Я браню того, кто меня обманул. Я заплатил за три фунта, а мне дали только два, и то дурную говядину.

Царь и говорит:

— Пойдем назад на торг, покажи того, кто тебя обманул.

Человек пошел назад и показал купца. Царь свесил при себе мясо: видит, точно, обманули. Царь и говорит:

— Ну, как ты хочешь, чтобы я наказал купца? Тот говорит:

— Вели вырезать из его спины столько мяса, на сколько он обманул меня.

Царь и говорит:

— Хорошо, возьми нож и вырежь из купца фунт мяса; только смотри, чтобы у тебя вес был бы верен, а если вырежешь больше или меньше фунта, ты виноват останешься.

Человек смолчал и ушел домой.



СОБАКА И ВОЛК



обака заснула за двором. Голодный волк набежал и хотел съесть ее. Собака и говорит:

— Волк! Подожди меня есть,— теперь я костлява, худа. А вот, дай срок, хозяева будут свадьбу играть, тогда мне еды будет вволю, я разжирею,— лучше тогда меня съесть.

Волк поверил и ушел.



Вот приходит он в другой раз и видит — собака лежит на крыше. Волк и говорит:

— Что ж, была свадьба?

А собака и говорит:

— Вот что, волк: коли другой раз застанешь меня сонную перед двором, не дожидайся больше свадьбы.



КОТ И МЫШИ



авелось в одном доме много мышей. Кот забрался в этот дом и стал ловить мышей. Увидали мыши, что дело плохо, и говорят:

— Давайте, мыши, не будем больше сходить с потолка, а сюда к нам коту не добаться!

Как перестали мыши сходить вниз, кот и задумал, как бы их перехитрить. Уцепился он одной лапой за потолок, свесился и притворился мертвым. Одна мышь выглянула на него, да и говорит:

— Нет, брат! Хоть мешком сделайся, и то не подойду.



ВОЛК И КОЗА



олк видит — коза пается на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться; он ей и говорит:

— Пошла бы ты вниз: тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще.

А коза и говорит:

— Не за тем ты, волк, меня вниз зовешь,— ты не об моем, о своем корме хлопочешь.



ТРИ МЕДВЕДЯ



дна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику.

Дверь была отворена: она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла.

В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома,— они ушли гулять по лесу.



В домике было две комнаты: одна — столовая, другая — спальня.

Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка, очень большая, была Михайлы Иванычева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровнина. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка: большая, средняя и маленькая.

Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки; потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки; потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки, и Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех.

Девочка захотела сесть и видит у стола три стула: один большшй — Михайлы Иваныча, другой поменьше — Настасьи Петровнин, и третий, маленький, с синенькой подушечкой — Мишуткин.

Она полезла на большой стул и упала; потом села на средний стул, на нем было неловко; потом села на маленький стульчик и засмеялась, — так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колена и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле.

Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати: одна большая — Михайлы Иванычева, другая средняя — Настасьи Петровнина, третья маленькая — Мишенькина.

Девочка легла в большую — ей было слишком просторно; легла в среднюю — было слишком высоко; легла в маленькую — кроватка пришлась ей как раз впору, и она заснула.

А медведи пришли домой голодные и захотели обедать.

Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ
ЧАШКЕ!

Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ!

А Мишутка увидел свою пустую чашечку и запищал тонким голосом:

— КТО ХЛЕБАЛ В МОЕЙ ЧАШКЕ И ВСЁ ВЫХЛЕБАЛ!

Михайло Иваныч взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом:

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ
СТУЛЕ
И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!

Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко:

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ
И СДВИНУЛ ЕГО С МЕСТА!

Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал:

— КТО СИДЕЛ НА МОЕМ СТУЛЕ И СЛОМАЛ ЕГО!

Медведи пришли в другую горницу.

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ
ПОСТЕЛЬ И СМЯЛ ЕЕ! —

заревел Михайло Иваныч страшным голосом.

— КТО ЛОЖИЛСЯ В МОЮ ПОСТЕЛЬ
И СМЯЛ ЕЕ! —

зарычала Настасья Петровна не так громко.



А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кровать и запищал тонким голосом:

— кто ложился в мою постель!

И вдруг он увидел девочку и завизжал так, как будто его режут:

— ВОТ ОНА! ДЕРЖИ, ДЕРЖИ! ВОТ ОНА! ВОТ ОНА! АЙ-Я-ЯЙ!
ДЕРЖИ!

Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Окно было открыто, она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.



ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ



дин алжирский царь Бауакас захотел сам узнать, правду ли ему говорили, что в одном из его городов есть праведный судья, что он сразу узнаёт правду и что от него ни один плут не может укрыться. Бауакас переоделся в купца и поехал верхом на лошади в тот город, где жил судья. У въезда в город к Бауакасу подошел калека и стал просить милостыню. Бауакас подал ему и хотел ехать дальше, но калека уцепился ему за платье.

— Что тебе нужно? — спросил Бауакас. — Разве я не дал тебе милостыни?

— Милостыню ты дал, — сказал калека, — но

еще сделай милость, довези меня на твоей лошади до площади, а то лошади и верблюды как бы не раздавили меня.

Бауакас посадил калеку сзади себя и довез его до площади. На площади Бауакас остановил лошадь. Но нищий не слезал. Бауакас сказал:

— Что ж сидишь? Слезай, мы приехали.

А нищий сказал:

— Зачем слезать, — лошадь моя; а не хочешь добром отдать лошадь, пойдём к судье.

Народ собрался вокруг них и слушал, как они спорили; все закричали:

— Ступайте к судье, он вас рассудит!

Бауакас с калекою пошли к судье. В суде был народ, и судья вызывал по очереди тех, кого судил.

Прежде чем черед дошел до Бауакаса, судья вызвал ученого и мужика. Они судились за жену. Мужик говорил, что это его жена, а ученый говорил, что его жена. Судья выслушал их, помолчал и сказал:

— Оставьте женщину у меня, а сами приходите завтра.

Когда эти ушли, вошли мясник и масленик. Мясник был весь в крови, а масленик — в масле. Мясник держал в руке деньги, масленик — руку мясника. Мясник сказал:

— Я купил у этого человека масло и вынул кошелек, чтобы расплатиться, а он схватил меня за руку и хотел отнять деньги. Так мы и пришли к тебе, — я держу в руке кошелек, а он держит меня за руку. Но деньги мои, а он — вор.

А масленик сказал:

— Это неправда. Мясник пришел ко мне покупать масло. Когда я налил ему полный кувшин, он просил меня разменять ему золотой. Я достал деньги и положил их на лавку, а он взял их и

хотел бежать. Я поймал его за руку и привел сюда.
Судья помолчал и сказал:

— Оставьте деньги здесь и приходите завтра.

Когда очередь дошла до Бауакаса и до калеки, Бауакас рассказал, как было дело. Судья выслушал его и спросил нищего. Нищий сказал:

— Это всё неправда. Я ехал верхом через город, а он сидел на земле и просил меня подвезти его. Я посадил его на лошадь и довез, куда ему нужно было, но он не хотел слезать и сказал, что лошадь его. Это неправда.

Судья подумал и сказал:

— Оставьте лошадь у меня и приходите завтра.

На другой день собралось много народа слушать, как рассудит судья.

Первые подошли ученый и мужик.

— Возьми свою жену,— сказал судья ученому,— а мужику дать пятьдесят палок.

Ученый взял свою жену, а мужика тут же наказали.

Потом судья вызвал мясника.

— Деньги твои,— сказал он мяснику. Потом он указал на масленика и сказал: — А ему дать пятьдесят палок.

Тогда позвали Бауакаса и калеку.

— Узнаешь ты свою лошадь из двадцати других? — спросил судья Бауакаса.

— Узнаю.

— А ты?

— И я узнаю,— сказал калека.

— Иди за мной,— сказал судья Бауакасу.

Они вошли в конюшню. Бауакас сейчас же промеж других двадцати лошадей показал на свою.

Потом судья вызвал калеку в конюшню и тоже велел ему указать на лошадь. Калека признал ло-

шадь и показал ее. Тогда судья сел на свое место и сказал Бауакасу:

— Лошадь твоя: возьми ее. А калеке дать пятьдесят палок.

После суда судья пошел домой, а Бауакас пошел за ним.

— Что же ты, или недоволен моим решением? — спросил судья.

— Нет, я доволен, — сказал Бауакас. — Только хотелось бы мне знать, почему ты узнал, что жена была ученого, а не мужика, что деньги были мясниковы, а не маслениковы, и что лошадь была моя, а не нищего?

— Про женщину я узнал вот как: позвал ее утром к себе и сказал ей: налей чернил в мою чернильницу. Она взяла чернильницу, вымыла ее скоро и ловко и налила чернил. Стало быть, она привыкла это делать. Будь она жена мужика, она не сумела бы этого сделать. Выходит, что ученый был прав... Про деньги я узнал вот как: положил я деньги в чашку с водой и сегодня утром посмотрел — всплыло ли на воде масло. Если бы деньги были маслениковы, то они были бы запачканы его масляными руками. На воде масла не было, стало быть, мясник говорит правду... Про лошадь узнать было труднее. Калека так же, как и ты, из двадцати лошадей сейчас же указал на лошадь. Да я не для того приводил вас обоих в конюшню, чтобы видеть, узнаете ли вы лошадь, а для того, чтобы видеть — кого из вас двоих узнает лошадь. Когда ты подошел к ней, она обернула голову, потянулась к тебе; а когда калека тронул ее, она прижала уши и подняла ногу. Поэтому я узнал, что ты настоящий хозяин лошади.

Тогда Бауакас сказал:

— Я не купец, а царь Бауакас. Я приехал сюда,

чтобы видеть, правда ли то, что говорят про тебя. Я вижу теперь, что ты мудрый судья. Проси у меня, чего хочешь, я награжу тебя.

Судья сказал:

— Мне не нужно награды; я счастлив уже тем, что царь мой похвалил меня.



ДВА БРАТА



ва брата пошли вместе путешествовать. В полдень они легли отдохнуть в лесу. Когда они проснулись, то увидали — подле них лежит камень и на камне что-то написано. Они стали разбирать и прочли:


«Кто найдет этот камень, тот пускай идет прямо в лес на восход солнца. В лесу придет река: пускай плывет через эту реку на другую сторону. Увидишь медведицу с медвежатами: отними медвежат у медведицы и беги без оглядки прямо в гору. На горе увидишь дом, и в доме том найдешь счастье».

Братья прочли, что было написано, и меньшей сказал:

— Давай пойдем вместе. Может быть, мы переплывем эту реку, донесем медвежат до дому и вместе найдем счастье.

Тогда старший сказал:

— Я не пойду в лес за медвежатами и тебе не советую. Первое дело: никто не знает — правда ли написана на этом камне; может быть, всё это на-



писано на смех. Да, может быть, мы и не так разобрали. Второе: если и правда написана,— пойдем мы в лес, придет ночь, мы не попадем на реку и заблудимся. Да если и найдем реку, как мы переплывем ее? Может быть, она быстра и широка? Третье: если и переплывем реку,— разве легкое дело отнять у медведицы медвежат; она нас задержит, и мы, вместо счастья, пропадем ни за что. Четвертое дело: если нам и удастся унести медвежат, мы не добежим без отдыха в гору. Главное же дело — не сказано: какое счастье мы найдем в этом доме? Может быть, нас там ждет такое счастье, какого нам вовсе не нужно.

А меньшой сказал:

— По-моему, не так. Напрасно этого писать на камне не стали бы. И всё написано ясно. Первое дело: нам беды не будет, если и попытаемся. Второе дело: если мы не пойдем, кто-нибудь другой прочтет надпись на камне и найдет счастье, а мы останемся ни при чем. Третье дело: не потрудиться да не поработать, ничто в свете не радует. Четвертое: не хочу я, чтоб подумали, что я чего-нибудь да побоялся.

Тогда старший сказал:

— И пословица говорит: искать большого счастья — малое потерять; да еще, не сули журавля на небе, а дай синицу в руки.

А меньшой сказал:

— А я слышал — волков бояться, в лес не ходить; да еще: под лежащий камень вода не потечет. По мне, надо идти.

Меньшой брат пошел, а старший остался.

Как только меньшой брат вошел в лес, он напал на реку, переплыл ее и тут же на берегу увидал медведицу. Она спала. Он ухватил медвежат и побежал без оглядки на гору. Только что добежал до

верху,— выходит ему навстречу народ, подвезли ему карету, повезли в город и сделали царем. Он царствовал пять лет. На шестой год пришел на него войной другой царь, сильнее его: завоевал город и прогнал его. Тогда меньшой брат пошел опять странствовать и пришел к старшему брату.

Старший брат жил в деревне ни богато, ни бедно. Братья обрадовались друг другу и стали рассказывать про свою жизнь.

Старший брат и говорит:

— Вот и вышла моя правда: я всё время жил тихо и хорошо, а ты хоть и был царем, зато много горя видел.

А меньшой сказал:

— Я не тужу, что пошел тогда в лес на гору; хоть мне и плохо теперь, зато есть чем помянуть мою жизнь, а тебе и помянуть-то нечем.



ЛИПУНЮШКА



ил старик со старухою. У них не было детей. Старик поехал в поле пахать, а старуха осталась дома блины печь. Старуха напекла блинов и говорит:

— Если бы был у нас сын, он бы отцу блинов отнес; а теперь с кем я пошлю?

Вдруг из хлопка вылез маленький сыночек и говорит:

— Здравствуй, матушка!..

А старуха и говорит:

— Откуда ты, сыночек, взялся и как тебя звать?



А сыночек и говорит:

— Ты, матушка, отпряла хлопочек и положила в столбочек, я там и вывелся. А звать меня Липунюшкой. Дай, матушка, я отнесу блинов ба-
тюшке.

Старуха и говорит:

— Ты донесешь ли, Липунюшка?

— Донесу, матушка... Старуха завязала блины в узелок и дала сыночку. Липунюшка взял узелок и побежал в поле.

В поле попалась ему на дороге кочка, он и кричит:

— Батюшка, батюшка, пересади меня через кочку! Я тебе блинов принес.

Старик услышал с поля — кто-то его зовет, пошел к сыну навстречу, пересадил его через кочку и говорит:

— Откуда ты, сынок?

А мальчик говорит:

— Я, батюшка, в хлопочке вывелся,— и подал отцу блинов.

Старик сел завтракать, а мальчик говорит:

— Дай, батюшка, я буду пахать.

А старик говорит:

— У тебя силы не достанет пахать.

А Липунюшка взялся за соху и стал пахать. Сам пашет и сам песню поет.

Ехал мимо этого поля барин и увидел, что старик сидит завтракает, а лошадь одна пашет. Барин вышел из кареты и говорит старику:

— Как это у тебя, старик, лошадь одна пашет?

А старик говорит:

— У меня там мальчик пашет, он и песни поет.

Барин подошел ближе, услышал песни и увидел Липунюшку.

Барин и говорит:



— Старик! Продай мне мальчика.

А старик говорит:

— Нет, мне нельзя продать, у меня один только и есть.

А Липунюшка говорит старику:

— Продай, батюшка, я убегу от него.

Мужик и продал мальчика за сто рублей. Барин отдал деньги, взял мальчика, завернул его в платочек и положил в карман. Барин приехал домой и говорит жене:

— Я тебе радость привез.

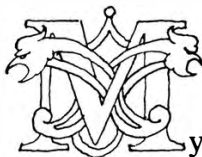
А жена говорит:

— Покажи, что такое?

Барин достал платочек из кармана, развернул его, а в платочке ничего нету. Липунюшка уж давно к отцу убежал.



НАГРАДА



Мужик нашел дорогой камень и понес его к царю. Пришел во дворец и стал спрашивать у царских слуг: как бы царя увидеть.

Один царский слуга спросил: зачем ему царя. Мужик рассказал. Слуга и говорит:

— Хорошо, я скажу царю, но только отдай мне половину того, что тебе даст царь. А если не обещаешь, то не допущу тебя до царя.

Мужик обещал, слуга доложил царю. Царь взял камень и говорит:

— Какую тебе, мужик, награду дать?

Мужик говорит:

— Дай мне пятьдесят плетей, не хочу другой награды. Только у меня с твоим слугою уговор был, чтобы пополам делить награду. Так мне двадцать пять и ему двадцать пять.

Царь посмеялся и прогнал слугу, а мужику дал тысячу рублей.



ЦАРЬ И РУБАШКА



дин царь был болен
и сказал:

— Половину царства отдам тому, кто меня вылечит.

Тогда собрались все мудрецы и стали судить, как царя вылечить. Никто не знал. Один только мудрец сказал, что царя можно вылечить. Он сказал:

— Если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя — царь выздоровеет.

Царь и послал искать по своему царству счастливого человека; но послы царя долго ездили по всему царству и не могли найти счастливого человека. Не было ни одного такого, чтобы всем был доволен. Кто богат, да хворает; кто здоров, да беден; кто и здоров и богат, да жена не хороша; а у кого дети не хороши — все на что-нибудь да жалуются.

Один раз идет поздно вечером царский сын

мимо избушки, и слышно ему — кто-то говорит:
— Вот, слава богу, наработался, наелся и спать лягу; чего мне еще нужно?

Царский сын обрадовался, велел снять с этого человека рубашку, а ему дать за это денег, сколько он захочет, а рубашку отнести к царю.

Посланные пришли к счастливому человеку и хотели с него снять рубашку; но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.




СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ
И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ:
СЕМЕНЕ-ВОИНЕ И ТАРАСЕ-БРЮХАНЕ,
И НЕМОЙ СЕСТРЕ МАЛАНЬЕ,
И О СТАРОМ ДЬЯВОЛЕ И ТРЕХ
ЧЕРТЕНЯТАХ

I



некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый мужик. И было у богатого мужика три сына: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак, и дочь Маланья-векоуха*, немая. Пошел Семен-воин на войну, царю служить, Тарас-брюхан пошел в город к купцу, торговать, а Иван-дурак с девкою остался дома работать, горб наживать. Выслужил себе Семен-воин чин большой и вотчину* и женился на барской дочери. Жалованье большое было и вотчина



большая, а всё концы с концами не сводил: что муж соберет, всё жена-барыня рукавом растрясет; всё денег нет. И приехал Семен-воин в вотчину доходы собирать. Приказчик ему и говорит:

— Не с чего взять; нет у нас ни скотины, ни снасти, ни лошади, ни коровы, ни сохи, ни бороны; надо всего завести — тогда доходы будут.

И пошел Семен-воин к отцу:

— Ты,— говорит,— батюшка, богат, а мне ничего не дал. Отдели мне третью часть, а я в свою вотчину переведу.

Старик говорит:

— Ты мне в дом ничего не подавал, за что тебе третью часть давать? Ивану с девкой обидно будет.

А Семен говорит:

— Да ведь он дурак, а она векоуха немая; чего им надо?

Старик и говорит:

— Как Иван скажет.

А Иван говорит:

— Ну что ж, пускай берет.

Взял Семен-воин часть из дома, перевел в свою вотчину, опять уехал к царю служить.

Нажил и Тарас-брюхан денег много — женился на купчихе, да всё ему мало было, приехал к отцу и говорит:


— Отдели мне мою часть.

Не хотел старик и Тарасу давать часть.

— Ты,— говорит,— нам ничего не давал, а что в доме есть, то Иван нажил. Тоже и его с девкой обидеть нельзя.

А Тарас говорит:

— На что ему, он дурак; жениться ему нельзя, никто не пойдет, а девке немой тоже ничего не нужно. Давай,— говорит,— Иван, мне хлеба половину часть; я снасти брать не буду, а из скотины

 только жеребца сивого возьму,— тебе он пахать не годится.

Засмеялся Иван.

— Ну что ж,— говорит,— я пойду обротаю.

Отдали и Тарасу часть. Увез Тарас хлеб в город, увел жеребца сивого, и остался Иван с одной кобылой старой по-прежнему крестьянствовать — отца с матерью кормить.

II

Досадно стало старому дьяволу, что не поссорились в дележе брата, а разошлись по любви. И кликнул он трех чертенят.

— Вот видите,— говорит,— три брата живут: Семен-воин, Тарас-брюхан и Иван-дурак. Надо бы им всем перессориться, а они мирно живут: друг с дружкой хлеб-соль водят. Дурак мне все дела испортил. Подите вы втроем, возьмитесь за троих и смутите* их так, чтобы они друг дружке глаза повыдрали. Можете ли это сделать?

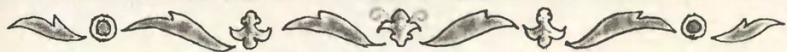
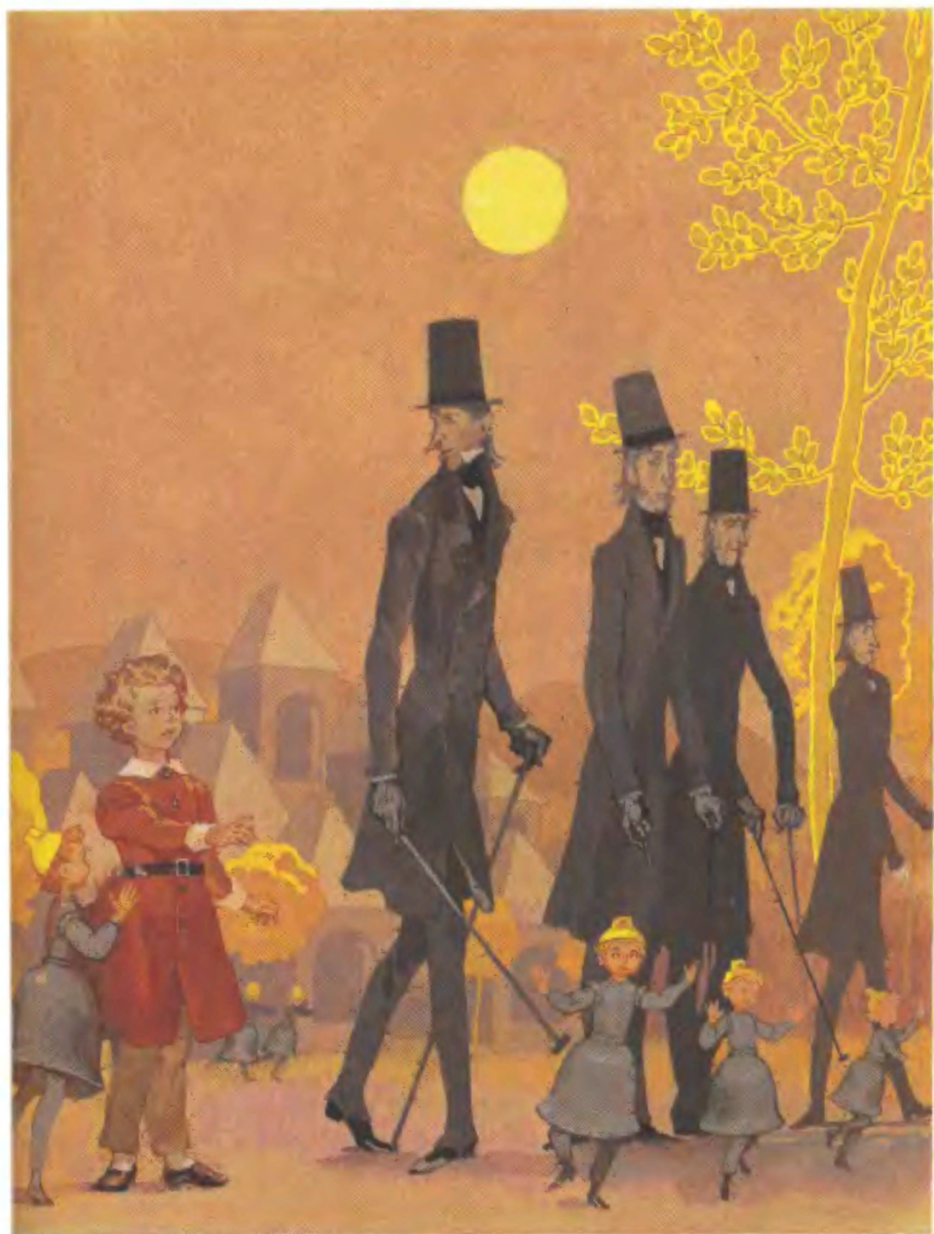
— Можем,— говорят.

— Как же вы делать будете?

— А так,— говорят,— сделаем, разорим их сперва, чтоб им жрать нечего было, а потом собьем в одну кучу, они и передерутся.

— Ну, ладно,— говорит,— я вижу — вы дело знаете; ступайте и ко мне не ворочайтесь, пока всех троих не смутите, а то со всех троих шкуру спущу.

Пошли чертенята все в болото, стали судить, как за дело братья: спорили, спорили, каждому хочется полегче работу выгадать, и порешили на том, что жеребий кинуть, какой кому достанется. А коли кто раньше других отделается, чтоб приходил другим подсоблять. Кинули жеребий чертенята и





*В. Ф. Одоевский.
«Городок в табакерке».*

назначили срок, опять когда в болоте собраться, узнать, кто отделался и кому подсоблять идти.

Пришел срок, и собрались по уговору чертенята в болоте. Стали толковать, как у кого дела. Стал рассказывать первый чертенок — от Семена-воина.

— Мое дело,— говорит,— ладится. Завтра,— говорит,— мой Семен домой к отцу придет.

Стали его товарищи спрашивать:

— Как ты,— говорят,— сделал?

— А я,— говорит,— первым делом храбрость такую на Семена навел, что он обещал своему царю весь свет завоевать, и сделал царь Семена начальником, послал его воевать индейского царя. Сошлись воевать. А я в ту же ночь в Семеновом войске весь порох подмочил и пошел к индейскому царю, из соломы солдат наделал видимо-невидимо. Увидали Семеновы солдаты, что на них со всех сторон соломенные солдаты заходят,— заробели. Велел Семен-воин палить: пушки, ружья не выходят. Испугались Семеновы солдаты и побежали, как бараны. И побил их индейский царь. Осрамился Семен-воин, отняли у него вотчину и завтра казнить хотят. Только мне на день и дела осталось, из темницы его выпустить, чтобы он домой убежал. Завтра отделаюсь, так сказывайте, кому из двух помогать приходится?

Стал и другой чертенок, от Тараса, рассказывать про свои дела.

— Мне,— говорит,— помогать не нужно. Мое дело тоже на лад пошло, больше недели не проживет Тарас. Я,— говорит,— первым делом отрастил ему брюхо и навел на него зависть. Такая у него зависть на чужое добро сделалась, что что ни увидит, всё ему купить хочется. Накупил он всего видимо-невидимо на все свои деньги и всё еще покупает. Теперь уж стал на заемные покупать. Уж

много на шею набрал и запутался так, что не распутается. Через неделю сроки подойдут отдавать, а я из всего товара его навоз сделаю — не расплатится и придет к отцу.

Стали спрашивать и третьего чертенка, от Ивана.

— А твое дело как?

— Да что,— говорит,— мое дело не ладится. Наплевал я ему первым делом в кувшин с квасом, чтобы у него живот болел, и пошел на его пашню, сбил землю, как камень, чтоб он не осилил. Думал я, что он не вспашет, а он, дурак, приехал с сохой, начал драть. Кряхтит от живота, а сам всё пашет. Изломал я ему одну соху — поехал дурак домой, переладил другую, подвои новые подвязал* и опять принялся пахать. Залез я под землю, стал за сошники* держать, не удержишь никак — налегает на соху, а сошники вострые: изрезали мне руки все. Почти всё допахал, одна только полоска осталась. Приходите,— говорит,— братцы, помогать, а то, как мы его одного не осилим, все наши труды пропадут. Если дурак останется да крестьянствовать будет, они нужды не увидят, он обоих братьев кормить будет.

Пообещал чертенок от Семена-воина назавтра приходить помогать, и разошлись на том чертенята.

III

Вспахал Иван весь пар*, только одна полоска осталась. Приехал допахивать. Болит у него живот, а пахать надо. Выхлестнул гужи, перевернул соху и поехал пахать. Только завернулся раз, поехал назад — ровно за корень зацепило что-то — волочет. А это чертенок ногами вокруг рассохи заплел* — держит. «Что за чудо! — думает Иван.—

Корней тут не было, а корень». Запустил Иван руку в борозду, ощупал — мягкое. Ухватил что-то, вытащил. Черное, как корень, на корне что-то шевелится. Глядь — чертенок живой.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая!

Замахнулся Иван, хотел о приголовок пришибить его*, да запищал чертенок.

— Не бей ты меня,— говорит,— а я тебе что хочешь сделаю.

— Что ж ты мне сделаешь?

— Скажи только, чего хочешь.

Почесался Иван.

— Брюхо,— говорит,— болит у меня — поправить можешь?

— Могу,— говорит.

— Ну, лечи.

Нагнулся чертенок в борозду, пошарил, пошарил когтями, выхватил корешок-тройчатку, подал Ивану.

— Вот,— говорит,— кто ни проглотит один корешок, всякая боль пройдет.

Взял Иван, разорвал корешки, проглотил один. Сейчас живот прошел.

Запросился опять чертенок.

— Пусти,— говорит,— теперь меня, я в землю проскочу — больше ходить не буду.

— Ну что же,— говорит,— бог с тобой!

И как только сказал Иван про бога — юркнул чертенок под землю, как камень в воду, только дыра осталась. Засунул Иван два остальных корешка в шапку и стал допахивать. Запахал до конца полоску, перевернул соху и поехал домой. Отпряг, пришел в избу, а старший брат, Семен-воин, сидит с женой — ужинают. Отняли у него вотчину,— насилие из тюрьмы ушел и прибежал к отцу жить.

Увидал Семен Ивана.



— Я,— говорит,— к тебе жить приехал; корми нас с женой, пока место новое выйdet.

— Ну что ж,— говорит,— живите.

Только хотел Иван на лавку сесть — не понравился барыне дух от Ивана. Она и говорит мужу:

— Не могу я,— говорит,— с вонючим мужиком вместе ужинать.

Семен-воин и говорит:

— Моя барыня говорит, от тебя дух не хорош — ты бы в сенях поел.

— Ну что ж,— говорит.— Мне и так в ночное пора — кобылу кормить.

Взял Иван хлеба, кафтан и поехал в ночное.

IV


Отделался в эту ночь чертенюк от Семена-воина и пришел по уговору Иванова чертенка искать — ему помогать дурака донимать. Пришел на пашню; поискал, поискал товарища — нет нигде, только дыру нашел. «Ну,— думает,— видно, с товарищем беда случилась, надо на его место становиться. Пашня допахана — надо будет дурака на покосе донимать».

Пошел чертенюк в луга, напустил на Иванов покос паводок; затянуло весь покос грязью. Вернулся на зорьке Иван из ночного, отбил косу, пошел луга косить. Пришел Иван, стал косить; махнет раз, махнет другой — затупится коса, не режет, точить надо. Бился, бился Иван.

— Нет,— говорит,— пойду домой, отбой* принесу да и хлеба ковригу. Хоть неделю пробьюсь, а не уйду, пока не выкошу.

Услыхал чертенюк — задумался.

— Калян*,— говорит,— дурак этот, не прой-



мешь его. Надо на другие штуки подниматься. Пришел Иван, отбил косу, стал косить. Залез чертенок в траву, стал косу за пятку ловить*, носком в землю тыкать. Трудно Ивану, однако выкосил покос — осталась одна делянка в болоте. Залез чертенок в болото, думает себе:

«Хоть лапы перережу, а не дам выкосить».

Зашел Иван в болото; трава — смотреть — не густая, а не проворотить косы. Рассердился Иван, начал во всю мочь махать; стал чертенок подаваться — не поспекает отскакивать; видит — дело плохо, забился в куст. Размахнулся Иван, шаркнул по кусту, отхватил чертенку половину хвоста. Докосил Иван покос, велел девке грести, а сам пошел рожь косить.

Вышел с крюком*, а кургузый чертенок уж там, перепутал рожь так, что на крюк нейдет. Вернулся Иван, взял серп и принялся жать — выжал всю рожь.

— Ну, теперь,— говорит,— надо за овес браться.

Услыхал кургузый чертенок, думает: «На ржи не донял, так на овсе дойму, дай только утра дожждаться». Прибежал чертенок утром на овсяное поле, а овес уже скошен: Иван его ночью скосил, чтоб меньше сыпался. Рассердился чертенок.

— Изрезал,— говорит,— меня и замучал дурак. И на войне такой беды не видал! Не спит, проклятый, за ним не поспеешь! Пойду,— говорит,— теперь в копны, прогною ему всё.

И пошел чертенок в ржаную копну, залез между снопами — стал гноить: согрел их и сам согрелся и задремал.

А Иван запряг кобылу и поехал с девкой возить. Подъехал к копне, стал кидать на воз. Скинул два снопа, сунул — прямо чертенку в зад; поднял —

глядь: на вилах чертенюк живой, да еще кургузый, барахтается, ужимается, соскочить хочет.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая! Ты опять тут?

— Я,— говорит,— другой, то мой брат был. А я,— говорит,— у твоего брата Семена был.

— Ну,— говорит,— какой ты там ни будь, и тебе то же будет! — Хотел его об грядку пришибить*, да стал его просить чертенюк.

— Отпусти,— говорит,— больше не буду, а я тебе что хочешь сделаю.

— Да что ты сделать можешь?

— А я,— говорит,— могу из чего хочешь солдат наделать.

— Да на что их?

— А на что,— говорит,— хочешь их поверни; они всё могут.

— Песни играть могут?

— Могут.

— Ну что же,— говорит,— сделай.

И сказал чертенюк:

— Возьми ты вот сноп ржаной, тряхни его о землю гузом и скажи только: «Велит мой холоп, чтоб был не сноп, а сколько в тебе соломинонок, столько бы солдат».

Взял Иван сноп, потрянул оземь и сказал, как велел чертенюк. И расскочился сноп, и сделались солдаты, и впереди барабанщик и трубач играют. Засмеялся Иван.

— Ишь ты,— говорит,— как ловко! Это,— говорит,— хорошо — девок веселить.

— Ну,— говорит чертенюк,— пусти же теперь.

— Нет,— говорит,— это я старновки делать буду*, а то даром зерно пропадает. Научи, как опять в сноп поворотить. Я его обмолочу.

Чертенюк и говорит:



— Скажи: «Сколько солдат, столько соломинок.
Велит мой холоп, будь опять сноп!»

Сказал так Иван, и стал опять сноп.

И стал опять проситься чертенюк.

— Пусти,— говорит,— теперь.

— Ну что ж!

Зацепил его Иван за грядку, придержал рукой, сдернул с вил.

— С богом,— говорит. И только сказал про бога — юркнул чертенюк под землю, как камень в воду, только дыра осталась.

Приехал Иван домой, а дома и другой брат, Тарас, с женой сидят — ужинают. Не расчелся Тарас-брюхан, убежал от долгов и пришел к отцу. Увидал Ивана.

— Ну,— говорит,— Иван, пока я расторгуюсь, корми нас с женой.

— Ну что же,— говорит,— живите.

Снял Иван кафтан, сел к столу.

А купчиха говорит:

— Я,— говорит,— с дураком кушать не могу: от него,— говорит,— потом воняет.

Тарас-брюхан и говорит:

— От тебя,— говорит,— Иван, дух не хорош — поди в сенях поешь.

— Ну что ж,— говорит.

Взял хлеба, ушел на двор.

— Мне,— говорит,— кстати в ночное пора — кобылу кормить.

V

Отделался в эту ночь и от Тараса чертенюк — пришел по уговору товарищам помогать — Ивана-дурака донимать. Пришел на пашню, поискал, поискал товарищей — нет никого, только дыру нашел.



Пошел на луга — в болоте хвост нашел, а на ржаном жниве и другую дыру нашел. «Ну,— думает,— видно, над товарищами беда случилась, надо на их место становиться, за дурака приниматься».

Пошел чертенок Ивана искать. А Иван уж с поля убрался, в роще лес рубит.

Стало братьям тесно жить вместе, велели дураку себе на избы лес рубить, новые дома строить.

Прибежал чертенок в лес, залез в сучья, стал мешать Ивану деревья валить. Подрубил Иван дерево как надо, чтоб на чистое место упало, стал валить — дуром пошло дерево, повалилось куда не надо, на суках застряло. Вырубил Иван рогач*, начал отворачивать — насилу свалил дерево. Стал Иван рубить другое — опять то же. Бился, бился, насилу выпростал. Взялся за третье — опять то же. Думал Иван хлыстов* полсотни срубить, и десятка не срубил, а уж ночь на дворе. И замучился Иван. Валит от него пар, как туман по лесу пошел, а он всё не бросает. Подрубил он еще дерево, и заломило ему спину, так что мочи не стало; воткнул топор и присел отдохнуть. Услыхал чертенок, что затих Иван, обрадовался. «Ну,— думает,— выбился из сил — бросит; отдохну теперь и я». Сел верхом на сук и радуется. А Иван поднялся, вынул топор, размахнулся да как тяпнет с другой стороны, сразу затрещало дерево — грохнулось. Не спопашился* чертенок, не успел ног выпростать, сломался сук и защемил чертенка за лапу. Стал Иван очищать — глядь: чертенок живой. Удивился Иван.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая! Ты опять тут?

— Я,— говорит,— другой. Я у твоего брата Тараса был.

— Ну, какой бы ты ни был, а тебе то же будет!

Замахнулся Иван топором, хотел его обухом пристукнуть. Взмолился чертенюк.

— Не бей,— говорит,— меня, я тебе что хочешь сделаю.

— Да что ж ты сделать можешь?

— А я,— говорит,— могу тебе денег сколько хочешь наделать.

— Ну что ж,— говорит,— наделай!

И научил его чертенюк.

— Возьми ты,— говорит,— листу дубового с этого дуба и потри в руках. Наземь золото падать будет.

Взял Иван листьев, потер — посыпалось золото.

— Это,— говорит,— хорошо, когда на гулянках с ребятами играть.

— Пусти же,— говорит чертенюк.

— Ну что ж! — Взял Иван рогац, выпростал чертенка.— Бог с тобой! — говорит. И как только сказал про бога — юркнул чертенюк под землю, как камень в воду, только дыра осталась.

VI

Построили братья дома и стали жить порознь. А Иван убрался с поля, пива наварил и позвал братьев гулять. Не пошли братья к Ивану в гости.

— Не видали мы,— говорит,— мужицкого гулянья.

Угостил Иван мужиков, баб и сам выпил — замелел и пошел на улицу в хороводы. Подошел Иван к хороводам, велел бабам себя величать.

— Я,— говорит,— вам того дам, чего вы в жизнь не видали.— Посмеялись бабы и стали его величать. Отвеличали и говорят:

— Ну что ж, давай.



— Сейчас,— говорит,— принесу.— Ухватил севалку*, побежал в лес. Смеются бабы: «То-то дурак!» И забыли про него. Глядь: бежит Иван назад, несет севалку полную чего-то.

— Оделять, что ли?

— Оделяй.

Захватил Иван горсть золота — кинул бабам. Батюшки! Бросились бабы подбирать; выскочили мужики, друг у дружки рвут, отнимают. Старуху одну чуть до смерти не задавили. Смеется Иван.

— Ах вы, дурачки,— говорит,— зачем вы бабушку задавили. Вы полегче, а я вам еще дам.— Стал еще швырять. Сбежался народ, расшвырял Иван всю севалку. Стали просить еще. А Иван говорит:

— Вся. Другой раз еще дам. Теперь давайте плясать, играйте песни.

Заиграли бабы песни.

— Не хороши,— говорит,— ваши песни.

— Какие же,— говорят,— лучше?

— А я,— говорит,— вот вам покажу сейчас.

Пошел на гумно, выдернул сноп, обил его, поставил на гузо, стукнул.

— Ну,— говорит,— сделай, холоп, чтоб был не сноп, а каждая соломинка — солдат.

Расскочился сноп, стали солдаты; заиграли барабаны, трубы. Велел Иван солдатам песни играть, вышел с ними на улицу. Удивился народ. Поиграли солдаты песни, и увел их Иван назад на гумно, а сам не велел никому за собой ходить, и сделал опять солдат снопом, бросил на одонье*. Пришел домой и лег спать в закуту.



Узнал наутро про эти дела старший брат Семен-воин, приходит к Ивану.

— Открой ты мне,— говорит,— откуда ты солдат приводил и куда увел?

— А на что,— говорит,— тебе?

— Как на что? Со солдатами всё сделать можно. Можно себе царство добыть.

Удивился Иван.

— Ну? Что ж ты,— говорит,— давно не сказал? Я тебе сколько хочешь наделаю. Благо мы с девкой много насторновали*.

Повел Иван брата на гумно и говорит:

— Смотри же, я их делать буду, а ты их уводи, а то коли их кормить, так они в один день всю деревню слопают.

Обещал Семен-воин увести солдат, и начал Иван их делать. Стукнет по току снопом — рота; стукнет другим — другая; наделал их столько, что всё поле захватили.

— Что ж, будет, что ли?

Обрадовался Семен и говорит:

— Будет. Спасибо, Иван.

— То-то,— говорит.— Коли тебе еще надо, ты приходи, я еще наделаю. Соломы нынче много.

Сейчас распорядился Семен-воин войском, собрал их как следует и пошел воевать.

Только ушел Семен-воин, приходит Тарас-брюхан — тоже узнал про вчерашнее дело, стал брата просить:

— Открой мне, откуда ты золотые деньги берешь? Кабы у меня такие вольные деньги были, я бы к этим деньгам со всего света деньги собрал.

Удивился Иван.



— Ну! Ты бы давно,— говорит,— мне сказал.
Я тебе сколько хочешь натру.

Обрадовался брат:

— Дай мне хоть севалки три.

— Ну что ж,— говорит,— пойдем в лес, а то лошадь запряги — не унесешь.

Поехали в лес; стал Иван с дуба листья натирать. Насыпал кучу большую.

— Будет, что ли?

Обрадовался Тарас.

— Пока будет,— говорит.— Спасибо, Иван.

— То-то,— говорит.— Коли тебе еще надо, приходи, я натру еще — листу много осталось.

Набрал Тарас-брюхан денег воз целый и уехал торговать.

Уехали оба брата. И стал Семен воевать, а Тарас торговать. И завоевал себе Семен-воин царство, а Тарас-брюхан наторговал денег кучу большую.

Сошлись братья вместе и открылись друг другу: откуда у Семена солдаты, а у Тараса деньги.

Семен-воин и говорит брату:

— Я,— говорит,— царство себе завоевал, и мне жить хорошо, только у меня денег нехватка — солдат кормить.

А Тарас-брюхан говорит:

— А я,— говорит,— нажил денег бугор большой, только одно,— говорит,— горе — караулить денег некому.

Семен-воин и говорит:

— Пойдем,— говорит,— к брату Ивану,— я велю ему еще солдат наделать — тебе отдам твои деньги караулить, а ты вели ему мне денег натереть, чтоб было чем солдат кормить.

И поехали они к Ивану. Приезжают к Ивану. Семен и говорит:

— Мне мало, братец, моих солдат, сделай мне,— говорит,— еще солдат, хоть копны две переделай.

Замотал головой Иван.

— Даром,— говорит,— не стану больше тебе солдат делать.

— Да как же,— говорит,— ты обещал?

— Обещал,— говорит,— да не стану больше.

— Да отчего ж ты, дурак, не станешь?

— А оттого, что твои солдаты человека до смерти убили. Я намедни пашу у дороги: вижу, баба по дороге гроб везет, а сама воет. Я спросил: «Кто помер?» Она говорит: «Мужа Семеновы солдаты на войне убили». Я думал, что солдаты будут песни играть, а они человека до смерти убили. Не дам больше.

Так и уперся, не стал больше делать солдат.

Стал и Тарас-брюхан просить Ивана-дурака, чтоб он ему еще золотых денег наделал.

Замотал головой Иван.

— Даром,— говорит,— не стану больше тереть.

— Да как же, ты,— говорит,— обещал?

— Обещал,— говорит,— да не стану больше.

— Да отчего же ты, дурак, не станешь?

— А оттого, что твои золотые у Михайловны корову отняли.

— Как отняли?

— Так, отняли. Была у Михайловны корова, ребята молоко хлебали, а намедни пришли ее ребята ко мне молока просить. Я и говорю им: «А ваша корова где?» Говорят: «Тараса-брюхана приказчик приезжал, мамушке три золотые штучки дал, а она ему и отдала корову, нам теперь хлебать нечего». Я думал, ты золотыми штучками играть хочешь, а ты у ребят корову отнял. Не дам больше!



И уперся дурак, не дал больше. Так и уехали братья.

Уехали братья и стали судить, как своему горю помочь... Семен и говорит:

— Давай вот что сделаем. Ты мне денег дай — солдат кормить, а я тебе половину царства с солдатами отдам — твои деньги караулить.

Согласился Тарас. Поделились братья, и стали оба царями и оба богаты.

VIII

А Иван дома жил, отца с матерью кормил, с немой девкой в поле работал.

Только случилось раз, заболела у Ивана собака дворная старая, опаршивела, стала издыхать. Пожалел ее Иван — взял хлеба у немой, положил в шапку, вынес собаке, кинул ей. А шапка продралась, и выпал с хлебом один корешок. Сlopала его с хлебом собака старая. И только проглотила корешок, вскочила собака, заиграла, залаяла, хвостом замахала — здорова стала.

Увидали отец с матерью, удивились.

— Чем ты, — говорят, — собаку вылечил?

А Иван и говорит:

— У меня два корешка были — от всякой боли лечат, так она и слопала один.

И случилось в это время, что заболела у царя дочь, и повестил царь по всем городам и селам — кто вылечит ее, того он наградит, и если холостой, за того и дочь замуж отдаст. Повестили и у Ивана в деревне.

Позвали отец с матерью Ивана и говорят ему:

— Слышал ты, что царь повещает? Ты сказывал, что у тебя корешок есть, поезжай, вылечи царскую дочь. Ты навек счастье получишь.

— Ну что ж,— говорит.

И собрался Иван ехать. Одели его, выходит Иван на крыльцо, видит — стоит побирушка ко-
сорукая.

— Слышала я,— говорит,— что ты лечишь? Вылечи мне руку, а то и обуться сама не могу.

Иван и говорит:

— Ну что ж!

Достал корешок, дал побирушке, велел проглотить. Проглотила побирушка и выздоровела, сейчас стала рукой махать. Вышли отец с матерью Ивана к царю провожать, услышали, что Иван последний корешок отдал и нечем царскую дочь лечить, стали его отец с матерью ругать.

— Побирушку,— говорят,— пожалел, а царскую дочь не жалеешь!

Жалко стало Ивану и царскую дочь. Запряг он лошадь, кинул соломы в ящик и сел ехать.

— Да куда же ты, дурак?

— Царскую дочь лечить.

— Да ведь тебе лечить нечем?

— Ну что ж,— говорит,— и погнал лошадь.

Приехал на царский двор и только ступил на крыльцо — выздоровела царская дочь.

Обрадовался царь, велел звать к себе Ивана, одел его, нарядил.

— Будь,— говорит,— ты мне зятем.

— Ну что ж,— говорит.

И женился Иван на царевне. А царь вскоре помер. И стал Иван царем. Так стали царями все три брата.



Жили три брата — царствовали.

Хорошо жил старший брат Семен-воин. Набрал он со своими соломенными солдатами настоящих солдат. Велел он по всему своему царству с десяти дворов по солдату поставлять, и чтобы был солдат тот и ростом велик, и телом бел, и лицом чист. И набрал он таких солдат много и всех обучил. И как кто ему в чем поперечит, сейчас посылает этих солдат и делает всё, как ему вздумается. И стали его все бояться.

И житье ему было хорошее. Что только задумает и на что только глазами вскинет, то и его. Пошлет солдат, а те отберут и принесут и приведут всё, что ему нужно.

Хорошо жил и Тарас-брюхан. Он свои деньги, что забрал от Ивана, не растерял, а большой прирост им сделал. Завел он у себя в царстве порядки хорошие. Деньги держал он у себя в сундуках, а с народу взysкивал деньги. Взysкивал он деньги и с души, и с водки, и с пива, и со свадьбы, и с похорон, и с проходу, и с проезду, и с лаптей, и с онуч, и с оборок*. И что ни вздумает, всё у него есть. За денежки к нему всего несут и работать идут, потому что всякому деньги нужны.

Не плохо жил и Иван-дурак. Как только похоронил тестя, снял он всё царское платье — жене отдал в сундук спрятать, — опять надел посконную рубаху, портки и лапти обул и взялся за работу.

— Скучно, — говорит, — мне: брюхо расти стало, и еды и сна нет.

Привез отца с матерью и девку немую и стал опять работать. Ему и говорят:

— Да ведь ты царь!

— Ну что ж, — говорит, — и царю жрать надо.



Пришел к нему министр, говорит:

— У нас,— говорит,— денег нет жалованье платить.

— Ну что ж,— говорит,— нет, так и не плати.

— Да они,— говорит,— служить не станут.

— Ну что ж,— говорит,— пускай,— говорит,— не служат, им свободнее работать будет; пускай навоз вывозят, они много его нанавозили.

Пришли к Ивану судиться. Один говорит:

— Он у меня деньги украл.

А Иван говорит:

— Ну что ж! значит, ему нужно.

Узнали все, что Иван — дурак. Жена ему и говорит:

— Про тебя говорят, что ты дурак.

— Ну что ж,— говорит.

Подумала, подумала жена Иванова, а она тоже дура была.

— Что же мне,— говорит,— против мужа идти? Куда иголка, туда и нитка.

Посняла царское платье, положила в сундук, пошла к девке немой работе учиться. Научилась работать, стала мужу подсоблять.

И ушли из Иванова царства все умные, остались одни дураки. Денег ни у кого не было. Жили — работали, сами кормились и людей добрых кормили.

Х

...Ждал, ждал старый дьявол вестей от чертенят о том, как они трех братьев разорили,— нет вестей никаких. Пошел сам проведать; искал, искал, нигде не нашел, только три дыры отыскал. «Ну,— думает,— видно, не осилили — надо самому прина-маться».

Пошел разыскивать, а братьев на старых местах

уже нет. Нашел он их в разных царствах. Все три живут-царствуют. Обидно показалось, старому дьяволу.

— Ну,— говорит,— возьмусь-ка я сам за дело.

Пошел он прежде всего к Семену-царю. Пошел он не в своем виде, а оборотился воеводой — приехал к Семену-царю.

— Слышал я,— говорит,— что ты, Семен-царь, воин большой, а я этому делу твердо научен, хочу тебе послужить.

Стал его спрашивать Семен-царь, видит — человек умный, взял на службу.


Стал новый воевода Семена-царя научать, как сильное войско собрать.

— Первое дело — надо,— говорит,— больше солдат собрать, а то,— говорит,— у тебя в царстве много народа дурно гуляет. Надо,— говорит,— всех молодых без разбора забрить, тогда у тебя войска впятеро против прежнего будет. Второе дело — надо ружья и пушки новые завести. Я тебе такие ружья заведу, что будут сразу по сту пуль выпускать, как горохом будут сыпать. А пушки заведу такие, что они будут огнем жечь. Человека ли, лошадь ли, стену ли — всё сожжет.

Послушался Семен-царь воеводы нового, велел всех подряд молодых ребят в солдаты брать, и заводы новые завел; наделал ружей, пушек новых и сейчас же на соседнего царя войной пошел. Только вышло навстречу войско, велел Семен-царь своим солдатам пустить по нем пулями и огнем из пушек; сразу перекалечил, пережег половину войска. Испугался соседний царь, покорился и царство свое отдал. Обрадовался Семен-царь.

— Теперь,— говорит,— я индейского царя завоюю.

А индейский царь услышал про Семена-царя




и перенял от него все его выдумки, да еще свои выдумал. Стал индейский царь не одних молодых ребят в солдаты брать, а и всех баб холостых в солдаты забрал, и стало у него войска еще больше, чем у Семена-царя, а ружья и пушки все от Семена-царя перенял, да еще придумал по воздуху летать и бомбы разрывные сверху кидать.

Пошел Семен-царь войной на индейского царя, думал, как и прежнего, повоевать, да — резала коса, да нарезалась. Не допустил царь индейский Семенова войска до выстрела, а послал своих баб по воздуху на Семеново войско разрывные бомбы кидать. Стали бабы сверху на Семеново войско, как буру на тараканов*, бомбы посыпать; разбежалось все войско Семеново, и остался Семен-царь один. Забрал индейский царь Семеново царство, а Семен-воин убежал куда глаза глядят.

Обделал этого брата старый дьявол и пошел к Тарасу-царю. Оборотился он в купца и поселился в Тарасовом царстве, стал заведенье заводить, стал денежки выпускать. Стал купец за всякую вещь дорого платить, и бросился весь народ к купцу деньги добывать. И завелось у народа денег так много, что все недоимки выплатили и в срок все подати подавать стали.

Обрадовался Тарас-царь. «Спасибо,— думает,— купцу, теперь у меня денег еще прибавится, житье мое еще лучше станет». И стал Тарас-царь новые затеи затевать, зачал себе новый дворец строить. Повестил народу, чтоб везли ему лес, камень и шли работать, назначил за всё цены высокие. Думал Тарас-царь, что по-прежнему за его денежки повалит к нему народ работать. Глядь, весь лес и камень к купцу везут, и весь рабочий народ к нему валит. Прибавил Тарас-царь цену, а купец еще накинул. У Тараса-царя денег много, а у купца еще

 больше, и перебил купец царскую цену. Стал дворец царский; не строится. Затеян был у Тараса-царя сад. Пришла осень. Повещает Тарас-царь, чтоб народ шел к нему сад сажать, — не выходит никто, весь народ купцу пруд копает. Пришла зима. Задумал Тарас-царь мехов собольих купить на шубу новую. Посылает покупать, приходит посол, говорит:

— Нету соболей — все меха у купца, он дороже дал и из соболей ковер сделал.

Понадобилось Тарасу-царю себе жеребцов купить. Послал покупать, приходят послы: все жеребцы хорошие у купца, ему воду возят пруд наливать. Стали все дела царские, ничего ему не делают, а всё делают купцу, а ему только купцовы деньги несут, за подати отдают.

И набралось у царя денег столько, что класть некуда, а житье плохое стало. Перестал уж царь затеи затевать; только бы уж как-нибудь прожить, и того не может. Во всем стеснение стало. Стали от него и повара, и кучера, и слуги к купцу отходить. Стало уж и еды доставать. Пошлет на базар купить что — ничего нет: всё купец перекупил, а ему только денежки за подати несут.

Рассердился Тарас-царь и выслал купца за границу. А купец на самой на границе сел — всё то же делает: всё так же за купцовы денежки от царя тащат всё к купцу. Совсем плохо царю стало, по целым дням не ест, да еще слух прошел, что купец хвалится, что он у царя и жену его купить хочет. Заробел царь Тарас и не знает, как быть.

Приезжает к нему Семен-воин и говорит:

— Поддержи, — говорит, — меня, — меня индейский царь повоевал.

А Тарасу-царю самому уж узлом к гузну дошло*.

— Я, — говорит, — сам два дни не ел.



Обделал старый дьявол обоих братьев и пошел к Ивану. Оборотился старый дьявол в воеводу, пришел к Ивану и стал его уговаривать, чтоб он у себя войско завел.

— Царю,— говорит,— не годится без войска жить. Ты мне прикажи только, а я соберу из твоего народу солдат и войско заведу.

Отслушал его Иван.

— Ну что ж,— говорит,— заведи, да песни их научи играть половчее, я это люблю.

Стал старый дьявол по Иванову царству ходить, солдат по воле собирать. Объявил, чтоб шли все лыбы брить,— каждому штоф водки и красная шапка будет*.

Посмеялись дураки.

— Вино,— говорят,— у нас вольное, мы сами курим, а шапки нам бабы какие хочешь, хоть пестрые сошьют, да еще с мохрами.

Так и не пошел никто. Приходит старый дьявол к Ивану.

— Нейдут,— говорит,— твои дураки охотой — надо их силóm пригонять.

— Ну что ж,— говорит,— пригоняй силом.

И повестил старый дьявол, чтоб шли все дураки в солдаты записываться, а кто не пойдет, того Иван смерти предаст.

Пришли дураки к воеводе и говорят:

— Говоришь ты нам, что, коли мы в солдаты не пойдем, нас царь смерти предаст, а не сказываешь, что с нами в солдатстве будет. Сказывают, и солдат до смерти убивают.

— Да, не без того.

Услыхали это дураки, уперлись.

— Не пойдем,— говорят.— Уж лучше пускай



дóма смерти предадут. Ее и так не миновать.

— Дураки вы, дураки! — говорит старый дьявол.— Солдата еще убьют ли, нет ли, а не пойдешь — Иван-царь наверно смерти предаст.

Задумались дураки, пошли к царю Ивану-дураку спрашивать.

— Проявился,— говорят,— воевода, велит нам всем в солдаты идти. «Коли пойдете,— говорит,— в солдаты, там вас убьют ли, нет ли, а не пойдете, так вас царь Иван наверно смерти предаст». Правда ли это?

Засмеялся Иван.

— Как же,— говорит,— я один вас всех смерти предам? Кабы я не дурак был, я бы вам растолковал, а то я и сам не пойму.

— Так мы,— говорят,— не пойдём.

— Ну что ж,— говорит,— не ходите.

Пошли дураки к воеводе и отказались в солдаты идти.

Видит старый дьявол — не берет его дело; пошел к тараканскому царю, подделался.

— Пойдем,— говорит,— войной, завоюем Ивана-царя. У него только денег нет, а хлеба и скота и всякого добра много.


Пошел тараканский царь войною. Собрал войско большое, ружья, пушки наладил, вышел на границу, стал в Иваново царство входить.

Пришли к Ивану и говорят:

— На нас тараканский царь войной идет.

— Ну что ж,— говорит,— пускай идет.

Перешел тараканский царь с войском границу, послал передовых разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нет войска. Ждать-пождать — не окажется ли где? И слуха нет про войско, не с кем воевать. Послал тараканский царь захватить деревни. Пришли солдаты в одну деревню — выскочили



дураки, дуры, смотрят на солдат, дивятся. Стали солдаты отбирать у дураков хлеб, скотину; дураки отдают, и никто не обороняется. Пошли солдаты в другую деревню — всё то же. Походили солдаты день, походили другой — везде всё то же; все отдают — никто не обороняется и зовут к себе жить.

— Коли вам, сердешные,— говорят,— на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем жить.

Походили, походили солдаты, видят — нет войска; а всё народ живет, кормится и людей кормит, и не обороняется, и зовет к себе жить.

Скучно стало солдатам, пришли к своему тараканскому царю.

— Не можем мы,— говорят,— воевать, отведи нас в другое место: добро бы война была, а это что — как кисель резать. Не можем больше тут воевать.

Рассердился тараканский царь, велел солдатам по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлеб сжечь, скотину перебить.

— Не слушаете,— говорит,— моего приказа, всех,— говорит,— вас расказню.

Испугались солдаты, начали по царскому указу делать. Стали дома, хлеб жечь, скотину бить. Всё не обороняются дураки, только плачут. Плачут старики, плачут старухи, плачут малые ребята.

— За что,— говорят,— вы нас обижаете? Зачем,— говорят,— вы добро дурно губите? Коли вам нужно, вы лучше себе берите.

Гнусно стало солдатам. Не пошли дальше, и всё войско разбежалось.



Так и ушел старый дьявол — не пронял Ивана солдатами.

Оборотился старый дьявол в господина чистого и приехал в Иваново царство жить: хотел его, так же как Тараса-брюхана, деньгами пронять.

— Я,— говорит,— хочу вам добро сделать, уморазуму научить. Я,— говорит,— у вас дом построю и заведенье заведу.

— Ну что ж,— говорят,— живи.


Переночевал господин чистый и наутро вышел на площадь, вынес мешок большой золота и лист бумаги и говорит:

— Живете вы,— говорит,— все, как свиньи,— хочу я вас научить, как жить надо. Стройте мне,— говорит,— дом по плану по этому. Вы работайте, а я показывать буду и золотые деньги вам буду платить.

И показал им золото. Удивились дураки: у них денег в заводе не было, а они друг дружке вещь за вещь меняли и работой платили. Подивились они на золото.

— Хороши,— говорят,— штучки.

И стали господину за золотые штучки вещи и работу менять. Стал старый дьявол, как и у Тараса, золото выпускать, и стали ему за золото всякие вещи менять и всякие работы работать. Обрадовался старый дьявол, думает: «Пошло мое дело на лад! Разорю теперь дурака, как и Тараса, и куплю его с потрохом со всем». Только забрались дураки золотыми деньгами, роздали всем бабам на ожерелья, все девки в косы вплели, и ребята уж на улице в штучки играть стали. У всех много стало и не стали больше брать. А у господина чистого еще хоромы наполовину не отстроены и хлеба и ско-



тины еще не запасено на год, и повещает господин, чтоб шли к нему работать, чтоб ему хлеб везли, скотину вели; за всякую вещь и за всякую работу золотых много давать будет.

Нейдет никто работать и не несут ничего. Забежит мальчик или девочка, яичко на золотой променяет, а то нет никого — и есть ему стало нечего. Проголодался господин чистый, пошел по деревне — себе на обед купить. Сунулся в один двор, дает золотой за курицу — не берет хозяйка.

— У меня,— говорит,— много и так.

Сунулся к бобылке — селедку купить, дает золотой.

— Не нужно мне,— говорит,— милый человек, у меня,— говорит,— детей нет, играть некому, а я и то три штучки для редкости взяла.

Сунулся к мужику за хлебом. Не взял и мужик денег.

— Мне не нужно,— говорит.— Нешто ради Христа,— говорит,— так погоди, я велю бабе отрезать.

Заплевал даже дьявол, убежал от мужика. Не то что взять ради Христа, а и слышать-то ему это слово — хуже ножа.

Так и не добыл хлеба. Забрались все. Куда ни пойдет старый дьявол, никто не дает ничего за деньги, а все говорят:

— Что-нибудь другое принеси, или приходи работать, или ради Христа возьми.

А у дьявола нет ничего, кроме денег, работать неохота; а ради Христа нельзя ему взять. Рассердился старый дьявол.

— Чего,— говорит,— вам еще нужно, когда я вам деньги даю? Вы на золото всего купите и всякого работника наймете.

Не слушают его дураки.



— Нет,— говорят,— нам не нужно: с нас платы и податей никаких нейдет — куда же нам деньги?

Лег, не ужинавши, спать старый дьявол.

Дошло это дело до Ивана-дурака. Пришли к нему, спрашивают:

— Что нам делать? Проявился у нас господин чистый: есть, пить любит сладко, одеваться любит чисто, а работать не хочет и Христа ради не просит и только золотые штучки всем дает. Давали ему прежде всего, пока не забрались, а теперь не дают больше. Что нам с ним делать? Как бы не помер с голода.

Отслушал Иван.

— Ну что ж,— говорит,— кормить надо. Пускай по дворам, как пастух, ходит.

Нечего делать, стал старый дьявол по дворам ходить.

Дошла очередь и до Иванова двора. Пришел старый дьявол обедать, а у Ивана девка немая обедать собирала. Обманывали ее часто те, кто поленивее. Не работавши, придут раньше к обеду, всю кашу поедят. И исхитрилась девка немая лодырей по рукам узнавать: у кого мозоли на руках, того сажает, а у кого нет, тому объедки дает. Полез старый дьявол за стол, а немая девка ухватила его за руки, посмотрела — нет мозолей, и руки чистые, гладкие; и когти длинные. Замычала немая и вытащила дьявола из-за стола.

А Иванова жена ему и говорит:

— Не взыщи, господин чистый, золовка у нас без мозолей на руках за стол не пускает. Вот, дай срок, люди поедят, тогда доедай, что останется.

Обиделся старый дьявол, что его у царя с свиньями кормить хотят. Стал Ивану говорить:

— Дурацкий,— говорит,— у тебя закон в царстве, чтобы всем людям руками работать. Это вы

по глупости придумали. Разве одними руками люди работают? Ты думаешь, чем умные люди работают?

А Иван говорит:

— Где нам, дуракам, знать, мы всё норовим больше руками да горбом.

— Это оттого, что вы дураки. А я,— говорит,— научу вас, как головой работать; тогда вы узнаете, что головой работать спорее, чем руками.

Удивился Иван.

— Ну,— говорит,— недаром нас дураками зовут!

И стал старый дьявол говорить:

— Только не легко,— говорит,— и головой работать. Вы вот мне есть не даете оттого, что у меня нет мозолей на руках, а того не знаете, что головой во сто раз труднее работать. Другой раз и голова трещит.

Задумался Иван.

— Зачем же ты,— говорит,— сердешный, так себя мучаешь? Разве легко, как голова затрещит? Ты бы уж лучше легкую делал работу — руками да горбом.

А дьявол говорит:

— Затем я себя и мучаю, что я вас, дураков, жалею. Кабы я себя не мучал, вы бы век дураками были. А я головой поработал, теперь и вас научу.

Подивился Иван.

— Научи,— говорит,— а то другой раз руки уморятся, так их головой переменить.

И обещался дьявол научить.

И повестил Иван по всему царству, что проявился господин чистый и будет всех учить, как головой работать, и что головой можно выработать больше, чем руками,— чтоб приходили учиться.

Была в Ивановом царстве каланча высокая построена; и на нее лестница прямая, а наверху



вышка. И свел Иван туда господина, чтобы ему на виду быть.

Стал господин на каланчу и начал оттуда говорить. А дураки собрались смотреть. Дураки думали, что господин станет на деле показывать, как без рук головой работать. А старый дьявол только на словах учил, как не работамши прожить можно.

Не поняли ничего дураки. Посмотрели, посмотрели и разошлись по своим делам.

Простоял старый дьявол день на каланче, простоял другой — всё говорил. Захотелось ему есть. А дураки и не догадались хлебца ему на каланчу принести. Они думали, что если он головой может лучше рук работать, так уж хлеба-то себе шутя головой добудет. Простоял и другой день старый дьявол на вышке — всё говорил. А народ подойдет, посмотрит-посмотрит и разойдется. Спрашивает и Иван:

— Ну, что, господин начал ли головой работать?

— Нет еще,— говорят,— всё еще лопочет.

Простоял еще день старый дьявол на вышке и стал слабеть; пошатнулся раз и стукнулся головой об столб. Увидал один дурак, сказал Ивановой жене, а Иванова жена прибежала к мужу на пашню.

— Пойдем,— говорит,— смотреть: говорят, господин зачинает головой работать.

Подивился Иван.

— Ну? — говорит.

Завернул лошадь, пошел к каланче. Приходит к каланче, а старый дьявол уж вовсе с голоду ослабел, стал пошатываться, головой об столбы постукивать. Только подошел Иван, спотыкнулся дьявол, упал и загремел под лестницу торчмя головой — все ступеньки пересчитал.

— Ну,— говорит Иван,— правду сказал господин чистый, что другой раз и голова затрещит. Это не то что мозоли, от такой работы желваки на голове будут.

Свалился старый дьявол под лестницу и уткнулся головой в землю. Хотел Иван подойти посмотреть, много ли он работал, вдруг расступилась земля, и провалился старый дьявол сквозь землю, только дыра осталась. Почесался Иван.

— Ишь ты,— говорит,— пакость какая! Это опять он! Должно, батька тем — здоровый какой!

Живет Иван и до сих пор, и народ весь валит в его царство, и братья пришли к нему, и их он кормит. Кто придет скажет:

— Корми нас.

— Ну что же,— говорит,— живите — у нас всего много.

Только один обычай у него и есть в царстве: у кого мозоли на руках — полезай за стол, а у кого нет — тому объедки.



РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН



ил Емельян у хозяина в работниках. Идет раз Емельян по лугу на работу, глядь — прыгает перед ним лягушка; чуть-чуть не наступил на нее. Перешагнул через нее Емельян. Вдруг слышит, кличет его кто-то сзади.

Оглянулся Емельян, видит — стоит красавица девица и говорит ему:

— Что ты, Емельян, не женишься?

— Как мне, девица милая, жениться? Я весь тут, нет у меня ничего, никто за меня не пойдет.

И говорит девица:

— Возьми меня замуж!

Полюбилась Емельяну девица.

— Я,— говорит,— с радостью, да где мы жить будем?

— Есть,— говорит девица,— о чем думать! Только бы побольше работать да поменьше спать — а то везде и одеты и сыты будем.

— Ну что ж,— говорит,— ладно. Женимся. Куда ж пойдём?

— Пойдем в город.

Пошел Емельян с девицей в город. Свела его девица в домишко небольшой, на краю. Женились и стали жить.

Ехал раз царь за город. Проезжает мимо Емельянова двора, и вышла Емельянова жена посмотреть царя. Увидал ее царь, удивился: «Где такая красавица родилась?» Остановил царь коляску, подозвал жену Емельяна, стал ее спрашивать:

— Кто,— говорит,— ты?

— Мужика Емельяна жена,— говорит.

— Зачем ты,— говорит,— такая красавица, за мужика пошла? Тебе бы царицей быть.

— Благодарю,— говорит,— на ласковом слове. Мне и за мужиком хорошо.

Поговорил с ней царь и поехал дальше. Вернулся во дворец. Не идет у него из головы Емельянова жена. Всю ночь не спал, всё думал он, как бы ему у Емельяна жену отнять. Не мог придумать, как сделать. Позвал своих слуг, велел им придумать. И сказали слуги царские царю:

— Возьми ты, — говорят, — Емельяна к себе во дворец в работники. Мы его работой замучаем, жена вдовой останется, тогда ее взять можно будет.

Сделал так царь, послал за Емельяном, чтобы шел к нему в царский дворец, в дворники, и у него во дворе с женой жил.

Пришли послы, сказали Емельяну. Жена и говорит мужу:

— Что ж, — говорит, — иди. День работай, а ночью ко мне приходи.

Пошел Емельян. Приходит во дворец; царский приказчик и спрашивает его:

— Что ж ты один пришел, без жены?

— Что ж мне, — говорит, — ее водить: у нее дом есть.

Задали Емельяну на царском дворе работу такую, что двоим впору. Взаялся Емельян за работу и не чаял всё кончить. Глядь, раньше вечера всё кончил. Увидал приказчик, что кончил, задал ему на завтра вчетверо.

Пришел Емельян домой. А дома у него всё выметено, прибрано, печка истоплена, всего напечено, наварено. Жена сидит за станом, тчет*, мужа ждет. Встретила жена мужа; собрала ужинать, накормила, напоила; стала его про работу спрашивать.

— Да что, — говорит, — плохо: не по силам уроки задают, замучают они меня работой.

— А ты, — говорит, — не думай об работе и назад не оглядывайся и вперед не гляди, много ли сделал и много ли осталось. Только работай. Всё вовремя поспеет.

Лег спать Емельян. Наутро опять пошел. Взаялся за работу, ни разу не оглянулся. Глядь — к вечеру всё готово, засветло пришел домой ночевать.

Стали еще и еще набавлять работу Емельяну,

и всё к сроку кончает Емельян, ходит домой ночевать. Прошла неделя. Видят слуги царские, что не могут они черной работой донять мужика; стали ему хитрые работы задавать. И тем не могут донять. И плотницкую, и каменную, и кровельную работу — что ни зададут — всё делает к сроку Емельян, к жене ночевать идет. Прошла другая неделя. Позвал царь своих слуг и говорит:

— Или я вас задаром хлебом кормлю? Две недели прошло, а всё ничего я от вас не вижу. Хотели вы Емельяна работой замучать, а я из окна вижу, как он каждый день идет домой, песни поет. Или вы надо мной смеяться вздумали?

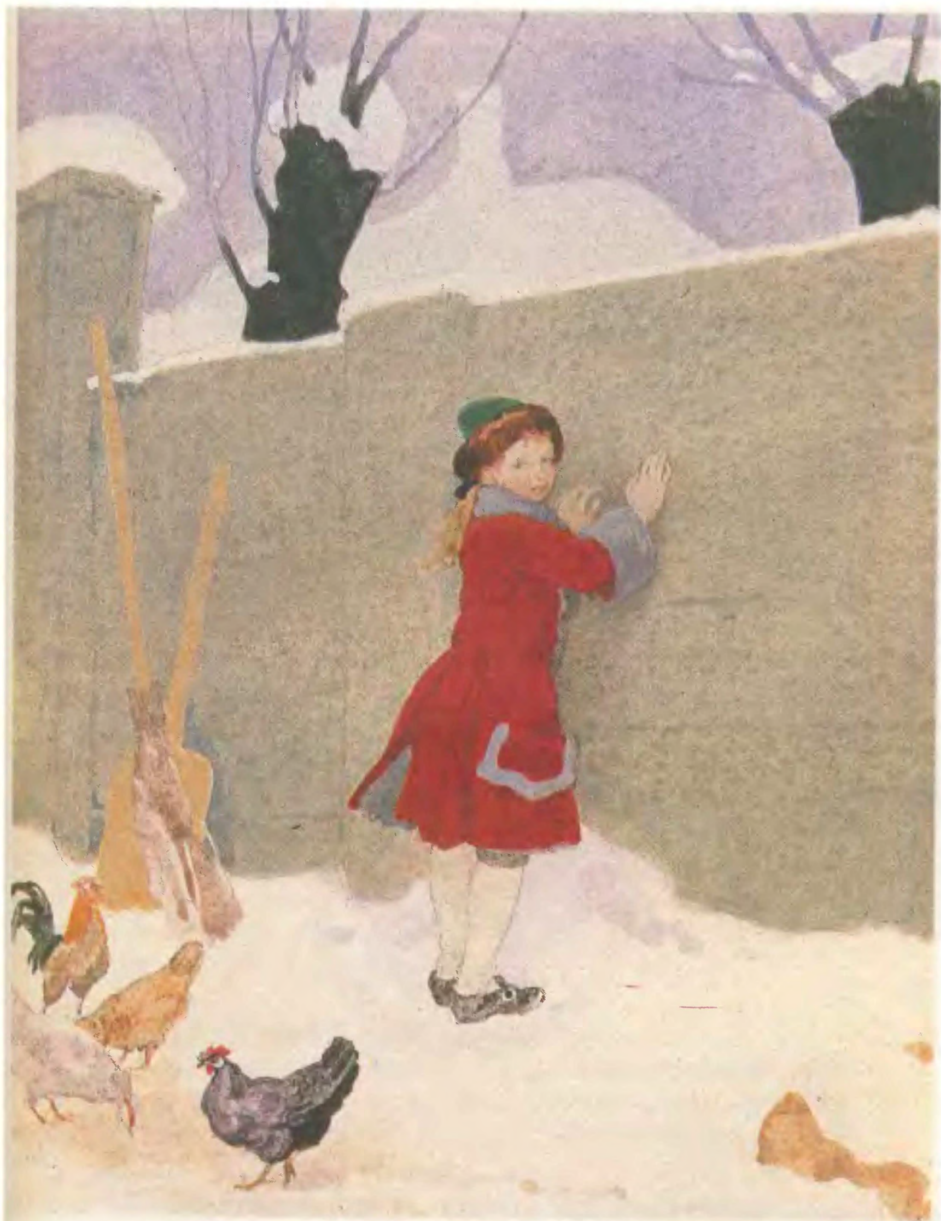
Стали царские слуги оправдываться.

— Мы, — говорят, — всеми силами старались его сперва черной работой замучать, да ничем не возьмешь его. Всякое дело как метлою метет, и устали в нем нет. Стали мы ему хитрые работы задавать, думали, у него ума неостанет; тоже не можем донять. Откуда что берется! До всего доходит, всё делает. Не иначе как либо в нем самом, либо в жене его колдовство есть. Он нам и самим надоел. Хотим мы теперь ему такое дело задать, чтобы нельзя было ему сделать. Придумали мы ему велеть в один день собор построить. Призови ты Емельяна и вели ему в один день против дворца собор построить. А не построит он, тогда можно ему за послушание голову отрубить.

Послал царь за Емельяном.

— Ну, — говорит, — вот тебе мой приказ: построй ты мне новый собор против дворца на площади, чтоб к завтраму к вечеру готово было. Постройшь — я тебя награжу, а не построишь — казню.

Отслушал Емельян речи царские, повернулся, пошел домой. «Ну, — думает, — пришел





*Антоний Погорельский.
«Черная курица, или Подземные жители».*

мой конец теперь». Пришел домой к жене и говорит:

— Ну,— говорит,— собирайся, жена: бежать надо куда попало, а то ни за что пропадем.

— Что ж,— говорит,— так заробел, что бежать хочешь?

— Как же,— говорит,— не заробеть? Велел мне царь завтра в один день собор построить. А если не построю, грозитя голову отрубить. Одно остается — бежать, пока время.

Не приняла жена этих речей.

— У царя солдат много, повсюду поймают. От него не уйдешь. А пока сила есть, слушаться надо.

— Да как же слушаться, когда не по силам?

— И... батюшка! не тужи, поужинай да ложись; наутро вставай пораньше, всё успеешь.

Лег Емельян спать. Разбудила его жена.

— Ступай,— говорит,— скорей достраивай собор; вот тебе гвозди и молоток: там тебе на день работы осталось.

Пошел Емельян в город, приходит — точно, новый собор посередь площади стоит. Немного не кончен. Стал доделывать Емельян, где надо: к вечеру всё исправил.

Проснулся царь, посмотрел из дворца, видит — собор стоит. Емельян похаживает, кое-где гвоздики приколачивает. И не рад царь собору, досадно ему, что не за что Емельяна казнить, нельзя его жену отнять.

Опять призывает царь своих слуг:

— Исполнил Емельян и эту задачу, не за что его казнить. Мала,— говорит,— и эта ему задача. Надо что похитрей выдумать. Придумайте, а то я вас прежде его расскажню.

И придумали ему слуги, чтобы заказал он Емельяну реку сделать, чтобы текла река вокруг

дворца, а по ней бы корабли плавали. Призвал царь Емельяна, приказал ему новое дело.

— Если ты,— говорит,— в одну ночь мог собор построить, так можешь ты и это дело сделать. Чтобы завтра было всё по моему приказу готово. А не будет готово, голову отрублю.

Опечалился еще пуще Емельян, пришел к жене сумрачный.

— Что,— говорит жена,— опечалился, или еще новое что царь заказал?

Рассказал ей Емельян.

— Надо,— говорит,— бежать.

А жена говорит:

— Не убежишь от солдат, везде поймают. Надо слушаться.

— Да как слушаться-то?

— И...— говорит,— батюшка, ни о чем не тужи. Поужинай да спать ложись. А вставай пораньше, всё будет к поре.

Лег Емельян спать. Поутру разбудила его жена.

— Иди,— говорит,— ко дворцу, всё готово. Только у пристани, против дворца, бугорок остался; возьми заступ, сровняй.

Пошел Емельян; приходит в город; вокруг дворца река, корабли плавают. Подошел Емельян к пристани против дворца, видит — неровное место, стал ровнять.

Проснулся царь, видит — река, где не было; по реке корабли плавают, и Емельян бугорок заступом ровняет. Ужаснулся царь; и не рад он и реке и кораблям, а досадно ему, что нельзя Емельяна казнить. Думает себе: «Нет такой задачи, чтоб он не сделал. Как теперь быть?»

Призвал слуг своих, стал с ними думать.

— Придумайте,— говорит,— мне такую задачу, чтобы не под силу было Емельяну. А то, что мы ни

выдумывали, он всё сделал, и нельзя мне у него жены отобрать.

Думали, думали придворные и придумали. Пришли к царю и говорят:

— Надо Емельяна позвать и сказать: поди туда — не знай куда, и принеси того — не знай чего. Тут уж ему нельзя будет отвертеться. Куда бы он ни пошел, ты скажешь, что он не туда пошел, куда надо; и чего бы он ни принес, ты скажешь, что не то принес, чего надо. Тогда его и казнить можно и жену его взять.

Обрадовался царь:

— Это,— говорит,— вы умно придумали.

Послал царь за Емельяном и сказал ему:

— Поди туда — не знай куда, принеси того — не знай чего. А не принесешь, отрублю тебе голову.

Пришел Емельян к жене и говорит, что ему царь сказал. Задумалась жена.

— Ну,— говорит,— на его голову научили царя. Теперь умно делать надо.

Посидела, посидела, подумала жена и стала говорить мужу:

— Идти тебе надо далеко, к нашей бабушке к старинной, мужицкой, солдатской матери, надо ее милости просить. А получишь от нее штуку, иди прямо во дворец, и я там буду. Теперь уж мне их рук не миновать. Они меня силой возьмут, да только ненадолго. Если всё сделаешь, как бабушка тебе велит, ты меня скоро выручишь.

Собрала жена мужа, дала ему сумочку и дала веретёнце.

— Вот это,— говорит,— ей отдай. По этому она узнает, что ты мой муж.

Показала жена ему дорогу. Пошел Емельян, вышел за город, видит — солдаты учатся. Постоял,

посмотрел Емельян. Поучились солдаты, сели отдохнуть. Подошел к ним Емельян и спрашивает:

— Не знаете ли, братцы, где идти туда — не знай куда, и как принести того — не знай чего?

Услыхали это солдаты и удивились.

— Кто,— говорят,— тебя послал искать?

— Царь,— говорит.

— Мы сами,— говорят,— вот с самого солдатаства ходим туда — не знай куда, да не можем дойти, и ищем того — не знай чего, да не можем найти. Не можем тебе пособить.

Посидел Емельян с солдатами, пошел дальше. Шел, шел, приходит в лес. В лесу избушка. В избушке старая старуха сидит, мужицкая, солдатская мать, кудельку прядет, сама плачет и пальцы не во рту слюнями, а в глазах слезами мочит. Увидала старуха Емельяна, закричала на него:

— Чего пришел?

Подал ей Емельян веретенце и сказал, что его жена прислала. Сейчас помягчала старуха, стала спрашивать. И стал Емельян сказывать всю свою жизнь, как он на девице женился, как перешел в город жить, как его к царю в дворники взяли, как он во дворце служил, как собор построил и реку с кораблями сделал и как ему теперь царь велел идти туда — не знай куда, принести того — не знай чего.

Отслушала старушка и перестала плакать. Стала сама с собою бормотать:

— Дошло, видно, время. Ну, ладно,— говорит,— садись, сынок, поешь.

Поел Емельян, и стала старуха ему говорить:

— Вот тебе,— говорит,— клубок. Покати ты его перед собой и иди за ним, куда он катиться будет. Идти тебе будет далеко, до самого моря. Придешь к морю, увидишь город большой. Войди в город,

просись в крайний двор ночевать. Тут и ищи того, что тебе нужно.

— Как же я, бабушка, его узнаю?

— А когда увидишь то, чего лучше отца, матери слушают, оно то и есть. Хватай и неси к царю. Принесешь к царю, он тебе скажет, что не то ты принес, что надо. А ты тогда скажи: «Коли не то, так разбить его надо»,— да ударь по штуке по этой, а потом снеси ее к реке, разбей и брось в воду. Тогда и жену вернешь, и мои слезы осушишь.

Простился с бабушкой, пошел Емельян, покатил клубок. Катил, катил — привел его клубок к морю. У моря город большой. С краю высокий дом. Попросился Емельян в дом ночевать. Пустили. Лег спать. Утром рано проснулся, слышит — отец поднялся, будит сына, посылает дров нарубить. И не слушается сын.

— Рано еще,— говорит,— успею.

Слышит — мать с печки говорит:

— Иди, сынок, у отца кости болят. Разве ему самому идти? Пора.

Только почмокал губами сын и опять заснул. Только заснул, вдруг загремело, затрещало что-то на улице. Вскочил сын, оделся и выбежал на улицу. Вскочил и Емельян, побежал за ним смотреть, что такое гремит и чего сын лучше отца, матери послушался.

Выбежал Емельян, видит — ходит по улице человек, носит на пузе штуку круглую, бьет по ней палками. Она-то и гремит; ее-то сын и послушался. Подбежал Емельян, стал смотреть штуку. Видит: круглая, как кадушка, с обоих боков кожей затянута. Стал он спрашивать, как она зовется.

— Барабан,— говорят.

— А что же он — пустой?

— Пустой,— говорят.

Подивился Емельян и стал просить себе эту штуку. Не дали ему. Перестал Емельян просить, стал ходить за барабанщиком. Целый день ходил и, когда лег спать барабанщик, схватил у него Емельян барабан и убежал с ним. Бежал, бежал, пришел домой в свой город. Думал жену повидать, а ее уж нет. На другой день ее к царю увели.

Пошел Емельян во дворец, велел об себе доложить: пришел, мол, тот, что ходил туда — не знай куда, принес того — не знай чего. Царю доложили. Велел царь Емельяну завтра прийти. Стал просить Емельян, чтобы опять доложили.

— Я,— говорит,— нынче пришел, принес, что велел, пусть ко мне царь выйдет, а то я сам пойду. Вышел царь.

— Где,— говорит,— ты был?

Он сказал.

— Не там,— говорит.— А что принес?

Хотел показать Емельян, да не стал смотреть царь.

— Не то,— говорит.

— А не то,— говорит,— так разбить ее надо, и черт с ней.

Вышел Емельян из дворца с барабаном и ударил по нем. Как ударил, собралось всё войско царское к Емельяну. Емельяну честь отдают, от него приказа ждут. Стал на свое войско из окна царь кричать, чтобы они не шли за Емельяном. Не слушают царя, все за Емельяном идут. Увидал это царь, велел к Емельяну жену вывести и стал просить, чтоб он ему барабан отдал.

— Не могу,— говорит Емельян.— Мне,— говорит,— его разбить велено и оскретки в реку бросить.

Подошел Емельян с барабаном к реке, и все солдаты за ним пришли. Пробил Емельян у реки

барабан, разломал в щепки, бросил его в реку — и разбежались все солдаты. А Емельян взял жену и повел к себе в дом.

И с тех пор царь перестал его тревожить. И стал он жить-поживать, добро наживать, а худо — проживать.



ЗЕРНО С КУРИНОЕ ЯЙЦО



ашли раз ребята в овраге штучку с куриное яйцо, с дорожкой посредине и похоже на зерно. Увидал у ребят штучку проезжий, купил за пятак, повез в город, продал царю за редкость.

Позвал царь мудрецов, велел им узнать, что за штука такая — яйцо или зерно? Думали, думали мудрецы — не могли ответа дать. Лежала эта штучка на окне, влетела курица, стала клевать, проклевала дыру; все и увидали, что — зерно. Пришли мудрецы, сказали царю:

— Это — зерно ржаное.

Удивился царь. Велел мудрецам узнать, где и когда это зерно родилось. Думали, думали мудрецы, искали в книгах — ничего не нашли. Пришли к царю, говорят:

— Не можем дать ответа. В книгах наших ничего про это не написано; надо у мужиков спросить, не слышал ли кто от стариков, когда и где такое зерно сеяли.



Послал царь, велел к себе старого старика, мужика, привести. Разыскали старика старого, привели к царю. Пришел старик, зеленый, беззубый, насилу вошел на двух костылях.

Показал ему царь зерно, да не видит уж старик; кое-как половину разглядел, половину руками ощупал.

Стал царь его спрашивать:

— Не знаешь ли, дедушка, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого? Или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?

Глух был старик, насилу-насилу расслушал, насилу-насилу понял. Стал ответ держать:


— Нет,— говорит,— на своем поле хлеба такого сеять не севал, и жинать не жинал, и покупать не покупывал. Когда покупали хлеб, всё такое ж зерно мелкое было, как и теперь, а надо,— говорит,— у моего батюшки спросить: может, он слышал, где такое зерно рождалось.

Послал царь за отцом старика, велел к себе привести. Нашли и отца старикова, привели к царю. Пришел старик старый на одном костыле. Стал ему царь зерно показывать. Старик еще видит глазами, хорошо разглядел. Стал царь его спрашивать:

— Не знаешь ли, старичок, где такое зерно родилось? Сам на своем поле не севал ли хлеба такого? Или на своем веку не покупывал ли где такого зерна?

Хоть и крепонек на ухо был старик, а расслушал лучше сына.

— Нет,— говорит,— на своем поле такого зерна сеять не севал и жинать не жинал. А покупать не покупывал, потому что на моем веку денег еще и в заводе не было. Все своим хлебом кормились,



а по нужде — друг с дружкой делились. Не знаю я, где такое зерно родилось. Хоть и крупнее теперешнего и умолотнее наше зерно было, а такого видать не видал. Слышал я от батюшки — в его время хлеб лучше против нашего раживался и умолотнее и крупней был. Его спросить надо.

Послал царь за отцом стариковым. Нашли и деда, привели к царю. Вошел старик к царю без костылей; вошел легко; глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно. Показал царь зерно деду. Поглядел дед, повертел.

— Давно,— говорит,— не видал я старинного хлебушка.

Откусил дед зерна, пожевал крупинку.

— Оно самое,— говорит.

— Скажи же мне, дедушка, где и когда такое зерно родилось? На своем поле не севал ли такой хлеб? Или на своем веку где у людей не покупывал ли?

И сказал старик:

— Хлеб такой на моем веку везде раживался. Этим хлебом,— говорит,— я век свой кормился и людей кормил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, покупал ли ты где такое зерно, или сам на своем поле сеял?

Усмехнулся старик.

— В мое время,— говорит,— и вздумать никто не мог такого греха, чтобы хлеб продавать, покупать, а про деньги и не знали: хлеба у всех своего вволю было. Я сам такой хлеб сеял, и жал, и молотил.

И спросил царь:

— Так скажи же мне, дедушка, где ты такой хлеб сеял и где твое поле было?

И сказал дед:

— Мое поле было — земля божья: где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли.

— Скажи же,— говорит царь,— мне еще два дела: одно дело — отчего прежде такое зерно рожалось, а нынче не родится? А другое дело — отчего твой внук шел на двух костылях, сын твой пришел на одном костыле, а ты вот пришел и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная? Отчего, скажи, дедушка, эти два дела сталися?

И сказал старик:

— Оттого оба дела сталися, что перестали люди своими трудами жить,— на чужие стали зариться. В старину не так жили: в старину жили по-божьи; своим владали, чужим не корыстовались.



Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

ЗНАЕМ!



или себе муж и жена, хорошие люди, но только никогда никого до конца не дослушивали и всегда кричали:

— Знаем, знаем!

Раз приходит к ним один человек и приносит халат.

— Если надеть его и застегнуть на одну пуговицу,— сказал человек,— то поднимешься на один аршин от земли; на две пуговицы — до полунеба улетишь; на три — совсем на небо улетишь.

Муж, вместо того чтобы спросить, как же назад возвратиться, закричал:

— Знаем!

Надел на себя халат, застегнул сразу на все пуговицы и полетел в небо.

А жена его бежала и кричала:

— Смотрите! Смотрите: мой муж летит!

Так бежала она, пока не упала в пропасть,

которой не видела, потому что смотрела всё в небо. На дне пропасти протекала река. Говорят, он превратился в орла, а она — в рыбку.

И это, конечно, еще очень хорошо для таких разинь, как они.



ЧАПОГИ



ри императоре Сук-цон-тавани жил один бедняк Ким-ходури. Он занимался тем, что рубил дрова и продавал их.

В день он рубил три вязанки,— две продавал, а одну вязанку сжигал сам.

Но вот с некоторого времени стала пропадать одна вязанка дров... С вечера нарубит три вязанки дров, а наутро их оставалось только две.

Думал бедняк, думал и решил рубить по четыре вязанки.

Тогда четвертая стала пропадать.

«Ну хорошо,— сказал себе бедняк,— вора я все-таки поймаю».

Когда пришла ночь, он залез в четвертую нарубленную вязанку и ждал. Среди ночи вязанка вместе с бедняком поднялась и полетела прямо на небо.

Пришли слуги Оконшанте, развязали вязанку и нашли там Кима-ходури.

Когда его привели к Оконшанте, тот спросил его, как он попал на небо. Ким-ходури рассказал как и жаловался на свою судьбу.

Тогда принесли книги, в которых записаны все живущие и их судьбы, и сказал Оконшанте:

— Да, ты действительно Ким-ходури, и не суждено тебе есть чумизу*, но всегда хлебать только пустую похлебку.

Заплакал Ким и стал просить себе другой судьбы.

Он так плакал, что всем небожителям и самому Оконшанте стало жаль его.

— Я ничем в твоей судьбе не могу помочь тебе,— сказал он,— но разве вот что я могу сделать: возьми чужое чье-нибудь счастье и, пока тот не придет к тебе, пользуйся им.

Оконшанте порылся в книгах и сказал:

— Ну, вот возьми хоть счастье Чапоги.

Поблагодарил Ким, и в ту же минуту служители Оконшанте спустили его на землю в то место, где стояла его фанза.

Ким лег спать, а на другой день пошел к богатому соседу и попросил у него сто лан* взаймы и десять мер чумизы.

Прежде Киму и зерна никто не поверил бы в долг, но теперь счастье Кима переменялось, и сосед, без всяких разговоров, дал ему просимое. На эти деньги Ким занялся торговлей и скоро так разбогател, что стал первым богачом в Корее.

Все ему завидовали, но Ким один знал, что счастье это не его, а Чапоги. И он с трепетом каждый день и каждую ночь ждал, что придет какой-то страшный Чапоги и сразу отнимет всё его счастье.

«Я убью его»,— сказал себе Ким и приготовил нож, меч и стрелы, напитанные ядом.

Однажды мимо дворца Кима шли двое нищих: муж и жена.



Во дворе дворца стояла телега, и муж и жена спрятались под нее от солнечных лучей.

Там, под телегой, пришло время родить бедной женщине, и рожденного мальчика назвали они Чапоги, что значит найденный под телегой.

— Кто там кричит так громко под телегой? — спросил Ким, выходя во двор.

— Это Чапоги кричит, — ответили ему слуги. Ким так и прирос к земле.

«Так вот откуда пришла расплата: не страшный человек, а маленький, беззащитный, голый от нищеты ребенок, — подумал Ким. — Нет, его не убивать надо, а лучше вот что я сделаю: я усыновлю этого Чапоги и, как его отец, буду и вперед продолжать жить на счастье своего сына».

Так Ким и сделал и если не умер, то и до сих пор живет счастливо и богато, как отец рожденного под телегой.



ОХОТНИКИ НА ТИГРОВ



провинции Хан-зондо, в городе Кильчу, лет двадцать назад существовало общество охотников на тигров. Членами общества были все очень богатые люди. Один бедный молодой человек напрасно старался проникнуть в это общество и стать его членом.

— Куда ты лезешь? — сказал ему председа-

тель.— Разве ты не знаешь, что бедный человек — не человек? Ступай прочь.

Но тем не менее этот молодой человек, отка-
зывая себе во всем, изготовил себе такое же пре-
красное стальное копьё, а может быть, и лучше,
какое было у всех других охотников.

И, когда они однажды отправились в горы на
охоту за тиграми, пошел и он.

На привале у оврага он подошел к ним и еще
раз попросил их принять его.

Но они весело проводили свое время, и им
нечего было делать с бедным человеком; они опять,
насмеявшись, прогнали его

— Ну, тогда,— сказал молодой человек,— вы
себе пейте здесь и веселитесь, а я один пойду.

— Иди, сумасшедший,— сказали ему,— если
хочешь быть разорванным тиграми.

— Смерть от тигра лучше, чем обида от вас.

И он ушел в лес. Когда забрался он в чащу, он
увидел громадного полосатого тигра. Тигр, как
кошка, играл с ним: то прыгал ближе к нему, то
отпрыгивал дальше, ложился и, смотря на него,
весело качал из стороны в сторону своим громад-
ным хвостом.

Всё это продолжалось до тех пор, пока охотник,
по обычаю, не крикнул презрительно тигру:

— Да цхан подара (принимай мое копьё)!

И в то же мгновение тигр бросился на охотника
и, встретив копьё, зажал его в зубах. Но тут, с
нечеловеческой силой, охотник просунул копьё ему
в горло, и тигр упал мертвый на землю.

Это была тигрица, и тигр, ее муж, уже мчался
на помощь к ней.

Ему не надо было уже кричать: «Принимай
копьё», он сам страшным прыжком, лишь только
увидел охотника, бросился на него.



Охотник и этому успел подставить свое копьё и в свою очередь всадил ему его в горло.

Двух мертвых тигров он стащил в кусты, а на дороге оставил их хвосты.

А затем возвратился к пировавшим охотникам.

— Ну что? Много набил тигров?

— Я нашел двух, но не мог с ними справиться и пришел просить вашей помощи.

— Это другое дело: веди и показывай.

Они бросили пиршество и пошли за охотником. Дорóгой они смеялись над ним:

— Что, не захотелось умирать, за нами пришел...

— Идите тише,— приказал бедный охотник,— тигры близко.

Они должны были замолчать. Теперь он уже был старший между ними.

— Вот тигры,— показал на хвосты тигров охотник.

Тогда все выстроились и крикнули:

— Принимай мое копьё!

Но мертвые тигры не двигались.

Тогда бедный охотник сказал:

— Они уже приняли одно копьё, и теперь их надо только дотащить до города; возьмите их себе и тащите.



ТРИ БРАТА



или три брата на свете, и захотели они нарыть женьшень*, чтобы стать богатыми. Счастье улыбнулось им, и вырыли они корень ценой в сто тысяч кеш*. Тогда два брата сказали:

— Убьем нашего третьего брата и возьмем его долю.

Так и сделали они.

А потом каждый из них, оставшихся в живых, стал думать, как бы ему убить своего другого брата. Вот подошли они к селу.

— Пойди,— сказал один брат другому,— купи сули (водки) в селе, а я подожду тебя.

А когда брат пошел в село, купил сули и шел с ней к ожидавшему его брату, тот сказал:

— Если я теперь убью своего брата, мне останется и вся суля, и весь корень.

Он так и сделал: брата застрелил, а сулю выпил. Но суля была отравлена, потому что ею хотел убитый отравить брата.

И все трое они умерли, а дорогой корень женьшень сгнил.

С тех пор корейцы не ищут больше ни корня, ни денег, а ищут побольше братьев*.



ВОЛМАЙ



о время царствования последнего из своей династии императора Косми-дзон-тван жила одна девушка, Волмайси, дочь богатых родителей.

Она получила прекрасное образование и читала по-китайски так же, как ее знаменитый, всем народом почитаемый учитель Ору-шонсэн.

Когда ей минуло шестнадцать лет, Ору сказал ей:

— Теперь твое учение кончено. По уму и образованию ты заслуживаешь быть женой министра.

— В таком случае я и буду ею.

На этом основании она отказывала всем, искавшим ее руки, и так как за ней еще были сестры, то, чтобы не мешать им делать супружескую карьеру, Волмай, с согласия родителей получив на руки свою часть наследства, ушла из родительского дома и, построив гостиницу у большой дороги, так искусно повела свои дела, что ее гостиница была всегда полна народом, а молва о ней и похвалы разносились по всей стране.

Однажды один молодой угольщик нес мимо ее гостиницы уголь.

Ей нужен был уголь, и она, позвав, спросила, что он желает за свой товар.

Угольщик посмотрел на нее и сказал:

— Ничего больше, как раз поцеловать тебя.

— Не слишком ли высокую плату ты просишь? — спросила оскорбленная девушка.

— Таково уже мое правило, — отвечал молодой угольщик, — что я хочу или всё, или ничего. И ес-

ли ты находишь мою плату высокой, бери без всякой платы.

И, сказав, угольщик бросил с плеч к ее ногам уголь и ушел, прежде чем девушка успела что-нибудь ответить.

Прошло несколько дней, и опять мимо ее гостиницы проходил красавец угольщик. Но он даже не посмотрел на нее и прошел мимо. Но девушке опять был нужен уголь, и она вынуждена была позвать его.

— А-а,— сказал угольщик,— знакомая покупательница.

И, подойдя к ней, бросил к ее ногам уголь и ушел.

Напрасно она звала его получить плату за уголь.

— Я знаю твою плату,— ответил ей, не поворачиваясь, угольщик.

А на другой день, когда девушка проснулась, на ее дворе лежала громадная куча угля, которую она не могла израсходовать и в год.

Волмай была очень смущена этим и все дни проводила у дверей, посматривая в ту сторону, откуда обыкновенно приходил угольщик.

Когда однажды она наконец увидала его, то пошла к нему навстречу и сказала:

— Я знаю, что этот уголь, который сложен у меня во дворе, от тебя.

— Да, это принесли мои товарищи.

— Ты разве имеешь такую власть, что приказываешь?

— Есть больше, чем власть,— я пользуюсь любовью моих товарищей.

Девушка помолчала и сказала:

— Я хотела бы с тобой рассчитаться.

— С большим удовольствием,— сказал молодой угольщик и, сбросив уголь с своих плеч, так быстро



поцеловал ее, что она не успела даже ничего подумать.

— Я никогда еще ни с кем не целовалась, и теперь волей-неволей ты должен стать моим мужем.

Угольщик весело рассмеялся и сказал:

— Что до меня, то я согласен.

— Вот так вышла замуж за министра,— смеялись все ее родные, поклонники и знакомые.

Между тем молодые хорошо зажили.

— Ты умеешь читать? — спросила молодая жена своего мужа.

— Ни мама, ни папа,— ответил ей весело муж.

— Хочешь, я выучу тебя?

— Что ж? В свободное от хозяйства время отчего не поучиться.

Прошло пять лет, и муж ее знал всё, что знала она.

— Теперь иди к моему учителю Ору-шонсэн, и пусть он проэкзаменует тебя. Кстати, принеси мне ответ на следующий вопрос: «Если король глуп, а сын его идиот, то не пора ли вступить на престол новому?»

Через несколько дней муж возвратился и принес жене ответ:

— Да, пора!

Скоро после этого жена сказала мужу:

— Пригласи к себе трех самых умных и влиятельных из своих товарищей.

Когда муж пригласил их, жена приготовила им богатое угощение и вечером сказала им:

— Будьте добры, поднимитесь завтра на заре вот на эту гору и, что увидите там, расскажите мужу и мне.

Утром, когда три углекопа поднялись на гору, они увидели там трех мальчиков.

Один сказал:



— Здравствуйте.

Другой сказал:

— Завтра, однако, старого короля вон выгонят.

Третий сказал:

— Вам трем дадут хорошие должности.

Затем три мальчика исчезли, а удивленные угольщики пришли и рассказали, что видели.

— Я всё это знала,— сказала хозяйка гостиницы,— потому что я предсказательница. Я скажу и дальше, как вам получить хорошие должности и прогнать человека, который всех губит. Соберите сегодня к вечеру всех своих товарищей и приходите сюда.

Когда все угольщики собрались в назначенный час, она позвала мужа в свою спальню и сказала:


— Десять лет тому назад я решила выйти замуж за министра. Я вышла за тебя замуж, потому что, как предсказательница, угадала, что ты будешь министром. Теперь я тебе скажу, что твое время пришло: сегодня тебя назначат, а завтра признает весь народ. Вот тебе топор. С этим топором ты с твоими товарищами, каждый поодиночке, пройдите в столицу. Там, около дома Ору-шонсэна, вы все соберетесь. Ты один войдешь в дом и скажешь учителю: «Жена моя, Волмай, кланяется тебе. Вот этим топором я собью замок у ворот дворца, а теми людьми, что стоят и ждут моего приказания, я замену разбежавшуюся дворцовую стражу».

Всё так и было сделано.

Когда муж Волмай вошел в дом Ору-шонсэна, то увидел там несколько человек и учителя жены, которые спорили о том, кем еще заместить одно вакантное место министра. Ору предлагал мужа Волмай, а другие предлагали каждый своего.

Муж Волмай, войдя, сказал:

— Я муж Волмай, вот этим топором я собью

 замок с ворот дворца, а теми людьми, что стоят на улице, я замену разбежавшуюся дворцовую стражу.

— И ты поступишь, как лучший из всех военных министров,— ответил ему Ору.

Всем остальным осталось только крикнуть: «Е-е» (что значит «да, да»)!

Затем, когда все заснули, муж Волмай со своими угольщиками отправился ко дворцу, сбил замок, застал врасплох стражу и предложил ей выбор: или, сняв одежду, бежать из дворца и молчать обо всем случившемся, под страхом смертной казни, или быть немедленно умерщвленными.

Стража избрала первое. Угольщики надели их форму, и дворец с королем был взят.

Наутро уже заседал новый король Индзан-тэ-вен, заседали новые министры, и когда старые пришли во дворец, то им было предложено или признать новый порядок, или тут же быть казненными.

— А где старый король и его сын?

— Оба живыми взяты на небо.

— О, это большая честь, мы ее недостойны,— сказали министры и присягнули новому королю.

И всё пошло своим чередом, а уважаемый всеми учитель и предсказатель Ору-шонсэн во всеуслышание на площади предсказал новому королю счастливое и выгодное для народа царствование, а его династии существование на тысячу лет. При таких условиях народ ничего не имел и против двухтысячелетнего существования новой династии.

Предсказание Ору исполнилось, новый король царствовал в интересах своего народа, а угольщики так и остались служить в дворцовой страже.

От них и пошел черный цвет этой стражи.

С ними и муж Волмай до своей смерти оставался министром, и никто уже не смеялся больше, что Волмай не умела выбрать себе мужа.



Дмитрий Наркисович
Мамин-Сибиряк

СЕРАЯ
ШЕЙКА

I



Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привел всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далекий путь и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст... Сколько бедных птиц дорогой выбьется из сил, сколько погибнет от разных случайностей,— вообще, было о чем серьезно подумать.

Серьезная, большая птица — лебеди, гуси и утки собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига, а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички — кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой, по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких пти-

чек была такая большая работа... Лес стоял темный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить.— В свое время все улетим... Не понимаю, о чем тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты,— объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась:

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси или лебеди,— любо на них посмотреть. Живут душа в душу... Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда — впереди выводка. Да, да... А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом... Смотреть-то на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки... Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще мое правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живет по-своему.

Селезень любил серьезные рассуждения, причем оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умен и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа.— Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват...

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло еще весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утенка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утенка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну,— повторяла утка со слезами.— Все улетят, а она останется одна-одинешенька. Да, совсем одна... Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мерзнуть... Ведь она наша дочь, и как я ее люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе...

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил ее, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замерзнет,— жаль, конечно, а все-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи просто. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере ее материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку,— ведь все равно она должна погибнуть зимою.



Старая Утка, ввиду близившейся разлуки, отнеслась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедная Серая Шейка еще не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что ее братья и сестры так весело собираются к отлету, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернетесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернемся, моя дорогая... И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, перебеешься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда... Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас... — повторяла бедная Серая Шейка. — Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам... Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться веселой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки!.. Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время! Был уже целый ряд холодных утреников, от инея пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и самая река казалась больше, потому что берега оголились — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелетной птицы...

Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали промерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой. У нее в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небе журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо!» — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлету. Отдельные гнезда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодежь с веселым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далекого перелета. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом — всех вместе. Сколько было крика, молодого веселья и радости...

Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для нее составляла всё.

— Нужно отправляться... пора! — говорили старики вожаки.— Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело... Наступил и

роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков.

Старая Утка не спала всю ночь — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик,— советовала она.— Там вода не замерзнет целую зиму...

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая...

Да все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания. У старой Утки всё сердце изболелось за бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетевший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами.— Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса меня съела...»

III

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое — и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днем тонкий, как стекло, лед таял.

«Неужели вся река замерзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестер. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про нее? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всем. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики, прыгали белки и зайцы.

Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем выкатил Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла... И зачем ты толчешься здесь? Ведь все утки давно улетели...

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я была еще совсем маленькой...

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается... Ты берегись ее, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает...

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмешь и нырнешь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу со страху... У меня — кругом враги. Летом еще можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё еще не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звездные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река



точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную.

Так и случилось. Была тихая-тихая, звездная ночь. Тихо стоял темный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным, искрившимся светом. Бурлившая днем, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыв ее зеркальным стеклом.

Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замерзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен.

Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса — это была та самая Лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались... Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят... Пока — до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придет.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом нее чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного темного пят-

нышка. Даже голые березы, ольхи, ивы и рябины убралась инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались еще важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую теплую шубу.

Да, чудно хорошо было кругом! А бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота — не для нее, и трепетала при одной мысли, что ее полынья вот-вот замерзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка... Выходи сюда, а не хочешь, так я и сама к тебе приду... Я не спесива...

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лед был еще очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка... Вылезай на лед! А впрочем, до свидания! Я тороплюсь по своим делам...

Лиса начала приходить каждый день — проводить, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали свое дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно, в сажень величиной. Лед был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло посмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем... Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса!.. Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест ее Лиса...





По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замерзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а все-таки весело.

— Братцы, берегись! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, теплая старухе шуба будет!» — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот уж я вас... Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мерзнуть же ей... А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет... А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы — бегать...

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую.

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, — Лиса по реке ползет, — так и ползет, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался стари-

чок.— К старухиной-то шубе воротник сам ползет... Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так ее застрелить, чтобы воротника не испортить,— соображал старик, прицеливаясь в Лису.— А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырках окажется... Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьешь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду,— и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, только руками развел: воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками.— В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась... Ну и хитёр зверь!

— Дедушка, Лиса убежала,— объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе... Что же я теперь буду делать, а? Ну, и грех вышел... А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено...

— Ах, глупая, глупая!.. Да ведь ты замерзнешь тут или Лиса тебя съест... Да...

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внуч-

кам унесу. Вот-то обрадуются... А весной ты старухе яичек нанесешь да утятку выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая...

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху.

«А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть ее шуба с воротником вместе еще погуляет в лесу. Главное — внучки вот как обрадуются...»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замерзнет.




СКАЗКА
ПРО СЛАВНОГО
ЦАРЯ ГОРОХА
И ЕГО ПРЕКРАСНЫХ
ДОЧЕРЕЙ
ЦАРЕВНУ КУТАФЬЮ
И ЦАРЕВНУ ГОРОШИНКУ

Присказка



коро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Сказываются сказки старикам да старушкам на утешенье, молодым людям на поученье, а малым ребятам на послушанье. Из сказки слова не викинешь, а что было, то и былём поросло. Только бежал мимо косой заяц — послушал длинным ухом, летела мимо жарптица — посмотрела огненным глазом. Шумит-гудит зеленый лес, расстилается шёлковым ковром



травы-муравы с лазоревыми цветиками, поднимаются к небу каменные горы, льются с гор быстрые реки, бегут по синю морю кораблики, а по темному лесу на добром коне едет могуч русский богатырь, едет путем-дорогою, чтобы добыть разрыв-траву, которой открывается счастье богатырское. Ехал-ехал богатырь и доехал до расстани, где сбежались три пути-дороженьки. По какой ехать? Поперек одной лежит дубовая колода, на другой стоит березовый пень, а по третьей ползет маленький червячок-светлячок. Нет дальше ходу богатырю.

— Чур меня! — крикнул он на весь дремучий лес.— Отвались от меня нечистая сила...

От этого покрика богатырского с хохотом вылетел из березового дупла сыч, дубовая колода превратилась в злую ведьму и полетела за сычом, засвистели над богатырской головой черные вороны...

— Чур меня!..

И вдруг всё пропало, сгнуло. Остался на дороге один червячок-светлячок, точно кто потерял дорогой камень-самоцвет.

— Ступай прямо! — крикнула из болота лягушка.— Ступай, да только не оглядывайся, а то худо будет...

Поехал богатырь прямо, а впереди поляна, а на поляне огненными цветами цветут папоротники. За поляной, как зеркало, блестит озеро, а в озере плавают русалки с зелеными волосами и смеются над богатырем девичьим смехом:

— У нас, богатырь, разрыв-травы! У нас твое счастье...

Задумался могучий богатырь, остановился добрый конь. Впрочем, что же это я вам рассказываю, малые ребятки? — это только присказка, а сказка впереди.



Жил-был, поживал славный царь Горох в своем славном царстве гороховом. Пока был молод царь Горох, больше всего он любил повеселиться. День и ночь веселился, и все другие веселились с ним.

— Ах, какой у нас добрый царь Горох! — говорили все.


А славный царь Горох слушает, бородку поглаживает, и еще ему делается веселее. Любил царь Горох, когда его все хвалили. Потом любил царь Горох повоевать с соседними королями и другими славными царями. Сидит-сидит, а потом и скажет:

— А не пойти ли нам на царя Пантелея? Что-то он как будто стал зазнаваться на старости лет... Надо его проучить.

Войска у царя Гороха было достаточно, воеводы были отличные, и все были рады повоевать. Может быть, и самих побьют, а все-таки рады. Счастливо воевал царь Горох и после каждой войны привозил много всякого добра — и золотой казны, и самоцветных камней, и шелковых тканей, и пленников. Он ничем не брезговал и брал дань всем, что попадало под руку: мука — подавай сюда и муку, дома пригодится; корова — давай и корову, сапоги — давай и сапоги, масло — давай и масло в кашу. Даже брал царь Горох дань лыком и веником. Чужая каша всегда слаще своей, и чужим веником лучше париться.

Все иностранные короли и славные цари завидовали удаче царя Гороха, а главное, его веселому характеру. Царь Пантелей, у которого борода была до колен, говорил прямо:

— Хорошо ему жить, славному царю Гороху, когда у него веселый характер. Я отдал бы половину своей бороды, если бы умел так веселиться.



Но совсем счастливых людей не бывает на свете. У каждого найдется какое-нибудь горе. Ни подданные, ни воеводы, ни бояре не знали, что у веселого царя Гороха тоже есть свое горе, да еще не одно, а целых два горя. Знала об этом только одна жена царя Гороха, славная царица Луковна, родная сестра царя Пантелея. Царь и царица от всех скрывали свое горе, чтобы народ не стал смеяться над ними. Первое горе заключалось в том, что у славного царя Гороха на правой руке было шесть пальцев. Он таким родился, и это скрывали с самого детства, так что славный царь Горох никогда не снимал с правой руки перчатки. Конечно, шестой палец — пустяки, можно жить и с шестью пальцами, а беда в том, что благодаря этому шестому пальцу царю Гороху всего было мало. Он сам признавался своей царице Луковне:

— Кажется, взял бы всё на свете одному себе... Разве я виноват, что у меня так рука устроена?

— Что же, бери, пока дают,— утешала его царица Луковна.— Ты не виноват. А если добром не отдадут, так можно и силой отнять.

Царица Луковна во всем и всегда соглашалась с своим славным царем Горохом. Воеводы тоже не спорили и верили, что воюют для славы, отбирая чужую кашу и масло. Никто и не подозревал, что у славного царя Гороха шесть пальцев на руке и что он из жадности готов был отнять даже бороду у царя Пантелея, тоже славного и храброго царя.

II

Второе горе славного царя Гороха было, пожалуй, похуже. Дело в том, что первым у славного царя Гороха родился сын, славный и храбрый ца-

ревич Орлик, потом родилась прекрасная царевна Кутафья неописанной красоты, а третьей родилась маленькая-маленькая царевна Горошинка, такая маленькая, что жила в коробочке, в которой раньше славная царица Луковна прятала свои сережки. Маленькой царевны Горошинки решительно никто не видал, кроме отца с матерью.

— Что мы с ней будем делать, царица? — спрашивал в ужасе славный царь Горох. — Все люди родятся, как люди, а наша дочь с горошинку...


— Что же делать — пусть живет... — печально отвечала царица.

Даже царевич Орлик и прекрасная царевна Кутафья не знали, что у них есть сестра Горошинка. А мать любила свою Горошинку больше, чем других детей, — тех и другие любят, а эта мила только отцу с матерью.

Царевна Горошинка выросла ростом в горошинку и была так же весела, как отец. Ее трудно было удержать в коробочке. Царевне хотелось и побегать, и поиграть, и пошалить, как и другим детям. Царица Луковна запиралась в своей комнате, садилась к столу и открывала коробочку. Царевна Горошинка выскакивала и начинала веселиться. Стол ей казался целым полем, по которому она бегала, как другие дети бегают по настоящему полю. Мать протянет руку, и царевна Горошинка едва вскарабкается на нее. Она любила везде прятаться, и мать, бывало, едва ее найдет, а сама боится пошевелиться, чтобы, грешным делом, не раздавить родного детища. Приходил и славный царь Горох полюбоваться на свою царевну Горошинку, и она пряталась у него в бороде, как в лесу.

— Ах, какая она смешная! — удивлялся царь Горох, качая головой.

Маленькая царевна Горошинка тоже удивля-



лась. Какое всё большое кругом — и отец с матерью, и комнаты, и мебель! Раз она забралась на окно и чуть не умерла от страха, когда увидела бежавшую по улице собаку. Царевна жалобно запищала и спряталась в наперсток, так что царь Горох едва ее нашел.

Всего хуже было то, что, как царевна Горошинка стала подрастать, — ей хотелось всё видеть и всё знать. И то покажи ей, и другое, и третье... Пока была маленькой, так любила играть с мухами и тараканами. Игрушки ей делал сам царь Горох — нечего делать, хоть и царь, а мастера для дочери игрушки. Он так выучился этому делу, что никто другой в государстве не сумел бы сделать такую тележку для царевны Горошинки или другие игрушки. Всего удивительнее было то, что мухи и тараканы тоже любили маленькую царевну, и она даже каталась на них, как большие люди катаются на лошадях. Были, конечно, и свои неприятности. Раз царевна Горошинка упросила мать взять ее с собой в сад.

— Только одним глазком взглянуть, матушка, какие сады бывают, — упрашивала царевна Горошинка. — Я ничего не сломаю и не испорчу...

— Ах, что я с ней буду делать? — взмолилась царица Луковна.

Однако пошли в сад. Царь Горох стоял насто-роже, чтобы кто-нибудь не увидел царевны Горошинки, а царица вышла на дорожку и выпустила из коробочки свою дочку. Ужасно обрадовалась царевна Горошинка и долго резвилась на песочке и даже спряталась в колокольчике. Но эта игра чуть не кончилась бедой. Царевна Горошинка забралась в траву, а там сидела толстая, старая лягушка — увидела она маленькую царевну, раскрыла пасть



и чуть не проглотила ее, как муху. Хорошо, что вовремя прибежал сам славный царь Горох и раздавил лягушку ногой.

III

Так жил да поживал славный царь Горох. Все думали, что он останется веселым всегда, а вышло не так. Когда родилась царевна Горошинка, он уже был не молод, а потом начал быстро стариться. На глазах у всех старился славный царь Горох. Лицо осунулось, пожелтело, глаза ввалились, руки начали трястись, а старого веселья как не бывало. Сильно изменился царь Горох, а с ним вместе приуныло и всё гороховое царство. Да и было отчего приуныть: состарившийся царь Горох сделался подозрительным, всюду видел измену и никому не верил, даже самым любимым боярам и воеводам.

— Никому не верю! — говорил царь Горох им в глаза. — Все вы готовы изменить мне при первом удобном случае, а за спиной, наверно, смеетесь надо мной... Всё знаю! Лучше и не оправдывайтесь.

— Помилуй, славный царь Горох! — взмолились бояре и воеводы. — Да как мы посмеем что-нибудь дурное даже подумать... Все тебя любят, славный царь Горох, и все готовы жизнь свою отдать за тебя.

— Знаю, знаю. Правые люди не будут оправдываться. Вы только то и делаете, что ждете моей смерти.

Все начали бояться славного царя Гороха. Такой был веселый царь, а тут вдруг точно с печи упал — и узнать нельзя. И скуп сделался царь Горох, как Кощей. Сидит и высчитывает, сколько добра у него съели и выпили гости, да, кроме того,

сколько еще разных подарков получили. И обидно старику, что столько добра пущено на ветер, и жаль своей царской казны. Начал царь Горох всех притеснять, каждую денежку высчитывать и даже по утрам сидел в кухне, смотрел, как варят ему щи, чтобы повара не растащили провианта.

— Воры вы все! — корит царь Горох своих поваров.— Только отвернись, вы всю говядину из горшка повытаскаете, а мне одну жижу оставите.

— Смилуйся, царь-государь! — вопили повара и валялись у царя Гороха в ногах.— Да как мы посмеем таскать твою говядину из горшков...

— Знаю, знаю. У меня всё царство вор на воре — вором погоняет.

Дело дошло до того, что славный царь Горох велел при себе и хлеб резать, и сам считал куски, и даже коров доить стал, чтобы не выпили царского молока неверные слуги. Всем пришлось плохо, даже царица Луковна — и та голодала. Плачет, а попросить кусочка хлеба не смеет у царя. Исхудала бедная и только одному радовалась, что ровно ничего не стоило прокормить любимую дочь Горошинку. Царевна Горошинка была сыта крошечками...

«Испортили царя! — думали все.— Какой-нибудь колдун испортил, не иначе дело. Долго ли испортить всякого человека... А какой был у нас славный да веселый царь!..»

А славный царь Горох с каждым днем делался всё хуже и злее. Начал он людей по тюрьмам сажать, а других прямо казнил. Ходят по всему гороховому царству немилостивые царские пристава, ловят людей и казнят. Чтобы услужить царю Гороху, они выбирали самых богатых, чтобы их именье пошло в царскую казну.

— Однако сколько у меня развелось изменни-



ков! — удивляется славный царь Горох. — Это они у меня столько всякого добра наворовали... А я-то по простоте ничего и не замечаю. Еще бы немного, так я бы сам с голоду помер...

IV

С каждым днем славный царь Горох делался всё хуже и хуже, а народ всё искал, кто его испортил. Искали-искали и наконец нашли. Оказалось, что царя испортила его родная дочь, прекрасная Кутафья. Да, она самая... Нашлись люди, которые уверяли, что своими глазами видели, будто она вылетала из дворца, обернувшись сорокой, а то еще хуже — бегала по городу мышью и подслушивала, кто и что болтает про царя. От нее, дескать, и всё зло по гороховому царству пошло. Доказательства были все налицо: славный царь Горох любил только одну прекрасную царевну Кутафью. Он даже прогнал всех своих поваров, а главного повесил перед кухней, и теперь царское кушанье готовила одна прекрасная царевна Кутафья. Ей только одной верил теперь царь Горох, и никому больше.

— Что нам делать теперь? — жаловались все друг другу. — Домашний враг сильнее всех... Погубит прекрасная царевна Кутафья всё царство. Некуда нам деваться от колдуньи...

Впрочем, оставалась еще одна последняя надежда. О красоте царевны Кутафьи прошла слава по всем землям, и к царю Гороху наезжали женихи со всех сторон. Лиха беда в том, что она всем отказывала. Все не хороши женихи. Но ведь надоест же когда-нибудь ей в девках сидеть, выйдет она замуж, и тогда все вздохнут свободно. Думали, судили, рядили, передумывали, а прекрасная ца-

ревна Кутафья и думать ничего не хотела о женихе. Последним наехал к царю Гороху молодой король Косарь, красавец и богатырь, каких поискать, но и он получил отказ, то есть отказал ему сам царь Горох.

— Королевство у тебя маловато, король Косарь,— заявил ему славный царь Горох, поглаживая бородку.— Еле-еле сам сыт, а чем жену будешь кормить?

Обиделся король Косарь, сел на своего коня и сказал на прощанье царю Гороху:


— Из маленького королевства может вырасти и большое, а из большого царства ничего не останется. Отгадай, что это значит?

Славный царь Горох только посмеялся над хвастовством короля Косаря: молод-де еще, на губах молоко не обсохло!

Царевны, прекрасной Кутафьи, отец даже не спросил, нравится ей жених или не нравится. Не девичье это дело женихов разбирать — отец с матерью лучше знают, кому отдать родное детище.

Прекрасная царевна Кутафья видела из своего терема, как уезжал домой король Косарь, и горько плакала. Пришелся ей к самому сердцу красавец король, да, видно, ничего против воли родительской не поделаешь. Всплакнула и царица Луковна, жалючи дочь, а сама и пикнуть не смела перед царем.

Не успел славный царь Горох оглянуться, как король Косарь принялся разгадывать свою загадку. Первым делом он пошел войной на царя Пантелея, начал брать города и избил несчетное число народа. Испугался царь Пантелей и стал просить помощи у царя Гороха. Раньше они ссорились, а иной раз и воевали, но в беде некогда разбирать старых счетов. Однако славный царь Горох опять погордился и отказал.



— Управляйся, как знаешь,— сказал он через послов царю Пантелею.— Всякому своя рубашка ближе к телу.

Не прошло и полугода, как прибежал и сам царь Пантелей. У него ничего не осталось, кроме бороды, а его царством завладел король Косарь.

— Напрасно ты мне не помог,— укорял он царя Гороха.— Вместе-то мы его победили бы, а теперь он меня разбил и тебя разобьет.

— Это мы еще увидим, а твой Косарь — мо-локосос...

V

Завоевав царство Пантелея, король Косарь послал к славному царю Гороху своих послов, которые и сказали:

— Отдай нашему храброму королю Косарю свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, а то тебе будет то же, что царю Пантелею.

Рассердился царь Горох и велел казнить Косарёвых послов, а самому королю Косарю послал собаку с обрубленным хвостом. Вот, дескать, тебе самая подходящая невеста...

Рассердился и король Косарь и пошел войной на гороховое царство, идет — и народ, словно ко-сой, косит. Сколько сел разорил, сколько городов выжег, сколько народу погубил, а воевод, которых выслал против него царь Горох, в полон взял. Долго ли, коротко ли сказка сказывается, а только король Косарь подступил уже к самой столице, обложил ее кругом, так что никому ни проходу, ни проезду нет, и опять шлет послов к славному царю Гороху.

— Отдай замуж свою дочь, прекрасную царевну Кутафью, нашему королю Косарю,— говорят пос-

лы.— Ты первых послов казнил и нас можешь казнить. Мы люди подневольные.

— Лучше я сам умру, а дочери не отдам вашему королю! — ответил царь Горох.— Пусть сам берет, если сумеет только взять... Я ведь не царь Пантелей.

Хотел славный царь Горох и этих послов казнить, да за них вовремя заступилась сама прекрасная царевна Кутафья. Бросилась она в ноги грозному отцу и начала горько плакать:

— Лучше меня вели казнить, отец, а эти люди не виноваты... Сними с меня голову, только не губи других. Из-за меня, несчастной, напрасно льется кровь и гибнут люди...

— Вот как? Отлично...— ответил славный царь Горох.— Ты отца родного променяла на каких-то послов? Спасибо, доченька... Может быть, тебе хочется замуж за короля Косаря? Ну, этого ты не дождешься! Всё царство загублю, а тебе не бывать за Косарём...

Страшно рассердился царь Горох на любимую дочь и велел посадить ее в высокую-высокую башню, где томились и другие заключенные, а в подвал были посажены Косарёвы послы. Народ узнал об этом и толпами приходил к башне, чтобы ругать опальную царевну.

— Отдай нам наши города, взятые королем Косарём! — кричали ей снизу потерявшие от горя голову люди.— Отдай всех, которых убил король Косарь! Из-за тебя мы и сами перемрем все голодной смертью... Ты испортила и своего отца, который раньше не был таким.

Страшно делалось прекрасной царевне Кутафье, когда она слышала такие слова. Ведь ее разорвали бы на мелкие части, если бы она вышла из башни. А чем она виновата? Кому она сделала какое зло?



Вот и родной отец ее возненавидел ни за что... Горько и обидно делается царевне, и горько-горько она плачет, день и ночь плачет.

— И для чего я только уродилась красавицей? — причитывала она, ломая руки. — Лучше бы мне родиться каким-нибудь уродом, хромой и горбатой... А теперь все против меня. Ох, лучше бы меня казнил отец!

А в столице уже начинался голод. Голодные люди приходили к башне и кричали:

— Прекрасная царевна Кутафья, дай нам хлеба! Мы умираем с голоду. Если нас не жалеешь, то пожалей наших детей.


VI

Жалела прекрасную царевну Кутафью одна мать. Знала она, что дочка ни в чем не виновата. Все глаза выплакала старая царица Луковна, а мужу ничего не смела сказать. И плакала она потихоньку ото всех, чтобы кто-нибудь не донес царю. Материнское горе видела одна царевна Горошинка и плакала вместе с ней, хотя и не знала, о чем плачет. Очень ей жаль было матери — такая большая женщина и так плачет.

— Мама, скажи, о чем ты плачешь? — спрашивала она. — Ты только скажи, а я попрошу отца... Он всё устроит.

— Ах, ты ничего не понимаешь, Горошинка!

Царица Луковна и не подозревала, что Горошинка знала гораздо больше, чем она думала. Ведь это был не обыкновенный ребенок. Горошинке улыбались цветы, она понимала, о чем говорят мухи, а когда выросла большой, то есть ей исполнилось семнадцать лет, с Горошинкой произошло нечто



совершенно необыкновенное, о чем она никому не рассказывала. Стоило ей захотеть — и Горошинка превращалась в муху, в мышку, в маленькую птичку. Это было очень интересно. Горошинка пользовалась тем временем, когда мать спала, и вылетала в окно мухой. Она облетела всю столицу и всё рассмотрела. Когда отец заключил прекрасную Кутафью в башню, она пролетела и к ней. Царевна Кутафья сидела у окна и горько-горько плакала. Муха-Горошинка полетала около нее, пожужжала и наконец проговорила:

— Не убивайся, сестрица. Утро вечера мудренее...

Царевна Кутафья страшно перепугалась. К ней никого не допускали, а тут вдруг человеческий голос.

— Это я, твоя сестренка Горошинка.

— У меня нет никакой сестрицы...

— А я-то на что?

Горошинка рассказала о себе всё, и сёстры поцеловались. Теперь обе плакали от радости и не могли наговориться. Прекрасная царевна Кутафья смущалась только одним: именно, что маленькая сестренка Горошинка умеет превращаться в муху. Значит, она колдунья, а все колдуньи злые.

— Нет, я не колдунья,— объясняла обиженная Горошинка.— А только заколдована кем-то, и на мне положен какой-то зарок, а какой зарок — никто не знает. Что-то я должна сделать, чтобы превратиться в обыкновенную девушку, а что — не знаю.

Прекрасная царевна Кутафья рассказала о всех своих злоключениях: как она жалела отца, который сделался злым, а потом, сколько горя из-за нее терпит теперь всё гороховое царство. А чем она виновата, что король Косарь непременно хочет же-



ниться на ней? Он даже и не видал ее ни разу.

— А тебе он нравится, сестрица? — лукаво спросила Горошинка.

Прекрасная царевна Кутафья только опустила глаза и покраснела.

— Раньше нравился... — объяснила она со смущением. — А теперь я его не люблю. Он — злой...

— Хорошо. Понимаю. Ну, утро вечера мудренее...

VII

Всё гороховое царство было встревожено. Во-первых, царевич Орлик попался в плен злому королю Косарю, а во-вторых, исчезла из башни прекрасная царевна Кутафья. Отворили утром тюремщики дверь в комнату царевны Кутафьи, а ее и след простыл. Еще больше удивились они, когда увидели, что у окошка сидит другая девица, сидит и не шелохнется.

— Ты как сюда попала? — удивились тюремщики.

— А так... Вот пришла и сажу.

И девица какая-то особенная — горбатая да рябая, а на самой надето платьишко худенькое, всё в заплатках. Пришли тюремщики в ужас:

— Что ты наделала-то, умница? Ведь расскажит нас славный царь Горох, что не уберегли мы прекрасной царевны Кутафьи...

Побежали во дворец и объявили всё. Прибежал в башню сам славный царь Горох — так бежал, что и шапку дорогой потерял.

— Всех казню! — кричал он.

— Царь-государь, смилуйся! — вопили тюремщики, валяясь у него в ногах. — Что хочешь делай,

а мы не виноваты. Видно, посмеялась над нами, бедными, прекрасная царевна Кутафья...

Посмотрел славный царь Горох на рябую девицу, которая как ни в чем не бывало сидела у окошка, и подивился не меньше тюремщиков.

— Да ты откуда взялась-то, красота писаная? — строго спросил он.

— А так... Где была, там ничего не осталось.

Удивляется славный царь Горох, что так смело отвечает ему рябая девица и нисколько его не боится.

— А ну-ка, повернись... — сказал он удивляясь.

Как поднялась девица, все увидели, что она хромая, а платьишко на ней едва держится — заплата на заплате. «Этакую ворону и казнить даже не стоит», — подумал славный царь Горох.

Собрались тюремщики, тоже смотря и тоже дивуются.

— Как тебя звать-то, красавица? — спросил царь Горох.

— А как нравится, так и зови... Прежде звали Босоножкой.

— А ты меня не боишься?

— Чего мне тебя бояться, когда ты добрый... Так и все говорят: какой у нас добрый царь Горох!

Много всяких чудес насмотрелся царь Горох, а такого чуда не видывал. Прямо в глаза смеется над ним мудреная девица. Задумался славный царь Горох и даже не пошел домой обедать, а сам остался караулить в башне. Тюремщиков заковали в цепи и отвели в другую тюрьму. Не умели ухранить царской дочери, так пусть сами сидят...

— Скажите царице Луковне, чтобы послала мне сюда шей и каши, — приказал царь Горох. — А я сам буду сторожить. Дело не чисто...

А царица Луковна убивалась у себя во дворце.

Плачет, как река льется. Сына в полон взял злой король Косарь, прекрасная дочь Кутафья исчезла, а тут еще пропала царевна Горошинка. Искала-искала ее царица по всем комнатам — нет нигде Горошинки.

«Видно, ее мышь загрызла или воробей заклевал», — думала царица Луковна и еще больше плакала.

VIII

В столице славного царя Гороха и стон, и плач, и горе, а злой король Косарь веселится в своем стане. Чем хуже славному царю Гороху, тем веселее злому королю Косарю. Каждое утро злой король Косарь пишет письмо, привязывает его к стреле и пускает в город. Его последнее письмо было такое:

«Эй ты, славный царь Горох, немного у тебя закуски осталось — приходи ко мне, я тебя накормлю. Царю Пантелею я хоть бороду оставил, а у тебя и этого нет — у тебя не борода, а мочалка».

Сидит славный царь Горох в башне, читает королевские письма и даже плачет от злости.

Весь народ, сбежавшийся к столице, страшно голодал. Люди умирали от голода прямо на улице. Теперь уже никто не боялся славного царя Гороха — всё равно умирать. Голодные люди приходили прямо к башне, в которой заперся царь Горох, и ругали его:

— Вот, старый колдун караулит ведьму-дочь. Сжечь их надо, а пепел пустить по ветру. Эй, Горох, выходи лучше добром!

Слушает все эти слова царь Горох и плачет. Зачем он злился и притеснял всех? Пока был доб-

рый — всё было хорошо. Гораздо выгоднее быть добрым. Догадался царь Горох, как следовало жить, да поздно. А тут еще рябая девица сидит у окошечка и поет:

Жил да поживал славный царь Горох,
Победить его никто не мог...
А вся сила в том была,
Что желал он всем добра.

— Правда, правда... — шептал царь Горох, обливаясь слезами.

Потом мудреная девица сказала ему:

— Вот что, славный царь Горох... Не ты меня держишь в башне, а я тебя держу. Понял? Ну, так довольно... Нечего тебе здесь больше делать. Ступай-ка домой — царица Луковна очень соскучилась о тебе. Как придешь домой — собирайся в дорогу. Понял? А я приду за вами...

— Как же я пойду — меня убьют дорогой.

— Никто не убьет. Вот я тебе дам пропуск...

Оторвала девица одну заплатку со своего платья и подала царю. И действительно, дошел царь Горох до самого дворца, и никто его не узнал, даже свои дворцовые слуги. Они даже не хотели его пускать во дворец.

Славный царь Горох хотел было рассердиться и тут же всех казнить, да вовремя припомнил, что добрым быть куда выгоднее. Сдержался царь Горох и сказал слугам:

— Мне бы только увидеть царицу Луковну. Всего одно словечко сказать...

Слуги смилостивились и допустили старика к царице. Когда он шел в царские покои, они сказали ему одно:

— Царица у нас добрая, смотри не вздумай

просить у нее хлеба. Она и сама через день теперь ест. А всё из-за проклятого царя Гороха...

Царица Луковна узнала мужа сразу и хотела броситься к нему на шею, но он сделал ей знак и шепнул:

— Бежим скорее. После всё расскажу.

Сборы были короткие — что можно унести в руках. Царица Луковна взяла только одну пустую коробочку, в которой жила Горошинка. Скоро пришла и Босоножка и повела царя с царицей. На улице догнал их царь Пантелей и со слезами заговорил:

— Что же это вы меня одного оставляете?

— Ну идем с нами...— сказала Босоножка.—
Веселее вместе идти.

IX

Король Косарь стоял под столицей царя Гороха уже второй год и не хотел брать города приступом, чтобы не губить напрасно своих королевских войск. Всё равно сами сдадутся, когда «досыта наголодаются».

От нечего делать веселится злой король Косарь в своей королевской палатке. Веселится и днем, веселится и ночью. Горят огни, играет музыка, поют песни... Всем весело, только горюют одни пленники, которых охраняет крепкая королевская стража. А среди всех этих пленников больше всех горюет царевич Орлик, красавец Орлик, о котором тосковали все девушки, выдавшие его хотя бы издали. Это был орленок, выпавший из родного гнезда. Но приставленная к царевичу стража стала замечать, что каждое утро прилетает откуда-то белобокая сорока и что-то долго стрекочет по-своему, по-сорочьему, а сама так и вьется над землянкой,

в которой сидел пленный царевич. Пробовали стрелять в нее, но никто попасть не мог.

— Это какая-то проклятая птица! — решили все.

Как ни веселился король Косарь, а надоело ему ждать покорности. Послал он в осажденный город стрелу с письмом, а в письме написал царю Гороху, что если города ему не сдадут, то завтра царевич Орлик будет казнен. Ждал король Косарь ответа до самого вечера, да так и не получил его. И в столице не знал еще никто, что славный царь Горох бежал.

— Завтра казнить царевича Орлика! — приказал король Косарь. — Надоело мне ждать. Всех буду казнить, кто только попадетсЯ мне в руки. Пусть помнят, какой был король Косарь!

К утру всё было готово для казни. Собралось всё королевское войско смотреть, как будут казнить царевича Орлика. Вот уже загудели уныло трубы, и сторожа вывели царевича. Молодой красавец не трусил, а только с тоской смотрел на родную столицу, стены которой были усыпаны народом. Там уже было известно о казни царевича.

Король Косарь вышел из палатки и махнул платком — это значило, что прощения не будет. Но как раз в это время налетела сорока, взвилась над землянкой пленного царевича и страшно затрещала. Она вилась над самой головой короля Косаря.

— Что это за птица? — рассердился король Косарь.

Придворные бросились отгонять птицу, а она так и лезет — кого в голову клюнет, кого в руку, а кому прямо в глаз норовит попасть. И придворные рассердились. А сорока села на золотую маковку королевской палатки и точно всех дразнит. Начали в нее стрелять, и никто попасть не может.

— Убейте ее! — кричит король Косарь. — Да

нет, куда вам... Давайте мне мой лук и стрелы. Я покажу вам, как нужно стрелять...

Натянул король Косарь могучей рукой тугой лук, запела оперенная лебединым пером стрела, и свалилась с маковки сорока.

Тут у всех на глазах свершилось великое чудо. Когда подбежали поднять убитую сороку, на земле лежала с закрытыми глазами девушка неописанной красоты. Все сразу узнали в ней прекрасную царевну Кутафью. Стрела попала ей прямо в левую руку, в самый мизинец. Подбежал сам король Косарь, припал на колени и в ужасе проговорил:

— Девица-краса, что ты со мной сделала?

Раскрылись чудные девичьи глаза, и прекрасная царевна Кутафья ответила:

— Не вели казнить брата Орлика...

Король Косарь махнул платком, и стража, окружающая царевича, расступилась.

Х

Ведет Босоножка двух царей да царицу Луковну, а они идут да ссорятся. Всё задирает царь Пантелей.

— Ах, какое у меня отличное царство было!..— хвастается он.— Такого другого царства и нет...

— Вот и врешь, царь Пантелей! — спорит Горох.— Мое было не в пример лучше...

— Нет, мое!..

— Нет, мое!..

Как ни старается царь Горох сделаться добрым, а никак не может. Как тут будешь добрым, когда царь Пантелей говорит, что его царство было лучше?

Опять идут.

— А сколько у меня всякого добра было! — говорит царь Пантелей.— Одной казны не пересчитаешь. Ни у кого столько не было.

— Опять врешь! — говорит царь Горох.— У меня и добра и казны было больше.

Идут цари и ссорятся. Царица несколько раз дергала царя Гороха за рукав и шептала:

— Перестань, старик... Ведь ты же хотел быть добрым?

— А ежели царь Пантелей мешает мне быть добрым? — сердится славный царь Горох.

Всякий думает о своем, а царица Луковна — всё о детях. Где-то красавец царевич Орлик? Где-то прекрасная царевна Кутафья? Где-то царевна Горошинка? Младшей дочки было ей больше всего жаль. Поди, и косточек не осталось от Горошинки... Идет царица и потихоньку вытирает материнские слезы рукавом.

А цари отдохнут и опять спорят. Спорили-спорили, чуть не подрались. Едва царица Луковна их разняла.


— Перестаньте вы грешить,— уговаривала она их.— Оба лучше... Ничего не осталось, так и хвалиться нечем.

— У меня-то осталось! — озлился славный царь Горох.— Да, осталось... Я и сейчас богаче царя Пантелея.

Рассердился царь Горох, сдернул перчатку с правой руки, показал царю Пантелею свои шесть пальцев и говорит:

— Что, видел? У тебя пять пальцев всего, а у меня целых шесть — вот и вышло, что я тебя богаче.

— Эх, ты, нашел чем хвалиться! — засмеялся царь Пантелей.— Уж если на то пошло, так у меня одна борода чего стóбит...

 Долго спорили цари, опять чуть не подрались, но царь Пантелей изнемог, присел на кочку и заплакал. Царю Гороху сделалось вдруг совестно. Зачем он хвастался своими шестью пальцами и довел человека до слез?

— Послушай, царь Пантелей...— заговорил он.— Послушай... брось!..

— Никак не могу бросить, царь Горох.

— Да ты о чем?

— А я есть хочу. Лучше уж было остаться в столице или идти к злому королю Косарю. Всё равно помирать голодную смертью...

Подошла Босоножка и подала царю Пантелею кусок хлеба. Съел его царь Пантелей да как закричит:

— А что же ты, такая-сякая, щей мне не даешь?! По-твоему, цари всухомятку должны есть? Да я тебя сейчас изничтожу...

— Перестань, нехорошо...— уговаривал царь Горох.— Хорошо, когда и кусок хлебца найдется.

XI

Долго ли, коротко ли вздорили цари между собой, потом мирились, потом опять вздорили, а Босоножка идет себе впереди, переваливается на кривых ногах да черемуховой палкой подпирается.

Царица Луковна молчала — боялась, чтобы не было погони, чтобы не убили царя Гороха, а когда ушли подальше и опасность миновала, она стала думать другое. И откуда взялась эта самая Босоножка? И платьишко на ней рваное, и сама она какая-то корявая да еще к тому же хромая. Не нашел царь Горох девицы хуже. Такой-то уродины и близко бы к царскому дворцу не пустили. Начала

царица Луковна посерживаться и спрашивает:

— Эй ты, Босоножка, куда это ты нас ведешь?

Царица тоже перестали спорить и тоже накинулись на Босоножку:

— Эй ты, кривая нога, куда нас ведешь?

Босоножка остановилась, посмотрела на них и только улыбнулась. А царица так к ней и подступают: сказывай, куда завела?

— А в гости веду... — ответила Босоножка и еще прибавила: — Как раз к самой свадьбе поспею.

Тут уж на нее накинулась сама царица Луковна и начала ее бранить. И такая и сякая — до свадьбы ли теперь, когда у всякого своего горя не расхлебашь. В глаза смеется Босоножка над всеми.

— Ты у меня смотри! — грозилась царица Луковна. — Я шутить не люблю.

Ничего не сказала Босоножка, а только показала рукой вперед. Теперь все увидели, что стоит впереди громадный город, с каменными стенами, башнями и чудными хоромами, перед городом раскинут стан и несметное войско. Немного струсили царица и даже попятнулись назад, а потом царь Пантелей сказал:

— Э, всё равно, царь Горох! Пойдем... Чему быть — того не миновать, а может, там и покормят. Очень уж я о щак стосковался...

Царь Горох тоже не прочь был закусить, да и царица Луковна проголодалась.

Нечего делать, пошли. Никто и не думает даже, какой это город и чей стан раскинут. Царь Горох идет и корит себя, зачем он хвастался перед царем Пантелеем своими шестью пальцами, — болтлив царь Пантелей и всем расскажет. А царица Луковна начала прихорашиваться и сказала Босоножке:



— Иди-ка ты, чумичка, позади нас, а то еще осрамишь перед добрыми людьми...

Идут дальше. А их уже заметили на стану. Валит навстречу народ, впереди скачут вершники. Приосанились оба царя, а царь Пантелей сказал:

— Ну, теперь дело не одними щами пахнет, а и кашей и киселем... Очень уж я люблю кисель!..

Смотрит царица Луковна и своим глазам не верит. Едет впереди на лихом коне сам красавец царевич Орлик и машет своей шапкой. А за ним едет, тоже на коне, прекрасная царевна Кутафья, а рядом с ней едет злой король Косарь.

— Ну, теперь, кажется, вышла каша-то с маслом...— забормотал испугавшийся царь Пантелей и хотел убежать, но его удержала Босоножка.

Подъехали все, и узнал славный царь Горох родных детей.

— Да ведь это моя столица! — ахнул он, оглядываясь на город.

Спéшились царевич Орлик и царевна Кутафья и бросились в ноги отцу и матери. Подошел и король Косарь.

— Ну, что же ты пнем стоишь? — сказал ему славный царь Горох.— От поклону голова не отвалится...

Поклонился злой король Косарь и сказал:

— Бью тебе челом, славный царь Горох!.. Отдай за меня прекрасную царевну Кутафью.

— Ну, это еще посмотрим! — гордо ответил царь Горох.

С великим торжеством повели гостей в королевскую палатку. Все их встречали с почетом. Даже царь Пантелей приосанился.

Только когда подходили к палатке, царица Луковна хватилась Босоножки, а ее и след простыл. Искали-искали, ничего не нашли.

— Это была Горошинка, мама,— шепнула царице Луковне прекрасная царевна Кутафья.— Это она всё устроила.

Через три дня была свадьба — прекрасная царевна Кутафья выходила за короля Косаря. Осада с города была снята. Все ели, пили и веселились. Славный царь Горох до того развеселился, что сказал царю Пантелею:

— Давай поцелуемся, царь Пантелей... И из-за чего мы ссорились? Ведь, ежели разобрать, и король Косарь совсем не злой...

ХII

Когда царь Горох с царицей Луковной вернулся к себе домой со свадьбы, Босоножка сидела в царицыной комнате и пришивала на свои лохмотья новую заплатку. Царица Луковна так и ахнула.

— Да откуда ты взялась-то, уродина? — рассердилась старуха.

— Вы на свадьбе у сестрицы Кутафьи веселились, а я здесь свои заплатки чинила.

— Сестрицы?! Да как ты смеешь такие слова выговаривать, негодная!.. Да я велю сейчас тебя в три метлы отсюда выгнать — тогда и узнаешь сестрицу Кутафью...

— Мама, да ведь я твоя дочь — Горошинка!

У царицы Луковны даже руки опустились. Старуха села к столу и горько заплакала. Она только теперь припомнила, что сама Кутафья ей говорила о Горошинке. Весело было на свадьбе, и про Горошинку с радости все и забыли.

— Ох, забыла я про тебя, доченька! — плакалась царица Луковна.— Совсем из памяти вон... А еще Кутафья про тебя мне шепнула. Вот грех какой вышел!..



Но, посмотрев на Босоножку, царица Луковна вдруг опять рассердилась и проговорила:

— Нет, матушка, не похожа ты на мою Горошинку... Ни-ни! Просто взяла да притворилась и назвалась Горошинкой. И Кутафью обманула... Не такая у меня Горошинка была...

— Право, мама, я Горошинка,— уверяла Босоножка со слезами.

— Нет, нет, нет... И не говори лучше. Еще царь Горох узнает и сейчас меня казнить велит...

— Отец у меня добрый!..

— Отец?! Да как ты смеешь такие слова говорить? Да я тебя в чулан посажу, чумазую!

Горошинка заплакала. Она же о всех хлопотала, а ее и на свадьбу забыли позвать, да еще родная мать хочет в чулан посадить.

Царица Луковна еще сильнее рассердилась и даже ногами затопала.

— Вот еще горюшко навязалось! — кричала она.— Ну, куда я с тобой денусь? Придет ужо царь Горох, увидит тебя — что я ему скажу? Уходи сейчас же с глаз моих...

— Некуда мне идти, мама...

— Какая я тебе мама!.. Ах ты, чучело гороховое, будет притворяться-то!.. Тоже придумает: дочь!

Царица Луковна и сердилась, и плакала, и решительно не знала, что ей делать. А тут еще, сохрани бог, царь Горох как-нибудь узнает... Вот беда прикачнулась!

Думала-думала старушка и решила послать за дочерью Кутафьей: «Она помоложе, может, что и придумает, а я уже старуха, и взять с меня нечего...»

Недели через три приехала и Кутафья, да еще вместе со своим мужем, королем Косарём. Всё царство обрадовалось, а во дворце поднялся такой

пир, что царица Луковна совсем позабыла о Босоножке, то есть не совсем забыла, а всё откладывался разговор с Кутафьей.

«Пусть молодые-то повеселятся да порадуются,— думала царица Луковна.— Покажи им этакую чучелу, так все гости, пожалуй, разбегутся...»

И гости веселились напропалую, а всех больше царь Пантелей — пляшет старик, только борода трясется. Король Косарь отдал ему всё царство назад, и царь Пантелей радовался, точно вчера родился. Он всех обнимал и лез целоваться так, что царь Горох даже немного рассердился:

— Что ты лижешь, Пантелей, точно теленок!

— Голубчик, царь Горохушко, не сердись!..— повторял царь Пантелей, обнимая старого друга.— Ах, какой ты... Теперь я опять никого не боюсь и хоть сейчас опять готов воевать.

— Ну, это дело ты брось... Прежде я тоже любил повоевать, а теперь ни-ни!.. И так проживем...

Чтобы как-нибудь гости не увидели Босоножки, царица Луковна заперла ее в своей комнате на ключ, и бедная девушка могла любоваться только в окно, как веселились другие. Гостей наехало со всех сторон видимо-невидимо, и было что посмотреть. Когда надоедало веселиться в горницах, все гости выходили в сад, где играла веселая музыка, а по вечерам горели разноцветные огни. Царь Горох похаживал среди гостей, разглаживал свою бороду и весело приговаривал:

— Не скучно ли кому? Не обидел ли я кого? Хватает ли всем вина и еды? Кто умеет веселиться, тот добрый человек...

Босоножка видела из окна, как царь Пантелей с радости подбирал полы своего кафтана и пускался впрысядку. Он так размахивал длинными руками,



что походил на мельницу или на летучую мышь. Не утерпела и царица Луковна — тряхнула стариной. Подбоченясь, взмахнула шелковым платочком и поплыла павой, отбивая серебряными каблучками.

— Эх-эх-эх!..— приговаривала она, помахивая платочком.

— Ай да старуха! — хвалил царь Горох.— Когда я был молодой, так вот как умел плясать, а теперь брюхо не позволяет...

Босоножка смотрела на чужое веселье и плакала: очень уж ей было обидно чужое веселье.

ХIII

Сидя у своего окошечка, Босоножка много раз видела сестру, красавицу Кутафью, которая еще более похорошела, как вышла замуж. Раз Кутафья гуляла одна, и Босоножка ей крикнула:

— Сестрица Кутафья, подойдите сюда!


В первый раз Кутафья сделала вид, что не слышала, во второй раз — она взглянула на Босоножку и притворилась, что не узнала ее.

— Милая сестрица, да ведь это я, Горошинка!

Красавица Кутафья пошла и пожаловалась матери. Царица Луковна страшно рассердилась, прибежала, выбрала Босоножку и закрыла окно ставнями.

— Ты у меня смотри! — ворчала она.— Вот ужо, дай только гостям уехать... Пристало ли тебе, чучеле, с красавицей Кутафьей разговаривать? Только меня напрасно срамишь...

Сидит Босоножка в темноте и опять плачет. Свету только и осталось, что щелочка между ставнями. Нечего делать, от скуки и в щелочку насмотришься. По целым часам Босоножка сидела у



окна и смотрела в свою щелочку, как другие веселятся. Смотрела-смотрела и увидела красавца витязя, который приехал на пир случайно. Хорош витязь — лицо белое, глаза соколиные, русые кудри из кольца в кольцо. И молод, и хорош, и удал. Все любят, а другие витязи только завидуют. Нечего сказать, хорош был король Косарь, а этот получше будет. Даже гордая красавица Кутафья не один раз потихоньку взглянула на писаного красавца и вздохнула.

А у бедной Босоножки сердце так и бьется, точно пойманная птичка. Очень уж ей понравился неизвестный витязь. Вот бы за кого она и замуж пошла! Да вся беда в том, что Босоножка не знала, как витязя зовут, а то как-нибудь вырвалась бы из своей тюрьмы и ушла бы к нему. Всё бы ему до капельки рассказала, а он, наверно, пожалел бы ее. Ведь она хорошая, хоть и уродина.

Сколько гости ни пировали, а пришлось разъезжаться по домам. Царя Пантелея увезли совсем пьяного. На прощанье с дочерью царица Луковна вспомнила про свою Босоножку и расплакалась:

— Ах, что я с нею только делать буду, Кутафья!.. И царя Гороха боюсь, и добрых людей будет стыдно, когда узнают.

Красавица Кутафья нахмурила свои соболиные брови и говорит:

— О чем ты плачешь, матушка? Пошли ее в кухню, на самую черную работу — вот и всё... Никто и не посмеет думать, что это твоя дочь.

— Да ведь жаль ее, глупую!

— Всех уродов не пережалеешь... Да я и не верю ей; что она твоя дочь. Совсем не в нашу семью: меня добрые люди красавицей называют, и брат Орлик тоже красавец. Откуда же такой-то уродине взяться?



— Говорит, что моя...

— Мало ли что она скажет... А ты ее пошли на кухню, да еще к самому злому повару.

Сказано — сделано. Босоножка очутилась на кухне. Все повара и поварихи покатывались со смеху, глядя на нее:

— Где это наша царица Луковна отыскала такую красоту? Вот так красавица! Хуже-то во всем гороховом царстве не сыскать.

— И одежка на ней тоже хороша! — удивлялась повариха, разглядывая Босоножку. — Ворон пугать... Ну и красавица!

А Босоножка была даже рада, что освободилась из своего заточения, хотя ее и заставляли делать самую черную работу — она мыла грязную посуду, таскала помои, мыла полы. Все так ею и помывкали, а особенно поварихи. Только и знают, что покрывают:

— Эй ты, хромяя нога, только даром царский хлеб ешь! А пользы от тебя никакой нет...

Особенно донимала ее старшая повариха, злющая старая баба, у которой во рту словно был не один язык, а целых десять. Случалось не раз, что злая баба и прибьет Босоножку: то кулаком в бок сунет, то за косу дернет. Босоножка всё переносила. Что можно было требовать от чужих людей, когда от нее отказались родная мать и сестра! Спрячется куда-нибудь в уголок и потихоньку плачет — только и всего. И пожаловаться некому. Правда, царица Луковна заглядывала несколько раз на кухню и справлялась о ней, но все поварихи и повара кричали в один голос:

— Ленивая-преленивая эта уродина, царица! Ничего делать не хочет, а только даром царский хлеб ест...

— А вы ее наказывайте, чтобы не ленилась, — говорила царица.

Стали Босоножку наказывать: то без обеда оставят, то запрут в темный чулан, то поколотят.

Больше всего возмущало всех то, что она переносила всё молча, а если и плакала, то потихоньку.

— Это какая-то отчаянная! — возмущались все. — Ее ничем не проймешь... Она еще что-нибудь сделает с нами. Возьмет да дворец подожжет — чего с нее взять, с колченогой!..

Наконец вся дворня вышла из терпения, и все гурьбой пошли жаловаться царице Луковне:

— Возьми ты от нас, царица Луковна, свою уродину. Житья нам не стало с нею. Вот как замаялись с нею все — и не рассказать!

Подумала-подумала царица Луковна, покачала головой и говорит:

— А что я с ней буду делать? Надоело мне слушать про нее...

— Сошли ты ее, царица-матушка, на задний двор. Пусть гусей караулит. Самое это подходящее ей дело.

— В самом деле, послать ее в гусятницы! — обрадовалась царица Луковна. — Так и сделаем... По крайней мере, с глаз долой.

XIV

Совсем обрадовалась Босоножка, как сделали ее гусятницей. Правда, кормили ее плохо — на задний двор посылали с царского стола одни объедки, но зато с раннего утра она угоняла своих гусей в поле и там проводила целые дни. Завернет корочку хлеба в платок — вот и весь обед. А как хорошо

летом в поле — и зеленая травка, и цветочки, и ручейки, и солнышко смотрит с неба так ласково-ласково. Босоножка забывала про свое горе и веселилась, как умела. С нею разговаривали и полевая травка, и цветочки, и бойкие ручейки, и маленькие птички. Для них Босоножка совсем не была уродом, а таким же человеком, как и все другие.

— Ты у нас будешь царицей,— шептали ей цветы.


— Я и то царская дочь,— уверяла Босоножка.

Огорчало Босоножку только одно: каждое утро на задний двор приходил царский повар, выбирал самого жирного гуся и уносил. Очень уж любил царь Горох поесть жирной гусятины. Гуси ужасно роптали на царя Гороха и долго гоготали:

— Го-го-го... ел бы царь Горох всякую другую говядину, а нас бы лучше не трогал. И что мы ему понравились так, несчастные гуси!

Босоножка ничем не могла утешить бедных гусей и даже не смела сказать, что царь Горох совсем добрый человек и никому не желает делать зла. Гуси всё равно бы ей не поверили. Хуже всего было, когда наезжали во дворец гости. Царь Пантелей один съедал целого гуся. Любил старик покушать, хоть и худ был, словно Кощей. Другие гости тоже ели да царя Гороха похваливали. Вот какой добрый да гостеприимный царь... Не то что король Косарь, у которого много не разгостишься. Красавица Кутафья, как вышла замуж, сделалась такая скупая — всего ей было жаль. Ну, гости похлопают глазами и уедут несолоно хлебавши к царю Гороху.

Как-то наехало гостей с разных сторон видимо-невидимо, и захотел царь Горох потешить их молодецкою соколиною охотой. Разбили в чистом поле царскую палатку с золотым верхом, наставили столов, навезли и пива, и браги, и всякого вина,



разложили по столам всякую еду. Приехали и гости — женщины в колымагах, а мужчины верхом. Гарцуют на лихих аргамаках, и каждый показывает свою молодецкую удаль. Был среди гостей и тот молодой витязь, который так понравился Босоножке. Звали его Красик-богатырь. Все хорошо ездят, все хорошо показывают свою удаль, а Красик-богатырь — получше всех. Другие витязи и богатыри только завидуют.

— Веселитесь, дорогие гости,— приговаривает царь Горох,— да меня, старика, лихом не поминайте... Кабы не мое толстое брюхо, так я бы показал вам, как надо веселиться. Устарел я немного, чтобы удаль свою показывать... Вот, спросите царицу Луковну, какой я был молодец. Бывало, никто лучше меня на коне не проедет... А из лука как стрелял — раз как пустил стрелу в медведя и прямо в левый глаз попал, а она в правую заднюю ногу вышла.

Царица Луковна вовремя дернула за рукав расхваставшегося мужа, и царь Горох прибавил:

— То бишь, это не медведь был, а заяц...

Тут царица Луковна дернула его опять за рукав, и царь Горох еще раз поправился:

— То бишь, и не заяц, а утка, и попал я ей не в глаз, а прямо-прямо в хвост... Так, Луковна?

— Так, так, царь Горох,— говорит царица.— Вот какой был удалый...

Расхвастались и другие витязи и богатыри, кто как умел. А больше всех расхвастался царь Пантелей.

— Когда я был молодой — теперь мне борода мешает,— так я одною стрелой убил оленя, ястреба и щуку,— рассказывал старик, поглаживая бороду.— Дело прошлое, теперь можно и похвастаться...

Пришлось царице Луковне дернуть за рукав и брата Пантелея, потому как очень уж он начал хвастаться. Смутился царь Пантелей, заикаться стал:

— Да я... я... Я прежде вот как легок был на ногу: побегу и зайца за хвост поймаю. Вот хоть царя Гороха спросите...

— Врешь ты всё, Пантелей,— отвечает царь Горох.— Очень уж любишь похвастать... да... И прежде хвастал всегда и теперь хвастаешь. Вот со мною действительно был один случай... да... Я верхом на волке целую ночь ездил. Ухватился за уши и сижу... Это все знают... Так, Луковна? Ведь ты помнишь?

— Да будет вам, горе-богатыри! — уговаривала расходившихся стариков царица.— Мало ли что было... Не всё же рассказывать. Пожалуй, и не поверят еще... Может быть, и со мною какие случаи бывали, а я молчу. Поезжайте-ка лучше на охоту...

Загремели медные трубы, и царская охота выступила со стоянки. Царь Горох и царь Пантелей не могли ехать верхом и тащились за охотниками в колыхаге.

— Как я прежде верхом ездил! — со вздохом говорил царь Горох.

— И я тоже...— говорил царь Пантелей.

— Лучше меня никто не умел проехать...

— И я тоже...

— Ну, уж это ты хвастаешь, Пантелей!

— И не думал... Спроси кого угодно.

— И все-таки хвастаешь... Ну, сознайся, Пантелеюшка: прихвастнул малым делом?

Царь Пантелей оглянулся и шепотом спросил:

— А ты, Горохушко?

Царь Горох оглянулся и тоже ответил шепотом:

— Чуть-чуть прибавил, Пантелеюшка... Так, на воробьиный нос.

— И велик же, должно быть, твой воробей!

Царь Горох чуть-чуть не рассердился, но вовремя вспомнил, что нужно быть добрым, и расцеловал Пантелея.

— Какие мы с тобой богатыри, Пантелеюшка!.. Даже всем это удивительно! Куда им, молодым-то, до нас...

XV

Босоножка пасла своих гусей и видела, как тешится царь Горох своею охотой. Слышала она веселые звуки охотничьих рогов, лай собак и веселые окрики могучих богатырей, так красиво скакавших на своих дорогих аргамаках. Видела Босоножка, как царские сокольничьи бросали своих соколов на разную болотную птицу, поднимавшуюся с озера или с реки, на которой она пасла своих гусей. Взлетит сокол кверху и камнем падет на какую-нибудь несчастную утку, только перышки посыплутся.

А тут отделился один витязь от царской охоты и несется прямо на нее. Перепугалась Босоножка, что его сокол перебьет ее гусей, и загородила ему дорогу.

— Витязь, не тронь моих гусей! — смело крикнула она и даже замахнулась хворостиной.

Остановился витязь с удивлением, а Босоножка узнала в нем того самого, который понравился ей больше всех.

— Да ты кто такая будешь? — спросил он.

— Я царская дочь...

Засмеялся витязь, оглядывая оборванную Босоножку с ног до головы. Ни дать ни взять, на-

стоящая царская дочь... А главное, смелá и даже хворостиной на него замахнулась.

— Вот что, царская дочь, дай-ка мне напиться воды,— сказал он.— Разжарился я очень, а слезать с коня неохота...

Пошла Босоножка к реке, зачерпнула воды в деревянный ковш и подала витязю. Тот выпил, вытер усы и говорит:

— Спасибо, красавица... Много я на свете видывал, а такую царскую дочь вижу в первый раз.

Вернулся богатырь на царскую ставку и рассказывает всем о чуде, на которое наехал. Смеются все витязи и могучие богатыри, а у царицы Луковны душа в пятки ушла. Чего она боялась, то и случилось.

— Приведите ее сюда — и посмотрим,— говорит подгулявший царь Пантелей.— Даже очень любопытно... Потешимся досыта.

— И что вам за охота на уродину смотреть? — вступилась было царица Луковна.

— А зачем она себя царскою дочерью величает?

Послали сейчас же послов за Босоножкой и привели перед царский шатер. Царь Горох так и покатился со смеху, как увидал ее. И горбатая, и хромая, и вся в заплатках.

— Точно где-то я тебя, умница, видел? — спрашивает он, разглаживая бороду.— Чья ты дочь?

Босоножка смело посмотрела ему в глаза и отвечает:

— Твоя, царь Горох.

Все так и ахнули, а царь Пантелей чуть не задохся от смеху. Ах, какая смешная Босоножка и как осрамила царя Гороха!

— Это я знаю,— нашелся царь Горох.— Все мои подданные — мои дети...

— Нет, я твоя родная дочь Горошинка,— смело ответила Босоножка.

Тут уж не стерпела красавица Кутафья, выскочила и хотела вытолкать Босоножку в шею. Царь Горох тоже хотел рассердиться, но вовремя вспомнил, что он добрый царь, и только расхохотался. И все стали смеяться над Босоножкой, а Кутафья так и подступает к ней с кулаками. Все замерли, ожидая, что будет, как вдруг выступил из толпы витязь Красик. Молод и горд был Красик, и стало ему стыдно, что это он подвел бедную девушку, выставил ее на общую потеху, да и обидно притом, что здоровые люди смеются и потешаются над уродцем. Выступил витязь Красик и проговорил:

— Цари, короли, витязи и славные богатыри, дайте слово вымолвить... Девушка не виновата, что она такую родилась, а ведь она такой же человек, как и мы. Это я ее привел на общее посмешище и женюсь на ней.

Подошел витязь Красик к Босоножке, обнял ее и крепко поцеловал.

Тут у всех на глазах случилось великое чудо: Босоножка превратилась в девушку неописанной красоты.

— Да, это моя дочь! — крикнул царь Горох.— Она самая!..

Спало колдовство с Босоножки, потому что полюбил ее первый богатырь, полюбил такую, какую она была.

Я там был, мед-пиво пил, по усам текло — в рот не попало.



АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ

Присказка



аю-баю-баю...

Один глазок у Алёнушки* спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Спи, Аленушка, спи, красавица, а папа будет рассказывать сказки. Кажется, все тут: и сибирский кот Васька, и лохматый деревенский пес Постойко, и серая Мышка-норушка, и Сверчок за печкой, и пестрый Скворец в клетке, и забияка Петух.

Спи, Аленушка, сейчас сказка начинается. Вон уже в окно смотрит высокий месяц; вон косою заяц проковылял на своих валенках; волчьи глаза засветились желтыми огоньками; медведь Мишка сосет свою лапу. Подлетел к самому окну старый Воробей, стучит носом о стекло и спрашивает: скоро ли? Все тут, все в сборе, и все ждут Аленушкиной сказки.

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает.

Баю-баю-баю...



СКАЗКА
ПРО ХРАБРОГО ЗАЙЦА —
ДЛИННЫЕ УШИ,
КОСЫЕ ГЛАЗА,
КОРОТКИЙ ХВОСТ



одился зайчик в лесу и всё боялся. Треснет где-нибудь сучок, вспорхнет птица, упадет с дерева ком снега,— у зайчика душа в пятки.

Боялся зайчик день, боялся два, боялся неделю, боялся год; а потом вырос он большой, и вдруг надоело ему бояться.

— Никого я не боюсь! — крикнул он на весь лес.— Вот не боюсь нисколько, и всё тут!

Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, приплелись старые зайчихи — все слушают, как хвастается Заяц — длинные уши, косые глаза, короткий хвост,— слушают и своим собственным ушам не верят. Не было еще, чтобы заяц не боялся никого.

— Эй ты, косой глаз, ты и волка не боишься?

— И волка не боюсь, и лисицы, и медведя — никого не боюсь!

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, прикрыв мордочки передними лапками, засмеялись добрые старушки зайчихи, улыгнулись даже старые зайцы, побывавшие в лапах у лисы и отведавшие волчьих зубов. Очень уж смешной заяц!.. Ах, какой смешной! И всем вдруг сделалось весело. Начали кувыркаться, прыгать, скакать, перегонять друг друга, точно все с ума сошли.



— Да что тут долго говорить! — кричал расхрабрившийся окончательно Заяц. — Ежели мне попадетсЯ волк, так я его сам съем...

— Ах, какой смешной Заяц! Ах, какой он глупый!..

Все видят, что и смешной и глупый, и все смеются.

Кричат зайцы про волка, а волк — тут как тут.

Ходил он, ходил в лесу по своим волчьим делам, проголодался и только подумал: «Вот бы хорошо зайчиком закусить!» — как слышит, что где-то совсем близко зайцы кричат и его, серого Волка, поминают. Сейчас он остановился, понюхал воздух и начал подкрадываться.

Совсем близко подошел Волк к разыгравшимся зайцам, слышит, как они над ним смеются, а всех больше — хвостун Заяц — косые глаза, длинные уши, короткий хвост.

«Э, брат, погоди, вот тебя-то я и съем!» — подумал серый Волк и начал выглядывать, который заяц хвастается своей храбростью. А зайцы ничего не видят и веселятся пуще прежнего. Кончилось тем, что хвостун Заяц взобрался на пенек, уселся на задние лапки и заговорил:

— Слушайте вы, трусы! Слушайте и смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я... я... я...

Тут язык у хвостуна точно примерз.

Заяц увидел глядевшего на него Волка. Другие не видели, а он видел и не смелдохнуть.

Дальше случилась совсем необыкновенная вещь.

Заяц-хвостун подпрыгнул кверху, точно мячик, и со страха упал прямо на широкий волчий лоб, кубарем прокатился по волчьей спине, перевернулся еще раз в воздухе и потом задал такого стрекача,

что, кажется, готов был выскочить из собственной кожи.

Долго бежал несчастный Зайчик, бежал, пока совсем не выбился из сил.

Ему всё казалось, что Волк гонится по пятам и вот-вот схватит его своими зубами.

Наконец, совсем обессилел бедняга, закрыл глаза и замертво свалился под куст.

А Волк в это время бежал в другую сторону. Когда Заяц упал на него, ему показалось, что кто-то в него выстрелил.

И Волк убежал. Мало ли в лесу других зайцев можно найти, а этот был какой-то бешеный...

Долго не могли прийти в себя остальные зайцы. Кто удрал в кусты, кто спрятался за пенек, кто завалился в ямку.

Наконец, надоело всем прятаться, и начали понемногу выглядывать, кто похрабрее.

— А ловко напугал Волка наш Заяц! — решили все.— Если бы не он, так не уйти бы нам живыми... Да где же он, наш бесстрашный Заяц?

Начали искать.

Ходили, ходили, нет нигде храброго Зайца. Уж не съел ли его другой волк? Наконец-таки нашли: лежит в ямке под кустиком и еле жив от страха.

— Молодец, косой! — закричали все зайцы в один голос.— Ай да косой!.. Ловко ты напугал старого Волка. Спасибо, брат! А мы думали, что ты хвастаешь.

Храбрый Заяц сразу приободрился. Вылез из своей ямки, встряхнулся, прищурил глаза и проговорил:

— А вы как бы думали? Эх вы, тусы...

С этого дня храбрый Заяц начал сам верить, что он действительно никого не боится.

Баю-баю-баю...

СКАЗОЧКА
ПРО КОЗЯВОЧКУ

I



ак родилась Козявочка,— никто не видал.

Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала:

— Хорошо!..

Расправила Козявочка свои крылышки, потеряла тонкие ножки одна о другую, еще посмотрела кругом и сказала:

— Как хорошо!.. Какое солнышко теплое, какое небо синее, какая травка зеленая,— хорошо, хорошо!.. И всё мое!..

Еще потеряла Козявочка ножками и полетела. Летает, любитесь всем и радуется. Внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек.

— Козявочка, ко мне! — крикнул цветочек.

Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок.

— Какой ты добрый, цветочек! — говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками.

— Добрый-то добрый, да вот ходить не умею,— пожаловался цветочек.

— И все-таки хорошо,— уверяла Козявочка.— И всё мое...

Не успела она еще договорить, как с жужжанием налетел мохнатый Шмель, и прямо к цветочку.

— Жж... Кто забрался в мой цветочек? Жж... кто пьет мой сладкий сок? Жж... Ах ты, дрянная

Козьявка, убирайся вон! Жжж... Уходи вон, пока я не ужалил тебя!

— Позвольте, что же это такое? — запищала Козьявочка.— Всё, всё мое...

— Жжж... Нет, мое!..

Козьявочка едва унесла ноги от сердитого Шмеля. Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась.

— Какой грубиян этот Шмель... Даже удивительно!.. Еще ужалить хотел... Ведь всё мое — и солнышко, и травка, и цветочки.

— Нет уж, извините,— мое! — проговорил мохнатый Червячок, карабкавшийся по стебельку травки.

Козьявочка сообразила, что Червячок не умеет летать, и заговорила смелее:

— Извините меня, Червячок, вы ошибаетесь. Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте!..

— Хорошо, хорошо... Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю, признаться сказать... Мало ли вас тут летает... Вы — народ легкомысленный, а я Червячок серьезный... Говоря откровенно, мне всё принадлежит. Вот заползу на травку и съем, заползу на любой цветочек и тоже съем. До свидания!..

II

В несколько часов Козьявочка узнала решительно во всё, именно, что, кроме солнышка, синего неба и зеленой травки, есть еще сердитые шмели, серьезные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом, получилось большое огорчение. Козьявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что всё принадлежит ей и создано для нее, а тут другие

то же самое думают. Нет, что-то не так... Не может этого быть.

Летит Козявочка дальше и видит — вода.

— Уж это мое! — весело запищала она.— Моя вода... Ах, как весело!.. Тут и травка и цветочки.

А навстречу Козявочке летят другие козявочки.

— Здравствуй, сестрица!

— Здравствуйте, милые... А, то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?

— А мы играем, сестрица... Иди к нам. У нас весело. Ты недавно родилась?

— Только сегодня... Меня чуть Шмель не ужалил, потом я видела Червяка... Я думала, что всё мое, а они говорят, что всё ихнее.

Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом: кружатся, летают, пищат. Наша Козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого Шмеля и серьезного Червяка.

— Ах, как хорошо! — шептала она в восторге.— Всё мое: и солнышко, и травка, и вода. Зачем другие сердятся,— решительно не понимаю. Всё мое, а я никому не мешаю жить: летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю...

Поиграла Козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. Надо же и отдохнуть в самом деле. Смотрит Козявочка, как веселятся другие козявочки; вдруг, откуда ни возьмись, воробей — как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил.

— Ай, ой! — закричали козявочки и бросились врассыпную. Когда воробей улетел, недосчитались целого десятка козявочек.

— Ах, разбойник! — бранились старые козявочки.— Целый десяток съел.

Это было похуже Шмеля. Козявочка начала бо-

яться и спряталась с другими молодыми козьявочками еще дальше в болотную траву. Но здесь — другая беда: двух козьявочек съела рыбка, а двух — лягушка.

— Что же это такое? — удивлялась Козьявочка.— Это уж совсем ни на что не похоже... Так и жить нельзя. У, какие гадкие!..

Хорошо, что козьявочек было много, и убили никто не замечал. Да еще прилетели новые козьявочки, которые только что родились. Они летели и пищали:

— Всё наше... Всё наше...

— Нет, не всё наше,— крикнула им наша Козьявочка.— Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробы, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!..

Впрочем, наступила ночь, и все козьявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, взошел месяц, и всё отразилось в воде.

Ах, как хорошо было!..

«Мой месяц, мои звезды»,— думала наша Козьявочка, но никому этого не сказала: как раз отнимут и это...

III

Так прожила Козьявочка целое лето.

Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж; потом незаметно подобралась лягушка,— мало ли у козьявочек всяких врагов! Были и свои радости. Встретила Козьявочка другую такую же козьявочку с мохнатыми усиками. Та и говорит:

— Какая ты хорошенькая, Козьявочка... Будем жить вместе.



И зажили вместе, совсем хорошо зажили. Всё вместе: куда одна, туда и другая. И не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша Козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала:

— Ах, как я устала!..

Никто не видал, как Козявочка умерла.

Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.



СКАЗКА
ПРО КОМАРА КОМАРОВИЧА —
ДЛИННЫЙ НОС
И ПРО
МОХНАТОГО МИШУ —
КОРОТКИЙ ХВОСТ

I



то случилось в самый полдень, когда все комары спрятались от жары в болото. Комар Комарович — длинный нос прикорнул под широкий лист и заснул. Спит и слышит отчаянный крик:

— Ох, батюшки!.. ой, карраул!..

Комар Комарович выскочил из-под листа и тоже закричал:

— Что случилось?.. Что вы орете?

А комары летают, жужжат, пищат,— ничего разобрать нельзя.

— Ой, батюшки!.. Пришел в наше болото медведь и завалился спать. Как лег в траву, так сейчас же задавил пятьсот комаров, какдохнул — проглотил целую сотню. Ой, беда, братцы! Мы едва унесли от него ноги, а то всех бы передавил...

Комар Комарович — длинный нос сразу рассердился; рассердился и на медведя и на глупых комаров, которые пищали без толку.

— Эй, вы, перестаньте пищать! — крикнул он.— Вот я сейчас пойду и прогоню медведя... Очень просто! А вы орете только напрасно...

Еще сильнее рассердился Комар Комарович и полетел. Действительно, в болоте лежал медведь. Забрался в самую густую траву, где комары жили с испокон века, развалился и носом сопит, только свист идет, точно кто на трубе играет. Вот бессовестная тварь!.. Забрался в чужое место, погубил напрасно столько комариных душ да еще спит так сладко!

— Эй, дядя, ты это куда забрался? — закричал Комар Комарович на весь лес, да так громко, что даже самому сделалось страшно.

Мохнатый Миша открыл один глаз — никого не видно, открыл другой глаз — едва рассмотрел, что летает комар над самым его носом.

— Тебе что нужно, приятель? — заворчал Миша и тоже начал сердиться. Как же, только расположился отдохнуть, а тут какой-то негодяй пищит.

— Эй, уходи подобру-поздорову, дядя!..

Миша открыл оба глаза, посмотрел на нахала, фукнул носом и окончательно рассердился.

— Да что тебе нужно, негодная тварь? — зарычал он.



— Уходи из нашего места, а то я шутить не люблю... Вместе с шубой тебя съем.

Медведю сделалось смешно. Перевалился он на другой бок, закрыл морду лапой и сейчас же захрапел.

II

Полетел Комар Комарович обратно к своим комарам и трубит на всё болото:

— Ловко я напугал мохнатого Мишку... В другой раз не придет.

Подивились комары и спрашивают:

— Ну, а сейчас-то медведь где?

— А не знаю, братцы... Сильно струсил, когда я ему сказал, что съем, если не уйдет. Ведь я шутить не люблю, а так прямо и сказал: съем. Боюсь, как бы он не околел со страху, пока я к вам летаю... Что же, сам виноват!

Запищали все комары, зажужжали и долго спорили, как им быть с невежей медведем. Никогда еще в болоте не было такого страшного шума. Пищали, пищали и решили — выгнать медведя из болота.

— Пусть идет к себе домой, в лес, там и спит. А болото наше... Еще отцы и деды наши вот в этом самом болоте жили.

Одна благоразумная старушка Комариха посоветовала было оставить медведя в покое: пусть его полежит, а когда выспится — сам уйдет; но на нее все так накинулись, что бедная едва успела спрятаться.

— Идем, братцы! — кричал больше всех Комар Комарович. — Мы ему покажем... да!..

Полетели комары за Комар Комаровичем. Летят и пищат, даже самым страшно делается. Приле-

тели, смотрят, а медведь лежит и не шевелится.

— Ну, я так и говорил: умер, бедняга, со страху! — хвастался Комар Комарович. — Даже жаль немножко, вон какой здоровый медведище...

— Да он спит, братцы! — пропищал маленький комаришка, подлетевший к самому медвежьему носу и чуть не втянутый туда, как в форточку.

— Ах, бесстыдник! Ах, бессовестный! — запищали все комары разом и подняли ужасный гвалт. — Пятьсот комаров задавил, сто комаров проглотил и сам спит как ни в чем не бывало...

А мохнатый Миша спит себе да носом посвистывает.

— Он притворяется, что спит! — крикнул Комар Комарович и полетел на медведя. — Вот я ему сейчас покажу... Эй, дядя, будет притворяться!

Как налетит Комар Комарович, как вопьется своим длинным носом прямо в черный медвежий нос, Миша так и вскочил, — хватъ лапой по носу, а Комар Комаровича как не бывало.

— Что, дядя, не понравилось? — пищит Комар Комарович. — Уходи, а то хуже будет... Я теперь не один, Комар Комарович — длинный нос, а прилетели со мной и дедушка, Комарище — длинный носище, и младший брат, Комаришко — длинный носишко! Уходи, дядя...

— А я не уйду! — закричал медведь, усаживаясь на задние лапы. — Я вас всех передавлю...

— Ой, дядя, напрасно хвастаешь...

Опять полетел Комар Комарович и впился медведю прямо в глаз. Заревел медведь от боли, хватил себя лапой по морде, и опять в лапе ничего, только чуть глаз себе не вырвал когтем. А Комар Комарович вьется над самым медвежьим ухом и пищит:

— Я тебя съем, дядя...



III

Рассердился окончательно Миша. Выворотил он вместе с корнем целую березу и принялся колотить ею комаров. Так и ломит со всего плеча. Бил, бил, даже устал, а ни одного убитого комара нет,— все вьются над ним и пищат. Тогда ухватил Миша тяжелый камень и запустил им в комаров,— опять толку нет.

— Чтó, взял, дядя? — пищал Комар Комарович.— А я тебя все-таки съем...

Долго ли, коротко ли сражался Миша с комарами, только шуму было много. Далеко был слышен медвежий рев. А сколько он деревьев вырвал, сколько камней выворотил!.. Всё ему хотелось зацепить первого Комар Комаровича,— ведь вот тут, над самым ухом, вьется, а хватит медведь лапой, и опять ничего, только всю морду себе в кровь исцарапал.

Обессилел наконец Миша. Присел он на задние лапы, фыркнул и придумал новую штуку,— давай кататься по траве, чтоб передавить всё комариное царство. Катался, катался Миша, однако и из этого ничего не вышло, а только еще больше устал он. Тогда медведь спрятал морду в мох,— вышло того хуже. Комары вцепились в медвежий хвост. Окончательно рассвирепел медведь.

— Пойдите, вот я вам задам!..— ревел он так, что за пять верст было слышно.— Я вам покажу штуку... я... я... я...

Отступили комары и ждут, что будет. А Миша на дерево вскарабкался, как акробат, засел на самый толстый сук и ревет:

— Ну-ка, подступитесь теперь ко мне... Все носы пообломаю!..

Засмеялись комары тонкими голосами и бро-

сились на медведя уже всем войском. Пищат, кру-
жятся, лезут... Отбивался, отбивался Миша, про-
глотил нечаянно штук сто комариного войска, за-
кашлялся, да как сорвется с сука, точно мешок...
Однако поднялся, почесал ушибленный бок и
говорит:

— Ну что, взяли? Видели, как я ловко с дерева
прыгаю?..

Еще тоньше рассмеялись комары, а Комар Ко-
марович так и трубит:

— Я тебя съем... я тебя съем... съем... съем!..

Изнемог окончательно медведь, выбился из сил,
а уходить из болота стыдно. Сидит он на задних
лапах и только глазами моргает.

Выручила его из беды лягушка. Выскочила
из-под кочки, присела на задние лапки и говорит:

— Охота вам, Михайло Иваныч, беспокоить се-
бя напрасно?.. Не обращайтесь вы на этих дрянных
комаришек внимания. Не стоит.

— И то не стоит,— обрадовался медведь.—
Я это так... Пусть-ка они ко мне в берлогу придут,
да я... я...

Как повернется Миша, как побежит из болота,
а Комар Комарович — длинный нос летит за ним,
летит и кричит:

— Ой, братцы, держите! Убежит медведь... Дер-
жите!..

Собрались все комары, посоветовались и реши-
ли: «Не стоит! Пусть его уходит,— ведь болото-то
осталось за нами!»



ВАНЬКИНЫ ИМЕНИНЫ

I



ей, барабан: та-та! тра-та-та! Играйте, трубы: тру-ту! ту-ру-ру!.. Давайте сюда всю музыку,— сегодня Ванька именинник!.. Дорогие гости, милости просим... Эй, все собирайтесь сюда! Тра-та-та! Тру-ру-ру!

Ванька похаживает в красной рубахе и приговаривает:

— Братцы, милости просим... Угощения — сколько угодно. Суп из самых свежих щепок; котлеты из лучшего, самого чистого песку; пирожки из разноцветных бумажек; а какой чай! Из самой хорошей кипяченой воды. Милости просим... Музыка, играй!..

Та-та! Тра-та-та! Тру-ту! Ту-ру-ру!

Гостей набралось полна комната. Первым прилетел пузатый деревянный Волчок.

— Жж... жж... где именинник? жж... жж... Я очень люблю повеселиться в хорошей компании...

Пришли две куклы. Одна — с голубыми глазами, Аня, у нее немного был попорчен носик; другая — с черными глазами, Катя, у нее не доставало одной руки. Они пришли чинно и заняли место на игрушечном диванчике.

— Посмотрим, какое угощение у Ваньки,— заметила Аня.— Что-то уж очень хвастает. Музыка недурна, а относительно угощения я сильно сомневаюсь.

— Ты, Аня, вечно чем-нибудь недовольна,—
укорила ее Катя.

— А ты вечно готова спорить...

Куклы немного поспорили и даже готовы были поспориться, но в этот момент приковылял на одной ноге сильно подержанный Клоун и сейчас же их примирил.

— Все будет отлично, барышни! Отлично повеселимся. Конечно, у меня одной ноги недостает, но ведь Волчок и на одной ноге вон как кружится. Здравствуй, Волчок...

— Жж... Здравствуй! Отчего это у тебя один глаз как будто подбит?

— Пустяки... Это я свалился с дивана. Бывает и хуже.

— Ох, как скверно бывает... Я иногда со всего разбега так стукнусь в стену, прямо головой!..

— Хорошо, что голова-то у тебя пустая...

— Все-таки больно. Жж... Попробуй-ка сам, так узнаешь.

Клоун только защелкал своими медными тарелками. Он вообще был легкомысленный мужчина.

Пришел Петрушка и привел с собой целую кучу гостей: собственную жену, Матрену Ивановну, немца доктора, Карла Иваныча, и большеносого Цыгана; а Цыган притащил с собой трехногую лошадь.

— Ну, Ванька, принимай гостей! — весело заговорил Петрушка, щелкая себя по носу.— Один другого лучше. Одна моя Матрена Ивановна чего стоит... Очень она любит у меня чай пить, точно утка.

— Найдем и чай, Петр Иванович,— ответил Ванька.— А мы хорошим гостям всегда рады... Садитесь, Матрена Ивановна! Карл Иваныч, милости просим...

Пришли еще Медведь с Зайцем, серенький бабушкин Козлик с Уточкой-хохлаткой, Петушок с Волком,— всем место нашлось у Ваньки.

Последними пришли Аленушкин Башмачок и Аленушкина Метелочка. Посмотрели они — все места заняты, а Метелочка сказала:

— Ничего, я и в уголке постою...

А Башмачок ничего не сказал и молча залез под диван. Это был очень почтенный Башмачок, хотя и стоптанный. Его немного смущала только дырочка, которая была на самом носике. Ну, да ничего, под диваном никто не заметит.

— Эй, музыка! — скомандовал Ванька.

Забил барабан: тра-та! та-та! Заиграли трубы: тру-ту! И всем гостям вдруг сделалось так весело, так весело...

II

Праздник начался отлично. Бил барабан сам собой, играли сами трубы, жужжал Волчок, звенел своими тарелочками Клоун, а Петрушка неистово пищал. Ах, как было весело!..

— Братцы, гуляй! — покрикивал Ванька, разглаживая свои льняные кудри.

Аня и Катя смеялись тонкими голосками, неуклюжий Медведь танцевал с Метелочкой, серенький Козлик гулял с Уточкой-хохлаткой, Клоун куврыкался, показывая свое искусство, а доктор Карл Иваныч спрашивал Матрену Ивановну:

— Матрена Ивановна, не болит ли у вас животик?

— Что вы, Карл Иваныч? — обижалась Матрена Ивановна.— С чего вы это взяли?..

— А ну, покажите язык.

— Отстаньте, пожалуйста...

— Я здесь...— прозвенела тонким голоском се-

ребряная Ложечка, которой Аленушка ела свою кашку.

Она лежала до сих пор спокойно на столе, а когда доктор заговорил об языке, не утерпела и соскочила. Ведь доктор всегда при ее помощи осматривает у Аленушки язычок...

— Ах, нет... Не нужно,— запищала Матрена Ивановна и так смешно размахивала руками, точно ветряная мельница.

— Что же, я не навязываюсь со своими услугами,— обиделась Ложечка.

Она даже хотела рассердиться, но в это время к ней подлетел Волчок, и они принялись танцевать. Волчок жужжал, Ложечка звенела... Даже Аленушкин Башмачок не утерпел, вылез из-под дивана и шепнул Метелочке:

— Я вас очень люблю, Метелочка...

Метелочка сладко закрыла глазки и только вздохнула. Она любила, чтобы ее любили.

Ведь она всегда была такой скромной Метелочкой и никогда не важничала, как это случилось иногда с другими. Например, Матрена Ивановна или Аня и Катя,— эти милые куклы любили посмеяться над чужими недостатками: у Клоуна не хватало одной ноги, у Петрушки был длинный нос, у Карла Иваныча — лысина, Цыган походил на головешку, а всего больше доставалось имениннику Ваньке.

— Он мужиковат немного,— говорила Катя.

— И, кроме того, хвостун,— прибавила Аня.

Повеселившись, все уселись за стол, и начался уже настоящий пир. Обед прошел как на настоящих именинах, хотя дело и не обошлось без маленьких недоразумений. Медведь по ошибке чуть не съел Зайчика вместо котлетки; Волчок чуть не подрался с Цыганом из-за Ложечки,— последний хотел ее

украсть и уже спрятал было к себе в карман. Петр Иваныч, известный забияка, успел поссориться с женой и поссорился из-за пустяков.

— Матрена Ивановна, успокойтесь, — уговаривал ее Карл Иваныч. — Ведь Петр Иваныч добрый... У вас, может быть, болит головка? У меня есть с собой отличные порошки...

— Оставьте ее, доктор, — говорит Петрушка. — Это уж такая невозможная женщина... А впрочем, я ее очень люблю. Матрена Ивановна, поцелуемтесь...

— Ура! — кричал Ванька. — Это гораздо лучше, чем ссориться. Терпеть не могу, когда люди ссорятся. Вон посмотрите...

Но тут случилось нечто совершенно неожиданное и такое ужасное, что даже страшно сказать.

Бил барабан: тра-та! та-та-та! Играли трубы: тру-ру! ру-ру-ру! Звенели тарелочки Клоуна, серебряным голоском смеялась Ложечка, жужжал Волчок, а развеселившийся Зайчик кричал: бо-бо-бо!.. Фарфоровая Собачка громко лаяла, резиновая Кошечка ласково мяукала, а Медведь так притоптывал ногой, что дрожал пол. Веселее всех оказался серенький бабушкин Козлик. Он, во-первых, танцевал лучше всех, а потом так смешно потряхивал своей бородой и скрипучим голосом ревел: мее-ке-ке!..

III

Позвольте, как всё это случилось? Очень трудно рассказать всё по порядку, потому что из участников происшествия помнил всё дело только один Аленушкин Башмачок. Он был благоразумен и вовремя успел спрятаться под диван.

Да, так вот как было дело. Сначала пришли поздравить Ваньку деревянные Кубики... Нет, опять

не так. Началось совсем не с этого. Кубики действительно пришли, но всему виной была черноглазая Катя. Она, она, — верно!.. Эта хорошенькая плутовка еще в конце обеда шепнула Ане:

— А как ты думаешь, Аня, кто здесь всех красивее?

Кажется, вопрос самый простой, а между тем Матрена Ивановна страшно обиделась и заявила Кате прямо:

— Что же вы думаете, что мой Петр Иванович урод?

— Никто этого не думает, Матрена Ивановна, — попробовала оправдываться Катя, но было уже поздно.

— Конечно, нос у него немного велик, — продолжала Матрена Ивановна. — Но ведь это заметно, если только смотреть на Петра Ивановича сбоку... Потом, у него дурная привычка страшно пищать и со всеми драться, но он все-таки добрый человек. А что касается ума...

Куклы заспорили с таким азартом, что обратили на себя общее внимание. Вмешался прежде всего, конечно, Петрушка и пропищал:

— Верно, Матрена Ивановна... Самый красивый человек здесь, конечно, я!

Тут уже все мужчины обиделись. Помилуйте, этакий самохвал этот Петрушка! Даже слушать противно. Клоун был не мастер говорить и обиделся молча, а зато доктор Карл Иванович сказал очень громко:

— Значит, мы все уроды? Поздравляю, господа...

Разом поднялся гвалт. Кричал что-то по-своему Цыган, рычал Медведь, выл Волк, кричал серенький Козлик, жужжал Волчок — одним словом, все обиделись окончательно.

— Господа, перестаньте! — уговаривал всех

Ванька.— Не обращайтесь внимания на Петра Иваныча... Он просто пошутил.

Но всё было напрасно. Волновался, главным образом, Карл Иваныч. Он даже стучал кулаком по столу и кричал:

— Господа, хорошо угощение, нечего сказать!.. Нас и в гости пригласили только за тем, чтобы назвать уродами...

— Милостивые государыни и милостивые государи! — старался перекричать всех Ванька.— Если уж на то пошло, господа, так здесь всего один урод — это я... Теперь вы довольны?


Потом... Позвольте, как это случилось? Да, да, вот как было дело. Карл Иваныч разгорячился окончательно и начал подступать к Петру Иванычу. Он погрозил ему пальцем и повторял:

— Если бы я не был образованным человеком и если бы я не умел себя держать прилично в порядочном обществе, я сказал бы вам, Петр Иваныч, что вы даже весьма дурак...

Зная драчливый характер Петрушки, Ванька хотел встать между ним и доктором, но по дороге задел кулаком по длинному носу Петрушки. Петрушке показалось, что его ударил не Ванька, а доктор... Что тут началось!.. Петрушка вцепился в доктора; сидевший в стороне Цыган ни с того ни с сего начал колотить Клоуна, Медведь с рычанием бросился на Волка, Волчок бил своей пустой головой Козлика — одним словом, вышел настоящий скандал. Куклы пищали тонкими голосами и все три со страху упали в обморок.

— Ах, мне дурно... — кричала Матрена Ивановна, падая с дивана.

— Господа, что же это такое? — орал Ванька.— Господа, ведь я именинник... Господа, это, наконец, невежливо!..



Произошла настоящая свалка, так что было уже трудно разобрать, кто кого колотит. Ванька напрасно старался разнимать дравшихся и кончил тем, что сам принялся колотить всех, кто подвертывался ему под руку, и так как он был всех сильнее, то гостям пришлось плохо.

— Карраул!! Батюшки... ой, карраул! — орал сильнее всех Петрушка, стараясь ударить доктора побольнее... — Убили Петрушку до смерти... Карраул!..

От свалки ушел один Башмачок, вовремя успевший спрятаться под диван. Он со страху даже глаза закрыл, а в это время за него спрятался Зайчик, тоже искавший спасения в бегстве.

— Ты это куда лезешь? — заворчал Башмачок.

— Молчи, а то еще услышат, и обоим достанется, — уговаривал Зайчик, выглядывая косым глазом из дырочки в носке. — Ах, какой разбойник этот Петрушка!.. Всех колотит, и сам же орет благим матом. Хорош гость, нечего сказать... А я едва убежал от Волка. Ах! Даже вспомнить страшно... А вон Уточка лежит кверху ножками. Убили бедную...

— Ах, какой ты глупый, Зайчик: все куклы лежат в обмороке, ну, и Уточка вместе с другими.

Дрались, дрались, долго дрались, пока Ванька не выгнал всех гостей, исключая кукол. Матрене Ивановне давно уже надоело лежать в обмороке, она открыла один глаз и спросила:

— Господа, где я? Доктор, посмотрите, жива ли я?..

Ей никто не отвечал, и Матрена Ивановна открыла другой глаз. В комнате было пусто, а Ванька стоял посредине и с удивлением оглядывался кругом. Очнулись Аня и Катя и тоже удивились.



— Здесь было что-то ужасное,— говорила Катя.— Хорош именинник, нечего сказать!

Куклы разом накинулись на Ваньку, который решительно не знал, что ему отвечать. И его кто-то бил, и он кого-то бил, а за что, про что — неизвестно.

— Решительно не знаю, как всё это вышло,— говорил он, разводя руками.— Главное, что обидно: ведь я их всех люблю... решительно всех.

— А мы знаем как,— отозвались из-под дивана Башмачок и Зайчик.— Мы всё видели!..

— Да это вы виноваты! — накинулась на них Матрена Ивановна.— Конечно, вы... Заварили кашу, а сами спрятались.

— Они, они!..— закричали в один голос Аня и Катя.

— Ага, вон в чем дело! — обрадовался Ванька.— Убирайтесь вон, разбойники... Вы ходите по гостям только ссорить добрых людей.

Башмачок и Зайчик едва успели выскочить в окно.

— Вот я вас...— грозила им вслед кулаком Матрена Ивановна.— Ах, какие бывают на свете дрянные люди! Вот и Уточка скажет то же самое.

— Да, да...— подтвердила Уточка.— Я своими глазами видела, как они спрятались под диван.

Уточка всегда и со всеми соглашалась.

— Нужно вернуть гостей...— продолжала Катя.— Мы еще повеселимся...

Гости вернулись охотно. У кого был подбит глаз, кто прихрамывал; у Петрушки всего сильнее пострадал его длинный нос.

— Ах, разбойники! — повторяли все в один голос, браня Зайчика и Башмачок.— Кто бы мог подумать?..

— Ах, как я устал! Все руки отколотил,— жаловался Ванька.— Ну, да что поминать старое... Я не злопамятен. Эй, музыка!..

Опять забил барабан: тра-та! та-та-та! Заиграли трубы: тру-ту! ру-ру-ру!.. А Петрушка неистово кричал:

— Ура, Ванька!..



СКАЗКА
ПРО ВОРОБЬЯ ВОРОБЕИЧА,
ЕРША ЕРШОВИЧА
И ВЕСЕЛОГО ТРУБОЧИСТА
ЯШУ

I



Воробей Воробеич и Ерш Ершович жили в большой дружбе. Каждый день летом Воробей Воробеич прилетал к речке и кричал:

— Эй, брат, здравствуй!.. Как поживаешь?

— Ничего живем, помаленьку,— отвечал Ерш Ершович.— Иди ко мне в гости. У меня, брат, хорошо в глубоких местах... Вода стоит тихо, всякой водяной травки сколько хочешь. Угощу тебя лягушачьей икрой, червячками, водяными козявками...

— Спасибо, брат! С удовольствием пошел бы я к тебе в гости, да воды боюсь. Лучше уж ты прилетай ко мне в гости на крышу... Я тебя, брат, годами буду угощать,— у меня целый сад, а потом

раздобудем и корочку хлебца, и овса, и сахару, и живого комарика. Ты ведь любишь сахар?

— Какой он?

— Белый такой...

— Как у нас гальки в реке?

— Ну вот. А возьмешь в рот — сладко. Твою гальку не съешь. Полетим сейчас на крышу?

— Нет, я не умею летать, да и задыхаюсь на воздухе. Вот лучше на воде поплаваем вместе. Я тебе всё покажу...

Воробей Воробейч пробовал заходить в воду,— по колена зайдет, а дальше страшно делается. Так-то и утонуть можно! Напьется Воробей Воробейч светлой речной водицы, а в жаркие дни купается где-нибудь на мелком месте, почистит перышки и опять к себе на крышу. Вообще жили они дружно и любили поговорить о разных делах.

— Как это тебе не надоест в воде сидеть? — часто удивлялся Воробей Воробейч.— Мокро в воде,— еще простудишься...

Ерш Ершович удивлялся в свою очередь:

— Как тебе, брат, не надоест летать? Вон как жарко бывает на солнышке: как раз задохнешься. А у меня всегда прохладно. Плавай себе, сколько хочешь. Небось летом все ко мне в воду лезут купаться... А на крышу кто к тебе пойдет?

— И еще как ходят, брат!.. У меня есть большой приятель — трубочист Яша. Он постоянно в гости ко мне приходит... И веселый такой трубочист,— всё песни поет. Чистит трубы, а сам напевает. Да еще присядет на самый конек отдохнуть, достанет хлебца и закусывает, а я крошки подбираю. Душа в душу живем. Я ведь тоже люблю повеселиться.

У друзей и неприятности были почти одинаковые. Например, зима: как зяб бедный Воробей Во-

робеич! Ух, какие холодные дни бывали! Кажется, вся душа готова вымерзнуть. Нахохлится Воробей Воробеич, подберет под себя ноги да и сидит. Одно только спасение — забраться куда-нибудь в трубу и немного погреться. Но и тут беда.

Раз Воробей Воробеич чуть-чуть не погиб благодаря своему лучшему другу — трубочисту. Пришел трубочист да как спустит в трубу свою чугунную гирю с помелом,— чуть-чуть голову не проломил Воробью Воробеичу. Выскочил он из трубы весь в саже, хуже трубочиста, и сейчас браниться:

— Ты это что же, Яша, делаешь-то? Ведь этак можно и до смерти убить...

— А я почем же знал, что ты в трубе сидишь!

— А будь вперед осторожнее... Если бы я тебя чугунной гирей по голове стукнул,— разве это хорошо?

Ершу Ершовичу тоже по зимам приходилось несладко. Он забирался куда-нибудь поглубже в омут и там дремал по целым дням. И темно, и холодно, и не хочется шевелиться. Изредка он подплавал к проруби, когда звал Воробей Воробеич. Подлетит к проруби воды напиться и крикнет:

— Эй, Ерш Ершович, жив ли ты?

— Жив...— сонным голосом откликается Ерш Ершович.— Только всё спать хочется. Вообще скверно. У нас все спят.

— И у нас тоже не лучше, брат! Что делать, приходится терпеть... Ух, какой злой ветер бывает!.. Тут, брат, не заснешь... Я всё на одной ножке прыгаю, чтобы согреться. А люди смотрят и говорят: «Посмотрите, какой веселенький воробушек!» Ах, только бы дождаться тепла... Да ты уж опять, брат, спишь?..

А летом опять свои неприятности. Раз ястреб

версты две гнался за Воробьем Воробеичем, и тот едва успел спрятаться в речной осоке.

— Ох, едва жив ушел! — жаловался он Ершу Ершовичу, едва переводя дух.— Вот разбойник-то!.. Чуть-чуть не сцапал, а там бы — поминай как звали.

— Это вроде нашей щуки,— утешал Ерш Ершович.— Я тоже недавно чуть-чуть не попал ей в пасть. Как бросится за мной, точно молния! А я выплыл с другими рыбками и думал, что в воде лежит полено, а как это полено бросится за мной... Для чего только эти щуки водятся? Удивляюсь и не могу понять...

— И я тоже... Знаешь, мне кажется, что ястреб когда-нибудь был щукой, а щука была ястребом. Одним словом, разбойники...

II

Да, так жили да поживали Воробей Воробеич и Ерш Ершович, зябли по зимам, радовались летом; а веселый трубочист Яша чистил свои трубы и попевал песенки. У каждого свое дело, свои радости и свои огорчения.

Однажды летом трубочист кончил свою работу и пошел к речке смыть с себя сажу. Идет да посвистывает, а тут слышит — страшный шум. Что такое случилось? А над рекой птицы так и вьются: и утки, и гуси, и ласточки, и бекасы, и вороны, и голуби. Все шумят, орут, хохочут — ничего не разберешь.

— Эй, вы, что случилось? — крикнул трубочист.

— А вот и случилось... — чиликнула бойкая синичка.— Так смешно, так смешно!.. Посмотри, что наш Воробей Воробеич делает... Совсем взбесился.

Синичка засмеялась тоненьким-тоненьким го-

лоском, вильнула хвостиком и взвилась над рекой.

Когда трубочист подошел к реке, Воробей Воробеич так и налетел на него. А сам страшный такой: клюв раскрыт, глаза горят, все перышки стоят дыбом.

— Эй, Воробей Воробеич, ты это что, брат, шумишь тут? — спросил трубочист.

— Нет, я ему покажу!..— орал Воробей Воробеич, задыхаясь от ярости.— Он еще не знает, каков я... Я ему покажу, проклятому Ершу Ершовичу! Он будет меня поминать, разбойник...

— Не слушай его! — крикнул трубочисту из воды Ерш Ершович.— Все-то он врет...

— Я вру? — орал Воробей Воробеич.— А кто червяка нашел? Я вру!.. Жирный такой червяк! Я его на берегу выкопал... Сколько трудился... Ну, схватил его и тащу домой, в свое гнездо. У меня семейство, — должен я корм носить... Только вспорхнул с червяком над рекой, а проклятый Ерш Ершович, — чтоб его щука проглотила! — как крикнет: «Ястреб!» Я со страху крикнул, — червяк упал в воду, а Ерш Ершович его и проглотил... Это называется врать?! И Ястреба никакого не было.

— Что же, я пошутил, — оправдывался Ерш Ершович.— А червяк действительно был вкусный...

Около Ерша Ершовича собралась всякая рыба: плотва, караси, окуни, малявки — слушают и смеются. Да, ловко пошутил Ерш Ершович над старым приятелем! А еще смешнее, как Воробей Воробеич вступил в драку с ним. Так и налетает, так и налетает, а взять ничего не может.

— Подавись ты моим червяком! — бранился Воробей Воробеич.— Я другого себе выкопаю... А обидно то, что Ерш Ершович обманул меня и надо мной же еще смеется. А я его еще к себе на крышу звал... Хорош приятель, нечего сказать.



Вот и трубочист Яша то же скажет... Мы с ним тоже дружно живем и даже вместе закусуваем иногда: он ест — я крошки подбираю.

— Пойдите, братцы, это самое дело нужно рассудить, — заявил трубочист. — Дайте только мне сначала умыться... Я разберу ваше дело по совести. А ты, Воробей Воробеич, пока немного успокойся...

— Мое дело правое, — что же мне беспокоиться! — орал Воробей Воробеич. — А только я покажу Ершу Ершовичу, как со мной шутки шутить...

Трубочист присел на бережок, положил рядом на камешек узелок со своим обедом, вымыл руки и лицо и проговорил:

— Ну, братцы, теперь будем суд судить... Ты, Ерш Ершович, — рыба, а ты, Воробей Воробеич, — птица. Так я говорю?

— Так! так!.. — закричали все: и птицы и рыбы.

— Будем говорить дальше. Рыба должна жить в воде, а птица — в воздухе. Так я говорю? Ну, вот... А червяк, например, живет в земле. Хорошо. Теперь смотрите...

Трубочист развернул свой узелок, положил на камень кусок ржаного хлеба, из которого состоял весь его обед, и проговорил:

— Вот, смотрите: что это такое? Это — хлеб. Я его заработал, и я его съем; съем и водицей запью. Так? Значит, пообедаю и никого не обижу. Рыба и птица тоже хочет пообедать... У вас, значит, своя пища. Зачем же ссориться? Воробей Воробеич откопал червячка, значит, он его заработал, и, значит, червяк — его...

— Позвольте, дяденька... — послышался в толпе птиц тоненький голосок.

Птицы раздвинулись и пустили вперед Бекасика-песочника, который подошел к самому трубочисту на своих тоненьких ножках.



— Дяденька, это неправда.

— Что неправда?

— Да червячка-то ведь я нашел... Вон спросите уток,— они видели. Я его нашел, а Воробей налетел и украл.

Трубочист смутился. Выходило совсем не то.

— Как же это так?..— бормотал он, собираясь с мыслями.— Эй, Воробей Воробеич, ты это что же, в самом деле, обманываешь?

— Это не я вру, а Бекас врет. Он сговорился вместе с утками...

— Что-то не тово, брат... гм... да! Конечно, червячок — пустяки; а только вот нехорошо красть. А кто украл, тот должен врать... Так я говорю? Да...

— Верно! Верно!..— хором крикнули опять все.— А ты все-таки рассуди Ерша Ершовича с Воробьем Воробеичем. Кто у них прав?.. Оба шумели, оба дрались и подняли всех на ноги.

— Кто прав? Ах вы, озорники, Ерш Ершович и Воробей Воробеич!.. Право, озорники. Я обоих вас и накажу для примера... Ну, живо миритесь, сейчас же!

— Верно! — крикнули все хором.— Пусть помирятся...

— А Бекасика-песочника, который трудился, добывая червячка, я накормлю крошками,— решил трубочист.— Все и будут довольны...

— Отлично! — опять крикнули все.

Трубочист уже протянул руку за хлебом, а его и нет. Пока трубочист рассуждал, Воробей Воробеич успел его стащить.

— Ах, разбойник! Ах, плут! — возмутились все рыбы и все птицы.

И все бросились в погоню за воров. Краюшка была тяжела, и Воробей Воробеич не мог далеко улететь с ней. Его догнали как раз над рекой.



Бросились на вора большие и малые птицы. Произошла настоящая свалка. Все так и рвут, только крошки летят в реку; а потом и краюшка полетела тоже в реку. Тут уж схватились за нее рыбы. Началась настоящая драка между рыбами и птицами. В крошки растерзали всю краюшку, и все крошки съели. Как есть ничего не осталось от краюшки. Когда краюшка была съедена, все опомнились и всем сделалось совестно. Гнались за вором Воробьем да по пути краденую краюшку и съели.

А веселый трубочист Яша сидит на бережку, смотрит и смеется. Уж очень смешно всё вышло... Все убежали от него, остался один только Бекасик-песочник.

— А ты что же не летишь за всеми? — спрашивает трубочист.

— И я полетел бы, да ростом мал, дяденька. Как раз большие птицы заклюют...

— Ну, вот так-то лучше будет, Бекасик. Оба остались мы с тобой без обеда. Видно, мало еще поработали...

Пришла Аленушка на бережок, стала спрашивать веселого трубочиста Яшу, что случилось, и тоже смеялась.

— Ах, какие они все глупые, и рыбки и птички. А я бы разделила всё — и червячка и краюшку, и никто бы не ссорился. Недавно я разделила четыре яблока... Папа приносит четыре яблока и говорит: «Раздели пополам, — мне и Лизе»*. Я и разделила на три части: одно яблоко дала папе, другое — Лизе, а два взяла себе.



СКАЗКА О ТОМ,
КАК ЖИЛА-БЫЛА
ПОСЛЕДНЯЯ МУХА

I



ак было весело лето!.. Ах, как весело! Трудно даже рассказать всё по порядку... Сколько было мух,— тысячи. Летают, жужжат, веселятся... Когда родилась маленькая Мушка, расправила свои крылышки,— ей сделалось тоже весело. Так весело, так весело, что не расскажешь. Всего интереснее было то, что с утра открывали все окна и двери на террасу,— в какое хочешь, в то окно и лети.

— Какое доброе существо человек! — удивлялась маленькая Мушка, летая из окна в окно.— Это для нас сделаны окна, и отворяют их тоже для нас. Очень хорошо, а главное — весело...

Она тысячу раз вылетала в сад, посидела на зеленой травке, полюбовалась цветущей сиренью, нежными листиками распускавшейся липы и цветами в клумбах. Неизвестный ей до сих пор садовник уже успел вперед позаботиться обо всем. Ах, какой он добрый, этот садовник!.. Мушка еще не родилась, а он уже всё успел приготовить, решительно всё, что нужно маленькой Мушке. Это было тем удивительнее, что сам он не умел летать и даже ходил иногда с большим трудом,— его так и покачивало, и садовник что-то бормотал совсем непонятное.

— И откуда только эти проклятые мухи берутся? — ворчал добрый садовник.



Вероятно, бедняга говорил это просто из зависти, потому что сам умел только копать гряды, рассаживать цветы и поливать их, а летать не мог. Молодая Мушка нарочно кружилась над красным носом садовника и страшно ему надоедала.

Потом, люди вообще так добры, что везде доставляли разные удовольствия именно мухам. Например, Аленушка утром пила молочко, ела булочку и потом выпрашивала у тети Оли сахару,— всё это она делала только для того, чтобы оставить мухам несколько капелек пролитого молока, а главное — крошки булки и сахара. Ну, скажите, пожалуйста, что может быть вкуснее таких крошек, особенно когда летаешь всё утро и проголодаешься?.. Потом, кухарка Паша была еще добрее Аленушки. Она каждое утро нарочно для мух ходила на рынок и приносила удивительно вкусные вещи: говядину, иногда рыбу, сливки, масло,— вообще самая добрая женщина во всем доме. Она отлично знала, что нужно мухам, хотя летать тоже не умела, как и садовник. Очень хорошая женщина вообще!..

А тетя Оля? О, эта чудная женщина, кажется, специально жила только для мух... Она своими руками открывала все окна каждое утро, чтобы мухам было удобнее летать, а когда шел дождь или было холодно,— закрывала их, чтобы мухи не замочили своих крылышек и не простудились. Потом тетя Оля заметила, что мухи очень любят сахар и ягоды, поэтому она принялась каждый день варить ягоды в сахаре. Мухи сейчас, конечно, догадались, для чего всё это делается, и лезли из чувства благодарности прямо в тазик с вареньем. Аленушка тоже очень любила варенье, но тетя Оля давала ей всего одну или две ложечки, не желая обижать мух.

Так как мухи зараз не могли съесть всего, то тетя Оля откладывала часть варенья в стеклянные банки (чтобы не съели мыши, которым варенья совсем не полагается) и потом подавала его каждый день мухам, когда пила чай.

— Ах, какие все добрые и хорошие! — восхищалась молодая Мушка, летая из окна в окно. — Может быть, даже хорошо, что люди не умеют летать. Тогда бы они превратились в мух, больших и прожорливых мух, и, наверное, съели бы всё сами... Ах, как хорошо жить на свете!

— Ну, люди уж не совсем такие добряки, как ты думаешь, — заметила старая Муха, любившая поворчать. — Это только так кажется... Ты обратила внимание на человека, которого все называют «папой»?

— О да... Это очень странный господин. Вы совершенно правы, хорошая, добрая, старая Муха... Для чего он курит свою трубку, когда отлично знает, что я совсем не выношу табачного дыма? Мне кажется, что это он делает прямо назло мне... Потом, решительно ничего не хочет сделать для мух... Я раз попробовала чернил, которыми он что-то такое вечно пишет, и чуть не умерла... Это, наконец, возмутительно! Я своими глазами видела, как в его чернильнице утонули две такие хорошенькие, но совершенно неопытные мушки. Это была ужасная картина, когда он пером вытащил одну из них и посадил на бумагу великолепную кляксу... Представьте себе, он в этом обвинял не себя, а нас же! Где справедливость?..

— Я думаю, что этот папа совсем лишен справедливости, хотя у него есть одно достоинство... — ответила старая опытная Муха, — он пьет пиво после обеда. Это совсем недурная привычка!.. Я, признаться, тоже не прочь выпить пива, хотя у меня



и кружится от него голова... Что делать, дурная привычка!

— И я тоже люблю пиво,— призналась молоденькая Мушка и даже немного покраснела.— Мне делается от него так весело, так весело, хотя на другой день немного и болит голова. Но, папа, может быть, оттого ничего не делает для мух, что сам не ест варенья, а сахар опускает только в стакан чаю. По-моему, нельзя ждать ничего хорошего от человека, который не ест варенья... Ему остается только курить свою трубку.

Мухи вообще знали отлично всех людей, хотя и ценили их по-своему.

II

Лето стояло жаркое, и с каждым днем мух являлось всё больше и больше. Они падали в молоко, лезли в суп, в чернильницу, жужжали, вертелись и приставали ко всем. Но наша маленькая Мушка успела сделаться уже настоящей большой мухой и несколько раз чуть не погибла. В первый раз она увязла ножками в варенье, так что едва выползла; в другой раз, спросонья, налетела на зажженную лампу и чуть не спалила себе крылышек; в третий раз чуть не попала между оконных створок,— вообще приключений было достаточно.

— Что это такое: житья от этих мух не стало!..— жаловалась кухарка.— Точно сумасшедшие, так и лезут везде... Нужно их изводить.

Даже наша Муха начала находить, что мух развелось слишком много, особенно в кухне. По вечерам потолок покрывался точно живой двигавшейся сеткой. А когда приносили провизию, мухи бросались на нее живой кучей, толкали друг друга и страшно ссорились. Лучшие куски доставались

только самым бойким и сильным, а остальным доставались объедки: Паша была права.

Но тут случилось нечто ужасное. Раз утром Паша вместе с провизией принесла пачку очень вкусных бумажек,— то есть они сделались вкусными, когда их разложили на тарелочки, обсыпали мелким сахаром и облили теплой водой.

— Вот отличное угощение мухам! — говорила кухарка Паша, расставляя тарелочки на самых видных местах.

Мухи и без Паши догадались сами, что это делается для них, и веселой гурьбой накинулись на новое кушанье. Наша Муха тоже бросилась к одной тарелочке, но ее оттолкнули довольно грубо.

— Что вы толкаетесь, господа? — обиделась она.— А впрочем, я уж не такая жадная, чтобы отнимать что-нибудь у других. Это, наконец, невежливо...

Дальше произошло что-то невозможное. Самые жадные мухи поплатились первыми... Они сначала бродили, как пьяные, а потом и совсем свалились. Наутро Паша намела целую большую тарелку мертвых мух. Остались живыми только самые благо-разумные, а в том числе и наша Муха.

— Не хотим бумажек! — пищали все.— Не хотим...

Но на следующий день повторилось то же самое. Из благо-разумных мух остались целыми только самые благо-разумные. Но Паша находила, что слишком много и таких, самых благо-разумных.

— Житья от них нет...— жаловалась она.

Тогда господин, которого звали папой, принес три стеклянных, очень красивых колпака, налил в них пива и поставил на тарелочки... Тут попались и самые благо-разумные мухи. Оказалось, что эти колпаки просто мухоловки. Мухи летели на запах

пива, попадали в колпак и там погибали, потому что не умели найти выхода.


— Вот теперь отлично! — одобряла Паша; она оказалась совершенно бессердечной женщиной и радовалась чужой беде.

Что же тут отличного, посудите сами? Если бы у людей были такие же крылья, как у мух, и если бы поставить мухоловки величиной с дом, то они попадались бы точно так же... Наша Муха, наученная горьким опытом даже самых благоразумных мух, перестала совсем верить людям. Они только кажутся добрыми, эти люди, а в сущности только тем и занимаются, что всю жизнь обманывают доверчивых, бедных мух. О, это самое хитрое и злое животное, если говорить правду!..

Мух сильно поубавилось от всех этих неприятностей, а тут новая беда. Оказалось, что лето прошло, начались дожди, подул холодный ветер, и вообще наступила неприятная погода.

— Неужели лето прошло? — удивлялись оставшиеся в живых мухи.— Позвольте, когда же оно успело пройти? Это, наконец, несправедливо... Не успели оглянуться, а тут осень.

Это было похуже отравленных бумажек и стеклянных мухоловок. От наступавшей скверной погоды можно было искать защиты только у своего злейшего врага, то есть господина человека. Увы! теперь уже окна не отворялись по целым дням, а только изредка — форточки. Даже само солнце — и то светило точно для того только, чтобы обманывать доверчивых комнатных мух. Как вам понравится, например, такая картина? Утро. Солнце так весело заглядывает во все окна, точно приглашает всех мух в сад. Можно подумать, что возвращается опять лето... И что же,— доверчивые мухи вылетают в форточку, но солнце только светит, а не



греет. Они летят назад,— форточка закрыта. Много мух погибло таким образом в холодные осенние ночи только благодаря своей доверчивости.

— Нет, я не верю,— говорила наша Муха.— Ничему не верю... Если уж солнце обманывает, то кому же и чему можно верить?

Понятно, что с наступлением осени все мухи испытывали самое дурное настроение духа. Характер сразу испортился почти у всех. О прежних радостях не было и помину. Все сделались такими хмурыми, вялыми и недовольными. Некоторые дошли до того, что начали даже кусаться, чего раньше не было.

У нашей Мухи до того испортился характер, что она совершенно не узнавала самой себя. Раньше, например, она жалела других мух, когда те погибали, а сейчас думала только о себе. Ей было даже стыдно сказать вслух, что она думала:

«Ну, и пусть погибают,— мне больше останется».

Во-первых, настоящих теплых уголков, в которых может прожить зиму настоящая, порядочная муха, совсем не так много, а во-вторых, просто надоели другие мухи, которые везде лезли, выхватывали из-под носа самые лучшие куски и вообще вели себя довольно бесцеремонно. Пора и отдохнуть.

Эти другие мухи точно понимали эти злые мысли и умирали сотнями. Даже не умирали, а точно засыпали. С каждым днем их делалось всё меньше и меньше, так что совершенно было не нужно ни отравленных бумажек, ни стеклянных мухоловок. Но нашей Мухе и этого было мало: ей хотелось остаться совершенно одной. Подумайте, какая прелесть,— пять комнат, и всего одна муха!..



III

Наступил и такой счастливый день. Рано утром наша Муха проснулась довольно поздно. Она давно уже испытывала какую-то непонятную усталость и предпочитала сидеть неподвижно в своем уголке, под печкой. А тут она почувствовала, что случилось что-то необыкновенное. Стоило подлететь к окну, как всё разъяснилось сразу. Выпал первый снег... Земля была покрыта ярко белевшей пеленой.


— А, так вот какая бывает зима! — сообразила она сразу.— Она совсем белая, как кусок хорошего сахара...

Потом Муха заметила, что все другие мухи исчезли окончательно. Бедняжки не перенесли первого холода и заснули, кому где случилось. Муха в другое время пожалела бы их, а теперь подумала:

«Вот и отлично... Теперь я совсем одна!.. Никто не будет есть моего варенья, моего сахара, моих крошечек... Ах, как хорошо!..»

Она облетела все комнаты и еще раз убедилась, что она совершенно одна. Теперь можно было делать решительно всё, что захочется. А как хорошо, что в комнатах так тепло! Зима — там, на улице, а в комнатах и тепло, и светло, и уютно, особенно когда вечером зажигали лампы и свечи. С первой лампой, впрочем, вышла маленькая неприятность — Муха налетела было опять прямо на огонь и чуть не сгорела.

— Это, вероятно, зимняя ловушка для мух,— сообразила она, потирая обожженные лапки.— Нет, меня не проведете... О, я отлично всё понимаю!.. Вы хотите сжечь последнюю муху? А я этого совсем не желаю... Тоже вот и плита в кухне,— разве я не понимаю, что это тоже ловушка для мух!..



Последняя Муха была счастлива всего несколько дней, а потом вдруг ей сделалось скучно, так скучно, так скучно, что кажется, и не рассказать. Конечно, ей было тепло, она была сыта, а потом, потом она стала скучать. Полетает, полетает, отдохнет, поест, опять полетает,— и опять ей делается скучнее прежнего.

— Ах, как мне скучно! — пищала она самым жалобным, тоненьким голосом, летая из комнаты в комнату.— Хоть бы одна была мушка еще, самая скверная, а все-таки мушка...


Как ни жаловалась последняя Муха на свое одиночество,— ее решительно никто не хотел понимать. Конечно, это ее злило еще больше, и она приставала к людям как сумасшедшая. Кому на нос сядет, кому на ухо, а то примется летать перед глазами взад и вперед. Одним словом, настоящая сумасшедшая.

— Господи, как же вы не хотите понять, что я совершенно одна и что мне очень скучно? — пищала она каждому.— Вы даже и летать не умеете, а поэтому не знаете, что такое скука. Хоть бы кто-нибудь поиграл со мной... Да нет, куда вам! Что может быть неповоротливее и неуклюжее человека? Самая безобразная тварь, какую я когда-нибудь встречала...

Последняя Муха надоела и собаке и кошке — решительно всем. Больше всего ее огорчило, когда тетя Оля сказала:

— Ах, последняя муха... Пожалуйста, не трогайте ее. Пусть живет всю зиму.

— Что же это такое? Это уж прямое оскорбление. Ее, кажется, и за муху перестали считать. «Пусть поживет»,— скажите, какое сделали одолжение! А если мне скучно! А если я, может быть, и жить совсем не хочу? Вот не хочу,— и всё тут.



Последняя Муха до того рассердилась на всех, что даже самой сделалось страшно. Летаает, жужжит, пищит... Сидевший в углу Паук, наконец, сжалился над ней и сказал:

— Милая Муха, идите ко мне... Какая красивая у меня паутина!

— Покорно благодарю... Вот еще нашелся приятель! Знаю я, что такое твоя красивая паутина. Наверно, ты когда-нибудь был человеком, а теперь только притворяешься пауком.

— Как знаете, я вам же добра желаю.

— Ах, какой противный! Это называется — желать добра: съесть последнюю Муху!..

Они сильно повздорили, и все-таки было скучно, так скучно, так скучно, что и не расскажешь. Муха озлобилась решительно на всех, устала и громко заявила:

— Если так, если вы не хотите понять, как мне скучно, так я буду сидеть в углу целую зиму... Вот вам!.. Да, буду сидеть и не выйду ни за что...

Она даже всплакнула с горя, припоминая минувшее летнее веселье. Сколько было веселых мух; а она еще желала остаться совершенно одной. Это была роковая ошибка...

Зима тянулась без конца, и последняя Муха начала думать, что лета больше уже не будет совсем. Ей хотелось умереть, и она плакала потихоньку. Это, наверно, люди придумали зиму, потому что они придумывают решительно всё, что вредно мухам. А может быть, это тетя Оля спрятала куда-нибудь лето, как прячет сахар и варенье?..

Последняя Муха готова была совсем умереть с отчаяния, как случилось нечто совершенно особенное. Она, по обыкновению, сидела в своем уголке и сердилась, как вдруг слышит: ж-ж-жж!.. Сначала она не поверила собственным ушам, а подумала, что

ее кто-нибудь обманывает. А потом... Боже, что это было!.. Мимо нее пролетела настоящая живая мушка, еще совсем молоденькая. Она только что успела родиться и радовалась.

— Весна начинается... весна! — жужжала она.

Как они обрадовались друг другу! Обнимались, целовались и даже облизывали одна другую хоботками. Старая Муха несколько дней рассказывала, как скверно провела всю зиму и как ей было скучно одной. Молоденькая Мушка только смеялась тоненьким голоском и никак не могла понять, как это было скучно.

— Весна, весна!.. — повторяла она.

Когда тетя Оля велела выставить все зимние рамы и Аленушка выглянула в первое открытое окно, последняя Муха сразу все поняла.

— Теперь я знаю всё, — жужжала она, вылетая в окно, — лето делаем мы, мухи...



УМНЕЕ ВСЕХ

I



Индюк проснулся, по обыкновению, раньше других, когда еще было темно, разбудил жену и проговорил:

— Ведь я умнее всех? Да?

Индюшка спросонья долго кашляла и потом уже ответила:

— Ах, какой умный... Кхе-кхе!.. Кто же этого не знает? Кхе...



— Нет, ты говори прямо: умнее всех? Просто умных птиц достаточно, а умнее всех — одна, это я.

— Умнее всех... кхе! Всех умнее... Кхе-кхе-кхе!..

— То-то.

Индюк даже немного рассердился и прибавил таким тоном, чтобы слышали другие птицы:

— Знаешь, мне кажется, что меня мало уважают. Да, совсем мало.

— Нет, это тебе так кажется... Кхе-кхе! — успокаивала его Индюшка, начиная поправлять сбившиеся за ночь перышки.— Да, просто кажется... Птицы умнее тебя и не придумать. Кхе-кхе-кхе!

— А Гусак? О, я всё понимаю... Положим, он прямо ничего не говорит, а больше всё молчит. Но я чувствую, что он молча меня не уважает...

— А ты не обращай на него внимания. Не стоит... кхе! Ведь ты заметил, что Гусак глуповат?

— Кто же этого не видит? У него на лице написано: глупый гусак, и больше ничего. Да... Но Гусак еще ничего — разве можно сердиться на глупую птицу? А вот Петух, простой самый петух... Что он кричал про меня третьего дня? И еще как кричал — все соседи слышали. Он, кажется, назвал меня даже очень глупым... Что-то в этом роде вообще.

— Ах, какой ты странный,— удивлялась Индюшка.— Разве ты не знаешь, отчего он вообще кричит?

— Ну, отчего?

— Кхе-кхе-кхе... Очень просто, и всем известно. Ты — петух, и он — петух, только он совсем-совсем простой петух, самый обыкновенный петух, а ты — настоящий индейский, заморский петух — вот он и кричит от зависти. Каждой птице хочется быть индейским петухом... Кхе-кхе-кхе!..

— Ну, это трудненько, матушка... Ха-ха! Ишь чего захотели. Какой-нибудь простой петушишка — и вдруг хочет сделаться индейским, — нет, брат, шалишь!.. Никогда ему не бывать индейским.

Индюшка была такая скромная и добрая птица и постоянно огорчалась, что Индюк вечно с кем-нибудь ссорился. Вот и сегодня — не успел проснуться, а уж придумывает, с кем бы затеять ссору или даже драку. Вообще самая беспокойная птица, хотя и не злая. Индюшке делалось немного обидно, когда другие птицы начинали подсмеиваться над Индюком и называли его болтуном, пустомелей и ломакой. Положим, отчасти они были и правы, но найдите птицу без недостатков? Вот то-то и есть! Таких птиц не бывает, и даже как-то приятнее, когда отыщешь в другой птице хотя самый маленький недостаток.


Проснувшиеся птицы высыпали из курятника на двор, и сразу поднялся отчаянный гвалт. Особенно шумели куры. Они бегали по двору, лезли к кухонному окну и неистово кричали:

— Ах-куда! Ах-куда-куда-куда... Мы есть хотим! Кухарка Матрена, должно быть, умерла и хочет уморить нас с голоду...

— Господа, имейте терпение, — заметил стоявший на одной ноге Гусак. — Смотрите на меня: я ведь тоже есть хочу, а не кричу, как вы. Если бы я заорал во всю глотку... вот так... Го-го!.. Или так: И-го-го-го!!

Гусак так отчаянно загоготал, что кухарка Матрена сразу проснулась.

— Хорошо ему говорить о терпении, — ворчала одна Утка, — вон какое горло, точно труба. А потом, если бы у меня были такая длинная шея и такой крепкий клюв, то и я тоже проповедовала бы терпение. Сама бы наелась скорее всех, а другим

 советовала бы терпеть... Знаем мы это гусиное терпение...

Утку поддержал Петух и крикнул:

— Да, хорошо Гусаку говорить о терпении... А кто у меня вчера два лучших пера вытащил из хвоста? Это даже неблагородно — хватать прямо за хвост. Положим, мы немного поспорились и я хотел Гусаку проклевать голову — не отпираюсь, было такое намерение, — но виноват я, а не мой хвост. Так я говорю, господа?

Голодные птицы, как голодные люди, делались несправедливыми именно потому, что были голодны.

II

Индюк из гордости никогда не бросался вместе с другими на корм, а терпеливо ждал, когда Матрена отгонит другую жадную птицу и позовет его. Так было и сейчас. Индюк гулял в стороне, около забора, и делал вид, что ищет что-то среди разного сора.

— Кхе-кхе... ах, как мне хочется кушать! — жаловалась Индюшка, вышагивая за мужем. — Вот уж Матрена бросила овса... да... и, кажется, остатки вчерашней каши... кхе-кхе! Ах, как я люблю кашу!.. Я, кажется, всегда бы ела одну кашу, целую жизнь. Я даже иногда вижу ее ночью во сне...

Индюшка любила жаловаться, когда была голодна, и требовала, чтобы Индюк непременно ее жалел. Среди других птиц она походила на старушку: вечно горбилась, кашляла, ходила какой-то разбитой походкой, точно ноги приделаны были к ней только вчера.

— Да, хорошо и каши поесть, — соглашался с ней Индюк. — Но умная птица никогда не бросается на пищу. Так я говорю? Если меня хозяин не

будет кормить — я умру с голода... так? А где же он найдет другого такого индюка?

— Другого такого нигде нет...

— Вот то-то... А каша, в сущности, пустяки. Да... Дело не в каше, а в Матрене. Так я говорю? Была бы Матрена, а каша будет. Всё на свете зависит от одной Матрены — и овес, и каша, и крупа, и корочки хлеба.

Несмотря на все эти рассуждения, Индюк начинал испытывать муки голода. Потом ему сделалось совсем грустно, когда все другие птицы наелись, а Матрена не выходила, чтобы позвать его. А если она позабыла о нем? Ведь это и совсем скверная штука...

Но тут случилось нечто такое, что заставило Индюка позабыть даже о собственном голоде. Началось с того, что одна молоденькая курочка, гулявшая около сарая, вдруг крикнула:

— Ах-куда!..

Все другие курицы сейчас же подхватили и заорали благим матом: «Ах-куда! куда-куда...» А всех сильнее, конечно, заорал Петух:

— Караул!.. Кто там?

Сбежавшиеся на крик птицы увидели совсем необыкновенную штуку. У самого сарая в ямке лежало что-то серое, круглое, покрытое сплошь острыми иглами.

— Да это простой камень,— заметил кто-то.

— Он шевелился,— объяснила Курочка.— Я тоже думала, что камень, подошла, а он как пошевелится... Право! Мне показалось, что у него есть глаза, а у камней глаз не бывает.

— Мало ли что может показаться со страха глупой курице,— заметил Индюк.— Может быть, это... это...



— Да это гриб! — крикнул Гусак. — Я видал точно такие грибы, только без игл.

Все громко рассмеялись над Гусаком.

— Скорее это походит на шапку, — попробовал кто-то догадаться и тоже был осмеян.

— Разве у шапки бывают глаза, господа?

— Тут нечего разговаривать попусту, а нужно действовать, — решил за всех Петух. — Эй ты, штука в иголках, сказывайся, что за зверь? Я ведь шутить не люблю... слышишь?

Так как ответа не было, то Петух счел себя оскорбленным и бросился на неизвестного обидчика. Он попробовал клюнуть раза два и сконфуженно отошел в сторону.

— Это... это громадная репейная шишка, и больше ничего, — объяснил он. — Вкусного ничего нет... Не желает ли кто-нибудь попробовать?

Все болтали кому что приходило в голову. Догадкам и предположениям не было конца. Молчал один Индюк. Что же, пусть болтают другие, а он послушает чужие глупости. Птицы долго галдели, кричали и спорили, пока кто-то не крикнул:

— Господа, что же это мы напрасно ломаем себе голову, когда у нас есть Индюк? Он всё знает...

— Конечно, знаю, — отозвался Индюк, распуская хвост и надувая свою красную кишку на носу.

— А если знаешь, так скажи нам.

— А если я не хочу? Так, просто не хочу.

Все принялись упрашивать Индюка.

— Ведь ты у нас самая умная птица, Индюк! Ну, скажи, голубчик... Чего тебе стоит сказать?

Индюк долго ломался и, наконец, проговорил:

— Ну хорошо, я, пожалуй, скажу... да, скажу. Только сначала вы скажите мне, за кого вы меня считаете?

— Кто же не знает, что ты самая умная пти-

ца!.. — ответили все хором. — Так и говорят: умен, как индюк.

— Значит, вы меня уважаете?

— Уважаем! Все уважаем!..

Индюк еще немного поломался, потом весь распушился, надул кишку, обошел мудреного зверя три раза кругом и проговорил:

— Это... да... Хотите знать, что это?

— Хотим!.. Пожалуйста, не томи, а скажи скорее.

— Это — кто-то куда-то ползет...

Все только хотели рассмеяться, как послышалось хихиканье, и тоненький голосок сказал:

— Вот так самая умная птица!.. хи-хи...

Из-под игл показалась черненькая мордочка с двумя черными глазками, понюхала воздух и проговорила:

— Здравствуйте, господа... Да как же вы это Ежа-то не узнали, Ежа серячка-мужичка?.. Ах, какой у вас смешной Индюк, извините меня, какой он... Как это вежливее сказать? Ну, глупый Индюк...

III

Всем сделалось даже страшно после такого оскорбления, какое нанес Еж Индюку. Конечно, Индюк сказал глупость, это верно, но и из этого еще не следует, что Еж имеет право его оскорблять. Наконец, это просто невежливо: прийти в чужой дом и оскорбить хозяина. Как хотите, а Индюк все-таки важная, представительная птица и уж не чета какому-нибудь несчастному Ежу.

Все как-то разом перешли на сторону Индюка, и поднялся страшный гвалт.

— Вероятно, Еж и нас всех тоже считает глупыми! — кричал Петух, хлопая крыльями.



— Он нас всех оскорбил!

— Если кто глуп, так это он, то есть Еж,— заявлял Гусак, вытягивая шею.— Я это сразу заметил... да!..

— Разве грибы могут быть глупыми? — отвечал Еж.


— Господа, что мы с ним напрасно разговариваем! — кричал Петух.— Всё равно он ничего не поймет... Мне кажется, мы только напрасно теряем время. Да... Если, например, вы, Гусак, ухватите его за щетину вашим крепким клювом с одной стороны, а мы с Индюком уцепимся за его щетину с другой — сейчас будет видно, кто умнее. Ведь ума не скроешь под глупой щетиной.

— Что же, я согласен...— заявил Гусак.— Еще будет лучше, если я вцеплюсь в его щетину сзади, а вы, Петух, будете его клевать прямо в морду... Так, господа? Кто умнее, сейчас и будет видно.

Индюк всё время молчал. Сначала его ошеломила дерзость Ежа, и он не нашелся, что ему ответить. Потом Индюк рассердился, так рассердился, что даже самому сделалось немного страшно. Ему хотелось броситься на грубияна и растерзать его на мелкие части, чтобы все это видели и еще раз убедились, какая серьезная и строгая птица Индюк. Он даже сделал несколько шагов к Ежу, страшно надулся и только хотел броситься, как все начали кричать и бранить Ежа. Индюк остановился и терпеливо начал ждать, чем всё кончится.

Когда Петух предложил тащить Ежа за щетину в разные стороны, Индюк остановил его усердие:

— Позвольте, господа... Может быть, мы устроим всё это дело миром... Да. Мне кажется, что тут есть маленькое недоразумение. Предоставьте, господа, мне всё дело...



— Хорошо, мы подождем,— неохотно согласился Петух, желавший подраться с Ежом поскорее.— Только из этого всё равно ничего не выйдет...

— А уж это мое дело,— спокойно ответил Индюк.— Да вот слушайте, как я буду разговаривать.

Все столпились кругом Ежа и начали ждать. Индюк обошел его кругом, откашлялся и сказал:

— Послушайте, господин Еж... Объяснитесь серьезно. Я вообще не люблю домашних неприятностей.

«Боже, как он умен, как умен!..» — думала Индюшка, слушая мужа в немом восторге.

— Обратите внимание прежде всего на то, что вы в порядочном и благовоспитанном обществе,— продолжал Индюк.— Это что-нибудь значит... да... Многие считают за честь попасть к нам на двор, но — увы! — это редко кому удается.

— Правда! Правда!..— слышались голоса.

— Но это так, между нами, а главное не в этом...

Индюк остановился, помолчал для важности и потом уже продолжал:

— Да, так главное... Неужели вы думали, что мы и понятия не имеем об ежах? Я не сомневаюсь, что Гусак, принявший вас за гриб, пошутил, и Петух — тоже, и другие... Не правда ли, господа?

— Совершенно справедливо, Индюк! — крикнули все разом так громко, что Еж спрятал свою черную мордочку.

«Ах, какой он умный!» — думала Индюшка, начинавшая догадываться, в чем дело.

— Как видите, господин Еж, мы все любим пошутить,— продолжал Индюк.— Я уж не говорю о себе... да. Отчего и не пошутить? И, как мне кажется, вы, господин Еж, тоже обладаете веселым характером...

— О, вы угадали,— признался Еж, опять выставляя мордочку.— У меня такой веселый характер, что я даже не могу спать по ночам... Многие этого не выносят, а мне скучно спать.

— Ну, вот видите... Вы, вероятно, сойдетесь характером с нашим Петухом, который горланит по ночам, как сумасшедший.

Всем вдруг сделалось весело, точно каждому для полноты жизни только и недоставало Ежа. Индюк торжествовал, что так ловко выпутался из неловкого положения, когда Еж назвал его глупым и засмеялся прямо в лицо.

— Кстати, господин Еж, признайтесь,— заговорил Индюк, подмигнув,— ведь вы, конечно, пошутили, когда назвали давеча меня... да... ну, немной птицей?

— Конечно, пошутил! — уверял Еж.— У меня уж такой характер веселый!..

— Да, да, я в этом был уверен. Слышали, господа? — спрашивал Индюк всех.

— Слышали... Кто же мог в этом сомневаться!

Индюк наклонился к самому уху Ежа и шепнул ему по секрету:

— Так и быть, я вам сообщу ужасную тайну... да... Только — условие: никому не рассказывать. Правда, мне немного совестно говорить о самом себе, но что поделаешь, если я самая умная птица! Меня это иногда даже немного стесняет, но шила в мешке не утаишь... Пожалуйста, только никому об этом ни слова!..



ПРИТЧА
О МОЛОЧКЕ,
ОВСЯНОЙ КАШКЕ
И СЕРОМ
КОТИШКЕ МУРКЕ

I



ак хотите, а это было удивительно! А удивительнее всего было то, что это повторялось каждый день. Да, как поставят на плиту в кухне горшочек с молоком и глиняную кастрюльку с овсяной кашей, так и начнется. Сначала стоят как будто и ничего, а потом и начинается разговор:

— Я — Молочко...

— А я — овсяная Кашка...

Сначала разговор идет тихонько, шепотом, а потом Кашка и Молочко начинают постепенно горячиться.

— Я — Молочко!

— А я — овсяная Кашка!

Кашку прикрывали сверху глиняной крышкой, и она ворчала в своей кастрюле, как старушка. А когда начинала сердиться, то всплывал наверх пузырь, лопался и говорил:

— А я все-таки овсяная Кашка... пум!

Молочку это хвастовство казалось ужасно обидным. Скажите, пожалуйста, какая невидаль — какая-то овсяная каша! Молочко начинало горячиться, поднималось пеной и старалось вылезти из своего горшочка. Чуть кухарка недосмотрит, глядит — Молочко и полилось на горячую плиту.



— Ах, уж это мне Молочко! — жаловалась каждый раз кухарка. — Чуть-чуть недосмотришь — оно и убежит.

— Что же мне делать, если у меня такой вспыльчивый характер! — оправдывалось Молочко. — Я и само не радо, когда сержусь. А тут еще Кашка постоянно хвастается: я — Кашка, я — Кашка, я — Кашка... Сидит у себя в кастрюльке и ворчит; ну, я и рассержусь.

Дело иногда доходило до того, что и Кашка убегала из кастрюльки, несмотря на свою крышку, — так и поползет на плиту, а сама всё повторяет:

— А я — Кашка! Кашка! Кашка... шшш!

Правда, что это случалось не часто, но все-таки случалось, и кухарка в отчаянии повторяла который раз:

— Уж эта мне Кашка!.. И что ей не сидится в кастрюльке, просто удивительно!..

II

Кухарка вообще довольно часто волновалась. Да и было достаточно разных причин для такого волнения... Например, чего стоил один кот Мурка! Заметьте, что это был очень красивый кот, и кухарка его очень любила. Каждое утро начиналось с того, что Мурка ходил по пятам за кухаркой и мяукал таким жалобным голосом, что, кажется, не выдержало бы каменное сердце.

— Вот-то ненасытная утроба! — удивлялась кухарка, отгоняя кота. — Сколько вчера ты одной печенки съел?

— Так ведь то было вчера! — удивлялся, в свою очередь, Мурка. — А сегодня я опять хочу есть... Мяу-у!..

— Ловил бы мышей и ел, лентяй.

— Да, хорошо это говорить, а попробовала бы сама поймать хоть одну мышь,— оправдывался Мурка.— Впрочем, кажется, я достаточно стараюсь... Например, на прошлой неделе кто поймал мышонка? А от кого у меня по всему носу царапина? Вот какую было крысу поймал, а она сама мне в нос вцепилась... Ведь это только легко говорить: лови мышей!

Наевшись печенки, Мурка усаживался где-нибудь у печки, где было потеплее, закрывал глаза и сладко дремал.

— Видишь, до чего наелся! — удивлялась кухарка.— И глаза зажмурил, лежебок... И всё подавай ему мяса!

— Ведь я не монах, чтобы не есть мяса,— оправдывался Мурка, открывая всего один глаз.— Потом я и рыбки люблю покушать... Даже очень приятно съесть рыбку. Я до сих пор не могу сказать, что лучше: печенка или рыба. Из вежливости я ем то и другое... Если бы я был человеком, то непременно был бы рыбаком или разносчиком, который нам носит печенку. Я кормил бы до отвала всех котов на свете и сам бы был всегда сыт...

Наевшись, Мурка любил заняться разными посторонними предметами, для собственного развлечения. Отчего, например, не посидеть часика два на окне, где висела клетка со скворцом? Очень приятно посмотреть, как прыгает глупая птица.

— Я тебя знаю, старый плут! — кричит Скворец сверху.— Нечего смотреть на меня...

— А если мне хочется познакомиться с тобой?

— Знаю я, как ты знакомишься... Кто недавно съел настоящего, живого воробышка? У, противный!..

— Нисколько не противный, даже наоборот. Меня все любят... Иди ко мне, я сказочку расскажу.



— Ах, плут... Нечего сказать, хороший сказочник! Я видел, как ты рассказывал свои сказочки жареному цыпленку, которого стащил в кухне. Хорош!

— Как знаешь, а я для твоего же удовольствия говорю. Что касается жареного цыпленка, то я его действительно съел; но ведь он уже никуда всё равно не годился.

III

Между прочим, Мурка каждое утро садился у топившейся плиты и терпеливо слушал, как ссорятся Молочко и Кашка. Он никак не мог понять, в чем тут дело, и только моргал.

— Я — Молочко.

— Я — Кашка! Кашка-Кашка-кашшшш...

— Нет, не понимаю! Решительно ничего не понимаю,— говорил Мурка.— Из-за чего сердятся? Например, если я буду повторять: я — кот, я — кот, кот, кот... Разве кому-нибудь будет обидно?.. Нет, не понимаю... Впрочем, должен сознаться, что я предпочитаю молочко, особенно когда оно не сердится.

Как-то Молочко и Кашка особенно горячо ссорились; ссорились до того, что наполовину вылились на плиту, причем поднялся ужасный чад. Прибежала кухарка и только всплеснула руками.

— Ну, что я теперь буду делать? — жаловалась она, отставляя с плиты Молочко и Кашку.— Нельзя отвернуться...

Отставив Молочко и Кашку, кухарка ушла на рынок за провизией. Мурка этим сейчас же воспользовался. Он подсел к Молочку, подул на него и проговорил:

— Пожалуйста, не сердитесь, Молочко...

Молочко заметно начало успокаиваться. Мурка обошел его кругом, еще раз подул, расправил усы и проговорил совсем ласково:

— Вот что, господа... Ссориться вообще нехорошо. Да. Выберите меня мировым судьей, и я сейчас же разберу ваше дело...

Сидевший в щели черный Таракан даже поперхнулся от смеха: «Вот так мировой судья... Ха-ха! Ах, старый плут, что только и придумает!..» Но Молочко и Кашка были рады, что их ссору, наконец, разберут. Они сами даже не умели рассказать, в чем дело и из-за чего они спорили.

— Хорошо, хорошо, я всё разберу,— говорил кот Мурка.— Я уж не покривлю душой... Ну, начнем с Молочка.

Он обошел несколько раз горшочек с Молочком, попробовал его лапкой, подул на Молочко сверху и начал лакать.

— Батюшки! Караул! — закричал Таракан.— Он всё молоко вылакает, а подумают на меня.

Когда вернулась с рынка кухарка и хватилась молока, горшочек был пуст. Кот Мурка спал у самой печки сладким сном как ни в чем не бывало.

— Ах ты, негодный! — бранила его кухарка, хватая за ухо.— Кто выпил молоко, сказывай?

Как ни было больно, но Мурка притворился, что ничего не понимает и не умеет говорить. Когда его выбросили за дверь, он встряхнулся, облизал помнящую шерсть, расправил хвост и проговорил:

— Если бы я был кухаркой, так все коты с утра до ночи только бы и делали, что пили молоко. Впрочем, я не сержусь на свою кухарку, потому что она этого не понимает...



ПОРА СПАТЬ

I



асыпает один глазок у Аленушки, засыпает другое ушко у Аленушки...

— Папа, ты здесь?

— Здесь, деточка...

— Знаешь что, папа... Я хочу быть царицей...

Заснула Аленушка и улыбается во сне.

Ах, как много цветов! И все они тоже улыбаются. Обступили кругом Аленушкину кроватку, шепчутся и смеются тоненькими голосками. Алые цветочки, синие цветочки, желтые цветочки, голубые, розовые, красные, белые,— точно на землю упала радуга и рассыпалась живыми искрами, разноцветными огоньками и веселыми детскими глазками.

— Аленушка хочет быть царицей! — весело звенели полевые Колокольчики, качаясь на тоненьких зеленых ножках.

— Ах, какая она смешная! — шептали скромные Незабудки.

— Господа, это дело нужно серьезно обсудить,— задорно вмешался желтый Одуванчик.— Я по крайней мере никак этого не ожидал...

— Что такое значит — быть царицей? — спрашивал синий полевой Василек.— Я вырос в поле и не понимаю ваших городских порядков.

— Очень просто...— вмешалась розовая Гвоздика.— Это так просто, что и объяснять не нужно. Царица — это... это... Вы все-таки ничего не по-

нимаєте? Ах, какие вы странные... Царица — это, когда цветок розовый, как я. Другими словами: Аленушка хочет быть гвоздикой. Кажется, понятно?

Все весело засмеялись. Молчали только одни Розы. Они считали себя обиженными. Кто же не знает, что царица всех цветов — одна Роза, нежная, благоухающая, чудная? И вдруг какая-то Гвоздика называет себя царицей... Это ни на что не похоже. Наконец, одна Роза рассердилась, сделалась совсем пунцовой и проговорила:

— Нет, извините, Аленушка хочет быть розой... да! Роза потому царица, что все ее любят.

— Вот это мило! — рассердился Одуванчик.— А за кого же в таком случае вы меня принимаете?

— Одуванчик, не сердитесь, пожалуйста,— уговаривали его лесные Колокольчики.— Это портит характер, и притом некрасиво. Вот мы молчим о том, что Аленушка хочет быть лесным колокольчиком, потому что это ясно само собой.

II

Цветов было много, и они так смешно спорили. Полевые цветочки были такие скромные — как ландыши, фиалки, незабудки, колокольчики, васильки, полевая гвоздика; а цветы, выращенные в оранжереях, немного важничали — розы, тюльпаны, лилии, нарциссы, левкой, точно разодетые по-праздничному богатые дети. Аленушка больше любила скромные полевые цветочки, из которых делала букеты и плела веночки. Какие все они славные!

— Аленушка нас очень любит,— шептали Фи-

алки.— Ведь мы весной являемся первыми. Только снег стает — мы и тут.

— И мы тоже,— говорили Ландыши.— Мы тоже весенние цветочки... Мы неприхотливы и растем прямо в лесу.

— А чем же мы виноваты, что нам холодно расти прямо в поле? — жаловались душистые кудрявые Левкой и Гиацинты.— Мы здесь только гости, а наша родина далеко, там, где так тепло и совсем не бывает зимы. Ах, как там хорошо, и мы постоянно тоскуем по своей милой родине... У вас, на севере, так холодно. Нас Аленушка тоже любит, и даже очень...

— И у нас тоже хорошо,— спорили полевые цветы.— Конечно, бывает иногда очень холодно, но это здорово... А потом холод убивает наших злейших врагов, как червячки, мошки и разные букашки. Если бы не холод, нам пришлось бы плохо.

— Мы тоже любим холод,— прибавили от себя Розы.

То же сказали Азалии и Камелии. Все они любили холод, когда набирали цвет.

— Вот что, господа, будемте рассказывать о своей родине,— предложил белый Нарцисс.— Это очень интересно... Аленушка нас послушает. Ведь она и нас любит...

Тут заговорили все разом. Розы со слезами вспоминали благословенные долины Ширази, Гиацинты — Палестину, Азалии — Америку, Лилии — Египет... Цветы собрались сюда со всех сторон света, и каждый мог рассказать так много. Больше всего цветов пришло с юга, где так много солнца и нет зимы. Как там хорошо!.. Да, вечное лето! Какие громадные деревья там растут, какие чудные птицы, сколько красавиц бабочек, похожих на летающие цветы,— и цветов, похожих на бабочек...

— Мы на севере только гости, нам холодно,— шептали все эти южные растения.

Родные полевые цветочки даже пожалели их. В самом деле, нужно иметь большое терпение, когда дует холодный северный ветер, льет холодный дождь и падает снег. Положим, весенний снежок скоро тает, но все-таки снег.

— У вас есть громадный недостаток,— объяснил Василек, наслушавшись этих рассказов.— Не спорю, вы, пожалуй, красивее иногда всех нас, простых полевых цветочков,— я это охотно допускаю... Да... Одним словом, вы наши дорогие гости, а ваш главный недостаток в том, что вы растете только для богатых людей, а мы растем для всех. Мы гораздо добрее. Вот я, например,— меня вы увидите в руках у каждого деревенского ребенка. Сколько радости доставляю я всем бедным детям!.. За меня не нужно платить денег, а только стоит выйти в поле. Я расту вместе с пшеницей, рожью, овсом...

III

Аленушка слушала всё, о чем рассказывали ей цветочки, и удивлялась. Ей ужасно захотелось посмотреть всё самой, все те удивительные страны, о которых сейчас говорили.

— Если бы я была ласточкой, то сейчас же полетела бы,— проговорила она наконец.— Отчего у меня нет крылышек? Ах, как хорошо быть птичкой...

Она не успела еще договорить, как к ней подползла божья Коровка, настоящая божья Коровка, такая красненькая, с черными пятнышками, с черной головкой и такими тоненькими черными усиками и черными тоненькими ножками.



— Аленушка, полетим! — шепнула божья Коровка, шевеля усиками.

— У меня нет крылышек, божья Коровка!

— Садись на меня...

— Как же я сяду, когда ты маленькая?

— А вот смотри...

Аленушка начала смотреть и удивлялась всё больше и больше. Божья Коровка расправила верхние жесткие крылья и увеличилась вдвое, потом распустила тонкие, как паутина, нижние крылышки, и сделалась еще больше. Она росла на глазах у Аленушки, пока не превратилась в большую-большую, в такую большую, что Аленушка могла свободно сесть к ней на спинку, между красными крылышками. Это было очень удобно.

— Тебе хорошо, Аленушка? — спрашивала божья Коровка.

— Очень.

— Ну, держись теперь крепче...

В первое мгновение, когда они полетели, Аленушка даже закрыла глаза от страха. Ей показалось, что летит не она, а летит все под ней — города, леса, реки, горы. Потом ей начало казаться, что она сделалась такая маленькая-маленькая, с булавочную головку, и притом легкая, как пушинка с одуванчика. А божья Коровка летела быстро-быстро, так, что только свистел воздух между крылышками.

— Смотри, что там внизу... — говорила ей божья Коровка.

Аленушка посмотрела вниз и даже всплеснула ручонками.

— Ах, сколько роз... красные, желтые, белые, розовые!..

Земля была точно покрыта живым ковром из роз.

— Спустимся на землю,— просила она божью Коровку.

Они спустились, причем Аленушка сделалась опять большой, какой была раньше, а божья Коровка сделалась маленькой.

Аленушка долго бегала по розовому полю и нарвала громадный букет цветов. Какие они красивые, эти розы; и от их аромата кружится голова. Если бы всё это розовое поле перенести туда, на север, где розы являются только дорогими гостями!..

— Ну, теперь летим дальше,— сказала божья Коровка, расправляя свои крылышки.

Она опять сделалась большой-большой, а Аленушка — маленькой-маленькой.

IV

Они опять полетели.

Как было хорошо кругом! Небо было такое синее, а внизу еще синее — море. Они летели над крутым и скалистым берегом.

— Неужели мы полетим через море? — спрашивала Аленушка.

— Да... только сиди смирно и держись крепче.

Сначала Аленушке было даже страшно, а потом — ничего. Кроме неба и воды, ничего не осталось. А по морю неслись, как большие птицы с белыми крыльями, корабли... Маленькие суда походили на мух. Ах, как красиво, как хорошо!.. А впереди уже виднеется морской берег — низкий, желтый и песчаный, устье какой-то громадной реки, какой-то совсем белый город, точно он выстроен из сахара. А дальше виднелась мертвая пустыня, где стояли одни пирамиды. Божья Коровка опустила

на берегу реки. Здесь росли зеленые папирусы и лилии, чудные нежные лилии.

— Как хорошо здесь у вас,— заговорила с ними Аленушка.— Это у вас не бывает зимы?

— А что такое зима? — удивлялись Лилии.

— Зима — это когда идет снег...

— А что такое снег?

Лилии даже засмеялись. Они думали, что маленькая северная девочка шутит над ними. Правда, что с севера каждую осень прилетали сюда громадные стаи птиц и тоже рассказывали о зиме, но сами они ее не видали, а говорили с чужих слов. Аленушка тоже не верила, что не бывает зимы. Значит, и шубки не нужно и валенок?

Полетели дальше. Но Аленушка больше не удивлялась ни синему морю, ни горам, ни обожженной солнцем пустыне, где росли гиацинты.

— Мне жарко... — жаловалась она.— Знаешь, божья Коровка, это даже нехорошо, когда стоит вечное лето.

— Кто как привык, Аленушка.

Они летели к высоким горам, на вершинах которых лежал вечный снег. Здесь было не так жарко. За горами начались непроходимые леса. Под сводом деревьев было темно, потому что солнечный свет не проникал сюда сквозь густые вершины деревьев. По ветвям прыгали обезьяны. А сколько было птиц — зеленых, красных, желтых, синих... Но всего удивительнее были цветы, выросшие прямо на древесных стволах. Были цветы совсем огненного цвета, были пестрые; были цветы, походящие на маленьких птичек и на больших бабочек,— весь лес точно горел разноцветными живыми огоньками.

— Это орхидеи,— объяснила божья Коровка.

Ходить здесь было невозможно — так всё переплелось.

Они полетели дальше. Вот разлилась среди зеленых берегов громадная река. Божья Коровка опустилась прямо на большой белый цветок, росший в воде. Таких больших цветов Аленушка еще не видала.

— Это — священный цветок, — объяснила божья Коровка. — Он называется лотосом.

V

Аленушка так много видела, что, наконец, устала. Ей захотелось домой: все-таки дома лучше.

— Я люблю снежок, — говорила Аленушка. — Без зимы нехорошо...

Опять они полетели, и чем поднимались выше, тем делалось холоднее. Скоро внизу показались снежные поляны. Зеленел только один хвойный лес. Аленушка ужасно обрадовалась, когда увидела первую елочку.

— Елочка, елочка! — крикнула она.

— Здравствуй, Аленушка! — крикнула ей снизу зеленая Елочка.

Это была настоящая рождественская елочка, — Аленушка сразу ее узнала. Ах, какая милая елочка!.. Аленушка наклонилась, чтобы сказать ей, какая она милая, и вдруг полетела вниз. Ух, как страшно!.. Она перевернулась несколько раз в воздухе и упала прямо в мягкий снег. Со страха Аленушка закрыла глаза и не знала, жива ли она или умерла.

— Ты это как сюда попала, крошка? — спросил ее кто-то.

Аленушка открыла глаза и увидела седого-се-

дого, сгорбленного старика. Она его тоже узнала сразу. Это был тот самый старик, который приносит умным деткам святочные елки, золотые звезды, коробочки с бомбошками и самые удивительные игрушки. О, он такой добрый, этот старик!.. Он сейчас же взял ее на руки, прикрыл своей шубой и опять спросил:

— Как ты сюда попала, маленькая девочка?

— Я путешествовала на божьей Коровке... Ах, сколько я видела, дедушка!..

— Так, так...

— А я тебя знаю, дедушка! Ты приносишь деткам елки...

— Так, так... И сейчас я устраиваю тоже елку.

Он показал ей длинный шест, который совсем уж не походил на елку.

— Какая же это елка, дедушка? Это просто — большая палка...

— А вот увидишь...

Старик понес Аленушку в маленькую деревушку, совсем засыпанную снегом. Выставлялись из-под снега одни крыши да трубы. Старика уж ждали деревенские дети. Они прыгали и кричали:

— Елка!.. Елка!..

Они пришли к первой избе. Старик достал необмолоченный сноп овса, привязал его к концу шеста, а шест поднял на крышу. Сейчас же налетели со всех сторон маленькие птички, которые на зиму никуда не улетают: воробышки, кузьки, овсянки, — и принялись клевать зерно.

— Это наша елка! — кричали они.

Аленушке вдруг сделалось очень весело. Она в первый раз видела, как устраивают елку для птичек зимой. Ах, как весело!.. Ах, какой добрый старичок! Один воробышек, суетившийся больше всех, сразу узнал Аленушку и крикнул:

— Да ведь это Аленушка! Я ее отлично знаю...
Она меня не один раз кормила крошками. Да...

И другие воробышки тоже узнали ее и страшно запищали от радости.

Прилетел еще один воробей, оказавшийся страшным забиякой. Он начал всех расталкивать и выхватывать лучшие зерна. Это был тот самый воробей, который дрался с ершом. Аленушка его узнала.

— Здравствуй, воробышек!..

— Ах, это ты, Аленушка? Здравствуй!..

Забияка воробей попрыгал на одной ножке, лукаво подмигнул одним глазом и сказал доброму святочному старику:

— А ведь она, Аленушка, хочет быть царицей... Да, я давеча слышал сам, как она это говорила.

— Ты хочешь быть царицей, крошка? — спросил старик.

— Очень хочу, дедушка!

— Отлично. Нет ничего проще: всякая царица — женщина, и всякая женщина — царица... Теперь ступай домой и скажи это всем другим маленьким девочкам.

Божья Коровка была рада убраться поскорее отсюда, пока какой-нибудь озорник воробей не съел. Они полетели домой быстро-быстро... А там уж ждут Аленушку все цветочки. Они всё время спорили о том, что такое царица.

Баю-баю-баю...

Один глазок у Аленушки спит, другой — смотрит; одно ушко у Аленушки спит, другое — слушает. Все теперь собрались около Аленушкиной кроватки: и храбрый Заяц, и Медведко, и забияка Петух, и Воробей, и Воронушка — черная головушка, и Ерш Ершович, и маленькая-маленькая Козюлочка. Все тут, все у Аленушки.



— Папа, я всех люблю...— шепчет Аленушка.— Я и черных тараканов, папа, люблю...

Закрылся другой глазок, заснуло другое ушко...
А около Аленушкиной кровати зеленеет весело
весенняя травка, улыбаются цветочки,— много цветочков: голубые, розовые, желтые, синие, красные.
Наклонилась над самой кроваткой зеленая березка
и шепчет что-то так ласково-ласково. И солнышко
светит, и песочек желтеет, и зовет к себе Аленушку
синяя морская волна...

— Спи, Аленушка! Набирайся силушки...
Баю-баю-баю...



Примечания

Сказки публикуются по образцовым в текстологическом отношении редакциям и в соответствии с традицией детских изданий. В примечаниях приводятся сведения о времени написания, первоначальной публикации сказок. В ряде случаев характеризуются некоторые стороны работы писателей, важные для понимания их творчества. Предложено объяснение малоупотребительных, местных слов, а также дается пояснение трудных для понимания подробностей.

Александр Сергеевич Пушкин
(1799—1837)

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ
БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ
ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ (с. 21)

Сказка датирована поэтом 29 августа 1831 года. Первоначальная публикация в 1832 году. Сюжет и многие подробности взяты из народной сказки, записанной Пушкиным в селе Михайловском (1824—1826). В краткой записи поэта ничего не говорится о царевне Лебеди. Созданный Пушкиным образ схож с образом невесты-птицы из былин и свадебных песен. Тридцать три богатыря, выходящие из моря, в народной сказке — братья Гвидона, а не Лебеди, как у Пушкина. Среди чудес острова, на котором правит Гвидон, — дуб, на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет. Эта подробность использована во вступлении к поэме «Руслан и Людмила». Фольклорная сказка подвергнута существенной правке в соответствии с замыслом Пушкина.



С сватьей бабой Бабарихой...— Сватья — старшая родственница; она выдавала девушку (дочь, племянницу и пр.) замуж. *Бабариха* — в народных сказках шуточное прозвище бабы. Бабариха названа «бабушкой» Гвидона: «Не жалеет он очей старой бабушки своей».

В колымагах золотых... — в больших каретах, отделанных под золото.

Да спокойно в свой удел...— *Удел* — княжество, владение, земля.

И приставлен дьяк приказный...— *Дьяк* — чин в управлении, приказе. Начальником приказа был дьяк, у дьяка в подчинении находились подьячие. Все служащие приказа именовались приказными.

Девки сыплют изумруд в кладовые да под спуд...— *Спуд* — кадка, вообще сосуд. *Под спуд* — в плотно закрытом либо прикрытом виде.

Идут витязи четами...— *Чета* — пара. Воины идут рядами, попарно.

Торговали мы булатом... — то есть восточной сталью, оружием и другими изделиями из стали.

Торговали мы недаром неуказанным товаром... — Корабельщикам разрешено торговать товарами, которыми другим купцам торговать запрещалось. Для обычной торговли существовал перечень — указанные товары. *Неуказанный* — запрещенный.

И свекровь свою ведет.— *Свекровь* — мать мужа; здесь: мать Гвидона по отношению к царевне Лебеди.

СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ (с. 50)

Закончена Пушкиным в Болдине 13 сентября 1830 года. При жизни поэта не печаталась. Царское правительство и цензура запрещали вольно толковать вопросы религии и критиковать духовенство. Создана на основе народной сказки, записанной в Михайловском. Летом 1831 года поэт читал свою сказку Н. В. Гоголю. Она привела его в восторг: «Одна сказка даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая».

Жил-был поп, толоконный лоб...— Прозвище попа заимствовано из народных сказок: насмешка облекалась в форму язвительного замечания об отсутствии духовности в церковном устройстве — церковь сложена из пирогов, блином на-

крыта, паникадило репяное, свечи морковные, образа пряничные. По этой причине и поп назван толоконным лбом. *Толокно* — толченая овсяная мука.

Есть же мне давай вареную полбу. — *Полба* — вид пшеницы низкого сорта.

Выбери себе любую мету. — *Мета* — здесь: намеченная цель.

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ (с. 55)

Сказка датирована 4 ноября 1833 года. Опубликовано в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году. Написана на основе народной сказки. Пушкин изменил сюжет, хотя и сохранил его общий характер: в народной сказке мачеха под видом нищенки приходит к царевне, живущей у богатырей, дарит рубашку; надев ее, царевна умирает, и проч.

Вот в сочельник в самый, в ночь... — то есть накануне церковного праздника рождества.

Молодица — молодая замужняя женщина.

На девичник собираясь... — *Девичник* — предсвадебный прощальный вечер невесты с подругами.

Сенная девушка — служила на посылках, находилась в сенях, в прихожей, перед барскими комнатами.

Подворье — усадьба: дом, двор с хозяйственными постройками.

От зеленого вина отрекалася она... — *Зеленое вино* — приготовленное из зелья, злака, пшеницы.

Сорочина в поле спешить. — *Сорочин* — сарацин, наездник на коне, чужестранец с Востока. *Спéшить* — сбить с коня, заставить сражаться на ногах.

Аль товар не по купцам? — По народному обычаю, речь при сватовстве вели иносказательно: *товар* — невеста, *купцы* — сваты.

Рогатка — деревянный ошейник с четырьмя длинными концами («рогами»), мешал наказанному спать.

Черница — монахиня, странница в черной одежде.

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ (с. 71)

Датирована 20 сентября 1834 года. Напечатана в журнале «Библиотека для чтения» в 1835 году. В опубликованном тексте были произведены изъятия. В дневнике Пушкин за-

писал: «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке: «Царствуй, леж на боку» и «Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок». Времена Красовского возвратились». Красовский — до 1828 года цензор Петербургского цензурного комитета — заслужил репутацию фанатичного и тупого гонителя прогрессивных писателей. Сюжет сказки взят поэтом из «Легенды об арабском звездочете» (1832) Вашингтона Ирвинга, в свою очередь заимствовавшего арабское предание. Пушкин столь сильно изменил сюжет, что произведение обрело черты оригинального творения.

Скопец — оскопленный, лишенный способности иметь детей.

Стан — здесь: военный лагерь.

Осьмой — восьмой.

Шелом — шлем, железная защита от ударов меча.

Мурава — мелкая густая трава.

Шамаханская царица — восточная. *Шемаха* (по-народному — Шамаха) — город, расположенный недалеко от Баку.

Сарачинская (о шапке) — здесь: восточная.

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ (с. 78)

В черновике сказки помета: «14 октября 1833 г., Болдино». Первоначальная публикация — «Библиотека для чтения», 1835, т. X, отделение 1, кн. 17, с. 5—11. Сюжет сказки международный. Пушкин пользовался разными источниками; кроме русских сказок, немецкой из сборника братьев Вильгельма и Якоба Гримм. Известный текстолог С. М. Бонди писал, что поэт «брал, когда это было нужно, те или иные мотивы, сюжеты из иноязычного фольклора, чудесным образом превращая их в подлинно русские» (С. Бонди. Черновики Пушкина. Статьи 1930—1970 гг. М., 1971, с. 52). Образ золотой рыбки — оригинальное создание поэта. Бытовые черты для сказки взяты из русской жизни.

Светелка — чистая, светлая комната — горница, отделенная от кухни сенями.

Черная крестьянка.— Черными людьми называли в старину всех людей, которые платили подать властям.

Столбовая дворянка — потомственная, с правом передачи дворянства потомству. Дворянская родословная записывалась

столбцом — сначала шли имена дедов, родителей, а потом имена их детей, внуков.

Душегрейка — безрукавная женская кофта, сборчатая сзади.

Кичка — кика, женский головной убор с украшениями.

Жемчуги огрузили шею... — *Огрузить* — тяжело свисать.

Чупрун — чуб, хохол.

Пряник печатный — пряник с оттиском: с каким-либо изображением, буквами.

Василий Андреевич Жуковский

(1783—1852)

ВОЙНА МЫШЕЙ И ЛЯГУШЕК (с. 85)

Сказка написана в августе — сентябре 1831 года. Напечатана в журнале «Европеец» в январе 1831 года с подзаголовком «Отрывок из неоконченной повести». Источник сказки В. А. Жуковского — древнегреческая комическая поэма «Батрахомиомахия» — пародия на эпос. Сочинителем пародии считают Пигрета Карийского (конец VI — начало V в. до н. э.). Жуковскому была известна сходная с нею поэма «Лягушкомышатник» («Der Froschmeuseler») немецкого писателя Георга Ролленхагена (1542—1609). На поэме Жуковского лежит печать сатиры на современных поэту литераторов. Кот Федот Мурлыка в черновике носил имя Фаддея Мурлыки, что указывало на писателя-доносчика Ф. В. Булгарина. В премудрой крысе Онуфрии Жуковский изобразил самого себя. Независимо от намеков сказка обладает высокими художественными достоинствами — пародийным воспроизведением царского быта и государственных ритуалов.

Квакун двадесятый — то есть Квакун двадцатый. *Двадесятый* — от двадесать — два десятка.

То, что чувствовал Дарий... — *Дарий* — древнеперсидский царь из династии Ахменидов.

Квакун посылает хорунжего Пышку... — *Хорунжий* — знаменосец, первый офицерский чин в казачьих войсках.

Ветчиння — кладовая, где хранят ветчину, окороки и пр.



СКАЗКА О ЦАРЕ БЕРЕНДЕЕ, О СЫНЕ ЕГО ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ, О ХИТРОСТЯХ
КОЩЕЯ БЕССМЕРТНОГО И О ПРЕМУДРОСТИ МАРЬИ-ЦАРЕВНЫ,
КОЩЕЕВОЙ ДОЧЕРИ (с. 99)

Сказка написана в августе 1831 года. Первая публикация состоялась в столичном, петербургском сборнике «Новоселье» (1833). Общепризнано, что сюжет и многие подробности излагаются поэтом в полном согласии с народной сказкой. Ее запись была получена Жуковским от Пушкина. Свидетель тесного общения Жуковского с Пушкиным Н. В. Гоголь писал А. С. Данилевскому осенью 1831 года: «...Чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт, и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего». Жуковский и в остальных своих сочинениях был чисто русским художником. Суждение Гоголя верно в другом смысле — в том, что в сказке Жуковского в сильнейшей степени и полно выразилась прямая зависимость от русского фольклора в передаче сюжета, его характерных подробностей, самих имен героев: царя Берендея, Кощeya бессмертного, Марьи-царевны и других. В ряде случаев обнаруживается и восприятие подробностей, известных Жуковскому по немецким сказкам: такова творческая разработка мотива забытой невесты — превращение Марьи в белый камень, а потом — в голубой цветок у дороги. В русской сказке (и в записи Пушкина) этот эпизод отсутствует, хотя налицо все остальные подробности в развитии мотива: как Марья печет пирог, как оживляет слепленных из теста и испеченных голубков и проч.

Проклятый демон — злой дух, таинственное существо.

Отпели молебен... — *Молебен* — краткая церковная служба; *отпеть молебен* — пропеть, отслужить.


Не пейись — не имей попечения о чем-либо, не заботься.

Карбункул — драгоценный камень.

Регулярный сад — имеющий правильную форму, хорошо организованный.

СКАЗКА О ИВАНЕ-ЦАРЕВИЧЕ И СЕРОМ ВОЛКЕ (с. 120)

Сказка написана в 1845 году (между 27 марта и 6 апреля) и в том же году была напечатана в журнале «Современник» с пометой «1 июля 1845. Франкфурт на М(айне)», которая, вероятно, указывает на полное завершение к этому времени работы над текстом, но не исключено, что это всего лишь дата



отправки сказки вместе с письмом: оно тоже помечено этим же числом. Жуковский писал о себе, что «заглядывает» в русские сказки, хотя и работает над переводом «Одиссеи», и что посылает для журнала «Сказку о Иване-царевиче и Сером Волке» — «во всех статьях русскую, рассказанную просто, на русский лад, без примеси посторонних украшений». «...Мне хотелось,— продолжал поэт,— в одну сказку впрятать многое характеристическое, рассеянное в разных русских народных сказках; под конец же я позволил себе и разболтаться». Жуковский, по-видимому, отметил подробное описание свадебного пира и прибытие в столицу в графской карете Серого Волка.

Облеснуло (от слова «блеснуть») — осветило.

Камергеры — придворные со званием камергера.

Травить — преследовать с помощью собак для поимки, истребления.

Как на току усердный цеп...— *Цеп* — ручное орудие для молотбы: длинная рукоять — палка с прикрепленным на конце билом. *Ток* — расчищенное место для молотбы.

Бирючи — глашатаи, извещали о решениях властей, громко читали на площадях указы.

Статские — гражданские чины.

Мелкопоместные (о дворянах) — небогатые, владевшие небольшими поместьями.

Гейдуки в золотых ливреях.— *Гейдук, гайдук* — слуга; *ливрея* — одежда особого покроя, с нашивками.

Пироги подовые — испеченные на поду, на кирпичях топки, без противня.

Съезжая — полицейский участок, помещение при полиции для арестованных.

Басоны — узорная плетеная тесьма, позументы.

Червлёное поле — здесь: красный фон в гербе знатной особы.

Лайковые (о перчатках) — из мягкой кожи особой выделки.

Сафьянные (о туфлях) — сафьяновые, из выделанной козловой кожи.

Статс-дамы — женщины, состоящие в царской свите.

Фрейлины — придворные девушки, состояли при царствующей особе — царице и др.

Что будет он по чину в первом классе...— *Класс* — разряд, степень чина в уставном документе — табели о рангах.



Михаил Юрьевич Лермонтов
(1814—1841)

Создатель «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» наряду с глубоким творческим усвоением традиций песенного фольклора всегда интересовался сказками. На Кавказе поэт узнал сказку об Ашик-Керибе: ашик — ашуг, народный певец; кериб — странник, бедняк. Сказка была записана поэтом и обработана им. Предполагают, что «турецкая сказка», как ее назвал поэт, — одна из разновидностей азербайджанского дастана «Ашыг-Гариб» (см.: Якубова С. Азербайджанское народное сказание «Ашыг-Гариб». Баку, 1968).

АШИК-КЕРИБ (с. 155)

Датируется временем первой ссылки Лермонтова — 1837 годом, когда, путешествуя по Кавказу, поэт усиленно изучал местный фольклор.

Тифлиз (Тифлис) — Тбилиси.

Газель — парнокопытное животное, джейран; здесь в переносном смысле: девица, любимая, красавица.

Ага — господин.

Караван-сарай — постоянный и торговый двор в городе, на дороге.

Оглан — юноша.

Минарет — башня у мечети или вблизи ее, с нее сзывали мусульман на молитву.


Селям алейкум! — Здравствуйте!

Намаз — ежедневное пятикратное моление.

Петр Павлович Ершов
(1815—1869)

КОНЕК-ГОРБУНОК (с. 167)

Первая публикация в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году (первая часть), целиком в виде отдельного издания — в том же году. Неоднократно издавалась при жизни писателя. В четвертое издание сказки (1856) Ершов внес много исправлений. В пятое издание (1861) внесена новая



правка. Настоящий текст печатается по этому изданию. Сюжет сказки заимствован из народных сказок. По словам Ершова, он привел сказку «в стройный вид». Стихотворное переложение явилось новым художественным созданием: сказка обогащена множеством разных подробностей и существенно дополнена поэтом.

Сеннік — навес, под которым хранилось сено, или чердак, служивший той же цели.

Лубкі — дешевые картинки, большей частью раскрашенные, с изображениями героев сказок, былин и пр.

Малахэй — длиннополая широкая одежда без пояса, а также меховая шапка с ушами.

Виснет пластью надо рвами... — *Пластью* — пластом, распластавшись.

Ни за черную, слышь, бабку. — *Бабка* — игральная кость, надкопытный сустав коровы; употреблялась как бита.

Пастуший балаган — загон с навесом, шалаш.

«*Ходил молодец на Пресню*». — Популярная в XVIII и XIX вв. песня на слова А. О. Аблесимова из комической оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779).

Жобы — тиски.

Я, слышь, слов-то не померил... — *Померить* — здесь: обдумать, свериться с истиной.

Натянувшись зельно пьян... — сильно напившись.

Очи яхонтом горели. — *Яхонт* — старинное название драгоценных камней — рубина, сапфира.

Седмица — неделя, начиная с воскресенья.

Басурманить христиан — обращать в чужую веру; *басурманин* — человек чужой веры, магометанин.

Уши в зягребі берет... — берет всеми пятью пальцами.

Некорыстный наш живот. — Честно заработанный достаток, богатство; *живот* — имущество, добро, жизнь.

Наконец вот так вершили... — *Вершили* — здесь: закончили речь, решили.

Да к тому ж старик не может... — старик отец хворает, болеет.

Кто-петь знает, что горит! — *Петь* — частица, употребляемая в некоторых народных говорах для усиления вопросительной, восклицательной интонации.

Коль станичники пристали... — если остановились разбойники; *станичники* (от слова «стан» — становище).

Шайтан — черт, дьявол, бес, сатана.



Обедня — церковная служба, бывает либо утром, либо в первую половину дня.

Рядом едет с ним глашатый... — *Глашатый* объявлял волю царя, воеводы, городничего (от глагола «гласить» — оглашать).

Гости — купцы.

Содбм — здесь: шум, беспорядок.

Стрельцы — старинное войско на Руси, стрельцы охраняли царя, служили по окраинам государства в гарнизонах.

Два-пять шапок серебра. — *Два-пять* — старинная форма числа десять.

И с сафьянными бичами. — Бичи из сафьяна, из тонкой кожи.

Конюшенна — конюшенный приказ, завод; в Древней Руси служба, ведавшая царскими конюшнями, охотой.

Опояска — длинный кусок материи, им подпоясывались поверх тулупа, армяка; в опояску зашивали деньги, чтобы не потерять.

Постучали ендовбй — выпили. *Ендова* — большой, широкий, медный либо глиняный сосуд — чаша с носиком-рыльцем, служила для разлива питья.

Суседко — домовою, покровитель дома, в особенности — коней.

Каурка (коурка) — лошадь рыжей (каурой) масти; в народных сказках — вещей конь, помощник.

Черный зверь — в Сибири — медведь.

Миряне — крестьяне, живущие миром, в общине.

Спальник — придворный чин в допетровское время.

Пригча — здесь: дурной случай, странность, непонятное дело.

Католицушкой держит крест... — Католический крест — четырехконечный, без перекладин.

Пост — дни, когда церковь запрещала есть мясную пищу.

Царский клад — перо *Жар-птицы*. — По закону любая найденная драгоценность принадлежала царю.

Сусёк — отгороженное место, где хранился овес, вообще зерно.

Прокументы (позументы) — золотая или серебряная тесьма, нашивалась на рукава, воротник, подол.

Сафьян — тонкая мягкая кожа разного цвета, выделялась из козьей шкуры, реже — из шкур овец, телят, жеребят.

Сыта медвяная — медовый взвар.

Белоярово пшено — кукуруза; в сказках — конский корм.
Так храпит, как Еруслан... — Еруслан Лазаревич — герой сказок, богатырь.

Скрючась обручем таловым... — Таловый — ивовый.

Посыльные дворяна — придворные.

Рядовой — слуга.

Нет пера, да и шабалки!.. — Нет пера, да и конец — шабаш, шабалки.

Запираться — отказываться, скрывать, отнекиваться.

Рядиться — договариваться (ряда — уговор).

На правёж — в решетку — на кол! — *Правёж* — пытка, битье батогами, палками; *решетка* — клетка, тюрьма; *посадить на кол* — предать казни.

Решеточные — тюремные сторожа, они же пожарные.

Царский стремянной — придворный, в его обязанности входило при царском въезде находиться у стремени, ухаживать за верховой лошастью.

Да читали Еруслана. — То есть читали про Еруслана (см. выше).

У далеких немских стран... — в чужедальних краях. *Немский* — зарубежный (от слова «немец»: так в Древней Руси называли всех иностранцев).

Сиречь молвить — иначе сказать, то есть.

Ширинка — широкое полотенце.

Прибор — весь заморского варенья... — литая металлическая посуда, привезенная из-за моря.

И балясы начал снова... — начал болтать, вести пустые речи.

Посадила на шесток... — *Шесток* — предпечье, место перед отверстием в печную топку.

Дело мешкотно творится — медленно.

И поведай мне вину... — *Вина* — здесь: причина.


Сухотка — сухота, болезненная худоба.

Ну, как спичка, слышь, тонка... — *Спичка* — спица, тонкая, заостренная жердь, деревянный гвоздь для вешания полотенца, вязальная игла, лучина.

Поведет тебя к налою. — *Налой* — аналой, аналогий — четырехугольный столик в церкви, с покатым верхом; во время венчания жениха и невесту обводили вокруг него.

К водяному сесть в приказ... — утонуть, пойти ко дну, иронически; *приказ* — государственное учреждение в Древней Руси.

Словно шел Мамай войной! — *Мамай* — монголо-татар-

ский хан, оставил по себе недобрую память как жестокий завоеватель, совершал набеги на Русь и был разбит Дмитрием Донским на Куликовом поле.

Поп с причетом всем служебным...— *Причет* — священник, дьякон с псаломщиком, состоящие при одной церкви.

Думный дворянин — незнатного рода младший член царской думы.

Земский суд — местный суд, разбирает малозначительные дела; в Сибири существовал до 1867 года.

Он молился о прощенье...— просил простить.

Завтра срочное число... — завтра срок.

Челядь — слуги.

Вон отсюда, бѣлестъ злая! — *Болезнь* — падучая, тяжелая болезнь; царь бранится.

Чтобы лезя похорошеть! — чтобы можно похорошеть (ср. «нельзя»).

Твоего ради талана...— ради твоей удачи, счастья.

Бочки с фряжским выставляют.— *Фряжское* — заморское вино, его привозили итальянцы — фрязи, купцы из Генуи.

Сергей Тимофеевич Аксаков
(1791—1859)

АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (с. 241)

Сказка была опубликована в приложении к автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука», над которой писатель работал в продолжение 1856—1857 годов. Книга и сказка увидели свет в 1858 году. С. Т. Аксаков писал: «По совету тетушки, для нашего усыпления позвали один раз ключницу Палагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать... Пришла Палагея, не молодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных», села у печки, подгорюнилась одною рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некиим царстве, в некиим государстве...» Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек». Писатель признавался: «Я попытался вспомнить ее». Аксаков воспроизвел манеру рассказывания сказочницы.

Парча — шелковая ткань, расшитая золотыми и серебряными нитями.

Бурмицкий жемчуг — крупный, восточного происхождения.

Самоцветные камни — драгоценные камни, красные (рубины), синие или голубые (сапфиры).

Да для моей казны супрогивного нет... — достаточно денег, чтобы все купить.

Тувалет — туалет, стол с зеркалом и всеми принадлежностями.

Беспорочный — без повреждений, трещин, без изъяна.

Инда — даже, так что.

Кармазинное сукно — тонкое, красного цвета.

Без сумления — без сомнения, без опаски.

Я хоронил его паче зеницы ока... — то есть я сохранял, берег его больше, чем глаза.

Ширинка — здесь: полотенце, платок.

Золото аравийское — восточное, привезенное из Аравии, полуострова, расположенного между Персидским заливом, Аравийским и Красным морями.

Прыскачий — быстрый.

Камка — шелковая ткань с узорами.

Опочивальня — опочивальная, спальня.

Пригорок муравчатый — поросший мелкой и сочной травой-муравой.

Девушка сенная — см. пояснение к сказке А. С. Пушкина «О мертвой царевне и о семи богатырях».

Середович — человек средних лет.

Челядь дворовая — слуги, дворовые.

Аглицкие (о часах) — английские.

Глас послушания — ответный голос.

Кавалеры ратные — пожалованные орденами за воинскую службу; почетное название солдат вообще.

Владимир Федорович Одоевский

(1803 или 1804—1869)

Писатель стремился осуществить в художественном творчестве свои педагогические идеи. Сказочный вымысел он сочетал с намерением «укрепить умственные силы ребенка», дать пищу для работы его ума. Содержание сказок — изложение нравственных идей и положительных знаний о мире.



Писатель желал следовать принципу наглядности — «не дробя предмета искусственно, но представляя его в живой цельности».

МОРОЗ ИВАНОВИЧ (с. 269)

Первоначальная публикация отдельной книгой в Петербурге в 1847 году с подзаголовком «Детская сказка дедушки Иринея». Написана на основе народной сказки о Морозке. Фольклорный сюжет обработан. В. Г. Белинский высоко отозвался о художественных достоинствах сказки.

Студенец — колодец (от слова «студеный» — холодный, о воде).

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ (с. 278)

Первоначальная публикация (отдельное издание) в 1834 году. В. Г. Белинский писал о сказке: «...Через нее дети поймут жизнь машины как какого-то живого, индивидуального лица, и под нею не странно было бы увидеть имя самого Гофмана».

Из городка мы — ни пяди... — Ни пяди — здесь: ни на шаг. *Пядь* — старинная мера длины, расстояние между растянутыми пальцами — указательным и большим.

ИНДИЙСКАЯ СКАЗКА О ЧЕТЫРЕХ ГЛУХИХ (с. 287)

Первоначальная публикация в журнале «Детская библиотека» в 1835 году. Автор предпослал сказке краткий географический очерк, в котором говорилось о местоположении Индии, ее природных богатствах, верованиях, архитектуре и литературе.

Тальяри — деревенский сторож.

Антоний Погорельский
(Алексей Алексеевич Перовский)
(1787—1836)



ЧЕРНАЯ КУРИЦА, или ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ (с. 293)

Первая публикация в Петербурге в 1829 году. Написана для племянника, Алексея Константиновича Толстого, впоследствии ставшего известным поэтом и прозаиком. Герой сказки назван его именем. Художественное дарование Антония Погорельского высоко ценил А. С. Пушкин. Лев Толстой свидетельствовал, что сказочная повесть о черной курице имела на него «очень большое влияние». Сказка напоминает творчество немецкого писателя-романтика Теодора Амадея Гофмана, с которым Погорельский познакомился во время военной службы в Саксонии. Вместе с тем сказка Погорельского свободна от какого-либо подражания Гофману. Писатель — мастер картин из русского быта.

Лет сорок тому назад... — то есть в 80-х годах XVIII века. Как известно, сказка написана в 1829 году.

На Васильевском острове, в Первой линии... — *Васильевский остров* — часть Петербурга, между Большой и Малой Невой. *Линия* — ряд домов по каждой стороне улицы.

Мужской пансион — школа-интернат: воспитанники жили при школе.

Особливо — особенно.

Вакантное время — свободное от занятий время, каникулы.

Барочные доски — доски, шедшие на изготовление речных судов — барок.

Талисман — предмет, который, по представлению суеверных людей, приносит счастье, хранит от бед.

Букли — волнистые завитки волос, локоны. *Тупей* — взбитый хохол на голове.

Локоны и шиньон и взгромоздил на ее голове целую оранжерею разных цветов... — *Шиньон* — женская прическа, как правило, из пришпиленных чужих волос; *оранжерея* — здесь: множество цветов.

Салон — широкое дамское пальто.

Империял — золотая монета стоимостью в десять рублей.

Имение — здесь: сбережение.

И учительша начала приседать... — По старинному этикету



при встрече и расставании женщина приседала, делала реверанс, поклон с приседанием.

Бергамот — сорт груши.

Бекеша на беличьем меху — долгополое теплое пальто, сшитое в талию, со сборками.

Шандáлы — подсвечники.

Из голландских изразцов, на которых нарисованы были синей муравой люди и звери. — *Изразец* — тонкая плитка из обожженной глины, покрытая с лицевой стороны глазурью, особым глянцевым сплавом, *муравой* — жидким цветным стеклом.

Пажí — мальчики из дворянских семей, прислуживали знатым господам, королю.

Владимир Иванович Даль

(1801—1872)

Материал для своих сказок писатель собрал много ранее, чем выпустил их в своей обработке в виде двух книг: «Первая первинка полуграмотной внучке. Сказки, песенки, игры» (СПб., 1871); «Первинка, другая. Внучке грамотейке с неграмотною братиею. Сказки, песенки, игры» (СПб., 1871). Кроме того, В. И. Даль отредактировал и «пересмотрел» рукописи своей жены Е. Л. Даль (Соколовой), в которых, несомненно, была доля и его творчества: «Крошки» (СПб., 1870), «Картины из быта русских детей» (СПб., 1875) и др. Спустя время по традиции в детские сборники включались сказки и рассказы, не предназначенные писателем для детей: «Солдатские досуги» (1843), «Матросские досуги» (1853).

Из «Солдатских досугов» взяты следующие сказки: «Расторопные ребята» (фрагмент), «Солдатский привар», «Что значит досуг» (фрагмент рассказа «Исправность и расторопность»), «О дятле» (у В. И. Даля — «Притча о дятле»), «Лучший певчий» (у В. И. Даля — «Притча о вороне»), «У тебя у самого свой ум». Остальные сказки («Девочка Снегурочка» и др.) взяты из детских книг писателя.

Из «Матросских досугов» взяты «Ворожея» (фрагмент), «Ветер».

РАСТОРОПНЫЕ РЕБЯТА (с. 329)

Судок — столовый прибор.

Исподняя (о половине) — нижняя.

Киверный прибор (кивер) — военный головной убор.



Целковый — рубль.

СОЛДАТСКИЙ ПРИВАР (с. 332)

Дневка — остановка на сутки.

Тюря на квасу — хлеб, накрошенный в квас.

Клеть — чулан.

ДЕВОЧКА СНЕГУРОЧКА (с. 334)

Пестовать — растить, носить на руках, ухаживать, воспитывать.

Сдобная кокурочка — кокура, кокурка, булочка.

Пушняк — хвост.

О ДЯТЛЕ (с. 339)

Подстой — болезнь дерева, подсыхающего от корня.

Сухоподстойные пни — пни подсохших деревьев.

У ТЕБЯ У САМОГО СВОЙ УМ (с. 340)

Гурт — стадо.

Мне не первина... — мне не впервые.

ЛУЧШИЙ ПЕВЧИЙ (с. 341)

Сорокопул — сорокопут, птица, чуть меньше крупного дрозда, с крючкообразным клювом, похожим на клюв хищных птиц.

ЧТО ЗНАЧИТ ДОСУГ (с. 343)

Шабаш — конец; *работать на шабаш* — работать до окончания дела.

Сложить срубом — собрать бревна в виде стен, подогнать друг к другу.

Серники — лучинки, кончик которых обмакивали в серу, спички.

Макигра — широкий горшок.

Баба-птица — пеликан.

Ярус сот — ряд, пласт, слой.



Урочный час — срок, назначенное время.
Слуховое окно — чердачное.
Прутки — вязальные спицы.
Объедья — остатки корма.
Битая дорожка — утоптанная.
Самосушник — хворост.
Поноска — пчелиная взятка с цветов.

ВОРОНА (с. 346)

Булатные замки — стальные, из булата.

ПРО МЫШЬ ЗУБАСТУЮ
ДА ПРО ВОРОБЬЯ БОГАТОГО (с. 348)

Сам-четверт, сам-пят, сам-десять — в четыре, пять, десять раз больше, чем посеяно.
Оставалось намале — то есть мало.

СКАЗКА О БАРАНАХ (с. 352)

Калиф (халиф) — верховный правитель.
Янтарь — здесь: янтарная трубка.
Чубук — деревянный стержень, ручка курительной трубки.
Боровок — дымовая труба, дымоход.
Вальжные (о ножках) — точеные, резные, прочные.
Водомер — фонтан.
Чалма — головной убор у мусульман.
Фирман — здесь: калифский указ.
Четки — бусы, нанизанные на шнурок; применялись для отсчета молитв и поклонов.
Кальян — прибор для курения табака.
Рядить — разбирать дела.
Калифат (халифат) — государство с халифом (калифом) во главе.
Туск — тусклость.
Смурый охобень — верхняя длинная одежда с прорезами для рукавов, с прямым откидным воротом. *Смурый* — темно-серый, бурый.
Овчарник — здесь: овцевод.

Константин Дмитриевич Ушинский
(1824—1870)



Педагогическая система К. Д. Ушинского предусматривала изучение учащимися крестьянского фольклора. Народные сказки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки, песни были включены в учебные книги Ушинского. Он старался бережно передать подлинные черты народного творчества и выраженную в нем трудовую мораль. «Крестьянин,— писал Ушинский,— чувствует, что его трудами кормится не одна его семья, а весь мир: и я, и вы, и все разодетые господа, хотя иные из них и с презрением посматривают на крестьянина. Он, копаясь в земле, кормит всех своею тихой, не блестящей работой, как корни дерева кормят гордые вершины, одетые зелеными листьями».

Сказки: «Два козлика», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Охотник до сказок», «Слепая лошадь» взяты из учебной книги, впервые изданной в 1861 году под заглавием «Детский мир и Хрестоматия». Последним «окончательно исправленным и дополненным» прижизненным изданием «Детского мира» было десятое издание (1870). Сказки: «Петух и собака», «Плутиска кот», «Лиса и козел», «Жалобы зайки», «Не ладно скроен, да крепко шит», «Орел и ворона» перепечатываются из учебной книги «Родное слово» (год первый и год второй). Первое издание книги было осуществлено в 1864 году. При жизни Ушинского «год первый» выдержал десять изданий, а «год второй» — девять.

ЖАЛОБЫ ЗАЙКИ (с. 368)

Тенёта — сеть для ловли зверей.

ПЕТУХ ДА СОБАКА (с. 370)

Живот — здесь: богатство.

ПЛУТИШКА КОТ (с. 371)

Беды великой избыть... — избежать несчастья, горя.

Запеть Лазаря — жаловаться на судьбу. *Лазарь* — персонаж духовного стиха. Обычно духовные стихи пели нищие, прося подаяния.



Михаил Ларионович Михайлов
(1829—1865)

До своего ареста и ссылки писатель успел опубликовать восемь сказок в детских журналах «Подснежник» и «Народное чтение». В 1864 году в Петербурге без упоминания имени автора сказки были опубликованы отдельным сборником (издатель Н. Г. Овсянников). Издание было повторено в 1867 году.

ЛЕСНЫЕ ХОРОМЫ (с. 374)

Под названием «Рукавица» сказка впервые опубликована в журнале «Подснежник» в 1858 году.

ДВА МОРОЗА (с. 377)

Первоначальная публикация в журнале «Народное чтение» в 1859 году.

ДУМЫ (с. 380)

Первоначальная публикация в журнале «Народное чтение» в 1859 году.

ВОЛГА И ВАЗУЗА (с. 382)

Источник — публикация сказки А. Н. Афанасьевым в четвертом выпуске «Народных русских сказок» (1858).

Хвалынское море — Каспийское.

Николай Алексеевич Некрасов
(1821—1877/78)

Автор «Кому на Руси жить хорошо» в «Сказке о добром царе, злом воеводе и бедном крестьянине» сохранил всю остроту народной мысли и многие особенности трактовки воспринятого у народа сюжета. Действие перенесено в фантастическую эпоху правления некоего «царя Аарона», но история крестьянина Еремы соответствует обстоятельствам русской жизни. Знаменитый «Генерал Топтыгин» тоже основан на фольклорном анекдоте, хотя Некрасов и ведет повествование как о реальном случае.

СКАЗКА О ДОБРОМ ЦАРЕ, ЗЛОМ ВОЕВОДЕ
И БЕДНОМ КРЕСТЬЯНИНЕ (с. 384)



Время написания — декабрь 1876—январь 1877 (предположительно). Цензура помешала публикации сказки, впервые опубликована в 1958 году.

Снискали (о колпаках) — снимали, почтительно кланялись.

Не пропасть бы, думает, вконец... — Согласно российским законам все найденные в земле сокровища принадлежали царю и сокрытие находки сурово каралось.

ГЕНЕРАЛ ТОПТЫГИН (с. 386)

Первоначальная публикация в «Отечественных записках» в 1868 году. Специально предназначалась Некрасовым «для детского чтения».

Шкалик — небольшая мера вина (осьмушка, косушка).

Смотритель — старший на почтовой станции.

С железом губа. — Ручным медведям продевали через губу железное кольцо — к кольцу вязали цепь, на которой медведя водили.

Потехе ради — рады потехе.

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
(1826—1889)

Сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина касаются самых острых политических вопросов времени. Критика крепостничества, царских порядков, трусости и ренегатства либералов велась писателем с позиций революционной демократии.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК (с. 391)

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» в 1869 году с подзаголовком «Писано со слов помещика Светлоокова».

Сократил он их так, что некуда носа высунуть... — Как сказано во вступительной статье, размежевание земель про-



изводилось в интересах помещиков — земельные наделы крестьян были сокращены до предела.

Лучины не стало мужику в светец зажечь... — *Светец* — железный зажим на деревянной ножке, в который вставлялась зажженная щепка — лучина. Свет горящей лучины освещал жилище.

Посконные мужицкие портки... — *Посконь* — конопля, шла на изготовление волокна, ткани.

Натурально — естественно.

Гранпасьянс — гадание на картах (французское слово *grande-patience*) по определенным правилам.

Внятером пульку-другую сыграть! — *Пулька* — партия карточной игры в преферанс.

Раскладывает он «дамский каприз»... — *«Дамский каприз»* — разновидность пасьянса (см. выше).

Фортуна — судьба, от собственного имени древнеримской богини счастья и случайности.

Он ходит по берегам Евфрата и Тигра... — *Евфрат и Тигр* — реки, орошающие, согласно Библии, земной рай.

Ева — по Библии, первая женщина на земле.

Временнообязанные — по реформе 1861 года крестьяне объявлялись на длительные сроки обязанными работать на помещика.

Винная и соляная регалия — налог. *Регалия* (от латинского слова *regalis* — царский) — государственное право извлекать доход из производства вин и соли.

Уж не пахнет ли водворением каким? — то есть наказанием, ссылкой на поселение. *Чебоксары, Варнавин* — места царской ссылки.

Князь Урус-Кучум-Кильдибаев — фамилия помещика напоминает фамилию глуповского начальника из «Истории одного города».

Древний Исав — по Библии, родился косматым.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ (с. 401)

Из-за цензурных опасений писатель в 1883 году изъясил сказку, уже набранную для публикации в «Отечественных записках», и поместил ее в газете «Общее дело» (Женева).

Аридовы веки — чрезвычайное долголетие, от имени библейского старца Иареда, будто бы прожившего 962 года.

Жуировать — пользоваться радостями жизни, развлекать-

ся, весело жить (от французского слова *jouir* — наслаждаться).

Бёрши — сплетенные воронкой прутья, приспособление для ловли рыбы. *Норота*, или *норот*, *нарота*, — то же, что верша.

Начали рыбу из мотни в траву валить. — *Мотня* — мешок посередине невода.

Поднесь — до сей поры, теперь, до сего дня.

Моцион делатъ — прогуливаться; *моцион* — прогулка (от латинского слова *motio* — движение).

Шабаш — см. пояснение к сказке В. И. Даля «Что значит досуг».

Снеток — небольшая рыбка, озерная корюшка.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МУЖИК
ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ (с. 408)

Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки» в 1869 году.

Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре... — Писатель имеет в виду штатских «генералов», действительных статских советников в отставке.

Служил еще в школе военных кантонистов учителем каллиграфии. — Школа военных кантонистов — низшая военная школа. *Кантонист* — солдатский сын, с четырнадцати лет его записывали в армию, в двадцать лет переходил в полк. Кантонистов обучали воинским приемам, грамоте. *Каллиграфия* — искусство чистописания, красивого почерка.

Рыба там, словно в садке на Фонтанке, так и кишит... — *Садок* — речное судно, приспособленное для сохранения живой рыбы. *Фонтанка* — речка в Петербурге.

«Московские ведомости» — газета, в 60-х годах XIX века — реакционный монархо-националистический орган печати.

Пикули (от английского слова *pickles*) — приправа к кушанью, мелкие овощи, маринованные в соусе с пряностями.

Назначили себе как бы рандеву... — *Рандеву* — свидание, встреча (от французского слова *rendez-vous*; в буквальном переводе — приходите, явитесь).

«Шекснинска стерлядь золотая» — начало стихотворения Г. Р. Державина «Приглашение к обеду» (1795).

Вавилонское столпотворение — шум, беспорядок, бесп-



порядок. По библейской легенде, жители Вавилона решили построить столп до неба, но бог смешал языки строителей, и их постигла неудача.

Особливо, как четвертого класса...— Согласно царской табели о рангах, то есть о служебных чинах, чин действительного статского советника относился к высокому, четвертому классу.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ (с. 417)

Впервые опубликовано в Женеве — газета «Общее дело» (1883), а в России — в «Отечественных записках» в следующем, 1884 году.

Аманат — заложник.

Жуировать — пользоваться жизнью, ее удовольствиями.

Карантинная цепь — стража, задерживала на известный срок приезжающих из мест, где эпидемия.

ВОРОН-ЧЕЛОБИТЧИК (с. 424)

Впервые опубликовано в книге «Памяти В. М. Гаршина. Художественно-литературный сборник» (1889). Написано осенью 1886 года.

Орнитологические сферы — иронически о птичьем царстве. *Орнитология* — наука о птицах.

Началось окончательное разорение — намек на реформу 1861 года, о пореформенном времени.

Ревизская сказка — именной список населения.

Горелки — игра.

Всеволод Михайлович Гаршин

(1855—1888)

ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА (с. 437)

Впервые опубликовано в 1887 году в детском журнале «Родник».

ATTALEA PRINCEPS (с. 443)

Впервые опубликовано в журнале «Русское богатство» в 1880 году.

Attalea princeps (атталеа принцепс) — название пальмы на латинском языке.



СКАЗКА О ЖАБЕ И РОЗЕ (с. 452)

Впервые опубликовано в «Сборнике общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым» (СПб., 1884) с подзаголовком «Для детей».

ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО (с. 460)

Впервые опубликовано в журнале «Устой» в 1882 году. Датирована: 6 февраля 1882 г.

По Реомюру — по температурной шкале французского ученого Реомюра; отличается от ныне общепринятой шкалы шведского ученого Цельсия: один градус по Реомюру равен пяти четвертым градуса по Цельсию. 28 градусов по Реомюру равны 22,4 градуса по Цельсию.

Лев Николаевич Толстой
(1828—1910)

В 1861—1862 годах Л. Н. Толстой открыл несколько начальных школ для крестьян в Тульской губернии и стал преподавать в одной из них. Уже к этому времени у писателя накопился опыт обучения детей. В 1868 году Толстой начал работу над учебными книгами. В 1872 году вышла «Азбука», в 1875-м — «Новая азбука». Одновременно писатель работал над «Русскими книгами для чтения». Первоначально они входили в состав «Новой азбуки», но в дальнейшем Толстой выделил их в особые книги. Материалом для учебных книг служил фольклор народов мира и разные литературные источники, но все переделывалось. «Я хочу образования для народа, — писал Толстой, — только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных... Ломоносовых...»

ЛЕВ И МЫШЬ (с. 466)

Из «Первой русской книги для чтения». Источник — басня Эзопа.



МУЖИК И ОГУРЦЫ (с. 467)

Из «Первой русской книги для чтения». В основе истории — сказочный сюжет.

ВОЛК И СТАРУХА (с. 467)

Из «Первой русской книги для чтения». Вольный перевод басни Эзопа с существенными изменениями «оригинала».

УЧЕНЫЙ СЫН (с. 468)

Из «Первой русской книги для чтения». Источник — текст из сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки».

ДВА КУПЦА (с. 469)

Из «Первой русской книги для чтения». Источник — измененный текст из книги, изданной в Париже в 1839 году — «Индийские сказки и басни Бидпай» («Contes et fables indiennes de Bidpai»).

ДУРЕНЬ (с. 470)

Из «Первой русской книги для чтения». Подзаголовок — «Стихи — сказка». Источник — сборник Кирши Данилова «Древние российские стихотворения». Толстой существенно переработал фольклорную запись.

ШАТ И ДОН (с. 477)

Из «Второй русской книги для чтения». Подзаголовок — «Сказка». Записана и обработана писателем.

СУДОМА (с. 478)

Из «Второй русской книги для чтения». Подзаголовок — «Сказка». Источник — текст из книги П. Перевлесского «Практическая русская грамматика», в свою очередь заимствованный из публикации журнала «Москвитянин» (1851). Толстой сократил и переработал текст.



Из «Второй русской книги для чтения». Подзаголовок — «Сказка». Источник — японская легенда из книги Ф. Чинова «Письма о шелководстве» (СПб., 1853), существенно переработана писателем.

Туговое дерево. — На туговом дереве растут ягоды — похожи на малину, а лист похож на березовый; этим листом кормят шелковичных червей. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

ЦАПЛЯ, РЫБЫ И РАК (с. 481)

Из «Второй русской книги для чтения». Переработанный и измененный текст из сборника индийских сказок и басен (см. примеч. к сказке «Два купца»).

ЕЖ И ЗАЯЦ (с. 482)

Из «Второй русской книги для чтения». Вольный перевод и переработка сказки из сборника братьев Grimm.

УЖ (с. 483)

Из «Второй русской книги для чтения». Подзаголовок — «Сказка». Известный в фольклоре многих народов сюжет.

Ужák, ужáка — уж.

ЦАРЬ И СОКОЛ (с. 486)

Из «Третьей русской книги для чтения». Переработанный текст из индийского сборника сказок и басен (см. примеч. к сказке «Два купца»).

ДВА ТОВАРИЩА (с. 487)

Из «Четвертой русской книги для чтения». Вольный перевод басни Эзопа.

ЛЕВ, ВОЛК И ЛИСИЦА (с. 488)

Из «Четвертой русской книги для чтения». Измененный и переработанный текст басни Эзопа.



КОРОВА И КОЗЕЛ (с. 489)

Из «Четвертой русской книги для чтения». Подзаголовок — «Сказка». Вероятный источник — индийская сказка (см. примеч. к сказке «Два купца»).

ВОРОН И ВОРОНЯТА (с. 490)

Из «Четвертой русской книги для чтения». Предполагают литовское происхождение сказки.

ВОРОН И ЛИСИЦА (с. 491)

Из «Четвертой русской книги для чтения». Переработанный текст басни Эзопа.

ВИЗИРЬ АБДУЛ (с. 492)

Из «Первой русской книги для чтения». Подзаголовок — «Сказка». Первоначально Л. Н. Толстой имел намерение развернуть действие сказки при дворе французского короля, но позднее переделал текст на восточный лад.

ЛИСИЦА И КОЗЕЛ (с. 493)

Из «Второй русской книги для чтения». Сильно измененная басня Эзопа.

ВОЛК В ПЫЛИ (с. 493)

Из «Второй русской книги для чтения». Л. Н. Толстой указал «индийский» источник текста.

ЛИСИЦА (с. 494)

Из «Третьей русской книги для чтения». Вольный перевод басни Эзопа.

СТРОГОЕ НАКАЗАНИЕ (с. 494)

Из «Третьей русской книги для чтения». Свободный и измененный перевод турецкой сказки («Anecdote Turque») из сборника «Мораль в делах, или Избранные памятные случаи»

(«La morale en action ou choix de faits mémorables») (Париж, 1845).



СОБАКА И ВОЛК (с. 495)

Из «Третьей русской книги для чтения». Измененный текст басни Эзопа.

КОТ И МЫШИ (с. 496)

Из «Третьей русской книги для чтения». Басня Эзопа, свободно пересказанная Л. Н. Толстым.

ВОЛК И КОЗА (с. 497)

Из «Третьей русской книги для чтения». Басня Эзопа, пересказанная писателем.

ТРИ МЕДВЕДЯ (с. 497)

Из «Новой азбуки». Переработка с французского языка сказки «Девочка — золотые кудри, или Три медведя».

ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ (с. 500)

Из «Третьей русской книги для чтения». Изложение восточной сказки.

ДВА БРАТА (с. 504)

Из «Второй русской книги для чтения». Переработка восточной сказки (во французском переводе).

ЛИПУНЮШКА (с. 506)

Из «Первой русской книги для чтения». Переработка народной сказки из сборника И. А. Худякова «Великорусские сказки» (вып. II, М., 1861).

НАГРАДА (с. 508)

Из «Новой азбуки». Без названия. Переработанная писателем анекдотическая сказка из «Книги для чтения»



И. Паульсона (М., 1870), в свою очередь воспользовавшегося текстом из сборника А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки».

ЦАРЬ И РУБАШКА (с. 509)

Из «Четвертой русской книги для чтения». Источник неизвестен. В оглавлении указывается, что сказка арабская.

СКАЗКА ОБ ИВАНЕ-ДУРАКЕ И ЕГО ДВУХ БРАТЬЯХ:
СЕМЕНЕ-ВОИНЕ И ТАРАСЕ-БРЮХАНЕ,
И НЕМОЙ СЕСТРЕ МАЛАНЬЕ, И О СТАРОМ ДЬЯВОЛЕ
И ТРЕХ ЧЕРТЕНЯТАХ (с. 510)

Сказка написана в 1885 году. Отдельным изданием вышла в 1886 году с цензурными изъятиями. Второе издание сказки было арестовано. Цензурный запрет был снят лишь в 1906 году.

Векоуха — вековуха, старая дева.

Вотчина — здесь: земля с угодьями. *Выслужил вотчину* — заслужил землю, поместье, угодья.

Смутить — поспорить, внести смуту.

Подвои новые подвязал... — *Подвои* — веревочные вязки или закрутки, ими крепились полица, служившая для отвала земли в сторону.

Сошник — лемех, клиновидный нож, надевался на ноги-рожки сохи.

Вспахал Иван весь пар... — *Пар* — паровое поле, не занятое посевом для восстановления плодородия.

Чертенюк ногами вокруг рассохи заплел... — *Рассоха* — раздвоенная часть сохи с сошниками (см. выше).

Хотел о приголовок пришибить его... — *Приголовок* — край, верхняя часть колодки, основы сохи.

Отбой — молоток и костыль, на котором отбивают, острят косу.

Калян — упорен, упрям.

Стал косу за пятку ловить... — место, где лезвие косы крепится к ручке.

Крюк — род грабель, приделанных к косе, с длинными выгнутыми зубьями.

Хотел его об грядку пришибить... — *Грядка* — здесь: край телеги, боковой жерди.

Это я старновки делать буду...— действие по глаголу «старновать», «настарновать» (см. ниже).

Рогац — жердь, шест, рычаг.

Хлыст — целое дерево, очищенное от сучьев, с вершиной (в отличие от бревна, у которого вершина срублена).

Не спопашился...— здесь: не спохватился, не остерегся, не догадался отскочить в сторону.

Севалка — лукошко; во время сева ее вешали на плечо.

Одонье — кладь хлеба в снопах.

Насторновать (настарновать) — старновать, обмолачивать сноп, не разбивая его.

Онуци — портянки, обвертки на ногу. *Оборки* — лапотные завязки.

Как буру на тараканов...— *Бура* — химический состав, борная кислота.

Узлом к гузну дошло.— Смысл поговорочного выражения — тяжело, вконец плохо.

Чтоб шли все лбы брить,— *каждому штоф водки и красная шапка будет.*— *Лбы брить* — снимать волосы, стричь перед уходом в солдаты, помечать так отобранных рекрутов. *Штоф* — водка в запечатанной посуде. *Красная шапка* — солдатский головной убор.

РАБОТНИК ЕМЕЛЬЯН И ПУСТОЙ БАРАБАН (с. 541)

Сказка написана в 1886 году на основе народных сказок. Из-за цензурных помех была впервые опубликована в Женеве в 1891 году и с переделками в 1892 году — в Москве, в сборнике «Помощь голодающим» с заменой «царя» — «водоной», «солдат» — «стрельцами» и пр.

Сидит за станом, тчет...— *Стан* — домашний ткацкий станок; *тчет* — ткет.

ЗЕРНО С КУРИНОЕ ЯЙЦО (с. 551)

Сказка была написана в феврале — марте 1886 года и опубликована в том же году. Источник сказки — легенда, записанная в Архангельской губернии (из предисловия к сборнику А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды»).



Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
(1852—1906)

«Корейские сказки» были опубликованы в 1899 году. А. М. Горький высоко ценил их: «милые сказки». Он написал очерк «О Гарине-Михайловском», в котором охарактеризовал писателя как художника-гуманиста.

ЧАПОГИ (с. 556)

Чумиза — разновидность проса.

Лан (лян) — старинная денежная единица.

ТРИ БРАТА (с. 560)

Женьшень — корень жизни, многолетнее лекарственное травянистое растение.

Кеш — денежная единица.

Братья.— Обычай побратимства широко распространен у корейцев и очень чтится (*примеч. Н. Г. Гарина-Михайловского*).

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
(1852—1912)

СЕРАЯ ШЕЙКА (с. 567)

Под названием «Серушка» впервые опубликована в журнале «Детское чтение» в 1893 году. Позднее писатель изменил название и дополнил сказку главой, в которой говорится о спасении Серой Шейки.

СКАЗКА ПРО СЛАВНОГО ЦАРЯ ГОРОХА И ЕГО
ПРЕКРАСНЫХ ДОЧЕРЕЙ ЦАРЕВНУ КУТАФЬЮ И
ЦАРЕВНУ ГОРОШИНКУ (с. 578)

Отдельное издание осуществлено в 1904 году.

Вершники — верховые.



Сказки печатались в журналах «Детское чтение», «Всходь» в 1894—1896 годах. Отдельным изданием вышли в 1896 году и с тех пор многократно переиздавались. «Это моя любимая книжка,— признавался Мамин-Сибиряк в письме к матери,— ее писала самая любовь, и поэтому она переживет все остальное» (письмо от 15 декабря 1896 года).

Алёнушка — Елена Дмитриевна Мамина, дочь писателя.

Лиза — Елизавета Наркисовна Мамина-Удинцева, сестра писателя.



Содержание

В. П. Аникин. Русские писатели-классики и сказка 3

А. С. Пушкин

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди 21
Сказка о попе и о работнике его Балде 50
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 55
Сказка о золотом петушке 71
Сказка о рыбаке и рыбке 78

В. А. Жуковский

Война мышей и лягушек 85
Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях
Кощея бессмертного и о премудрости Марьи-царевны,
Кощеевой дочери 99
Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке 120

М. Ю. Лермонтов

Ашик-Кериб 155

П. П. Ершов

Конек-горбунок 167

С. Т. Аксаков

Аленький цветочек 241

В. Ф. Одоевский

Мороз Иванович 269
Городок в табакерке 278
Индийская сказка о четырех глухих 287

Антоний Погорельский



Черная курица, или Подземные жители	293
---	-----

В. И. Даль

Расторопные ребята	329
Ворожея	331
Ветер	332
Солдатский привар	—
Девочка Снегурочка	334
О дятле	339
У тебя у самого свой ум	340
Лучший певчий	341
Что значит досуг	343
Ворона	346
Про мышь зубастую да про воробья богатого	348
Сказка о баранах	352

К. Д. Ушинский

Слепая лошадь	358
Два плуга	362
Ветер и солнце	363
Два козлика	364
Охотник до сказок	365
Не ладно скроен, да крепко сшит	367
Жалобы зайки	368
Лиса и козел	369
Петух да собака	370
Плутушка кот	371

М. Л. Михайлов

Лесные хоромы	374
Два Мороза	377
Думы	380
Волга и Вазуза	382

Н. А. Некрасов

Сказка о добром царе, злом воеводе и бедном крестьянине	384
Генерал Топтыгин	386



М. Е. Салтыков-Щедрин

Дикий помещик	391
Премудрый пискарь	401
Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил	408
Самоотверженный заяц	417
Ворон-челобитчик	424

В. М. Гаршин

Лягушка-путешественница	437
Attalea princeps	443
Сказка о жабе и розе	452
То, чего не было	460

Л. Н. Толстой

Лев и мышь	466
Мужик и огурцы	467
Волк и старуха	—
Ученый сын	468
Два купца	469
Дурень	470
Шат и Дон	477
Судомы	478
Золотоволосая царевна	479
Цапля, рыбы и рак	481
Еж и заяц	482
Уж	483
Царь и сокол	486
Два товарища	487
Лев, волк и лисица	488
Корова и козел	489
Ворон и воронята	490
Ворон и лисица	491
Визирь Абдул	492
Лисица и козел	493
Волк в пыли	—
Лисица	494
Строгое наказание	—
Собака и волк	495
Кот и мыши	496
Волк и коза	497

Три медведя	497
Праведный судья	500
Два брата	504
Липунюшка	506
Награда	508
Царь и рубашка	509
Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах	510
Работник Емельян и пустой барабан	541
Зерно с куриное яйцо	551

Н. Г. Гарин-Михайловский

Знаем!	555
Чапоги	556
Охотники на тигров	558
Три брата	561
Волмай	562

Д. Н. Мамин-Сибиряк

Серая Шейка	567
Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей царевну Кутафью и царевну Горошинку	578

АЛЁНУШКИНЫ СКАЗКИ

Присказка	616
Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, корот- кий хвост	617
Сказочка про Козявочку	620
Сказка про Комара Комаровича — длинный нос и про мохна- того Мишу — короткий хвост	624
Ванькины именины	630
Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и веселого трубочиста Яшу	639
Сказка о том, как жила-была последняя Муха	647
Умнее всех	657
Притча о Молочке, овсяной Кашке и сером котикше Мурке	667
Пора спать	672
Примечания	683

СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА
В 10 ТОМАХ

(том VII)

Сказки русских писателей
XIX в.

Ответственный редактор

Н. В. Белякова

Художественный редактор

В. А. Тогобицкий

Технические редакторы

В. К. Егорова и М. В. Гагарина

Корректоры

И. Н. Мокина и Э. Н. Сизова

ИБ № 10852

Сдано в набор 23.06.89. Подписано к печати 31.10.89. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт таймс. Печать высокая. Усл. печ. л. 42,9. Усл. кр.-отт. 46,79. Уч.-изд. л. 31,92+9 вкл.=32,92. Тираж 403 000 экз. (2-й завод 203 001—403 000 экз.). Заказ № 2492. Цена 2 р. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга» Госкомиздата РСФСР. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот».

C42 Сказки русских писателей / Сост., вступит. ст. и примеч. В. П. Аникина; Ил. Б. А. Дехтерева.— М.: Дет. лит., 1989.—719 с.: ил.— (Сказки народов мира в 10 томах, т. VII).

ISBN 5—08—001997—4

В сборник входят сказки русских писателей-классиков XIX века.

C 4803010101—528
M101(03)-89 — Подписн. изд.

ББК 84Р1



LEANTHUS BOTTICELLI